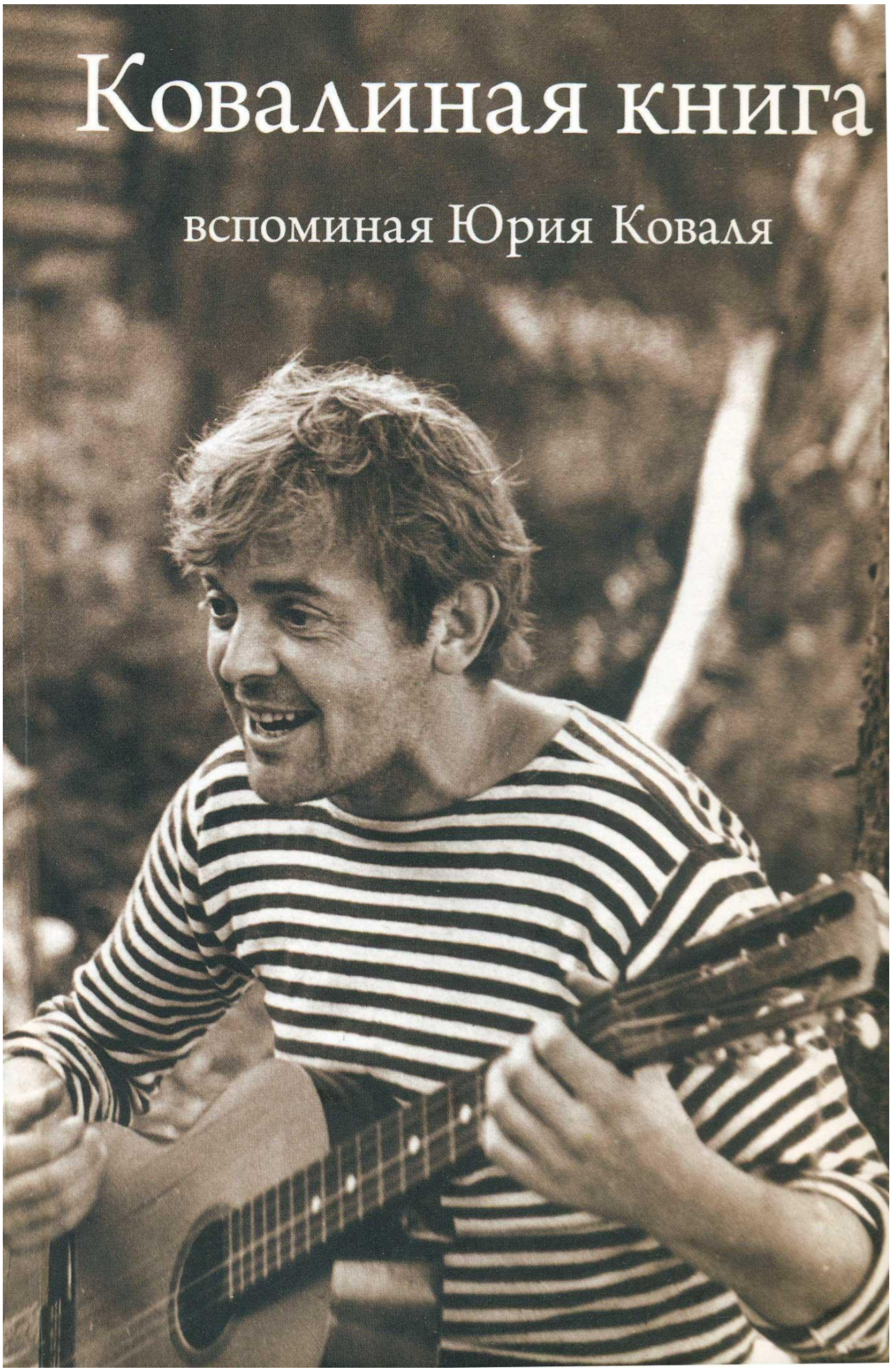
Ковалиная книга

вспоминая Юрия Коваля



Ковалиная книга

Гильдия вольных издателей

Искренне благодарим:
родных, друзей, коллег и учеников Юрия Коваля за предоставленные воспоминания, статьи и другие материалы;
Юрия Норштейна и его студию за моральную и материальную поддержку;
Марию Веденяпину и коллег из РГДБ за помощь и верность дружбе;
Андрея Усачева и Ольгу Мяэотс за материальный вклад и плодотворные идеи;

Виктора Ускова за предоставленную фотографию;
Светлану *Стогову, Веру Семенову, Сергея Андреева* за дружескую и профессиональную помощь в этом и других проектах.

Ковалиная
книга

вспоминая Юрия Коваля

второе издание,
исправленное и дополненное

Москва 2013

УДК 821.161.1.09+929 Коваль
ББК 83.8(2=411.2)6-8 Коваль Ю.И.
К 56

Фотография на обложке: В. Усков

Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля /
К56 составитель Ирина Скуридина. — 2-е изд., испр.
М.: CheBuk, 2013. — 600 с.
ISBN 978-9984-816-46-3

Юрий Коваль умел всё: он был поэтом и прозаиком, скульптором и художником, замечательно пел, был страстным охотником и рыболовом. В этой книге для неспешного чтения о Ковале говорят и пишут Юлий Ким, Юрий Ряшенцев, Андрей Битов, Юрий Норштейн, Виктор Ерофеев. Виктор Чижиков, Ия Саввина. Марина Тарковская, Эдуард Успенский, Сергеи Иванов, Марина Москвина, Татьяна Бек, Марина Бородицкая, Дмитрий Сухарев и многие другие. Здесь собраны воспоминания и статьи, опубликованные раньше или записанные и подготовленные к печати составителем специально для этого издания, а также тексты радиопередач, интервью, фрагменты писем. Лейтмотивом книги стали слова Эльмиры Блиновой: «Коваля любили решительно все — писатели и читатели, дети и взрослые, мужчины и женщины, люди простые и люди в шляпах. Любили собаки, кошки, птицы, рыбы, бабочки, деревья, травы, звезды и облака».

УДК 821.161.1.09+929 Коваль
ББК 83.8(2=411.2)6-8 Коваль Ю.И.

© Авторы, 2013
© И. Скуридина, составление, 2008
© И. Скуридина, составление, 2013
© Оформление. Издательство Chebuk, 2013

Читатель дорогой!

Открыв эту книгу, ты встретишься с человеком, о котором, по прочтении, скажешь:

— Как жаль, что уже никогда не удастся с ним познакомиться, а там, с Божьей помощью, и подружиться. Конечно, он мастер русской прозы, ну что ж — и Пришвин мастер, и Нагибин, и Казаков, но с ними по-человечески сойтись не просто, совсем не просто. А у Коваля, как ни у кого, открытость и доброжелательность сразу видны, что в прозе, что в характере. Какой человек! Ах, как бы я хотел с ним выпить и поговорить за какой-нибудь рыбалкой!

А если кто не читал Коваля никогда и до этой книги не слышал о нём ничего, тот уж, конечно, дочитав, воскликнет:

— Как я только мог пройти мимо его прозы, ничего не знать о недопёске, о самой легкой лодке в мире, о картофельной собаке — как мне не стыдно! Немедленно бегу в книжный магазин и там скуплю всего Коваля, сколько его ни окажется на полках! Какой человек!

И побежит, и скупит, и я могу только с тайной радостью предвкушать то читательское счастье, какое ему предстоит пережить, лежа на диване пол зеленым абажуром с книжкой Коваля в руках.

Юлий Ким

Содержание

Юлий Ким Слово о Ковале
Роза Харитонова «Солнце делает людей красивыми...»
Леонид Мезинов Острова памяти
Ирина Коваленко (Батрак) Гусиные пятницы
Юрий Ряшенцев Человек эпохи Возрождения
Сергеи Яковенко Педкружок
Елена Гилярова Вечера на Яузе
Галина Гладкова Рука мастера
Леонид Зиман Ксерокопия отзыва
Вячеслав Кабаков Фрагменты воспоминаний
Юлия Коваль Человек лыжни
Борис Коваль Последняя встреча с братом Юрой
Александр Дорофеев Гусик
Валим Чернышев Россия Юрия Коваля
Инна Скороходова Твой ли след заносит...
Валерий Воскобойников Человек-праздник
Татьяна Бек Про Юру Коваля
Айлар Кербабаева Фотография на память
Владимир Лемпорт На южном берегу
Эльмира Блинова Праздник общения с Юрой Ковалём
Сергей Иванов Наш старший товарищ
Эдуард Успенский О Юрии Ковале
Николай Устинов Задушевный товарищ
Марина Бородицкая Юриосич
Марина Москвина Вода с закрытыми глазами
Марат Ким Коваль, мой учитель
Наталия Ермильченко Слушай меня!
Иван Овчинников Вообще никак
Татьяна Шорыгина Юрий Коваль — мой наставник
Марк Шварц Тумбочки от Коваля
Юлий Файт Листобой
Александр Етоев Писатель, которого не хватает
Виктор Ерофеев Смерть писателя К
Павел Френкель Энде
Дмитрий Сухарев «Зовемся тоже писателями...»
Марина Тарковская На смерть Юрия Коваля

Юрий Коваль Из писем 1994-95годов
Юрий Коваль « Я всегда выпадал из общей струи...

Владимир Мартынов Последний Юрий Иосифович
Галина Николаева Зеленый мир Юрия Коваля
Жанна Переляева Теплый свитер грубой вязки
Татьяна Визбор «Четыре четверти»
Татьяна Бек «Я и сейчас считаю, что он был гений»
Юрий Норштейн По поводу невстречи с Ковалем
Виктор Белов (художник Орлов) УзыЯузы
Виктор Усков Косма и Дамиан
Николай Силис Всё с восклицательным знаком

Зоя Шарапова Рябина
Леонид Носырев Женьшень озимый
Ия Саввина Вечерний разговор
Виктор Чижиков Птица-иволга
Михаил Левитин От нашей бумаги вашей бумаге
Андрей Битов Братство-сестринство
Наташа Коваль Монолог о счастье

Ю. И. Коваль. Краткая библиография

Юлий Ким

Слово о Ковале

Интересно спросить у знавших его: каким Коваль вспоминается первым делом, с ходу, навскидку? Многие, наверно, скажут: за столом, с гитарой. Кому-то, возможно, он представится с ружьем на охоте. Иным барышням, как я полагаю, вспомнится его горячее и нежное лицо, близко-близко. Я же сразу вижу его над теннисным столом, в полете удара, в атаке. В том отдельном заветном местечке нашего пединститута, которое называется — Круглый зал. Это бывшее фойе бывшего парадного входа, с колоннами по периметру, предполагающими гардероб за ними; с короткой широкой лестницей, ведущей из фойе прямо в огромный трехэтажный внутренний зал нашей альма матери, с высоким стеклянным потолком, воспетым Ковалем с такою чудной силой в одной из лучших его новелл «От Красных ворот».

Сам парадный вход, однако, да-авным-давно закрыт наглухо, и фойе образует собою уютный карман, где в наше время располагался теннисный стол, как раз в размер Круглого зала, учитывая необходимое пространство вокруг стола, особенно при защите, несравненным мастером которой был Женя Немченко по прозвищу Кок — из-за пижонского кока, украшавшего его пижонскую голову. Росту он был длинного, сложения худощавого и в игре был подобен изящному гибкому хлысту, или, я бы сказал, стеку. Поскольку Кок был, безусловно, джентльмен.

Так вот, если в атаке Женя был расчетлив и точен, то в защите — неотразим. Смотреть на их игру с Ковалем было наслаждением.

Юра атаковал не мешкая, из любых положений, атаковал сразу, хоть справа, хоть слева, всегда. На чем его и подлавливал соперник, посылая ему перекрученные мячи с непредсказуемой траекторией. То есть от Юры летели пули, а от Жени бабочки. И этот процесс превращения молниеносного свинца в трепетного мотылька был завораживающим. Женя ждал выстрела, изогнувшись в талии навстречу, дугообразно взмахивал ракеткой, как ботаническим сачком, зачерпывая пулю в ее полете и щедрым королевским жестом возвращая Ковалю порхающий шарик, не забыв подкрутить подарок в какую-нибудь коварную сторону. При этом Кок красиво откидывался назад — так благородно откидывается Атос в исполнении Вени Смехова, после того как, бывало, проткнет очередного гвардейца — и тут же сжимался в гибкую пружину, ожидая следующего выстрела. И как он ухитрялся выуживать эти Юрины торпеды изо всех углов, подгребая чуть ли не с полу, — уму непостижимо, но ухитрялся! И нередко видно было, как Юра уставал нападать на эту мягкую, податливую и непробиваемую оборону.

Но вес же чаще утомлялся неутомимый Кок, потому что, согласитесь, непрерывно сжиматься и разжиматься все-таки утомительнее, чем молотить справа и слева, раз навсегда наклонясь над столом в полете атаки.

«И всю-то свою жизнь Коваль так и провел в атакующем стиле», — разбежалось было перо продолжить воспоминание, однако стоп. В футболе, в теннисе — да, но в жизни он не атаковал — он увлекался. С головой уходя в свое увлечение гак, что оно становилось его занятием. В итоге у него оказалось три главных дела: литература, изобразительное искусство и охота с рыбалкой, Сочинение песен занятием не стало, но регулярно сопутствовало. Что касается женщин, то увлечение ими было обязательным условием его существования. И женщины его, каких я знал, все были хорошие.

Служил Юра совсем немного, года два-три. Сначала в школе, затем в редакции, это всё. От армии ему, слава Богу, как-то удалось уклониться, и получается, что всю свою жизнь он занимался исключительно тем, чего сам хотел Визбор все-таки тянул журналистскую лямку, ездил по заданиям, сдавал репортажи. Юра тоже ездил, но куда меньше и привозил не репортажи, а полноценные вещи вроде «Алого». То есть задание Коваль превращал в художественный замысел и отчитывался главным образом перед собой.

Идеально сложились обстоятельства для его жизни. И он ими воспользовался, какя думаю, если не на все сто, то уж не меньше, чем на девяносто. Это очень много, очень. Мои, например, обстоятельства сложились тоже удачно, хотя и парадоксально: советская власть за диссидентство уволила меня из школы, запретила выступать с концертами — но великодушно оставила за мной кинотеатральное поприще, совмещать которое С диссидентством невозможно. И вот в 1968 году, в тридцатъ два года, я стал тем, кем мечтал, — свободным художником на любимом поприще и уже почти сорок лет не встаю по звонку на работу. И открылась мне даль вожделенная. И спросите меня: на все ли сто использовал я ее? И лучше даже не спрашивайте.

Он меня любил, я его гоже. Хотя закадычными друзьями мы не были. Поэтому у меня с ним немного наберется совместных событий. Собственно, всего-то одно у нас общее приключение — участие в съемках фильма «Улица Ньютона, дом 1». Вскоре после института. Хотя истоки сюжета — как раз в институтской жизни в течение которой Коваль познакомился со знаменитой троицей скульпторов: «Лемпорт— Силур — Силис» называлась она, что звучало почти как «мене — текел — фарес»,то есть значительно и загадочно. Прекрасные были мастера, высочайшего уровня, на мой взгляд, одного ряда с такими, как Эрьзя — Коненков — Неизвестный. Из них теперь только Силис здравствует, дай ему Боже долгих лет. А тогда они располагались в своей общей мастерской, недалеко от Парка культуры, в двух шагах от нашего института, и мы эти два шага не раз проделывали и всегда были радушно принимаемы.

В конце шестьдесят второго в этом гостеприимном подвале мы с Ковалем очутились в одной компании с кинорежиссером Тедом (Теодором) Вульфовичем. Он как раз собирался снимать фильм «Улица Ньютона, дом 1» про физиков и лириков по сценарию молодого Эдика Радзинского, и ему для эпизода «Студенческая вечеринка» нужны были вошедшие в моду барды со своими песенками, и в нашем с Ковалем лице он этих бардов услышал в самой что ни на есть натуре. В две гитары грянули мы и моих «Гренадеров», и Юрину незабвенную «Когда мне было лет семнадцать». Вульфович вошел в азарт, он был такой подвижный, ладный, под наш развеселый чес выдал какой-то невероятный чарльстон, немедленно пригласил нас сниматься в упомянутом эпизоде, и вскоре мы оказались в Питере на «Ленфильме». В просторном павильоне, в декорациях скромной малогабаритной распашонки привычно ударили мы по струнам, и кроме вышеуказанных спели и свежесочиненную специально для фильма песню — мой первый в жизни кинозаказ, «Фантастику-романтику».

И все ж, друзья, не поминайте лихом,
Поднимаю паруса!

Мне на « вечеринке» повезло больше, чем Юре. Участников разделим! на танцующую часть и закусывающую. Я был зачислен во вторую. Смена длилась несколько часов, дубль за дублем. Юра танцевал, я закусывал. В перерыве проголодавшийся Коваль подошел к столу и потянул к себе тарелку с винегретом.

— Не трогайте реквизит!!! — завопила помреж. — Что ж такое! Третий дубль снимаем, а на столе уже нет ничего!

Помнится, я стащил для Юры огурец, что мало его утешило. Мне-то закусывать не только не запрещалось, а прямо полагалось согласно режиссерскому замыслу. Зато в танцевальной группе Юра имел абсолютный успех — а там на подбор были хорошенькие девушки, — и дни его между съемками были упоительными.

Не помню, снимался ли он еще когда-либо. Как-то видел я его в телепередаче «Спокойной ночи, малыши», где он до того был натужен и неестественен, что я еле досмотрел. Нет уж, не его это было дело. Вот Визбор — да, это актер природный, без никакой школы, если не считать институтских капустников, где он блистал не хуже Петра Фоменко, блистательнее которого не было и нет на свете никого.

Мы с Ковалем тоже малость поблистали в художественной самодеятельности, тоже в капустнике, правда, всего один раз. При Бнзборс-тос Ряшенцсвым институтская «капуста» была в цене, еще в какой, вся Москва сбегалась смотреть, их юмор был внятен и расходился в списках.

« Сегодня ты изменил группе —
завтра ты изменишь Родине!»
« Облить презреньем и поджечь!»
«Ночь полярная окрест,
К нам в ярангу вор залез.
Хорошо, что он залез
Не в родную МТС»
(куплет сознательного чукчи),
« Словно по сердцу ножом жизнь детей за рубежом!»
и так далее.

Пришла, однако, и наша очередь. Коваль, Валера Агриколянский и я к той поре уже были отравлены обэриутством и веселились за рамками смысла.

Д'*Артаньян*
Я иду со станции от девушки Констанции,
От девушки Констанцьи Бонасье!
Рошфор
Напрасно шел со станции от девушки Констанции,
Уж ей не принесешь ты монпансье!—и тому подобное.

Причем мы имели наглость разыграть эту чушь на институтской сцене. Чем вызвали общее недоуменное хихиканье. Еще хорошо, что не освистали.
У этого юмора имеется своя интонация. Кроме Коваля ею владеют еще только Леша Мезинов да Миля Херсонский. Передать ее невозможно. Вот Миля подходит к Леше и хлопает его по плечу:
— Печорин! Отчего ты черен?
И ха-ха-ха! Весь юмор.
В небольших шедеврах Коваля, особенно в авторском исполнении, интонация эта звучит во всей полноте: смотри его «Гена, идущий с рентгена» или «Иван Грозный и его сын Иван». А уж эта песенка его, одна из первых:

Эх, из тюремного окошка вылезает атаман.
Финский ножик на припасе и заряженный наган.
Эх, ты, наган семизарядный, в реку брошу я тебя.
Ты зачем осечки делал, когда резали меня?
Эх, меня резали резаки, я на столике лежал.
Мой товарищ Колька Силис (или Вовка Лемпорт, или Юра Визбор) *мою голову держал.*
Эх, задушевного товарища не стало у меня.
Как несчастная девчоночка остался мальчик я.

Источником вдохновения, если не ошибаюсь, явилась операция по поводу аппендицита, пережитая автором.
Они с Лешей Мезиновым еще тогда, в институте, вместе начали повесть о странствиях капитана Суера-Выера с командой. Некоторые фразы оттуда застряли в памяти навеки, например:

«Ананасана-бананасана! — вскричали пираты и театрально побежали на абордаж». Так что ватерлиния фрегата «Лавр Георгиевич » заскрипела в тиши океана лет за тридцать до полного воплощения замысла в последней вещи Коваля. А между Суером юности и Выером зрелости расположились вся Юрина жизнь и вся его проза, в которой этот юмор с оттенком сюра органически слился с изумительной лирической нотой, с тем, что Юра называл вслед за Шергиным — весельем сердечным.

Без веселья Коваль не Коваль. Хотя в самом-то начале были у него робкие заходы в *чистую* лирику, вроде:

Одуванчик желтым был,
Сделался седым.
Где моя краса-весна –
растаяла как дым.

Или тот рассказ, где его герой в сумрачном лесу вдруг услышал звуки рояля и побежал туда, «попадая в такт», — нередко поддразнивал я Юру этим «попаданием»,отчего он добродушно отмахивался впоследствии.

К дружбе Юра относился ответственно. Советы, мнения, просьбы выслушивал всегда внимательнейше. Когда в восемьдесят третьем году возникла Мысль о ежегодном институтском сборе в конце декабря, он сразу же предложил свою мастерскую как место собрания нашей компании (человек тридцать) и каждый год накануне даты обзванивал всех и готовил елку и всяческую закусь, а когда Ряшенцев попросил сдвинуть дату (иначе у него не получалось участвовать), Юра опять же обзвонил актив, чтобы принять решение коллегиально.

А уж когда на почве литературных разногласий дошло дело до выяснения отношений с лучшим другом Лемпортом, что привело к полному разрыву таковых, *уж* как он переживал! О чем без смеха не может вспоминать другой лучший друг, Силис, который в конце концов и примирил друзей к их обоюдной радости.

Стихийный человек и отъявленный диссидент Петя Якир ему нравился больше, конечно, стихийностью, чем диссидентством. Они любили вместе выпить и попеть «Когда мне было лет семнадцать». Однако опасная атмосфера диссидентского существования была совсем не для Коваля. Он был вольный художник и вольничал в своем художестве как хотел. Прекрасная его палитра при этом никак не задевала советскую власть, ибо предпочитала другие объекты для изображения. Да и не сталинское все-таки было время, когда убили бы просто за то, что вольничает.

Ко всякого рода протестам и возмущениям Юра очень даже прислушивался с полным сочувствием, но участвовать в них не стал. Так и говорил: «Боюсь». Хотя дело было не в боязни, а в натуре, для которой и славить власть, и порочить было неестественным. А когда в самый разгар диссидентства Петю все же заносило в Юрину компанию, то выпивай! и пели оба с прежним азартом, причем Петины топтуны запросто могли топтаться где-нибудь поблизости.

Но вот Петю посадили, а потом и сулили, осенью семьдесят третьего года И, как уже было заведено на Москве, вокруг суда собралась небольшая толпа сочувствующих — что по тем временам особым подвигом не являлось, но любому, разумеется, было ясно, что его появление будет немедленно зафиксировано, из чего совсем не обязательно следовали репрессии — но могли.

И Юра пришел. Весь напряженный, всклоченный, пришел совершенно не в свою тусовку, но пришел, оглядываясь и разговаривая вполголоса, не мог не прийти! Друга Петьку сулят, помочь ничем невозможно, но ведь это же сукой надо быть, чтобы не прийти хотя бы посочувствовать!

Известна история, когда Эренбург, белый от страха, ушел с собрания, где клеймили космополитов и надлежало голосовать за гнусную партийно-антисемитскую резолюцию.

Экое геройство — ушел с собрания. А вот геройство. По тем-то людоедским временам — еще какое!

Юра, наоборот, на собрание пришел, хотя никто его не обязывал, кроме собственного чувства. Подвиг не подвиг, но, безусловно, поступок.

В песенном деле он охотно уступал все пальмы друзьям — мастерам жанра, то есть Визбору и мне, хотя не знаю, чьи песни мастера пели охотнее — свои или его. У Юры-то их немного, десятка два всего, зато какие. Ряшенцев в своих воспоминаниях целую главу посвятил только одной из них — нашей всеобщей любимице «Когда мне было лет семнадцать»; он этой строкой и всю книгу даже назвал. Кто хочет послушать, как ее поет Ковачь, пусть разыщет фильм «Улица Ньютона, дом 1» — и песню услышит, и Коваля увидит, двадцатипятилетнего, которому там и двадцати не дашь.

Юра очень хороший писатель. Правда, он всю жизнь комплексовал на этот счет. Наверно, ему хотелось услышать о себе чье-нибудь очень для него авторитетное мнение — чье не знаю, ну, может быть, Бахтина или Аверинцева. Что он стоит на одном уровне, скажем, с Пришвиным или там с Житковым. Здесь я пас. И в смысле эрудиции, и в смысле авторитетности. Скажу только, что для меня-то Юра значит очень много, так как именно он и еще три человека, сами того не подозревая, сформировали мою собственную писательскую интонацию, а это основа стиля.

Ну и разумеется, среди книжек, которые я люблю перечитывать, обязательно стоят его, на одной полке с Самойловым, Бродским, Булгаковым. Очень вкусная проза. Помню, в институте удивил меня, провинциала, мой однокурсник Гриша Фельдблюм:

— Перечитываю «Записки охотника». Не спеша, по абзацу. Это наслаждение!

Теперь вот и я точно так же перечитываю Юру. Правда, в отличие от других читателей, я еще слышу его голос и вижу его лицо.

Эх, не получилось у меня сходить ли, сплавать ли с ним на какую-нибудь его охоту-рыбалку, уж до того начитался я, надышался его рассказами, пахнущими сырой землей, опятами и картофельным дымом. Раза два уговаривались мы с ним — ***Ж*** вышло. Поэтому вышло у нас одно только плаванье—сочиненное мною уже после его кончины, и сочинял я наше путешествие с горьким упоением, и вес наши с ним разговоры списаны мной словно с натуры, хотя плывем мы с ним **1** [а том свете, где, не исключаю, еще и правда вдруг да повидаемся.

21 июля 2007 год
Петелино. Дача

Роза Харитонова

«Солнце делает людей красивыми и честными»

Нелепо, смешно, безрассудно,
безумно — волшебно!
Ю.Ким

Юрий Коваль. Автор неповторимых, прелестных рассказов и повестей, смешных и грустных, «детский» писатель, от строчек которого перехватывает дыхание. Шедевры: «Чистый Дор», «Листобой», пронзительный «Недопёсок» и волшебная «Самая легкая лодка в мире». «Я еще понаделаю кистью дел!» — говорил он в юности. Интересная, самобытная живопись Коваля не раз выставлялась в ЦДЛ и в ЦДХ. Каждая работа Коваля притягивает взгляд, и поначалу кажется, что тебе понятно, что хотел сказать нам художник. Но чем глубже ты погружаешься в это рассматривание, тем больше тобой овладевает нечто волшебное, и каким-то непостижимым образом чувствуешь, что и в корявыхдеревьях городского пейзажа, и в весеннем бездорожье деревенской околицы, и в прозрачных акварелях есть трепет и мерцание, полет и тайна, мечта и жизнь. И как хорошо, что это чудо нельзя понять и объяснить!

Волшебство окутывало каждого, кто попадал в это энергетическое поле — общение с Юрием Ковалем. Что же это было?

Стоит ли мне писать о том, что помню я? Но ведь истинная картина может быть составлена из памяти многих. В воспоминаниях Э. Бабаева об Анне Ахматовой я прочла, что записывание разрушает прелесть непосредственного общения. Это правда. Но я никогда не записывала по горячим следам. И еще одно не дает мне покоя: в рассказе Коваля о Борисе Шергине есть слова: «Слово — ветр, а письмо-то — век!» Ну пусть не век! Но все-таки будет записано, и кто-нибудь прочтет и мои строчки о Ковале.

Немногие из написанных им писем были адресованы мне, и чтение их тогда — это было счастье. Чем я смогу отдарить его? Есть у меня несколько стихотворений, посвященных его памяти, может быть значимых только для меня и наших общих друзей. Да может быть, этот текст и отрывки из его юношеского дневника, где уже видна его рука и что-то, что осталось в нем до конца.

Давным-давно, Боже! А ведь действительно, давным-давно, в 1955 году мы поступили на факультет русского языка и литературы МГПИ им. Ленина. Первый курс пронесся карнавалом, очарованием старинного зала под серебристым прозрачным потолком, учением, привыканием, знакомством с однокурсниками и преподавателями — Зерчаниновым (устное народное творчество), Пуришевым (зарубежная литература), Корниловым (психология), Введенским (языкознание), Гукасовой (литература XIX века). Мы были покорены талантами старших курсов (Юлий Ким, Ада Якушева, Борис Вахнюк) и бесспорным авторитетом тех, кто уже окончил институт. Они продолжали приходить сюда, интересовались нами, первокурсниками. Это Юрий Ряшенцев, Петр Фоменко, Владимир Красновский, Юрий Визбор. Ко второму курсу мы с Юрой Ковалем рассмотрели друг друга и с осени 1956 года но осень 1958-го часто, почти каждый день, бывали вместе. Участие в литературном объединении, почти ежедневные занятия на курсах живописи и рисования под руководством уникального, неповторимого педагога Михаила Максимовича Кукунова, посещения мастерской скульпторов В. Силура, В. Лемпорта, Н. Силиса; выпуск стенной факультетской газеты «Словесник», которая, к сожалению, сменила потом свое название на «Молодость»; участие в так называемом обозрении (похожем на капустник и народившийся позднее КВН), репетиции и выступление октета под руководством Ады Якушевой и, позднее, Ирины

Олтаржевской и стихи, стихи — литфак! Наверное, это были те дрожжи, которые будоражили, заводили новые хлеба. Во всем этом мы принимали участие.

Занятия на кутках часто заканчивались очень поздно, ведь мы шли рисовать после лекций и семинаров, уже вечером. Часам к десяти-одиннадцати рассматривали и оценивали рисунки, акварели, масло — кто что работал, убирали краски, доски, доставали сахар, бутерброды, у кого что было. Михаил Максимович Кукунов не спешил домой, в коммунальную квартиру в доме в Обыденском переулке (дом этот он называл пирамидой Хеопса). Начинались разговоры, шутки, рассказы. Иногда, когда все уже собирались уходить, мы с Юрой оставались или на Парнасе (балкон, где расположилась студия), или на балконе напротив. Какие слова находились, какие темы!

И вот Однажды, глядя мне в глаза, Юра говорит:« Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай: далёко-далеко, на озере Чад, изысканный бродит жираф» Не знала, не знала я тогда Гумилева, не изучали его тогда на филфаке! Думала — вот какое чудо, глядя на меня, Юра сочинил. И показалось мне, что это я, я такая вся грустная, изысканная, и руки мои, в жизни совсем не тонкие, — тонкие и красивые.

Я влюбилась.

На лекциях мы часто сидели рядом, иногда писали записочки друг другу, сочиняли что-то в стихах. Он уже тогда писал стихи и рассказы, ездил на охоту, в далекие путешествия, вместе мы много бывали на выставках, в музеях, гуляли по улицам. С Лешей Мезиновым, нашим однокурсником, они начали писать фантастическую повесть «Суер-Выер, или Простреленный протез», первые главы которой были напечатаны в факультетской стенной газете. У газеты, протянувшейся на всю длину правой стены у входа в главный зал, всегда толпился народ — читали повести, рассказы, стихи, рассматривали рисунки, фотографии. Любимой книгой Юры в те голы была «Зависть» Ю. Олешн. В стихах Юры того времени, веселых, озорных и лирических, уже чувствовалась какая-то своя нота. Вот одно, шуточное, из посвященных мне, подпись под рисунком, на котором я была изображена весьма формально:

Снежинки наносные
Взметнулись стаями
И, севши на нос мне.
Устало таяли.
И таяли — плакали.
Грустит по-русски,
А в каждой капле
Смеялось по Розке.

Это стихотворение было написано тоже для меня, и я его очень люблю:

Водосточные трубы и медный рог.
Липовых листьев сугроб.
В лунном свете ботинок
Почти сапог,
Тротуар — почти чернотроп.
За седыми асфальтами городов
Есть пахучий туман и роса,
В опьяняющем мраке сосновых лесов
Зорче видят твои глаза.
И загадку заката легко разрешит
Белый камень у синей реки...
Видишь, дом в переулке стоит,

Как покинутый чуткий скит...
Длинные *тени, квелый свет*
Липой шуршит опалой...
Малый, ты тоже, небось, поэт?
Ты тоже дурак, малый!

Он любил дружеский круг, но в то же время искал уединения. Всегда готовый рассмеяться, пошутить, искренний и грубоватый, трогательно внимательный, когда любит, и безразличный, когда любовь уходит, легкий, веселый и печальный, умеющий дружить и ревнивый, несправедливый, помнящий все, уверенный в том, что способен на многое, и всегда сомневающийся «Ты одна знаешь, что я бездарен, как забор», — писал он мне в письме, зная, что мне нравится все, что он делает.

Я помню свой восторг от фестиваля молодежи в 1957 году, как мне было интересно видеть .людей из разных стран мира. Каково же было мое удивление, когда я получила письмо от Юры, где он писал мне: «Фестиваль наконец кончился и начались грибы!».

Уже тогда его внутренний мир был определен. Суета, светская жизнь — это его не волновало. Природа Она захватывала его целиком, делала его зорким, чувствующим, свободным. Хотя были друзья, которых он искренне любил, девушки, которые любили его, и он вспыхивал, загорался, — он часто желал уединения. И был сам по себе.

С тех пор прошли годы и годы. Он стал писателем. Он стал художником. Он стал сценаристом замечательных мультфильмов. Он снимался в кино. Он писал песни. Он их пел, как никто другой. О его книгах написаны статьи. На кафедре русской .литературы XX века, в стенах его родного МГПИ (который теперь называется МПГУ), С. А. Веднева в 1999 году защитила диссертацию «Стилевые особенности прозы Юрия Коваля».

Но может быть, его первые строки, написанные тогда, в 1957-м, в письмах ко мне в виде дневников, отчасти дадут ответ на вопрос, на который вообще-то не бывает точного ответа: «Как все начиналось?»

Небольшого размера записная книжка, на которой вытиснено: «Делегату XXIV комсомольской конференции. МАИ. 1956». Сверху рукой Ю. Коваля написано: «Розе»

***

1957 год
31 марта
День золотых лаптей.

Ночью, во сне гудели нервные перетруженные ноги. В правой что-то сильно рвануло и треснуло. От дикой боли я взвыл.

На реке, вероятно, трещал, вздуваясь, лед Утро оранжевых троллейбусов.

От недосыпу и серебряного залитого солнцем асфальта в глазах золотые круги и звезды. Еще спят северные розы... Бегу... Поезд. Паровик. Кряхтит.

В вагоне поздние лыжники мажут жидкой мазью стертые лыжатины. Один, в очках, сказал девушке с зеркальными глазами заветное слово: «Консистенция». Это он про погоду и про лыжную мазь. Я смеюсь в Виталия Бианки. Он заметил и холодно взглянул на мою ногу, которая вся лежит на лавке. Она побаливает... За окном торчат мундштуки дымных заводских труб. Дорохове

Я вываливаюсь из вагона. Дребезжу и взбрыкиваю ноющей ногой. Растаптываю и разбрасываю по лужам звенящие льдиночки. Солнце шпарит. Солнце делает людей красивыми и честными. Радостно и розыстно. Ты уже встала, там, на востоке.

Вон за той избушкой стрелочника, вон за тем синим лесом, звенит и ласкает глазами высокое небо... Роза северных ветров. Подруга солнечных зайчиков, заря тягостной для меня Москвы...

Сажусь в автобус, красный и замызганный грязной водой. Фыркая и дергаясь назад, автобус несется по коричневому неумытому ремню шоссе. Голубоглазая женщина смеется над москвичами и называет себя «мешошницей». Мне смешно на нее смотреть...

Меня встречают мои. Оба помолодели и подтянулись. Отец выглядит молодым стройным мужчиной-фертом. У мамы радостное лицо, и не поймешь, не то у нее загар, не то такие частые золотые веснушки. Я перестаю хромать. Идем лимонной от яркого солнца аллеей...

Перехожу покрытую еще желтым .льдом Москву-реку. Лед надо льдом сантиметров пять вода, а над ней закрепляющий ледок-снежок. Иду, брызгаюсь из-под ноги в солнце. Лед еще толстый, сантиметров 70. Рыбаки колдуют на лунках. Шьют. Но берет мелочь: плотвишка, ерш, подлещишко, в роще пишу 10-минугный этюд... Просыпаюсь. Мама уехала в далекую Москву, где играет музыка, которая здесь уже звучит по-другому, чувствуется, что она далекая. В кудлатую синеву ночи я не пошел.

I *апреля*

День моих «успехов» в живописи и торопливой солнечной капели. Утром хрустит и звенит ломающийся солнечный ледок, днем начинает чавкать и вздыхать под ногами радужная слякоть.

Пошел на этюды с художником Ермаковым. У него нет белил. **И** вообще, никакого колорита в его работах не наблюдается. Но мажет...

Выбрал я сдуру довольно сложный композиционно видон и начал ляпать. В результате получился довольно гнусный этюд который я не замедлил уничтожить собственным локтем. Но ничего не могу, ничего не вижу, кроме зеленой ночной тьмы.

Белые нити бакшеевских берез влезают в небо, но там темно от звезд

Я ничего не могу, ничего не получается. Злюсь, но спокойно. Спокойно злюсь и, вдруг — совсем не злюсь, потому что одна капля замерзла, падая с крыши. Спокойной ночи, Ро! Я сплю на еловых лапах.

2 апреля

Где же ты? Чистая и прекрасная весенняя вода Красавица моя, почему лес и река, покрытая лужами, пахнут твоими губами и звездами...

Я сижу на обнаженном правом берегу, левый еще одет, но уже лопается белизна там, где пуговицы-строчки человечьих следов. Прозрачные наледи-лывы отражают куски летнего сухого сосняка.

Наледи-лывы, — так называются весенние лужи на оливковом льду.

Я не знаю названия двум своим чувствам... Вон прямо подо мной сидит рыболов над лункой, похожей на человеческий след Вот, вот. Эх, Ро!

А я сижу над этим блокнотиком.

Сегодня видел божью коровку. Она ползала по березе и по моему пальцу. И мне вдруг страшно захотелось, чтоб она поползла по бархату черному и по... Но она вдруг улетела, а пацан Петька, что сидел на березе, сказал: «Прилетит обратно». И она действительно вернулась, но на палец уже не села, а села на жухлую травинку.

Эх, пацан Петька, пацан Петька. Он зазвал меня на березу. И я весь искарябался, пока залез. А потом пришла собака Джони и улеглась на мое пальто, которое я оставил под березой. Я спрыгнул и назвал Джони поганым кобелем, а Джони облизал всю мою руку, но с пальто не слез. Зато пацан Петька слез с березы и стал мерить Джонины уши. — Ну и уши у ней. Аж до глаз. Такая кусанет! Я достал конфету и дал половину Петьке, а половину Джони. В благодарность Джони залинялменя всего волосами. Пригревает солнце, холодит ветер мой затылок. Я щурюсь на противоположный берег, туда ушли пацан Петька и собака Джони, и

скоро пойду я рисовать... Сделал за сегодняшний день три этюда. Этюд — понятие относительное.

Был на том берегу. Там холодно, там тень от высоких сосен. Мотался по этому берегу, набирал грязи и воды в ботинки. Мне это нравится. Роза! Ро-за заря.

3 *апреля*

Первый облачный день. Равнодушные облака и интересная собака Дамка. Собака, которая умеет лазить по пожарной лестнице.

Хозяин ее, маляр, красил крышу, а она скулила и лезла к нему. Смогла долезть только до половины лестницы и застряла там. Ни назад, ни вперед. Отдыхающие стояли под лестницей и хохотали. Я хотел снять собаку, но она зарычала на меня и чуть не укусила. Сказал ей, что она дура. Потом приехали мама и Борька.

Маму я поцеловал, и Борька тоже полез целоваться, но с ним никто целоваться не стал, потому что даже еловые ветки выглядят детской щечкой по сравнению с его щетиной...

Мыс мамой гуляли и говорили обо всем и о тебе... Писал закат...

Как убог мой язык. Почему я не могу сказать самого важного и самого основного. Почему я не могу сказать, что для меня ты.

Заводские трубы и дым похожи на кисточки для бритья. Любить сосну, можжевельник, любоваться лесом, полем, рекой.

И чувствовать свое, понимаешь, свое сердце. Хочу говорить те слова, которые называют все... Когда я говорю слово «роза », оно не ты. Когда я пою себе это слово — оно ты. Когда мне говорят слово «роза» — меня передергивает. Я не могу слушать других о тебе. Любой барбос или божья коровка скажет о тебе больше и для меня. Роза. Роза.

Название алого бархатного бутона. Название колючего приземистого куста или тонконогой **и** большеглазой еврейской девочки. Тебя, светлой, сероглазой, чернобархатной, северной: не могу вспомнить твоего лица сразу целиком.

Губы, потом нос, глаз нет. Не могу их вспомнить, не могу.

Их никогда не вспомнишь.

Снова к тому же закату.

Закат — это одно. Но ведь каждый раз разный. Так же глаза — одни. Десять минут назад они одни, сейчас другие. А когда мелькает в них что-то, что было, тепло становится мне тут. Но не нужно писать и говорить, все равно не могу. Днем еще ничего, но вечер без тебя...

4 апреля

Наломали с Борькой вербы. Много, много... Я залез на нее и ломал коричневые ветки, а Борька сортировал сережки.

Я написал этюд на большом картоне. Мамочки...

Такое безобразие! Но стереть — не решился, уж очень много краски в него всадил,

Никогда, никогда я больше не возьму в руки палитру. Это раз и навсегда. Все. Но какого парня мы встретили, когда спускались с холма.

Стоит под деревом веснущатый колобок в валенках. Вертит в руках сопливую шрушку. — Здорово, орел! Орел-колобок! Ро! Я тоже орел-колобок.

Завтра пятница Завтра я увижу тебя. Мы выезжаем на день раньше. Одень завтра бархотку, я принесу тебе вербы и красных сережек.

Я — орел-колобок. И я люблю, люблю все! Верб)', желтый лед зеленые полыньи, далекий лес, весеннюю грязь. Ты не представляешь, какой я грязный. Я вымазан краской, грязью, собачатиной, елкой, вербой, смолой, известняком, глиной, травой и, наконец, солнцем. Но солнцем меньше всего, кажется. А впрочем, черт знает. Я вымазан весной и лесом...

И пусть весна и лес — это грязь — какая ерунда! Весна и лес — солнце и ты.

Ты и солнце.

Ты — солнце.
Весна и лес • — ты и я.
Я и ты — солнце. Люблю-у.
Лю блю-у. .люблю весну, солнце и тебя. А еще люблю божьих коровок.
А еще люблю барбосов.
С мокрым носом.
А у солнца нос мокрый?
У весны мокрый.
Солнце, барбосы, весна, я и ты!
Ура!!!!

На этом заканчивается этот маленький дневник-письмо. Нам было по девятнадцать лет.

С 1957-го по 1995-й — большой срок, целая жизнь. Но вот я получила письмо от Юры через год после его смерти, мне передала его Наташа Коваль, жена. Оно написано в ночь на первое апреля 1995 года.

В это время он уже закончил свою последнюю книгу — «Суер-Выер», но она еще не была издана.

Он волновался, трепетал, сомневался и в то же время был полон уверенности, что написал яркую вещь.

Вот отрывок из его письма:

> Роз! Пишу тебе, потому что не могу заснуть и, пожалуй, только с тобой могу сейчас поговорить. Вчера ночью написал 10 (во мужик!) стихотворений. И утром, не перечитывая, их сжег.
>
> Одно, посвященное Белову, все-таки сохранил. Оно идиотское, вот почему и нравится мне. Я тебе ею сейчас для смеху напишу:
>
> Друзья в Париже или в Штатах,
> Лишь только мы с тобой, мой Друг,
> Сидим в своих больных халатах
> Среди своих больных двух Ух.
>
> Извини, конечно, не Ахматова, но Тарковский бы смеялся над последней строчкой. Пытаюсь о нем писать, но нужно огромное очищение, чтоб получилось, как надо, Да Роза Андреевна, придумал я себе адресата но одно-то письмо ты выдержишь.
>
> Я знаю, что еще один человек сидит так, как я, на кухне и не может заснуть. Это Белла Ахатовна. Она пишет предисловие к моему «Суеру-Выеру».
>
> Ты ее не знаешь, но поверь мне, что это один из честнейших и умнейших людей на Земле. Лучшего читателя у меня не бывало (разве ты?).
>
> В «Суере» есть маленькое посвящение тебе (внутри), но я хочу, чтоб ты сама на него случайно наткнулась. И посмеялась. В мире все смешно, даже вот эта моя дикая бессонница. О «Суере» вы, мои любимые друзья, судите как-то поверхностно. Роза! Ты не можешь себе представить, как я жду выхода «Суера», как мне хочется, чтоб он попал в руки великим и просвещенным читателя. Даже Юлик, чудак, роман не осознает, хотя я ему многое читал.
>
> Роз! Мне кажется, что я написал вещь, равную Бог знает кому, но это, конечно, только Богу известно. Хотя я писал для себя, я себя веселил валял дурака, хулиганил, как хотел Но, Роз, писать роман 40 лет — это, брат,..

Этот восторг перед миром, белым светом, чудом природы Юра сумел выразить в своих книгах, картинах, деревянных скульптурах. Как ни боялся — «как убог мой язык!»

«Я хотел бы быть талантливым, как Лемпорт, Силур и Силис», писал он мне в письме в конце лета 1957 года. Мощные скульпторы, с которыми мы были знакомы в институтские годы. Для Юры они были учителями в искусстве.

Но вот что сказал Владимир Лемпорт на вечере, посвященном Ковалю, в годовщину его смерти: «Коваль любил петь и пел, как фавн, его пение поражало всех, но Коваль не был певцом, он был художником-изобретателем. Живопись, графика, керамика, эмаль. — он делал невероятно красивые религиозные росписи горячей эмалью по металлу, он любил лепить. Но его узкой специальностью, которую он любил менее всего, была литература, и она была самая талантливая. Так кто же он был — певец, скульптор, художник, писатель? Он был гений».

Опубликовано в журнале «Знамя », 2004, № 12

Юрины песни

Юра Коваль любил петь. Можно сказать, что он делал это с упоением. Пение его было ярко окрашенным, контраст при исполнении разных песен был велик.

Песни, по-моему, были существенной стороной его жизни. Он совершенно менялся вместе с песней, он впадал в песню, как в реку, и — вот уже и лицо другое, и глаза, и руки — он плыл в волнах, плыл.

Первой песней, которую я услышала от Юры, была народная: «Сронила колечко... ». Было это осенью 1957года на балконе третьего этажа, около дверцы, ведущей на курсы рисования. Был поздний вечер, стеклянный потолок главного здания давно засинел, загустел, погасли почти все огни, освещающие главный зал. Голос Юркин как-то истончался, затуманивался. Так и видится — девушка в платочке у околицы, вместо слез — песня. Чистый звук, грусть — тоска — любовь.

Это было удивительно, услышать такую песню от парня, который всего несколько часов назад первым вставал, едва заканчивалась лекция, и грубым голосом, обращаясь к Сане Колоскову, бросал: «Санек, пошли пиво пить!»

Замечательно пел он городской романс, так называемые блатные песни и то, что теперь называется «шансон», деревенские песни, которые, как известно, свои в каждой деревне. «Когда мне было лет семнадцать — ходил я в Грешнево гулять...», «Нас угнали, нас угнали, нас угнали далеко, где немецкие снаряды роют землю глубоко...»

Как опытный режиссер-модернист, он заменял слова, вставлял совершенно неожиданное в знакомый уже припев, снижал пафос, поражал новым попоротом сюжета, вставлял имена сидящих рядом друзей в сомнительную ситуацию песни. Бесстрастность деревенского гармониста, лихость, бесшабашность, озорство в глазах, улыбке, в плечах.

Часто его просили те, кто уже слышал: «Юрк, спой «Как на Львовском на базаре».

Как на Львовском на базаре
Шум и тарарам,
Продают там всё, что надо,
Барахло и хлам,
Есть *газеты, семечки каленые.*
Сигареты, а кому лимон?
Есть вода, холодная вода,
Пейте воду, воду, господа!

Бабы, тряпки, магазины,
Толпами народ,
Бабы, тряпки и корзины
Заняли *проход.*
И съестного тут начало,
Что ни шаг — буфет
Так сказать, насчет съестного
недостатка нет.

Вдруг на рынке крик раздался:
— Ой! Аэроплан!
Кто-то где-то постарался,
Вывернул карман
Ой, ратуйте, граждане хорошие,
Из кармана вытащили гроши...
— Так тебе и надо,
Не будь такой болван,

Нечего тебе глядеть на эроплан!

Здесь и господа, и граждане, и отдельно — бабы, и резонер в конце, наверное местный милиционер, и особенность южного города — воду продают. Превращался Юра и в бесстрастного рассказчика, и в барыгу, и в бабу...

Было это очень интересно, ведь никогда раньше я не слышала такил куплетов, да и наши однокурсники, думаю, впервые погрузились в атмосферу львовского рынка.

Откуда их взял Юра, где услышал? Хотя в послевоенных московских дворах можно было еще и не такое услышать, особенно мальчишкам. А может быть, отец Юры — Иосиф Яковлевич Коваль — рассказывал ему, что слышал. Работал он в МУРе Московской области в послевоенные годы. Потом эти интонации и невероятные картинки аукнулись и откликнулись в «Приключениях Васи Куролесова» и «Пяти похищенных монахах».

И все-таки, как все это совместить, такой разброс — от народной песни, Вертинского до блатных, «шансона», песен деревенского гулянья? Это, конечно, чувство слова, любовь к слову, которые так явно и ярко сверкали у мальчишек нашего педагогического, особенно у филологов — и у Петра Фоменко, и у Юры Ряшенцева, и у Эрика Красновско го, и у Юлика Кима, и у Леши Мезинова, и у Бори Вахнюка, и, конечно, у Юры Коваля.

А все это понял, выразил эту нашу любовь навсегда (простите мой пафос) Юлий Ким в стихотворении, посвященном Миле Херсонскому:

Все дело в русском языке,
Он наша родина и поприще,
И дом, и капище, и скопище
Нюансов, слишком тонких, чтоб еще
Нашлись такие вдалеке
А те, которые далече,
Нем живы в стороне чужой?
Не социальною средой,
Не воплощенною мечтой,
А лишь наличьем русской речи,
Внимаемой от встречи к встрече.
А тут на каждом на шагу —
Иной раз слышать не могу!

А вот Юра совсем другой, даже, может, это и не он — песни Вертинского:

На солнечном пляже в июле
В своих голубых пижамах,
Девчонка — звезда и шалунья,
Она меня сводит с ума.

И кто там был в «голубых пижамах» — уже неважно. Хотя... в этой мизансцене что-то есть: эти на пляже парятся в своих голубых пижамах, а вот и звезда-шалунья, идет сама по себе и сводит всех с ума. Прямо как дама с собачкой.

И глаза совсем другие — падающие в бездну, и расслабленный рот, и плечи, и руки живут другой жизнью.

Песни эти впервые спел он, когда мы собирались у Иры Олтаржевской в комнате, которую окрестили «голубой аквариум». Такой красивый голубой сверкающий фонарь неожиданным светом освещал комнату в доме архитектора Олтаржевского.

Песни, которые Юра сам написал, мы любили слушать. Их было несколько, одна из них дожила до нашего времени, а начал он ее петь в 1957 году, когда мы были на втором курсе истфила.

Одуванчик желтым был,
Сделался седым...

По его просьбе я придумала продолжение, но, думаю, не стоило этого делать. Эти два куплета никто из поющих не помнит, может быть, только Ира Олтаржевская, и то после первого куплета она начинает тревожно оглядываться на меня, мол, как там дальше?
Напишу всю песню, не удержусь:

Одуванчик желтым был —
Сделался седым.
Где моя краса-весна —
Растаяла как дым...

Ветерок вздохнул легко —
И седого нет.
От моей красы-весны
Только дымный след.

Я свою красу-весну
По следам найду,
Желтым одуванчиком
Те следы цветут...

Признаюсь, вторая и третья часть вяловатые, лишние. Все сказано в первой. Но так мне, видно, хотелось тогда, в пятьдесят седьмом году, чтобы нашел, нашел по следам...
Пел он реже, но с неизменным удовольствием песни, которые написал для кино. К фильму «Недопесок», «Марка страны Гонделупы», «Пограничный пес Алый».

В снегу не покину,
В лесу не оставлю,
На окошко лампу
Яркую поставлю...

Верилось в каждое слово.
Хотелось бы услышать этот голос, просто слушать, не раздумывая что, зачем, почему.

Октябрь 2007 года

Леонид Мезинов

Острова памяти

1955 год, пединститут им. Ленина, первая лекция... Я вижу, как какой-то парень в сером пиджачке, худощавый, кудластый, быстро поднимается по лестнице лекционного зала. В несколько прыжков незнакомец достигает вершины и, победно обозрев всех собравшихся крупными, немного выпуклыми глазами, приземляется рядом со мной. Мы знакомимся. Фамилия у быстроногого абитуриента оказывается звучной, энергичной и соответствующей его легкоатлетическим наклонностям — Коваль.

Выясняется также, что, помимо настольного тенниса, мы с Ковалем увлекаемся Ильфом и Петровым, и Джеромом, и Зощенко. Но в настоящий момент поглощены одной-единственной идеей — сбежать с лекции по педагогике и предаться всем удовольствиям привольной студенческой жизни, о которой так сладко мечталось в школе.

Не помню уж, куда мы сбегаем и чем)" предаемся. Возможно, в институтский круглый зал, где стоит стол для настольного тенниса. А может быть, гораздо дальше, на Новодсвичье кладбище, где на могиле Дениса Давыдова и откупориваем самую первую свою бутылочку «доброго вина». А может быть... Нет, не хочудодумывалъ, дорисовывать. Слишком зыбок и непрочен островок первого воспоминания о нем. Бросишь сверху одну только крупинку лжи весом в миллиграмм, и плавучий островок закачается и уйдет подводу.

А пока... Отчетливо вижу я, как, схваченные музой дальних странствий за горло (выражение наших любимых Ильфа и Петрова), мы дружно поднимаемся со скамейки и, полусогнувшись, трусим к выходу...

И кажется, тут же (на самом деле прошло не меньше двух-трех месяцев) возвращаемся... Снова садимся плечом к плечу... кладем посередине листок бумаги... «Стреляем» у кого-то из девчонок лишний карандашик. И один из нас, похрабрее, недрогнувшей рукой выводит на измятом обрывке рвущиеся изнутри, но тем не менее загадочные для самих авторов строки:

> *«Легкий бриз надувал паруса нашего фрегата. Мы шли на зюйд-зюйдвест. Может быть, это не был зюйд-зюйд-вест, но так говорил наш капитан* Джон *Суер-Выер, а мы верили нашему Суеру (Выеру)».*

Неожиданно, как гром небесный, взрывается под потолком звонок, мадам Френкель плотнее закутывается в свое одеяло, стихают неутомимые папуасские тулумбасы. Выгхо дим из дверей ленинской аудитории и останавливаемся между двух «главных скульптур нашего времени» — Сталина (слева) и Ленина (справа). Идет всего лишь пятьдесят пятый год, но в около статуйном воздухе все сильнее вихрятся сквознячки бесшабашных туристских песен, все острее ароматы студенческих капустников.

В те дни наш островок на Малой Пироговской — Большой зал, статуя Джозефа, полутемные лестницы — просто сотрясаются от перезвонов гитар.

> *Рассвет над соснами встает.*
> *Туман помет с реки.*
> *Друзья, пора идти в поход,*
> *Наденем рюкзаки.*

Слова В. Сурганова. *Здесь и далее кроме особо отмеченных — примечания составителя.*

Еще несколько шагов вглубь острова, и гитара нашей юности перескакивает с романтического на сатирический лад.

Комсомолка Лена,
Как в бою, в труде,
Стоя по колено
В ледяной воде,

Крепкою лопатой
Клала за троих
Со своей бригадой
Девушек простых.

Написанная на полном серьезе и тут же перелицованная в пародию, эта песня со временем стала шуточным институтским гимном. Ее исполняли и заслуженные институтские барды, и мы, новички. Пелась «Песнь о Лене» с горящими глазами и бледным вдохновенным лицом...

... Клала за троих
Со своей бригадой,
гадой,
гадой
Девушек простых!

Впрочем, было ли в те кружащие голову почти шестидесятые что-нибудь, чего мы не смогли бы вышутить или спародировать?

В далеком порту Дижоне
В харчевне с гнилым крыльцом
Старый морской волк Джонни
Потягивает трубку и ром.

Слова Ю. Кима.

Где-то на другом конце нашего острова — совсем рядышком, за колоннами, рукой подать — легкий бриз Надувает паруса романтическо-юмористической поэзии Юлика Кима. После окончания института он уплывет на далекую Камчатку, разъедутся в Сибирь, на Алтай, Дальний Восток другие наши выпускники... Коваль отправится учительствовать в Татарию... Из МГПИ не распределяли в столичные центры. Вот почему «муза дальних странствий» постоянно парит в воздухе моей памяти.

Благосклонно созерцает она из своих заоблачных высот притихшего Коваля, переписывающего прямо на лекции где-то раздобытых Гумилева и Киплинга. Баллада «Мэри Глостер» и «Жираф» ложатся рядом с несколькими листочками Суера «Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд...» «У Малого Патерностера спит она в синей воде».
И вдруг в лирико-балладный строй врывается нечто ерническое и созвучное нам!

Сидела птичка на лугу,
Подкралась к ней корова.
Ухватила за ногу —
Птичка, будь здорова!

Андрей Сергеевич Некрасов, «Приключения капитана Врунгеля». Мы упиваемся крепким грогом этой дерзкой и веселой книги, хлещем се по строчкам, смакуем по словечкам. Но яхта «Беда» уже в пути, и мы кидаемся вдогонку за ее пенным следом, в надежде догнать...

... И оказываемся в открытом море импровизации! Перегнувшись за борт, малюем на нем название корабля — «Корапь» и устремляемся дальше... Морские команды на ходу

«подбрасывает» нам чеховский подгулявший на свадьбе адмирал. Грот-фок на гитовы, скрипит ватерлиния, как очумелые носятся на палубе побратимы Дик Зеленая Кофта и Билл Рваный Жилет (мы с Ковалем), мадам Френкель (недурная собой однокурсница Лена Френкель) зябко кутается в свое одеяло.

Все они ужасно суетятся, рубят мачты, спускаются в лодки, лаже сушат весла, хотя шторм все-таки проходит мимо. Зато теперь на траверзе фрегата появляется пиратская галера «Тарас Шевченко» с эфиопом Яшкой, главным махалой-опахалыщиком (явным прообразом лоцмана Кац мана) и уймой «юных, но уже обнаженных пленниц» на борту. Этот эпизод — один из важнейших в саге (так был первоначально обозначен жанр Пергамента), поскольку именно в этот момент...

«...На палубе полусонного фрегата нарисовались контуры бодрствующего Суера.
— Ты чего орешь?— дипломатично осведомился Выер и трубно высморкался за борт».

Остановимся и мы на минутку. Невозмутимый, плотный как монолит, с традиционной трубкой в зубах, возвышается главный герой саги посреди острова моей памяти. Неужели обаятельный капитан Суер-Выер — главная скульптура нашего времени, И. В. Сталин? Читателю Пергамента вряд ли в это поверится. И все же...

«Свистать всех наверх — послышался из кают-компании бас всевидящего и всезнающего Суера».

И еще...

«Закуривайте, товарищ Френкель, — сказал Суер, расстегивая стальную ширинку портсигара, — закуривайте, не стесняйтесь...»

Лекция сменяется лекцией, зачетная сессия перерастает в экзаменационную, когда мы наконец подводим свой «Корапь» к острову Каннибалов.

— Сверху, — снисходительно поглядывая на суетящегося внизу лектора, изрекает Коваль, — этот остров напоминал небритую подмышку молодого оранга.

Есть остров! Примерно с полминуты мы дико гримасничаем — так, надо полагать, выглядит со стороны наш самодовольный смех. Затем я записываю на очередном бумажном обрывке.

«Такие уж у него были индивидуальные формы вулканического образования».

Пройдет немало лет, прежде чем морские вулканы создадут новые пергаментные острова и их индивидуальные формы пышно расцветут и сливовыми розами, и пальмами с произрастающими на них иксами и игреками. Но пока остров Каннибалов один единственный и его украшает весьма скромненькая океаническая флора.

«Кокосовые пальмы финиковые абрикосы, вечнозеленые крокодилы, пупырчатые нежинские огурчики под водочку — все переплеталось в этом банановo-лимонном Сингапуре...
Тулумбасы гудели».

... Понадобились-таки остатки наших школьных познаний в географии! Задвигаем в эпиграф последние из них — «остров есть часть суши, с четырех сторон...» — и наконец-то отпускаем на волю собственную «Песню Джунглей», правда, пока в прозе, а не в стихах.

«Экспедиция продвигалась внутрь чрева джунглей, огибая запах боржомистых болот, сладко поллюционирующих спелой мочой суглинков».

Неудивительно, что плавучий островок моей памяти выносит на фарватер нашего повествования (невольно написалось в стиле старого Суера) именно эту заковыристую фразу — ведь мы убили на нее больше академического часа. Гораздо меньшим потом дастся, например, такая:

« Внезапно в стуке трудолюбивых кулаков разместился вопль, качественно от других отличный».

Чем дальше продвигается вглубь острова Каннибалов первая экспедиция Суера, тем шкодливее становится наша муза. Озорничая и ерничая, она — прямо на ходу — принимается перекраивать творения коллег по перу, среди которых, надо сказать, попадаются довольно-таки заметные имена. Гак, свой скромный вклад в описание острова Каннибалов делает К. Г. Паустовский.

«В *зарослях малины плакали и хохотали шакалы» («Колхида»).*

В этой фразе нам принадлежит всего два слова: «малины» и «хохотали». Именно два слова... но посмотрите, читатель, посмотрите, как заиграла от них фраза!

Наша муза, как правило, не пытается утаивать «похищенное». Особенно, если «хитим» (выражение Коваля) у классика и гордости отечественной литературы.

«Спит эфиоп Яшка, и снится ему: что он не Яшка, а Степан.

А мадам Френкель рядышком ходит, орешки грызет.

—А *орешки-то, какие, грецкие или фундук? — спрашивает не то Яшка, не то Степан.*

—Фундук, — хихикнули мадам Френкель.

—Фундук! — зарева над самым ухом Суер.

—Фундук! — пискнул невесть откуда взявшийся Гоголь и тут же пропал.

«Опять проклятый Гоголь всю ночь глаз не дал сомкнуть», — подумал Яшка и проснулся...»

... Уже не месяцы, а годы протекают-пробегают пол сводами Большого зала, откуда вынесен прототип Суера, а несколько позднее и второй монумент, так и не попавший в персонажи «Простреленного протеза» (таково первое название «Суера», похищенное у Стивенсона с его одноногим пиратом Сильвером). Легкий бриз по-прежнему надувает паруса нашего фрегата, мы все еще плаваем на лекциях (и, увы, на экзаменах), хотя сами не знаем, куда плывем, что, в сущности, пытаемся сказать своей сагой миру. Ведь и похищенный протез, в честь которого названо произведение, еще не вынесен на авансцену и никем не прострелен.

А «госы» все ближе... И вот уже диплом и распределение. Мы расстаемся: правда, только на время, чтобы еще не раз, не два встретиться. Не догадываясь, разумеется, что придет время, и известный детский писатель Коваль вернется к нашему студенческому рукописному трепу, выстроит, вылепит из него целый собственный мир — таинственный и переливающийся всеми блестками его ума и таланта.

... Блуждания по островам памяти в конце концов приводят меня на Пироговку, дом I. Миную полукруглый вестибюль, прохожу сводчатую арку, вступаю в Большой зал Вспоминаю, как описывает его Юрка в своей автобиографической повести «От Красных ворот» ...

«Прохлада и простор — вот какие слова приходят на ум, когда вспоминаю Главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок, здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом духе этого зала, и только особенный пасмурно-серебряный свет, заливающий его пространство, подчеркивал северность этого храма науки.

А на галереях, усложненных пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было еще много сводов, а под сводами этими... Боже! Чего только не бывало пол этими сводами! Какие вдохновенные лики горели на галереях и балюстрадах и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени...»

В институте, однако, пустовато — день близится к концу, студенты расходятся по домам. «Ясный и трезвый» свет Большого зала постепенно меркнет под потолком. Некоторое время я стою, всматриваясь в сгущающиеся тени, вслушиваясь в набегающие из углов шорохи. Нет, не слышно родных голосов, звона знакомых гитар. Только где-то там, в пасмурно-серебристом поднебесье, бьется их живое, веселое эхо. Даже как будто некоторые слова — неужели «грот-фок на гитовы»? — различаются.

— Грот-фок на гитовы! — невольно повторяю я вместе с эхом Большого зала.

Я шепчу эти слова и ему, Ковалю, и всем вдруг ушедшим, уплывшим куда-то друзьям. И тем, кто остался, кто, к счастью, здесь, всегда рядышком, говорю, почти кричу:

— Грот-фок на гитовы, ребята! Грот-фок на гитовы...

1996 год. Остров Кучина

Ирина Коваленко (Батрак)

Гусиные пятницы

С Юрой Ковалем я познакомилась в 1958 году, когда переехала из Иркутска в Москву и меня зачислили на третий курс историко-филологического факультета МГПИ. Я попала в группу, где он учился, и первое, что услышала, было горделивое сообщение о том, что в нашей группе учится Коваль — парень хоть куда: красивый, умный, бард, влюблен в одну девушку по уши. По-моему, его знал весь курс — да и весь институт. Он был компанейский, улыбчивый, остроумный. Но чем больше я его наблюдала, тем яснее мне становилось, что в душе его — печаль. Его глаза не смеялись, когда он смеялся.

Я быстро освоилась в группе, и на четвертом курсе в моей комнате в коммуналке мы устраивали «гусиные пятницы»: вскладчину покупали гуся, бабушка моя его жарила, а мы, человек шесть семь, устраивали застолье. Среди нас всегда был Коваль с гитарой. После двух-трех рюмок водки он пел свои песни. Слова вроде были приличные, но некоторые звукосочетания вызывали хохот: вот еще одна буква — и кошмар. Но он этого не позволял. Моя бабушка, сидевшая шесть лет в ГУЛАГе, так и не научилась различать мат — она с умилением слушала песни Юры, а когда все расходились по домам, говорила мне: «Какой талантливый юноша: столько иностранных языков знает!» Я ему об этом рассказала, и он специально приходил спеть моей бабушке несколько романсов, но уже без намеков.

Вспоминаю один эпизод. Накануне выпускных экзаменов мы с Ковалем гуляли по Садовому кольцу. На Садово-Кудринской во дворе дома-музея Л П. Чехова жила моя подруга Галя Угрюмова. Мы зашли к ней. Была Масленица, и ее мама напекла блинов, накрыла красивый стол, как было принято в этой интеллигентной семье: серебро, хрусталь, красная игра, семга, вкусное вино. Родители Гали, интеллигенты, каких в советское время не часто встретишь, изящно взяли вилку и нож, приготовились резать блины. Вдруг Юра схватил блин руками и стал есть с таким смаком, что мы все тоже побросали вилки и стали откусывать вкуснейшие кусочки. Всем было весело. Неожиданно Юра посерьезнел, сел за пианино и заиграл «Лунную сонату». Мы онемели — нам в голову не приходило, что, кроме гитары, он превосходно играет на фортепьяно. Долго мы вспоминали об этом вечере, и Коваль смущался, слушая мои восторги.

Я не **могу** вспомнить, что нас сдружило, но мы часто встречались, говорили 0 жизни, о стихах — обо всем. Он меня выручал, когда в институте у меня были проблемы и надо было успокоить бабушку. На экзамене по философии я от страха перепутала имя профессора и вместо Клиазара назвала его Ихтиозавром, за что схлопотала двойку и очень боялась сказать о ней бабушке. Коваль пришел с бутылкой коньяка (мы жили недалеко друг от друга) и уладил дело.

Но и я однажды решила его спасти: мы сдавали экзамен по методике преподавания не помню чего, я получила четверку, а Юра ничегошеньки не знал. Мы договорились, что я залезу пол стол, накрытый длинной скатертью, и, пользуясь глухотой старушки-преподавательницы, буду по учебнику ему читать, а он — повторять. Поначалу все шло прекрасно: я читала, а он с выражением на лице повторял, иногда приказывая: «Говори медленнее». Но вдруг старушка решила размять затекшие ноги и пнула меня. Я взвизгнула — Коваль, посрамленный, получил двойку. Нас обоих выгнали из аудитории, мы купили коньяку и приехали ко мне. На этот раз моя бабушка была снисходительна к двойке, упрекала меня: из-за меня пострадал этот интеллигентный мальчик

Я бывала у него в мастерской, которая размещалась в каком-то сарае; он рассказывал о сюжетах своих картин и показывал некоторые этюды. У меня дома он красил книжные полки и с уважением говорил о моей библиотеке, тогда не очень большой.

Его любили все — да иначе и быть не могло. Разносторонне талантливый, он не был снобом, умел ценить дарования других.

Потом у него родилась дочка Юлечка. Он ее очень любил. Время от времени мы встречались. Помню, когда моей дочке было примерно полгода, мы гуляли на Чистых прудах. Юлечка (ей было, наверное, голика два) смешно ковыляла впереди, а мы с Юрой вместе катили коляску с моей дочкой; он говорит: «Смотри, Юля — вылитый Коваль, только девочка». Прохожие, думая, что мы — молодая счастливая семья с двумя детьми, нам улыбались.
Последний раз мы встретились у моей однокурсницы Гали Григорьевой в начале 1980-х. Она пригласила меня к себе поболтать. Я пришла — а там Коваль. Мне не забыть этого вечера. Мы вспоминали былое; он пел — весь вечер пел. И был грустный... Позже, в 1998 году, на выставке его творчества на Крымском Валу, я была потрясена многогранностью его таланта и горько сожалела, что слишком поздно об этом узнала. Я буду всегда его помнить.

Октябрь 2007 года

Юрий Ряшенцев

Человек эпохи Возрождения

Одно из самых сильных художестве иных впечатлений шестидесятых годов — исполнение Юрием Ковалем и Юлием Кимом песни «Когда мне было лет семнадцать...». Оба молодые Оба — с гитарами. Начинают эпически:

Ой, когда мне было лет семнадцать,
ходил я в Грешнево гулять.

И тут Юлик, изображая гармошку, тоненько, лирически выводит: та-ри-ра-ра. нечто вроде проигрыша, как бы успокаивая слушателей, что ничего не предвещает той трагической истории, которая приключилась с героем этой песни.

Голос Коваля сразу же взмывает, обнажая жуткую коллизию этого произведения:

Не раз меня оттуда гна...
... гнали —

подхватывает Ким. И оба вместе заканчивают строфу, вобравшую в себя гигантскую информацию и о возрасте персонажа, и о месте события, и о сути приключившегося конфликта, и, наконец, о роковом легкомысленном отношении к нему героя:

Я все за шутку принимал.

События развиваются не спеша.

Вот в один прекрасный майский вечер (как сегодня)
иду с товарищем гулять.
Иду, играю на гармошке,
товарищ песенки поет

Экспозиция закончена. Начинаются события.

И вот заходим в грешневску избушку.
Девчата все кругом сидят.
А на краю сидит косая (сам не знаю)...

И вот оно центральное явление, из-за которого все дальнейшее и случилось:

А рядом хорошая моя!

Теперь события развиваются с невероятной быстротой:

Вот один здоровый парень бравый ...

Здесь полагалось назвать имя кого-либо из присутствующих слушателей песни. И я с ужасом слышу, как Коваль называет имя уважаемого всеми мэтра, сосредоточенно и с удовольствием слушающего пение. Причем Юрка явно не планировал этого заранее, а просто взгляд так упал, на легендарного поэта, а из песни слова не выкинешь:

Вот один здоровый парень бравый, Борька Слуцкий,
берет меня за шиврота.

Ни один мускул на скульптурном лице Бориса Абрамовича не дрогнул. Он весь во власти этой трагической среднерусской баллады, привезенной Ковалем из его странствий, а скорее всего, им самим и сочиненной.

Берет, выводит на средину,
в руке блеснул большой кинжал.
Ох...

Теперь все будет начинаться с этого печального вздоха.

Ох, он размахнулся и ударил
и угадал мне в левый бок.
В моих глазенках помутилось,
и я упал на грязный пол.

Вот эти «глазенки», произнесенные с такой глубокой нежностью к самому себе, к несчастной своей жизни, загубленной любовью, — это такое безошибочное угадывание народного характера. И каков точный и скупой эпитет: грязный пол.
Дальше события несутся и приобретают сюрреалистический характер:

Ох, вот теща лошадь запрягает (кверху дышлом),
в больницу хочет везть меня.
Больница «Красный холм» далече.
Среди дороги номер я.

Вот ведь что: у героя, оказывается, и теща была. Стало быть, он женат! Стало быть, мы имеем дело с гибелью из-за роковой страсти! Но что уж теперь — о страсти, когда дело до могилы дошло.

Ох, *вот на Ипатьевском погосте*
могилу роют для меня.
Могилу широку да глубо-оку,
и похоронят в ней меня

И так себя жалко, что отсутствие рифмы, наблюдаемое во всей песне, тут попросту переходит в повторение одного и того же слова в конце строки, столь характерное для самодеятельных стихов. Но жалость не мешает точности адреса могилы: на Ипатьевском погосте.
На этих строчках певцы доходили до полного изнеможения, оря их во все горло, до красного лица, пугающего окружающих своим предынфарктным цветом.
И вот финал.

Ох, конец, конец веселой песне, петь кончаю.
Спасибо, кто пел и запевал.
Ох, конец, конец веселой песне, петь кончаю.
Спасибо дяде Юре за игру!

Песня-то, оказывается, была «веселая». Как вся наша жизнь... Великая баллада!

Коваля я впервые увидел все в том же литературном объединении. Юра тогда, как и многие из нас, увлекался Хармсом, но, в отличие от других, «переболел» обэриутами и пошел дальше, взяв от них все, что можно: причудливую образность, ироничность. Талантливые люди талантливы во всем. Это прежде всего относится к Ковалю. Он был талантлив во многом: от малого тенниса до большой литературы. Коваль олицетворяет институтское творчество той поры — не кабинетное, не отъединенное от жизни, а естественно вырастающее из нее. Наши девушки считали его красавцем, а мне он всегда казался невыразимо обаятельным. В нем было гусарское начало. И хотя обычно песню про гусар, которую они исполняли с Кимом, он адресовал мне и Илюшке Суслову, выпускнику Полиграфического, позднее создателю клуба «12 стульев» в «Литературной газете» (мы с ним работали в «Юности»), Коваль сам был настоящим гусаром, непосредственным, азартным.

В прозе и особенно в последнем романе «Суер-Выер» Юрий Коваль узнается сразу по какой-то фирменной игре, когда простое изменение грамматической формы заставляет нас понять о человеке и об обстановке больше, чем если бы он долго говорил. Посмотрите, как роскошно и аристократично: «Он пил свой утренний... пиво». Мужской род как и положено «кофе», все и ждут кофе, и вдруг — пиво. Это Коваль, его секрет, и таких фирменных секретов масса, может быть, они и составляют самое прелестное, что есть в этой прекрасной прозе.

Первая фраза романа показательна. Это знаменитое уже «Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана» прежде всего поражает жуткой безвкусицей. Это же чудовищная красивость, это почти пошло. Так пишут пародии. Но Коваль очень хорошо знает, что он делает. Тут есть намек, загадка, которую разгадываешь не сразу, а на протяжении всей вещи...

Сразу это не воспринимается как плохой вкус, потому что дальше идет следующее: «Наш старый фрегат «Лавр Георгиевич» тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии». Об этой фразе, о принципах талантливого писателя можно писать диссертацию. Начиная с «Лавра Георгиевича». Конечно, мы плохо знаем свою историю и плохо помним, чье это имя. Единственный человек с этим именем-отчеством, которого я знаю, — генерал Корнилов. Вообще сама по себе эта игра с советской властью и советской историей — смешная, и опасная, и увлекательная.

Через несколько глав у Коваля перечисляются драгоценные камни: «великолепные алпаты, сапгиры и гайдары, чистейшей воды ахматы украшали серьгу боцмана. Матросы завороженно смотрели на это произведение искусства, слегка ослепленные блеском особо сверкающих розенталей». Только воспитанники Педагогического института имени Ленина, знают, что такое драгоценный камень розенталь. Это просто фамилия Сережки Розенталя, ныне замечательного певца Сергея Яковенко, который вот так нашел себе место на серьге боцмана Чугайло.

«Суер-Выер» мне кажется одной из лучших книг, написанных за огромный период времени. Это книга жизни Коваля, становившаяся более грустной и мудрой на протяжении всей жизни и в то же время остававшаяся смешной, озорной и какой-то невероятно хулиганской. Мне всегда казалось, что это Гоголь. Гоголь чистой воды.

Масштаб личности Коваля чувствуется в особенности после его ухода. Об этом надо обязательно говорить сегодня, как бы мы ни относились к нему — ласково, по дружески, со смехом.

Мне кажется, Юра Коваль унаследовал хорошую традицию многих русских гениев брать от жизни все, что она предлагает ему, и не проходить мимо никаких радостей. Были ли это девушки, настольный теннис, споры об искусстве или запьянцовские компании — он всему очень бурно радовался, и про него совершенно нельзя было сказать, что он не от мира сего, что он художник, который где-то витает. Он очень хорошо чувствовал жизнь, для него не было барьера между проявлениями жизни и творчества. Это первое, что бросалось в глаза.

При абсолютно трезвом взгляде на вещи, при полном отсутствии прекраснодушия, в нем была совершенно беспечная веселость, всегдашняя готовность смеяться. Поразительная вещь, и практически сейчас не наблюдаемая, потому что остроумие, присущее Ковалю и его друзьям, вдруг заменилось в обществе унылым, с моей точки зрения, стебом. Почему так произошло? Почему так произошло во время, которое значительно легче? Нет ответа.

Интересно, почему страшное время рождает таких веселых беспечных людей, такое количество этих людей, какое никогда не родит время менее страшное? Ведь еще пятидесятые годы, в которые мы учились, были временем страшноватым, а родился Коваль просто в тридцать восьмом. Откуда эта вольная беспечность и совершенное нежелание принимать то, что, в общем-то, и смерть ходила рядом?

Я где-то читал, что человек эпохи Возрождения отличался тем, что обладал массой умений, и сразу вспомнил Коваля. Или он человек Возрождения, или к нам возвращаются эти умения. Ведь все, за что брался Коваль, даже пинг-понг, делалось талантливо. В этом смысле он для меня совершенный человек эпохи Возрождения.

Зощенко писал, что творчество есть сублимация пола. Я прочел и про себя засмеялся, потому что сразу вспомнил Коваля и представил, что, например, его творческие устремления нисколько не уменьшали в нем пола. Все успевал. Не было превращения одной энергии в другую за счет потери той, первой. Сохранялись обе одновременно в очень ярких и мощных проявлениях. Когда я читаю о том, что искусство греховно, потому что оно чувственно, а основа искусства, безусловно, чувственность и, стало быть, уже по одному этому искусство греховно, я начинаю думать опять об этой фигуре, о Юрии Ковале, который был глубоко верующим человеком и человеком глубоко чувственным. И я думаю, что же такое грех и что такое чувственность? Не будь Коваля, мне было бы проще решить этот вопрос. Это человек-загадка, при абсолютном обаянии, при абсолютной своей открытости. Да и не скрывал ничего — достаточно посмотреть на это лицо, услышать этот смех, открытый смех в разговоре с людьми, по разительный, беззащитный... Вот у кого хорошо было брать интервью, потому что любой собеседник был гарантирован от лукавости.

Мне кажется, что на примере Коваля очень интересно решать еще одну проблему — проблему нравственности нового литературного поколения. Я не представляю Коваля, сводящего счеты с отцами, в то время как целое .литературное поколение выросло на том, чтобы свести счеты с шестидесятниками. Главная их мысль: «Ну когда вы уйдете, вы нам надоели ». И когда шестидесятники начали ухолить, выяснилось, что говорить больше не о чем, сражаться не с кем. Я не представляю Коваля, который завидовал бы, например, Михалкову. И мне кажется, что он в этом смысле символ поколения, которое было совершенно свободно от борьбы за славу.

Всем читателям этой книги о Ковале мне хочется пожелать, чтобы среди ваших друзей был такой щедрый и талантливый человек, в мире которого, в мире, который он создал, вы бы что-то значили. Хотя бы простым упоминанием в прозе, так, как значили что-то для Юры мои друзья. Мы имеем в жизни одну серьезную функцию — мы его помним живого. Конечно, его книги мощно говорят за него сами, но люди, которые не видели его, будут знать о нем от нас, от тех, в чьей жизни было это огромное счастье — Юрка Коваль.

Ноябрь 2007 года

Сергей Яковенко

Педкружок

Есть человек, придающий решающее значение имени и отчеству в жизни и судьбе, в формировании черт характера и даже написавший книги на эту тему. Так вот, хорошо зная двух Юриев Иосифовичей, я склонен согласиться с этой гипотезой — и Визбор, и Коваль (кстати, они много лет дружили) обладали самобытным талантом и неотразимым, фантастическим обаянием. Они создали шутейный клуб Юриев Иосифовичей, таких же, как они, общительных и симпатичных. Как-то раз Коваль ехал на заседание клуба в такси и, конечно же, разговорился по дороге с улыбчивым водителем. Выяснилось, что шофер тоже Юрий Иосифович. Ему пришлось прервать смену и рулить к Визбору знакомиться. Клуб пополнился в тот лень новым постоянным членом.

Расскажу подробнее про Коваля. Мы поступили на филфак одновременно, и вплоть до моего окончательного ухода в Гнесинку не было у меня ближе товарищей, чем Юра Коваль да Леша Мезинов, впоследствии детский писатель и редактор. Мы проводим! вместе и лекционное время — сплели рядом и коллективно писали что-то в стихах и прозе, передавая друг другу листки, — и досуг.

Юру любили все, но особенно женщины. Причем он никого специально не завлекал, не обольщал, сетей не расставлял, просто действовало то самое неотразимое обаяние. Помню, что в студенческие годы, если ты приводил в общую компанию понравившуюся девушку, можно было быть уверенным, что она потеряна и уйдешь из гостей ты уже один. Юра пел, аккомпанируя себе на гитаре, балагурил, общался с друзьями, словом, вел себя совершенно естественно, но слабый пол обмирал и таял.

В те давние голы учебы мы проводили в институте все время с утра до ночи: много часов отнимали лекции, практические занятия, подготовка в читальном зале, но каким-то непостижимым образом удавалось объять необъятное, отдать дань разным увлечениям, к тому же с удовольствием валять дурака. У Юры было два прозвища — Дяй, сокращенное от слова «разгильдяй », и Педкружок. Его все интересовало: он занимался в изостудии, в литературном объединении, входил в сборную института по настольному теннису, другим вилам спорта, да еще его угораздило из упрямства выбирать непрестижные, презираемые нами спецсеминары.

«Где Педкружок? Опять тренировку срывает! — гнусавым голосом вопрошал Кок — Женя Немченко, наш старший товарищ и тренер по настольному теннису. — Вечером ответственная игра на первенство Москвы, а его носит невесть где!»

Женя был типичным стилягой — неизменно носил пиджаке широченными плечами, брюки-дудочки, туфли на толстенной каучуковой подошве... Голову его украшал высокий набриолиненный кок, отсюда и кликуха. Он какое-то время холил у нас в лидерах, потому что, будучи отчисленным из МГИМО, и преследуемый на новом месте учебы администрацией, боровшейся с тлетворным влиянием Запала, не желал менять свой имидж.

Кок обожал Юру, который талантливо проявлял себя во всем, за что брался. Да ему и не надо было много тренироваться — все получалось по наитию. «Башня, — это, стало быть, я, прозванный так за высокий рост и неуклюжесть, — учись у Дяя! Я впервые вижу такую природную одаренность, эталонно верные удары справа и слева, сочетание нападения и защиты... Чуваки, сегодня в матче с архитектурным институтом Дяй будет играть первым номером». Как только Коваль прибегал в Круглый зал напротив Ленинской аудитории, где стояли столы для пинг-понга и тренировалась сборная, ему тут же вручалась ракетка, а мы обязаны были «благоговейно внимать».

Кок преподал нам и другие уроки, в частности искушал «зеленым змием». Правда, я, поработав до института на заводе фрезеровщиком, был достаточно «закален», а вот неразлучным «сиамским близнецам» — Леше Мезинову и Юре Ковалю, соавторам с первого

дня учебы, воспитанным родителями в строгих правилах, приходилось нелегко. В дни стипендии Женя Немченко безапелляционно заявлял: «Башня, Дяй и Меша! Мы идем в шашлычную „Казбек" бирлять суп „пити" и шашлык по-карски, ну и выпьем, конечно...».

Иногда — о ужас! — мы оскверняли святая святых — комитет комсомола! Секретарем был умнейший и мудрейший Володя Маландин, наш друг в течение всей жизни. Когда нам негде было отметить какое-либо знаменательное событие или обсудить литературные дела, мы являлись к нему в кабинет, неловко переминались с ноги на ногу, заискивающе заглядывали в глаза, и он все понимал. Выпив полстакана «комиссионных», Володя тактично покидал свой кабинет. К нашей троице (как правило, уже без Кока) все чаще присоединялся Юли к Ким. Интересно, что Юлик в то время еще ничего не создал, но Юра раньше всех «нутром почуял» его талант и перспективу и, как всегда, оказался прав.

Вспоминается, что Коваля сразу заметили, выделили из общей массы и обласкали наиболее прозорливые и интеллигентные профессора, что он, как Гаргантюа, жадно, огромными кусками поглощал духовную пищу, то бишь мировую литературу, переваривал и на ее основе уже в студенческие годы, можно сказать, прямо на наших глазах создавал свой самобытный художественный мир. Но как же ненатужно достигались результаты! Его натуре были свойственны черты некоего моцартианства, обаятельного легкомыслия.

Однажды, направляясь из Ленинской аудитории на тренировку в круглый зал, мы заметили, что стенд «Сталинские стипендиаты» пуст. Очередную порцию фотографий отличников-общественников — прыщавых очкариков-зубрил и страхолюдных девиц — не успели вывесить. Юра подтащил к стенду стол, взгромоздился на него сам и пригласил в компанию меня с Коком, организовав композицию так, чтобы наши дурацкие физиономии вызывающе сияли как раз под величественной надписью. Леша Мезинов нас запечатлел Шутка не понравилась деканату.

Вскоре мы вообще оказались на грани вылета из института, и вот почему. В парадную Ленинскую аудиторию существовало два входа и, соответственно, два тамбура, но левый испокон века был наглухо закрыт, им не пользовались. Однажды во время скучнейшей лекции по школьной гигиене — проходящей, как хохмили острословы на капустнике, иод девизом «Не пейте воду из унитаза!» — мы вознамерились сразиться в преферанс. Лучшего места, чем левый нерабочий тамбур, было не сыскать. Дождавшись, пока студенты и профессор проследуют в аудиторию, наша компания: Дяй, он же Педкружок, он же будущий классик Юрий Коваль, Меша — Леонид Мезинов, Кок и я, — прошмыгнула в «игральный зал» и заперлась — ключи подобрали заранее. В тесном помещении валялись какие-то старые ящики и даже висела голая лампочка на длинном облупившемся шнуре — вполне рабочая обстановка.

В азарте мы не среагировали вовремя на изменение ситуации, а когда сообразили что к чему, было уже поздно. Очевидно, отыскался какой-то Павлик Морозов, «стукнувший», что некие бездельники вместо учебы занимаются черт-те чем. Дверь со стороны аудитории со страшным скрипом отворилась, и нас ослепило яркое зимнее солнце, весело светившее в огромные окна аудитории. Такого гомерического хохота я больше никогда не слышал даже на эстрадных концертах. В аудитории собралось несколько потоков, человек триста, и все они дружно грохнули, увидев нашу онемевшую, застывшую с картами в руках скульптурную группу.

Мы готовились вылететь из института, но нас спас любимый профессор Борис Иванович Пуришев, убедивший администрацию в том, что именно мы скорее прославим вуз (!), нежели унылые зубрилы, педантично посещающие все лекции независимо от их качества.

С этой знаменитой аудиторией и с Юрой связано начало моей вокальной карьеры. Недавно Марк Харитонов, еще один писатель с нашего курса, первый лауреат Букеровскон премии, напомнил мне все детали той давней истории, врезавшейся ему в память. Однажды на лекции по устному народному творчеству, проходившей более полувека назад, замечательный

профессор Александр Александрович Зерчанинов, занятия которого мы ценили и никогда не пропускали, повествуя о русских народных песнях, обратился к студентам с предложением: «Друзья! Пусть кто-нибудь выйдет на сцену и споет народную песню, а я попытаюсь определить время се создания, место, где она родилась, среду бытования...»

У меня только-только закончилась голосовая мутация, и я время от времени что-то мурлыкал себе под нос, но о том, чтобы выступить публично, еще даже не помышлял. Юра и Леша, с которыми я всегда сидел вместе, начали меня подначивать: «А слабо тебе выйти и спеть?!» Самолюбие и азарт взыграли, и я на ватных ногах, обмирая от страха, полез на сцену дебютировать. Марик запомнил, что исполнял я тогда песню «Среди долины ровныя» и сорвал первые в жизни аплодисменты. Милейший Александр Александрович подошел ко мне в перерыве и посоветовал профессионально заняться голосом. Вскоре я стал выступать в той же аудитории со студенческим инструментальным ансамблем, руководимым еще одним нашим общим другом Валериком Олейниковым по прозвищу Толстый, а потом поступил на вокальный факультет Гнесинки. Кто знает, не выпихни меня тогда Юра с Лешей на сцену, жизнь, возможно, покатилась бы по иной колее...

В летние и зимние каникулы мы втроем часто выбирались на природу. Зимой — на «громкую» охоту, с ружьями, летом — на «тихую», за грибами и ягодами. Инициатива всегда исходила от Юры, обожавшего лес, хорошо знавшего Подмосковье. Он же отвечал за снаряжение и экипировку. Леша и я были «ведомыми».

Однажды, собирая грибы, мы припозднились и решили заночевать в лесу. На костре сварганили кулеш, попили чайку, поболтали и улеглись спать. В тесной палатке едва поместились, переворачиваться приходилось по команде. В предрассветном августовском сумраке в прорези палатки возникло лохматое бородатое существо, леший, да и только. Стало не по себе. Юра отреагировал первым, потребовав: «Хлебало, уберись!» И оно убралось, но обиделось. Когда мы, окончательно проснувшись, вылезли наружу, то смогли лицезреть результаты мщения: брошенные в золу от вечернего костра наши ложки, кружки, миски, котелок и даже часть собранных накануне грибов.

Юра вздохнул и посетовал: «Сам виноват! Не грубить надо было человеку, не гнать его, а выбраться из палатки, перекурить, выслушать — может, у него проблемы. Это наверняка местный пастух, вон коровьи лепешки кругом. Поговорили бы по-человечески, и всем было бы хорошо!»

Однажды Юра Коваль, любитель побродить с ружьишком, следуя традициям русского писательства, пригласил нас охотиться на зайцев «по первой пороше», и мы отправились к его знакомому егерю. Точно помню, что нужное нам охотхозяйство «Динамо» располагалось километрах в ста от Москвы, на берегу канала. Добрались мы до места в ноябрьские сумерки, снег только выпал, погода была промозглая, воду вот-вот должно было сковать льдом.

Едва мы вошли в теплую горницу, поднялась невообразимая суматоха: «Юрка, Юрка приехал!» — возликовало население, и егерь, его жена, дети, оказавшиеся тут же две русские гончие с криком, смехом, лаем кинулись к нему обниматься, целоваться, прыгать и лизать в нос... А я недоумевал: чем же мой юный друг, почти мальчик, заслужил такую горячую всеобщую любовь? Теперь-то я точно знаю — тем, что его нарекли Юрием Иосифовичем.

В тот вечер, когда мы сидели за дружеским столом, пили самогон-первач, закусывая домашними солениями и вкуснейшей ароматной картошкой, поджаренной на сале, произошел случай, оставшийся в памяти навсегда. Во время нашей трапезы откуда-то издалека доносился не то вой, не то стон, пето жалобный скулеж, но до поры до времени мы, разгоряченные и счастливые, воспринимали звуки как нечто естественное, лесное, природное. Вдруг в паузе между тостами Юра прислушался и сказал: «Что-то мне не нравятся эти стенания. Может, зверь в капкан попал? Надо взглянуть».

Выйдя на крыльцо, мы определили, что звуки доносятся со стороны воды. Вооружившись фонариками, наша процессия двинулась к каналу, расположенному неподалеку от дома егеря. Осветив прибрежную полоску около мостков, мы ахнули: из тяжелой свинцовой воды, от одного взгляда на которую прохватывал озноб, торчала голова, и еще на поверхности находились две конечности, обхватывавшие металлические цепи причала. Существо при внимательном рассмотрении оказалось человеческим, оно механически, с равномерными промежутками, стенало. Юра сразу стал руководить работами по извлечению подававшего признаки жизни тела на сушу. Сначала мы хотели дотянуться до утопающего с мостков, но когда попытка не удалась, подплыли к страдальцу в лодке. На то, чтобы оторвать его одеревеневшие конечности от цепи, последовательно, с превеликим трудом отгибая каждый палец, потребовалась вечность.

Когда мы наконец выволокли тяжеленное гуттаперчевое существо на деревянный настил, стал вопрос транспортировки полуживого человека в больницу. Егерь отправился было запрягать лошадь, как вдруг утопленник сначала поднялся на четвереньки, затем встал в полный рост, освещенный фонариками, оглядел нашу компанию мутным взглядом и подверг суровой критике — мол, какого рожна вам надо, зачем побеспокоили человека... Слова, конечно, были другие, но смысл такой. Юра взмолился: «Браток, так ведь и помереть недолго. Пошли, мы тебя хоть спиртом разотрем». При слове «спирт» спасенный вздрогнул, и что-то осмысленное мелькнуло в его взоре, но, по-видимому, в голове созрел уже иной план, и мужик сначала сделал несколько нетвердых пробных шагов, а потом затрусил вдоль берега все быстрее и быстрее, оглашая окрестности отборным матом и посылая на наши головы страшные проклятия и кары. Мы вернулись к прерванной трапезе, долго еще рассуждая о загадочной русской душе и богатырском теле.

Через несколько лет после окончания института Юра пригласил меня в мастерскую, которую делил с художником Виктором Беловым, посмотреть новые работы. Мы хорошо посидели, предаваясь ностальгическим воспоминаниям. Когда я, уже ночью, собрался уходить, Юра предложил: «Старик, купи картину моего друга, работа редкая и исключительно удачная. Называется „Изгнание из рая". Мы бы с ней никогда не расстались, но, во-первых, для тебя не жалко, а во-вторых, Витя очень болен, а на лекарства денег нет». Я поверил, выгреб все, что у меня было, и оказался обладателем здоровенного полотна.

Жена мой поступок одобрила, а живопись — нет, картина у нас не задержалась. Мне потом было очень стыдно перед Виктором, когда он попросил разрешить сделать слайд с полотна для каталога работ. Но и со мной тогда поступили «по-ноздревеки» — никакой болезнью, как позже признался Юра, Белов не страдал, а просто мучился с похмелья... Соответствующее лекарство было куплено на гонорар, художнику полегчало...

Я могу бесконечно вспоминать давние истории — ведь в студенческие годы мы практически не расставались. Жаль, правда, что позже мы виделись не так часто — я много гастролировал, Юра тоже вел цыганскую жизнь, наши маршруты и планы редко совпадали. Но меня по сей день переполняет тепло, когда я думаю о дорогом друге Юре Ковале.

Ноябрь 2007 года

Елена Гилярова

Вечера на Яузе

... И кажется, совсем недавно
Коваль ходил тут богоравный,
И часто на глазах у нас
Он возносился на Парнас.

Это строчки из незаконченного стишка, который я сочиняла к какой-то институтской дате. Шутливый гомеровский эпитет «богоравный» не зря появился — он отражает мое и, наверно, не только мое тогдашнее отношение к Юре. Он был особенный. В институте было много талантливых ребят, но даже среди них Коваль выделялся своей статью, манерой держаться, чем-то трудно определимым. Даже манера говорить у него была особенная, и интонациями его заражались те, кто попадал в его орбиту. К тому же хороший рост, выразительные глаза, невероятное обаяние. И на Парнас он действительно «возносился» на глазах у всех — курсы рисования под названием «Парнас» находились посреди галереи третьего этажа, под самой стеклянной крышей.

Я была на два курса младше и, часто встречая его в институте, познакомилась с ним только на пятом курсе — как-то робела, как младшая перед старшим, или просто чувствовала, что мы с ним разных полей ягоды.

Потом на протяжении года-двух мы иногда пересекались — в компаниях или случайно. Когда он появлялся в компании, то сразу естественным образом становился центром общества, какие бы яркие люди за столом ни находились. Словно в центре комнаты зажигался самый яркий фонарь. По углам разносилось шепотком: Коваль пришел, Коваль пришел, — и все, кто разговаривал в сторонке или дремал в уголке, подтягивались к столу.
Я тогда почти не видела его живописи, и писать всерьез он только начинал. Я читала его шуточные стишки в институтской стенгазете, например такие:

Иуда, Каин и Авель
Однажды кушали щавель.
Авель, ушами шевеля,
Ел сотый кустик щавеля,
А про Каина и Иуду
Я говорить больше не буду.

Меня совершенно завораживало его пение, его гитара. И голос-то у него был негибкий, он не тянул звук, не играл голосом, пел отрывистыми строчками на грани речитатива, но столько в этом было невыразимого обаяния, что аж щемило сердце, хотелось слушать и слушать. Тогда-то я поняла, как можно пойти за чужой дудочкой.

Однажды зимним вечером мы шли к метро «Парк культуры», и он рассказывал, что они с Лешей Мезиновым за теяли писать роман, первые строки такие: «Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана. Наш старый фрегат тихо покачивался на волнах, нарушая тишину ночи только скрипом своей ватерлинии ». Какая-то нгутливая серь еэность, лаже торжественность звучала в его голосе, словно он произнес что-то очень важное для себя Много-много лет спустя я открыла «Сусра-Выера» — и узнала начало.

Затем я его долго не видела, иногда только доходили слухи: Коваль стал детским писателем... У Коваля жена-иностранка... По Ковалю сняли фильм... Коваля видели в метро с красивой барышней... У Коваля язва. Видно, не так-то легко давался ему успех.

В начале 80-х я изредка видела Юру на институтских вечерах встречах. Эти вечера были очень интересными, там пели наши замечательные барды — Юра Визбор, Володя Красновский, Юлик Ким, Ира Олтаржсвская, которая после Ады Якушевой руководила институтским октетом, выступало много хороших людей, в качестве ведущего блистал Юра Ряшенцев. Конечно, появлялся на сцене и Коваль — пел свои шутливые песенки про сундук, про Ивана Грозного, читал отрывки из прозы. Он немного погрузнел, и его крупная фигура еще больше выделялась среди остальных. Но в глазах, пожалуй, поубавилось блеска и живости, а появились затаенные усталость и озабоченность.

После смерти в декабре восемьдесят первого года общего нашего друга Валерия Агриколянского Юра с несколькими друзьями собрались у него в мастерской. И решили собираться каждый год в декабре. На следующий год пришло больше народу, и слух об этих посиделках стал шириться.

В конце восемьдесят четвертого попала и я на вечер к Ковалю. Шла с некоторой робостью, вела меня, помнится, Оля Агриколянская. От Солянки прошлись мы по Серебряническо́й набережной, увидели лом, стоящий особняком от остальных, прошли через какие-то клетушки — и послышался гул голосов. В большой комнате во всю длину были расставлены столы с нехитрой снедью — колбаска, сыр, бутылки. И лица, знакомые, родные институтские лица! Юра был рад мне и весь вечер выказывал это. А вечер был замечательный — разговоры, песни, шутки, и главное — удивительная атмосфера дружества, доверия, какого-то родства всех собравшихся. Конечно, пели институтские песни, запевала Ира Олтаржевская, а мы подхватывали, подсказывая друг другу слова. Возле Юры сидел его друг Женя из Вологды, был он с мандолиной, и, когда Юрка взял гитару и они грянули дуэтом, — это был восторг! Блистал остроумием Эрик Красновский, читал стихи Семен Богуславский, много было веселого молодого сумбура и шуток, У Юры вышла книга, и он, как сеятель, горстями раздаривал ее, не жалея при надписывании хороших слов.

Вообще на этих вечерах Юра не просто держался гостеприимным хозяином — в нем был дар укрупнять людей своими отзывами и похвалами, он словно приподнимал каждого на ладони, показывая: глядите, какой замечательный! — когда предлагал прочитать споен или спеть. Но гвоздем вечера бывал момент, когда они с Юликом запевали «Когда мне было лет семнадцать, ходил я в Грешнево гулять». Это пелось под гитару на пределе голосов, как поют-орут деревенские парни, возвращаясь из кино по тропинке через поле, — только здесь деревенскую песню изображали два суперталантливых человека. Стекла звенели, на лицах был полнейший восторг.

Тогда, в 84-м, придя домой, пол впечатлением от этого вечера я написала стихотворение про Яузу.

Но Яузе тихой, по Яузе сонной,
Как уточка, лодка плывет,
И след этой лодочки неугомонной
В забытую юность ведет.

Пройдешь по Солянке, свернешь у Астахова моста
И вдруг удивишься, как сонная речка стара.
А что удивляться, живется ей очень непросто,
Давно ни стрекоз, ни песка, ни куста, ни костра.
В решетках, как в рифмах, в пенале сырого гранита
Не песенкой льется — течет как романс городской,
И лишь безоглядность стремленья водой не забыта,
Стремления вдаль, что извечно граничит с тоской.
Ах, Яуза-речка! Ни выпить воды, ни умыться,
И только снежинки над темной водою снуют,
И *хочется Яузе в старшей реке раствориться*
Вон там за мостом через десять-пятнадцать минут.

Меньшая река течет в большую реку,
большая река в еще большую реку,
большая река в еще большую реку,
и хочется знать самой легонькой лодке,
а что же там дальше, за самой большою рекой.

Всю речку дома обступили от края до края,
Тут нет суеты, тут слегка отрешенный покой.
Серебряных слов мастера в том краю обитают
И слушают Яузу, словно романс городской.
И воздухом здешним дышать и легко, и уютно,
Как будто разлита в нем чьей-то души теплота.

По речке бежит невесомое малое судно,
Мелькает, как тень, серебрится в ночи, как мечта.
Над набережной, над притихшею и полусонной,
Друзей собирая, до полночи светит окно,
И струны звенят, как и должно, серебряным звоном,
И песни поются, как исстари заведено:

Когда мне было лет семнадцать,
Ходил я в Грешнево гулять!

Через полгода, в начале сентября, мы были на дне рождения у нашего общего друга, историка Алика Ненарокова. Там был и Юра Коваль с молодой женой Наташей. Все было замечательно, разговоры, песни, шутки. Наташа пела романсы звучным контральто. Я прочитала стих про Яузу. Юра сказал: «Лен, ты так все угадываешь, прямо жутко!» — и, наклонившись через стол, поцеловал мне руку.

В эти годы Юра утверждался в своем успехе: выходили книги, устраивались выставки. 26 декабря 1985 года открылась его выставка в ЦДЛ; но в тот же вечер он все-таки был у себя в мастерской, не отменил встречу. Народу было меньше, чем в прошлом году. Юрины художники то появлялись, то уходили. Юра был очень усталым, но славным, рассказывал про забавные ситуации на открытии выставки и кое-что по ходу — про Эдика Успенского, Ошанина, Гену Снегирева. Пели — Юлик, Ира, хором институтские песни.

В институте и позже я жила в орбите Ильи Габая, Юлика Кима, в «околодиссиденгских» кругах, и Юриных книг практически не читала — совсем другие были интересы; Коваль же всегда отталкивался от всякой политики и социальности. А теперь я прочла все его книги, и вдруг мне все так понравилось! Особенно его «деревенские» рассказы — про Орехьевну, про голубую клеенку и про воду с закрытыми глазами — удивительная, грустная, светлая, воздушная вещь. И стало понятно, что Коваль — лирик, и нечего от него ждать какой-то там прозы жизни, он все видит по-своему, по-особенному. И что Юра очень добрый человек, особенно это стало ясно после рассказа про чокнутого бедолагу, который, на зиму глядя, пытался построить себе избушку — весь рассказ проникнут пронзительной жалостью.

В те годы, когда мне случалось **п**роезжать или проходить поблизости, я старалась бросить взгляд на приметный дом на набережной, и от мысли, что там обитает Коваль, становилось тепло.

На одном из вечеров Юра читал из новой книги про Васю Куролесова — про явление Понтия Пилата, все хохотали до слез. Это было в конце 87-го. Коваль был без переднего зуба, постаревший. Когда человека редко видишь, изменения в нем сильнее бросаются в глаза...

На Юриных вечерах менялся состав гостей, кто-то не мог прийти, кто-то исчезал, увы, навсегда, кто-то появлялся впервые. И времена менялись — происходили будоражащие события, все чаще разговоры шли о них.

Много замечательных баек, песен, шуток звучало в мастерской Юры Коваля. А на стенах висели его картины, эмали, стояли забавные деревянные фигуры — до чего многогранен был талант хозяина! И с каждым годом появлялось все больше нового.

А Юра старел, становился все грузнее. Уже давно поговаривали, что у него нехорошо с сердцем. Они с Юликом однажды выбрались к кардиологу. Тот предупредил их, что и у того, и у другого состояние очень неважное, надо принимать меры, лечиться, жить аккуратнее, бросить спиртное. Юлик прислушался и постарался ограничиваться, а Юрка не мог или не желал притормаживать, по-прежнему жил безоглядно.

27 декабря девяносто четвертого года я что-то долго ехала, тяжело шла. Наконец добрела, открываю дверь — Юлик во всю мочь что-то поет, бодро, озорно, у меня сразу душа воспарила, а кругом лица все такие родные... Много пели — и Юра, и Юлик, и Ира, и все Кимы вместе. Как всегда, было замечательно. Ира Олтаржевская сказала: «Пришла сюда и чувствую, что жить еще стоит!» Среди зыбкости, тьмы, напряженности островок братства и дружества.

Бросились в глаза новые Юрины работы — картины и эмали.

А Юра сказал, что, наверное, в последний раз мы тут у него собираемся — кто-то уже купил этот дом и судьба мастерской под вопросом.

Так и оказалось — у него мы собрались в последний раз...

К девяносто пятому году он закончил своего «Суера-Выера», странную, смешную, завораживающую вещь, главную книгу своей жизни. И невольно обращали на себя внимание и отдавались неясной печалью последние слова этой книги: «... решил закончить этот пергамент. Закончим его внезапно, как внезапно кончится когда-то и наша жизнь».

В начале августа мой муж приехал из Москвы с работы, и, пока он шел от калитки, я по лицу поняла, что он привез какое-то нехорошее известие. Я сбежала с крыльца: «Что?»

— Коваль умер.

Помню многолюдные похороны. Плачущие женщины, плачущие мужчины. Сколько же у него было друзей, как много самых разных людей его любили! Помню слова На-ташиной матери Раисы Ивановны Савельевой: «Я держала твои руки и чувствовала, как из них уходит жизнь...» Было отпевание, батюшка непривычно именовал Юру Георгием. Когда гроб опустили в могилу на Лианозовском кладбище, возле могилы Юриного отца, было чувство, что это невозможно: он — ив этой тесной яме!..

27 декабря того же года решено было собраться в бывшей Юриной мастерской, помянуть его. Я написала стихотворение к этому дню, но поехать не смогла.

Представьте же себе — хозяин только вышел,
Ведь столько дел и нет помощников и слуг.
Он здесь, невдалеке, он нас уже услышал,
И скоро в дверь войдет наш долгожданный друг.

Войдет, и, как всегда, собой наполнит воздух,
И скажет: «Как я рад подругам и друзьям!
Простите мой уход — мне так был нужен отдых,
Но я окреп, воскрес — и возвратился к вам!

Не верьте, что лежу на кладбище унылом,
Где шорохи ветвей озвучивают грусть.
Прости и отпусти, ревнивая могила,
Ты мне была тесна, я больше не вернусь!»

... Мы собрались. Мы ждем. Вот скрипнула ступенька.
Затрепетал огонь свечи, как тайный знак.
Вот валенки, шурша, обтряхивает веник.
Вот приоткрылась дверь. Но ветер, но сквозняк...

А к стихотворению про Яузу добавились последние строки:

Меньшая река течет в большую реку,
большая река в еще большую реку,
большая река в еще большую реку,
и вот уж узнал тот, кто в маленькой лодке,
а что же там дальше, за самой большою рекой...

Октябрь 2007 года

Галина Гладкова

Рука мастера

В конце восьмидесятых годов Юра Коваль стал собирать старых институтских друзей у себя в мастерской. А мы и рады были собраться. Нам только дай вволю попеть наши старые институтские песни, послушать блистательное соло Юрия или Юлика Кима. Однажды запел Петр Наумович Фоменко — это было потрясающе!

У Юры тогда книги пошли одна за другой, и на этих сборищах он каждому из друзей дарил книгу, а потом отводил в уголок и делал на книжке заветную надпись. На толстеньком детгизовском томике, названном «Поздним вечером ранней весной», он написал мне: «Дорогой Гале — другу сердечному и знатоку поздних вечеров ранней весны». Может быть, не мне одной он так написал, и кто-то еще вспомнит свои прогулки с Юрой по Пироговке и Усачевке. Я вспомнила свои — ранней весной шестидесятого года ...

В 1963 году Юра вернулся из Татарии. Я окончила институт и болталась без работы со свободным распределением в кармане. Юра начал устраивать свои литературные дела, ходил по редакциям. И вдруг прослышал, что в издательстве «Малыш» освобождается место редактора. Юра немедленно позвонил мне, мы встретились, и буквально за руку Юра привел меня на Бугырский Вал, дом 68... Так, судьбу свою только выстраивая, мою он в один миг определил на ближайшие тридцать лет!

Строгим редакционным дамам (впрочем, при виде Коваля они оживились, разулыбались) Юра представил меня как свою старую институтскую подругу. И вдруг говорит:

— Уж не знаю, какой из нее выйдет редактор, — сердце мое так и упало. — Но за ее литературный вкус я ручаюсь. — Сердце мое немедленно возвеселилось.

Как ни странно, но одного этого ручательства Юры Коваля, не издавшего еще ни одной своей книги, совсем еще молодого человека, оказалось достаточно.

И началась моя, сперва показавшаяся мне фантасмагорической, издательская жизнь. На меня обрушились кубики, переводные картинки, альбомы для раскрашивания, настольные игры, книжки-игрушки, ширмочки... Разумеется, не привлечь Юру я не могла. А Юра привлек институтского друга Лешу Мезинова, соавтора начальных глав «Суера-Выера». Так была придумана, написана и издана «Сказка про чайник». Много позже я прочитала ранний Юрин рассказ «Чайник». Образ крутонравого чайника Юру тогда весьма занимал, оказывается.

Юрины литературные дела быстро шли в гору, он издавался там и сям. В «Малыш» по-прежнему захаживал, но написать что-нибудь для деток малых больше не брался.

И когда Юра стал собирать нас в мастерской и одаривать своими книгами, меня пронзила редакторская ревность. Она требовала немедленного утоления. Собрав подборку из небольших рассказов о природе, я предложила Юре издать ее в «Малыше». Юра, разумеется, согласился. Так в 1989 году вышла книжка «Березовый пирожок» в оформлении замечательного художника Петра Вагина (чем-чем, а уж замечательными художниками «Малыш» славился). На форзаце этой книжки П. Багин разместил свои любимые прозрачные деревца с нежными листиками и стаю неведомых, едва различимых птиц. На форзаце подаренного мне экземпляра Юра и расписался: «Спасибо тебе, друг мой. ЮрКоваль». И лишь много позже я увидела, что одной из птиц Юра пририсовал клюв, хвостик, перья и сверху мелкими буковками обозначил: «Галка». Радостно было, будто Юра меня окликнул

Идея следующей нашей книжки родилась у меня опять во время нашего сборища («О, как любили мы те сборища ночные ...»). Я предложила: «Давай заключим с тобой договор на книжку под условным названием, а ты напишешь, что захочешь». И стали мы придумывать это условное название. Придумывали минуты две. На третьей меня как осенит: «Воробьиное

озеро». Почему озеро, какое-такое Воробьиное — одному Богу известно. Тем более, нужно оно было только для договора.

Но Юре название понравилось настолько, что он сел и написал поэтический текст про некое Воробьиное озеро с его островами, похожими на узконосые корабли, «которые плывут друг за другом, а парусами у кораблей — березы».

Книжка «Воробьиное озеро» с иллюстрациями Галины Макавеевой подарочным изданием вышла в свет в «Малыше» в (991 году. На сей раз Юра подписал мне ее так:

Дорогой Галке.
ЮрКоваль.
Без твоего сердца
И названия —
Видали бы мы эту книгу!

В каждой такой коротенькой надписи я отчетливо слышу Юрии голос. Этот голос, который ни с чьим не спутаешь, слышен во всех Юриных вещах. Уж кто, как не Юра, любил фразу, «холил и лелеял ее, ласково поглаживая по подлежащим» (слегка перефразирую И. Ильфа). Читать и перечитывать его прозу — истинное наслаждение.

Однажды, еще в институте, Юра сел за стол и начал быстро-быстро писать. Через несколько минут он вручил мне стихотворение:

Галина!
Посмотри — кругом валяется глина
И земля — Жизнь для Коваля.
Бери — лепи! (бериллий, «пи») (в смысле — число «пи»).

Так и не пойму, был ли это действительно экспромт или кое-какие заготовки на тему Галины у Юры уже были (не одна я звалась Галиной в нашем институте). Но на всякий случай стишок я приняла в подарок. А потом не раз вспоминала, наблюдая, как уверенно лепит Юра свою жизнь.

Он и по моей прошелся — рукой мастера.

Ноябрь 2007 года

Леонид Зиман

Ксерокопия отзыва

В творческих номерах стенгазеты «Молодость», которыми мы, студенты истфила, так гордились, появлялись иногда странные, если не сказать экстравагантные стихи. Приведу по памяти наиболее мне запомнившиеся:

Если б ты быка моею,
Я б назвал тебя своею.

На деревню вышел
Дяди-Папин гусь.
Я сижу на крыше.
Хороша ты, Русь!

Я и Инна — янычары,
А в глазах у Инны чары.
Я и Инна — викинги,
Оба носим смокинги.

С песней кончил день ты,
Мы с тобой студенты.

Кого-то такие стихи повергали в шок. А кто-то воспринимал их как злую пародию на творчество наших доморощенных сочинителей. Собственно, пародиями они и были.

Злыми? Нет, наверное. Хотя, надо сказать, отнюдь не железная логика песни, которую мы непрестанно распевали (сейчас она, опубликованная, получила название «Гимн московских студентов»), подчеркнута явственно и не без ехидства.

Автором этих пародий был Юра Коваль. Я был на курс моложе и, как, наверное, все мои однокурсники (не только девочки), не мог без восхищения, да что греха таить, без зависти и ревности (это уже не о девочках) смотреть на этого стройного, очень привлекательного, да просто красивого и остроумного парня. И когда впервые увидел Юру с ракеткой у пинг-понгового стола, и когда встретил его на заседании литобъединения...

Я представил тогда на суд членов литобъединения свой абсолютно безграмотный, но довольно длинный стихотворный опус. По глазам слушателей, особенно по глазам Юры и его друга Леши Мезинова, понял, что представлять этот опус было просто нельзя. (В отличие от Гоголя, я его потом не сжег, а разорвал.)

Девочки, конечно же, влюблялись в Коваля. И он тоже — часто! — влюблялся. Но можно ли было не влюбиться в Галю Гладкову? В Галю Эдельман? В Розу Харитонову? И в Лену Гилярову? И в Галю Царапкину? Ив ... ? И ... ? И ... ? На собственном опыте убедился: невозможно.

А что касается тех странных стихов, с которых я начал свои воспоминания... Без преувеличения можно сказать, что необычная смесь экстравагантности, даже абсурда, с удивительно точным — при этом пронизанным юмором — ощущением жизненного явления (в данном случае «поэтического мышления » наших институтских сочинителей) станет одной из характерных черт его прозы.

Конечно же, эти пародии были вовсе не злые, как думали некоторые. Уже в недавние годы кто-то поинтересовался, правда ли, что Юра плохо относился к писателю N. Я задумался, а потом ответил: «Я не помню, чтобы Юра о ком-то отзывался плохо. С юмором — да... Но плохо?»

Он любил людей, и ему платили тем же. Он был любимцем у гардеробщиков Дома литераторов. Его необычайно любили бабушки-пенсионерки, жившие в том доме на Серебрянической набережной, где была мастерская Коваля — место наших ежегодных встреч, застрельщиком и организатором которых был Юрий Коваль, хранитель нашего «лицейского дружества».

Как причитали эти бабушки, узнав о смерти Юры, какими просветленными становились их глаза, когда они вспоминали его. Написал и подумал: претенциозно. Но честное слово, это было именно так. И я (наверное, не только я) не мог)' забыть этих бабушек в день поминок.

Так сложилось, что сблизились мы уже по окончании института даже после отработки энных сроков по распределению в сельских школах. Нас как бы объединили Илья Габай, Юлик Ким и Юра Коваль.

Вспоминаю, как однажды раздался у меня дома звонок:

— Ленька! Замени меня в вечерней школе на два дня в девятом классе «Отцы и дети», в одиннадцатом — «Поднятая целина». (Может быть, темы уроков были и иными — не уверен, что помню их точно.)

— А что случилось?

— Понимаешь, я собираюсь на охоту.

Я опешил. Чуть ли не окаменел. Бросить уроки ради охоты? Но ведь это Коваль! Страстно увлекающаяся личность. Артистическая натура. Интересно, как бы И. С. Тургенев поступил в такой ситуации? Виктор Ерофеев справедливо находил «дальние узы родства» Юрия Коваля с этим писателем. Мне тогда не удалось выручить Коваля и его охоту: в какой-то из дней его уроки совпали по времени с моими.

Думаю, никто из нас не сомневался, что Юру ожидает яркая судьба. Но вряд ли кто думал, включая самого Коваля, что он станет детским писателем.

Я тоже оказался причастным к этой сфере литературного творчества. На сегодняшний день я преподаю детскую литературу в вузе. И к этой деятельности меня приобщил Юрий Коваль. В 1966 году, когда он работал в редакции журнала «Детская литература», он распределил между нами, бывшими институтскими однокашниками, несколько детских книг — для рецензирования. Стихотворная книжка, которая попалась мне, — «Ракета и самовар» С. Баранова — была за пределами всякого представления о поэзии. Юра одобрил мой первый опыт критической деятельности, оценил избранный для анализа этой, с позволения сказать, книжки иронический тон. А некоторые «заумствования», нарушавшие этот тон, предложил исключить:

— Чего рассуждать об этом, например, двустишии? — сказал он. — Достаточно процитировать.

Он, конечно же, был прав. Но до меня затем дошли слухи, что на обсуждении этого номера журнала Агния Барто вступилась за «доброго старичка» из Рязани — и, между прочим, отметила бездоказательность оценки как раз этого двустишия. Впрочем, это только слухи — сам я на обсуждении не присутствовал. Но в дальнейшем узнал о письме этого «доброго старичка», письме с антисемитским душком по отношению к некоторым (значительным!) детским поэтам. А затем... Именно он, С. Баранов, председательствовал на исключении А. И. Солженицына из Союза писателей.

Через несколько лет в той же «Детской литературе» появилась рецензия на другой сборник С. Баранова, рецензия куда жестче моей, без легкой иронии. Автор ее — поэт Всеволод Некрасов. Думаю, он был, извините за каламбур, « правее» меня.

Я уже писал, что Юра ни о ком не отзывался плохо. Но и пройти мимо откровенной халтуры в литературе для детей — «лучшей части человечества », по его словам, — не мог. Другое дело, что всегда предпочитал иронию, а не филиппики.

В бытность мою преподавателем педагогического колледжа одна из лучших студенток Оля Жуховичер задумала писать курсовую работу, связанную с творчеством Коваля. Тему работы мы сформулировали так: «Литературная биография повести Ю. Коваля „Шаманка" и работа с нею и с ее генетическим источником — повестью Э. Сетона-Томпсона „Королевская аналостанка" в начальной школе».

Оля с большим энтузиазмом изучала и англоязычный вариант повести Сетона-Томпсона, и книжку Коваля. Конечно же, она приобрела ее. Но я все же нет-нет да и подсовывал свою, где рукой автора было выведено: «Другу моему Лёне Зиману от московских котов и кошек (неплохая компания! — Л.З.*)* — поклон. Ю. Коваль».

Юра сразу же откликнулся на мою просьбу дать интервью юной студентке. Мы втроем (я — на правах руководителя курсовой работы) встретились в Центральном доме литераторов. Беседа была очень оживленной. Юра рассказывал, как он создавал повесть, и его рассказ вошел в Олину курсовую работу. В беседе Юра вспоминал наш родной институт и, между прочим, очень хорошо отзывался о моем безвременно погибшем друге — поэте и правозащитнике Илье Габае.

В заключение беседы (интервью!) Юра пригласил Олю к себе в мастерскую.

Пришли мы вдвоем, когда курсовая работа была уже готова. Я попросил Юру написать о ней буквально две-три строчки. Он согласился, но, естественно, сказал, что должен бегло ознакомиться с работой. Раскрыл — и к Оле: «Я все же перелистаю ее, а ты пока приготовь чай. Ты умеешь готовить чай?» (Вопрос, прямо скажем, оскорбительный для девятнадцатилетней девушки.)

— А ты, Леньк, найди всё, что надо. Ты же здесь свой человек.

Я действительно бывал здесь не единожды, но проводил время только за столом в главной комнате либо за перелистыванием книг и рассматриванием гравюр, либо — в большой компании — за распитием горячительных напитков «под закусь» колбасой и консервами. В кухонном интерьере я ориентировался так же, как Оля (нет, хуже). Тем не менее с приготовлением чая мы справились.

А Юра углубился в чтение, дал нам посмотреть толстые тетради-дневники (гораздо позже я узнал, что жанр этих записей и рисунков — «монохроники»). Одним словом, Юра прочитал всю курсовую работу, попросил подождать, пока черкнет несколько строк, и... написал о-очень положительный отзыв на трех страницах (крупным почерком). Вот что писал известный писатель о работе девятнадцатилетней девушки:

«Трудно, конечно писать о работе, в которой содержится комплимент в твой адрес. Однако вспоминается поэт, воскликнувший: Давайте говорить друг другу комплименты'. Вспоминаю я и скульптора Вадима Сидура: «Льстите мне! Льстите! Я буду лучше лепить».

Итак, писатель Юрий Коваль благодарит сердечно студентку Ольгу Жуховичер за те комплименты, которые содержатся в ее работе. Теперь — к делу.

Вся работа, в целом, устроена хорошо. Важно, что за этой кипой страниц, листков чувствуется автор, т.е. Ольга Жуховичер. Мне понравился и разум ее, и размер написанной вещи. Она монументальна настолько, насколько надо.

„Главное — не перемонументалить, — говорит архитектор А. В. Пиков, автор Крымского моста. Однако добавлю, и жидко строить не годится. Вещь построена. Несколько частных замечаний.

Ольга очень верно заметила, что «Шайка» связана с «Недопёском» теснее, чем с «Королевской аналостанкой». Я даже мечтаю издать их когда-нибудь под одной обложкой.

Понравился момент, где Ольга анализирует сцену превращения котенка в женщину, в королеву. Был дополнительно потрясен сравнением со Львом Толстым. Браво, Ольга Жуховичер, вы — великий критик! (Правда, это было уже в журнале „Штерн', да ведь по другому поводу.) Понравился урок, о котором рассказано в практической части, и совершенно согласен я с замечанием о том, что «всякий обязательный программный

материал перестает быть захватывающим и интересным». Признаюсь, я, как писатель, не хочу быть программным, я хочу, чтоб меня открывали и читатели, и учителя.

Благодарен я и за то, что Ольга вспомнила скова И. Васюченко, о том, как блоковский Пьеро истекал «хоть и клюквенным сокам, но — насмерть». Ну, вот и все! Привет.

1993
День Победы
Юрий Коваль

Но самые лестные оценки в адрес моей ученицы прозвучали из уст известного писателя уже после работы над отзывом. Юра утверждал, что своего сына Алешу отдаст только в тот Класс, где будет преподавать Оля Жуховичер. Это было в 1993 году. А в 1995-м...

После колледжа, который Оля окончила с отличием, она поступила в Московский педагогический государственный университет, тот самый, который когда-то, в наше время, назывался МГПИ. Там она тоже училась отлично. Несколько лет на стенде в фойе нашей alma mater - «под сводами» — висела фотография, на которой тогдашний премьер-министр В. С. Черномырдин поздравлял Олю с вручением президентской стипендии.

Сейчас Оля — учительница, очень хорошая учительница. Алешу она не учила. Она хранит отзыв писателя Ю. И. Коваля на свою раннюю студенческую работу. Я тоже храню — ксерокопию этого отзыва.

Сентябрь 2007 года

Вячеслав Кабанов

Фрагменты воспоминаний

Хождение Коваля в артисты

... Когда мне стало хорошо в театральной студии в доме двадцать четыре по улице Мясницкой, я сразу захотел втянуть туда и Юрку Коваля, моего одноклассника и любимого друга. Сначала Юрка оживился. Узнав, что для начала надо будет что то прочитать, он сразу выпалил, глазом кося на аудиторию:

— Я прочитаю монолог Чацкого. Карету мне, карету!

На самом деле Юрка монолога этого не знал (мы его еще не проходили), он слышал, видимо, про Чацкого и про карету от брата Бори, но Юра тогда еще любил блеснуть чем-нибудь прихваченным на *бегу.* Он в студию со мной пришел, но не остался там.

Коваль, я потом это понял, не мог играть других. Он был удивительно, невероятно артистичен, но лишь для выражения себя — так был собой наполнен. Его предназначенье было — себя бы выразить, суметь бы это...

И вот в последний раз из студии мы уходили вместе. Мы шли в Армянском переулке. Мне было чуть не по себе. Уж дело к вечеру, темнеет, а мы не на своей территории. Законы улицы я знал. Мы с Юркой треплемся, а у меня в уме одно: пройти бы!

И вот, ну прямо как на грех... Стоят, как принято, кружком. Их было восемь. Я весь напрягся: пройдем или нет?

А то пойдет разборка — кто такие? И может, не понравимся ... Чем кончится? Тем более что Юрка не драчун.

Мы ближе, ближе, они пока что ничего... Неужто пронесет? А Юрка, черт, сворачивает прямо к ним: - Ребята, закурить найдется?

Ему спокойно дали. Он закурил, чего-то в шутку им сказал, и двинулись мы дальше. А Юрка лаже в толк не взял, что мы прошлись по лезвию ножа

Среди иных даров у Юрки был природный и великий дар общения с людьми. Но вот трать других (я повторюсь) Юрка был никак не предназначен.

Когда в восьмом или девятом классе мы в нашей школе поставили несколько сцен из пьесы о дискриминации негритянского школьника в проклятой Америке (пьеса называлась * Снежок», а что до автора, то это никого не интересовало), с большим трудом уговорили Коваля сыграть директора школы, расиста. Актеров у нас не хватало, а пьеса нужна непременно, без нее нельзя было на вечер пригласить женскую школу. Юрка согласился только потому, что весь текст его роли состоял из одного с\ова. Директор входил в класс; видел негритенка (Снежка) и злобно кричал:

— Вон!

Вот и вся роль. Коваля устроила такая лапидарность, но все-таки, войдя в игру, он ощутил недостаточность масштаба. Тогда масштаб этой роли Юра придал самостоятельно.

Для начала в слове - вон - он отыскал двенадцать слогов и на премьере все их произнес. К великому несчастью, это не перелается ни на письме, ни в звуковой попытке. Но это еще не все! Еще был жест. При произнесении слова «вон» надлежало указать пальцем на воображаемую дверь. Жест Коваля стал тоже двенадцатистопным. Он вынул правую руку из левого заднего кармана штанов, и эта Юрина рука, как освобожденная пружина, завибрировала, завертелась и, отделяясь от тела, пославшего ее, в двенадцатистопном ритме без единой цезуры устремилась жуткими зигзагами неизвестно куда. Но бедное Юрино тело, не желая лишиться руки, устремилось за нею вслед и, не выдержав неправдоподобного ритма, рухнуло на пол, обретя наконец-то цезуру.

Актеры в конвульсиях согнулись пополам и рухнули все вместе, а следом рухнул и зал. Это был грандиозный успех!

Желание славы

...Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне...

Так говорила мне мама, но не очень часто. А я, признаться, и не думал исправлять этот изъян. То обстоятельство, что брат мой Вадька в институт поступил (физику списав на четверку), а я вылетел в никуда, меня совсем не занимало. Тем более что Вадька в геологии нашел свою судьбу, а я бы все равно там ее не нашел. И даже то, что Коваль учится теперь на литфаке без меня, совсем меня не задевало. О господи, ведь жизнь — бесконечная жизнь — еще мне только открывалась! И все, что в ней назначено для меня, ведь все равно, я полагал, свершится.

Но вскоре там, в Геленджике, узнал я, откуда и как возникает желание славы. Не из Пушкина и не из пушкинистов, а из прямой письменной речи любимого мною человека, вдруг возжелавшего славы.

В Геленджике той осенью (1955) пришло мне от Коваля письмо. Он не успел еще достаточно освоиться в институте, не вполне осознал, под какие своды вступил, и потому подробно писал не об институте, а о том, как охотились они с братом Борей на уток не очень далеко от их тогдашней челюскинской дачи.

«...Я вдарил по ним и промазал, а Борька, гад, вдарил и попал...»

И вот потом, в конце пространного письма, стилистика и предмет которого как будто бы были воплощены в приведенной и оборванной мною фразе, Юра открыл вдруг совсем иную тему, и совсем иная интонация зазвучала в письме:

«Говорят, что слава — дым, а еще говорят, что слава тешит человека. Я согласен со вторым и немного с первым. Аействительно: у меня есть Скова (это ты; я шучу), но, честно тебе признаться, мне хочется славы с маленькой буквы. Мне, да я уверен, и тебе, хочется, чтобы потомки знали, что жили-де такие люди Ю. Коваль и В. Кабанов и какие они были великие. Это смешно, но это так... Мне, например, мечтается, что я буду великим писателем, а Ийка будет ходить и думать: Ах, какой он умный, ах, какой он великий, и как это я, дура, в него не влюбилась? Твой верный, близкий и т.д..
Ю. Коваль, который проживает в г. Москве, Б-78,
Хоромный т. 2/6, кв. 71.
Р. 5. *Сохрани это письмо для потомства».*

Прочитав эту заключительную часть Юриною письма, я не нашел в себе признаков мечтаний о собственной будущей славе, а вот мечтанья Коваля смешными мне не показались. Он просто рано и точно стал ощущать свое предназначение, а меня, вы знаете, любил как друга и щедро, искренне дарил мне такое же, как и себе, предназначенье.

Не думаю, что Юра знал тогда Пушкина лучше, чем я. Совсем не уверен, что знал он «Желание славы». А все же... Пусть не в стихах, а просто в дружеском письме, пусть наивно, почти по-детски, но Юра уже тогда предугадал, вернее, понял, что может чувствовать, чего желать поэт, когда любимая, единственная на этот миг женщина его отвергла или предала.

Ну что на самом деле могу я знать о Елизавете Воронцовой? Но Ийку, Юрину любовь, я знал. Она была изумительно хороша и ни на кого на свете не похожа. И как ей было можно Юрку не любить?

И конечно, их роман со временем состоялся, они поженились (хотя и не навсегда), и Юрка стал Юлькиным отцом за год до того, как я стал отцом Наташки.

Дождь

Когда Коваль учился на первом курсе, а я пока что тоже был в Москве и кочегари\, он подарил мне номер институтской малотиражки со своим опубликованным рассказом.

Поперек листа газеты Юра написал коричневым карандашом:

«Дорогому Слафе 1-й серьезный труд. Дли *бог не последний».*

Слово Бог мы все тогда писали со строчной. Юрка же у нас (еще в школе) был всегда Юркой, а мы с Митрошиным Вовкой в нашем узком кругу именовались: Вофа и Слафа.
Рассказ был очень небольшой и назывался «Дождь». Он начинался так:

«Шалаш *был сделан из еловых веток и протекал... Если б была здесь она! Но я прекрасно знал, что она не любит ни охоту, ни меня. Почему же не помечтать?»*

Я Ийку знал, но я не знал и я никак не мог понять: ну почему она не любит Юрку? Это было совсем ненормально. Конечно, Ийка, она была такая, что я не берусь что-либо о ней сказать хотя бы немного описательное... Но ведь и Юрка, черт возьми, да разве на кого-то в мире был похож?! Ну разве что на брата Борю...

Я думаю, что Юра с Ийкой в конце концов поженились потому, что Юрка пришел в институт, и невероятная концентрация его всемирной влюбленности оказалась немного разбавленной иными впечатлениями. Ия, бедная, наконец то смогла рядом с Юркой нормально дышать.

У входа в центральную Девятую аудиторию, под пасмурным стеклянным сводом в наше время стояли монументальные гипсовые фигуры Ленина и Сталина, своими спинами загораживая изящную нишу с широкой белой чашей и ниспадающей в нее струей волы из белой львиной пасти.

В 1984 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла Книга Коваля «Самая легкая лодка в мире». Кроме заглавной повести, сюда вошло еще несколько рассказов, а увенчала книгу небольшая изумительная повесть «От Красных ворот», где и рассказано про институт и его стеклянный свод Тогдашняя цензура вздрогнула от странного упоминания «двух важнейших скульптур нашего времени - и попросила это снять. Пришлось «диковинным типам» толпиться просто «у ног огромных скульптур». А уже в 1993-м, когда я издавал в «Книжной палате» Юрии сборник «Опасайтесь лысых и усатых» (его название!), Юра подал в редакцию подлинный текст. Об этом Коваль рассказал Ирине Скуридиной в большом интервью не для печати, но Ира, слава Богу, потом, когда уже Юра ушел, опубликовала этот разговор в «Вопросах литературы »:

«... Когда я описываю Пединститут, а там стояли у нас скульптуры Ленина и Сталина, я написал: „Какие прекрасные девушки толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени". — (Это он цитирует по памяти, неточно. — *В. К) — Вот это «двух важнейших скульптур нашего времени» было выкинуто.*

—Вполне безобидная фраза. Вы потом ее не восстановили случайно?

—По-моему, я восстановил в последнем издании, надо посмотреть, проверить по Лысым и усатым". Там, по-моему, восстановлено».

Да, Юра, там восстановлено.

Конечно, подаренный мне «Дождь», первый «серьезный» Юркин рассказ, еще не был прозой Коваля (не знаю, перечитывал ли он его), но все же в короткий и во многом наивный текст рассказа упали уже тогда предвещающие божественность искры. Ведь дождь шел непрерывно уже четвертый день:

«Я уже не закрывал глаза, если в них попадали капли. Я мог запрокинуть голову и смотреть в воду, которая называюсь небом».

Приготовление к новой жизни

«Славка! Славка!
Здравствуй, мой дорогой Славка. Мало сказать, что я жму твою руку. Я обнимаю твои могучие солдатские плечи.
Здравствуй, мой искренний Славка.
Сволочь ты такая, и я тоже большая сволочь. Плохо мне сейчас, Славик, плохо мне и тяжело, потому что нет у меня настоящего друга. Нет как нет. Как глупо тогда мы с тобой поссорились, как глупо эта ссора испортила тебе несколько лет жизни. Ведь если бы не было этой ссоры, учились бы мы, пожалуй, вместе. И вместе бы делали дела. Писать я почти ничего не пишу. А ест и пишу, то пишу так, чтобы нельзя было наплевать на меня и разорвать мое сердце. Когда я напечатал „Дождь" (ты его помнишь?), меня же совершенно смешали с грязью. То есть народ, так сказать „толпа", приняла рассказ довольно хорошо. Некоторым он очень поправился. Это меня радовало. Но люди, мнение которых я сдуру, по наивности, ценил выше других, буквально наплевали мне в рожу. Я помню, ты тогда очень меня поддержали, когда сказал, *что тебе рассказ понравился. После этого, Славик, я постепенно скатился, потому что рассказ я писал от чистого сердца и с чувством... Это все же мое чувство, и мне оно важно... Я не знаю, могу ли я и буду ли я писать. Но мне кажется, что не писать я не могу. А в общем, пусть все идет к дьяволам. Мне хочется лишь покоя. Покоя душевного... Мне не хватает тебя, человека, который сказал бы: „Юрка, да брось ты. Все в порядке!" И протянул мне „петушка'.*
С горя занялся я рисованием. Поступил (у нас там, в ин-те) на курсы рисования (вторая специальность). Увлекся и увлекаюсь до сих пор. Снова и снова жалею, что нет тебя. Ведь из тебя бы, пожалуй, вышел толк в *этом деле. Плохо и плохо мне, Стека, и писать я кончаю. И писать я буду теперь тебе чаще и интересней.*
Прости меня за безалаберность. Твой, если нужен кому-нибудь, ЮрКоваль».

Конечно, я в ответ ему писал. Но что писал, не знаю. Не каждый же, подобно мне, сохраняет почти любой исписанный клочок бумаги. Юрке это было не нужно. Он жил плотоядно, шел вперед и вперед, все пробуя на цвет, на запах и на вкус, пока не прошел свой Остров Истины. Я же все сохранял и накапливал До будущих времен.
Больше трех лет не было меня, а Юрка все обо мне хлопотал:

«Кончается третий год нашей разлуки. Осенью ты снова начнешь штатский образ жизни. За три года я сделал кое-что и надеюсь, что все это не пропадет и для тебя.
Славка, в сущности я подготовил для тебя почву и думаю, что ты это понимаешь. Ты приедешь и бросишь в почву мощное семя. И взойдет из этого семени, бремени, племени могутная нива, и заколосишься ты великими деяниями и великими помыслами. Так что, Славка, приезжай, голуба, а почва у меня — люкс, чернозем».

Первая гитара Коваля

Это была простая, безо всяких причуд семиструнная гитара. Только возраст имела она никак не менее ста лет. Ведь еще задолго до рождения моей мамы дед Борис на ней играл Гитара эта умела, видимо, издавать особенно полные звуки, облагороженные столетней сухостью ценного дерева... Да только звуки теперь было некому извлечь. Никто у нас в доме не умел на гитаре играть. И даже из немалого числа лиц, в наш дом приходящих, ни одного гитариста не нашлось. Так и висела гитара, томясь, как наложница в гареме.

Начиная где-то с восьмого класса, мы в школе очень пристрастились к пению. Дворовые песни, как я уже говорил, были в большом ходу, но в нашем классе песенный репертуар оказался гораздо шире и еще все время пополнялся. Это потому, что у нас в классе учился Юра Коваль. Вернее, потому, что у Коваля был старший брат Боря.

Мы еще не достигли старших классов, когда Боря был уже студентом. Потом он стал аспирантом. Это очень, наверное, здорово, когда ты еще не старший школьник, а брат у тебя, черт подери, студент! Студенты сороковых и пятидесятых годов знали великое множество развеселых студенческих песен. К тому же Боря играл на аккордеоне и на пианино и великолепно пел все эти удивительные песни. Вот только не знаю, почему в их доме не было гитары ... Быть может, Борин и Юрин папа Иосиф Яковлевич или мама их Ольга Дмитриевна желали поднять музыкальную культуру своих мальчиков над уровнем дворового пения и для того завели в ломе более изысканные инструменты. Я этого не знаю. И мне сейчас очень странно, что Юра когда-то не умел играть на гитаре. Выходит, и Боря не умел? Да быть того не может. Ведь потом, на протяжении десятков лет ни Юру, ни Борю уже нельзя было и вообразить в дружеском или праздничном общении без гитары в руках!

Но было так: Юра Коваль не умел играть на гитаре. Да у него и не было гитары!

Зато был чемодан. Вернее, чемоданчик. Иметь чемоданчик, конечно, высокий шик, это мог себе позволить ученик не ниже восьмого класса. В отличие от кейса (который, кажется, свое тоже отжил), чемоданчик был не узок, а, напротив, несколько даже кубичен. Он был уменьшенная копия дорожного чемодана из прессованного картона и обязательно имел блестящие металлические углы. Это очень шикарная вещь. Но чемоданчик был не только переносилищем коньков, книг и тетрадей, он был еще и музыкальный инструмент. Таким его сделал Коваль. Потом освоили и мы, и втроем (Юрка, Вовка Митрошин и я), установив инструменты свои на коленях, постукивая в испано-мексиканском ритме по гулкой картонной их поверхности, пели взахлеб:

О, *поцелуй меня, девушка милая,*
Молит гитара, звеня...
С новой тоской льется песня унылая,
Стынет душа без огня-а-а...
Бз-са-мэ...
Бз-са-мэ му-ча-а-а...

А Юрка приносил всё новые песни, и не было им конца.

Эх, Мурка, Маруська Климова,
Эх, Мурка, не мучь любимого!
Эх, Мурка, аля би-би...
Возвратный тиф тебя, холеру, забери!

Но не одни только залихватские были у нас песни. Мы пели и - То не ветер ветку клонит... », и «Солдатушки, бравы ребятушки... ~, и такую песню, не вкладывая в нее патриотизма, а лишь упиваясь распевом:

Россия! Россия! Родные вольные края-аа ...
Россия! РОССИЯ!
РОССИЯ — родина моя...

Мама моя очень любила, когда мы у нас дома пели эту песню, но, думаю, что наши распевы задевали и русские мамины струны. И вот однажды у меня дома — только втроем мы были и пели под аккомпанемент чемоданчиков — Юрин взгляд остановился на деловой гитаре.
— А ну, дай-ка мне гитарку, — сказал Коваль.
Он взял гитару, повертел ее в руках так и этак, потом поставил боком на колени — струнами к тому месту, где у него, как и у меня, образовался впоследствии живот, — и с легонькими постукиваниями по корпусу пропел:

Нам уж больше не встречать рассвет
После нашей ноченьки вчера...
Последней нашей ночки!
На прощанье ты сказал мне вслед,
Что расстаться нам с тобой пора...
Ну что же, брось! Брось!
Жалеть не стану...
Я таких как ***ты,*** *всегда достану...*
Ты *же — поздно или рано —*
Все равно ко мне придешь!

Аккомпанемент получился чудесный...
Когда я вернулся из армии, Юра уже вовсю играл на собственной гитаре, перебирая струны чуткими, животворящими пальцами... Но все же первой гитарой Коваля (хотя и с игрой на оборотной ее стороне**)** была гитара деда моего Бориса.

Его последняя гитара

Когда «Недопесок» Коваля перевели («Polarfuchs Napoleon III) и напечатали западные немцы (Германия тогда еще состояла из двух непримиримых государств), они пригласили Юру по этому поводу к ним приехать. По счастью, Юрке это удалось. Минуя грабительский ВААП, он получил в Германии приличные деньги. Купил маме зонтик, что-то дочери Юльке, а потом, вернувшись в Москву, догадался, что самый верный путь немыслимых и долгих наслаждений он изберет, относя по мере надобности немецкие марки (а может быть, переведя их в чеки, боны или сертификаты?) в магазин «Березка» и вынося оттуда различнейшие ромы, виски и джины...
Но это потом, а все же главные деньги Юра оставил на укрепление капиталистического строя Германии. Он там купил себе гитару.
Это была испанская — чудесная, не самая дорогая гитара. На самую дорогую у него не хватило. Но когда в музыкальном магазине Штутгарта Коваль испробовал гитару за шесть тысяч западногерманских марок и сказал, что ее покупает, сбежался весь персонал магазина, чтобы своими глазами увидеть загадочного, немыслимого русского, приобретающего за такие деньги не шубу, не брильянт и не автомобиль, а — о майн гот! — гитару!
Я не понимал тогда (да и сейчас не очень), **что** такое шесть тысяч марок, но все же догадался по сюжету о немыслимой солидности суммы. Но дело было не в деньгах.
Юра отворил большой темный футляр, но не извлек испанскую гитару. Он дал мне возможность познать ее в сравнении.
На своей повседневной гитаре Юра наиграл мне Пятый этюд Джулиани, **это** было красиво...

— А теперь послушай на испанской.

Я послушал и обомлел. Разница была, как между патефоном и стереопроигрывателем. Иного сравнения я тогда не смог подобрать. А Юра сказал:

— Я пока не могу извлечь из этой гитары все ее возможности. Мне надобно еще много работать. Но я сделаюсь ее достоин.

Как Юру Коваля подвергли обсуждению

... Но все-таки всегда в нем оставалась неуверенность. Он, как никто, нуждался в поощрении, похвале, признании ...

Был восемьдесят второй год. Позвонил мне Коваль **на ра**боту и говорит**:**

— В Союзе писателей назначили обсуждение моего творчества. Как все пойдет, я **не** знаю, **но** от этого может многое зависеть... Хочу, чтобы ты пришел. Для поддержки. Ты же в Госкомиздате, начальник отдела художественной и детской литературы... Не хухры!

Я поначалу удивился. Коваль нуждается в поддержке? Однако вспомнил, что я его когда-то очень поддержал (по его словам). А всего-то сказал, что «Дождь» (его первый рассказ) мне понравился... И вспомнил я, что так ведь было и потом: Коваль — и начинающий, и становящийся, и ставший крепко на ноги, и уже осыпанный влюбленностью и восхищением — всю творческую жизнь свою нуждался и нуждается в поддержке. Не в протежировании, нет! И не в практическом каком-либо содействии, а просто в легком, что ли, касании дружественной руки, в улыбке теплой, сочувственной, в коротком добром слове. Без этого он жить не мог. Ведь я уже полгода был начальником отдела, а Юра до сих пор ни с чем ко мне не обращался. Да и теперь ему был нужен не начальник, а просто друг. Он, упомянув, что я начальник, хотел напоминаньем статуса мне лишь бодрости придать.

Но я-то все же не забыл, что я начальник. Я так подумал: вот приду я в этот Союз, и если что... я им, к примеру, так скажу: «А не забыли ль вы, что книги Коваля переведены на многие европейские языки? А вам знаком ли Бюллетень пресс-центра последней Московской книжной ярмарки? Известны ль вам из упомянутого Бюллетеня слова директора издательства „Гюльдендаль" Якобсона? Это Дания. А он, этот Якобсон, для вашего сведения, сказал: „Теперь мы планируем издание книги Юрия Коваля с иллюстрациями Т. Мавриной... Мы приобрели права на распространение этой книги практически во всем мире..."»

Но, честно говоря, мне вовсе не о том сказать хотелось. Я это так, на случай приберег. На самом деле мне хотелось сказать о прозе Коваля, об удивительности стиля. Я, может быть, сказал бы, что литературный стиль Юрия Коваля трудноуловим ... Что в его прозе даже нейтральные слова так диковинно прислонены друг к другу, что возникает некое новое языковое качество...

На самом деле я бы так, конечно, не сказал. Так сказала много позже Таня Бек. Сказала, когда уже не стало с нами Коваля, как не стало теперь и самой Тани...

Но что-нибудь подобное мне все же сказать тогда хотелось.

Мы встретились с Юрой у входа. До начала судоговорения было еще минут пятнадцать. В холле расположились мы вдвоем на широком подоконнике, и Юра извлек из наплечной сумки початую бутылку коньяку. Как только мы наш дух тихонько укрепили, подошла к нам Ира Скуридина, верный друг Коваля и его оруженосец. Она и попросила Юру дух укреплять лишь только понемногу. И мы послушались: еще раз понемногу укрепили дух.

В небольшом округлом зале вокруг просторного овального стола и просто по стенам — сидя и стоя — набилось множество народу, и Юра, кажется, немного пожалел, что еще хотя бы раз немножечко свой дух не укрепил. Зато я был готов к прыжку, но и к затейливой речи тоже.

Не помню, кто там был из «важняков». Алексин? Михалков? Да нет, пожалуй, вроде бы их не было.

Первая речь о творчестве Коваля была умеренно-похвальной. Вторая? Вторая — тоже похвальной, но с меньшей уже умеренностью. Третья — совершенно хвалебной. Четвертая — восторженной!
И так пошло-поехало. Речей все прибавлялось, и все по нарастающей хвале. Оттого на душе становилось радостно и — вместе — скучновато. Я говорить не стал В том смысла просто не было.
Наконец хваленья кончились, Юра коротко всех поблагодарил, а Ира тем временем уже поймала «рафик», и полетели мы к Юре в мастерскую, чтобы твердое состояние нашего духа теперь немного размягчить.

Так — бурно и несмолкаемо — протекла та экзекуция любви, которой в Союзе писателей подвергнут был Коваль. А он ее так искренне *боялся.*

Последнее о нем

Последнее жилище Юры было в ста шагах от моего издательства «Книжная палата». Он иногда забегал ко мне на минуту. Особенно часто, когда мы готовили книгу «Опасайтесь лысых и усатых». В этой книге с чудесными рисунками Юры и предисловием Арсения Тарковского была - Самая легкая лодка в мире », а во второй части — рассказы и некоторые острова из «Суера-Выера» (первая, еще неполная публикация). Предисловие Арсения Александровича «О книге друга» относилось, собственно, к «Лодке», потому Юра мне и сказал, что надобно для равновесия вторую часть тоже как-то предварить. Я спросил:
—А кто бы мог?
—Вот ты и напиши, — сказал Коваль. Вот я и написал « От друга издателя»:

«У Коваля все талантливо, даже старший брат и его воздушная невеста. Об этом будет в маленькой изумительной повести „От Красных ворот". У Коваля талантливы собаки, птицы, рыбы, деревья, вода...

В 70-е годы, когда российскую словесность выгладил стилевой штиль, в небольшой лагуне под названием „детская литература" веселились, играли и пели живые, упругие токи интонации, ритма. Это была заводь Коваля, где жила проза. Что такое настоящая божественная проза, может быть, и мало кто понимает, но чуять ее дано талантливым читателям, которые делаются талантливыми, читая прозу Коваля.

Юрия Коваля любят дети и матери детей. И даже иные отцы. У него все талантливо. Сейчас, когда я пишу о Ковале, я чувствую, как у меня внутри пробиваются ростки таланта».

Назавтра, 6 июня 1993 года Юра зашел в издательство, меня не застал, но прочитал мою миниатюрку и оставил записку:

«Слав! Твой текст хороший. Спасибо. Я радуюсь, потому что его появление в книге правильное (по жизни и по смыслу жизни).
Все неплохо, кроме гипса, алебастра и вообще цемента...
Позвоню тебе из Малеевки.
Целую,
Юра».

... Через год после выхода «Лысых и усатых» купил я избу в деревне Толстокосово, недалеко от Бежецка и в трехстах верстах от Москвы. Туг и понял, что необходимо нужен мне какой-нибудь автомобиль. Однако не было у меня не только водительских прав, я — в свои далеко за пятьдесят — никогда еще в жизни не сидел за рулем. Долги и бесплодны были рассуждения на этот счет, но Юрка однажды просто взял меня за руку и отвел в автошколу. Затем получал я уроки езды еще и на Юрином «москвиче».

И вот я купил себе «Волгу» — ГАЗ-24. Она была совсем еще молоденькая, всего тринадцать лет, оттого, конечно, очень хрупкая. Она смеялась моей седине, и от смеха в ней все время что-то ломалось. Я же совсем не понимал, как и куда по поводу моей девочки обращаться. Но Юра свел меня со знатоком столь юных дамских организмов. И стал ездить я в деревню на машине.

Младший братик мой Боря со своими детишками проводил то лето у меня в Толстокосове. Пора настала их оттуда вывозить, а у «Волги» забастовали «дворники». Недалеко от моего издательства и Юриного дома располагалась автобаза, и Юра все мне там устроил. Теперь я мог ехать.

В те дни мы с Юрой виделись почти каждый день. Перед моим отъездом он упомянул о тяжести в груди и был немного утомленным. Он, видно, побывал уже « на острове, где небо давит». Я уезжал всего на два-три дня, но все же мы обнялись и расцеловались. Я и подумать не мог, что Коваль уже ступил на Остров Истины.

Я узнал обо всем, воротившись в Москву.

Так вышло, что попрощался навсегда я с Юрой живым.

Юлия Коваль

Человек лыжни

Во времена детства летосчисление мое отличалось от теперешнего взрослого. Тогда за год много воды утекало. К концу летних каникул мы вполне перерождались в индейцев или пиратов, научались переносить лишения и стойко держать язык за зубами, когда над нами реял Веселый Роджер. Зимы были длинные, холодные, и это была целая эпоха. Мы гуляли все свое свободное время, лаже в темноте. Во дворах вместо стада машин были горы собранного дворниками снега, за развал которых нам грозил разгон. Снега в детстве всегда было огромное количество. Качество его было разным, но годилось для нас всегда. Если снег лип и на лыжах и санках кататься было плохо, то уж слепить первую в сезоне или самую красивую в районе снежную бабу точно было можно. А снежки?! Особенно если цель крупная, например — бабушка. Отец тоже с удовольствием играл с нами, а на лепку меня просто вдохновлял своими веселыми фантазиями. Только было это все очень редко и коротко — некогда.

За ломом были горки — как для санок, так и для катания на ногах или заднице, в зависимости от храбрости и возраста катающихся. Санок было мало, ледянок почему-то тогда у нас не существовало (в лучшем случае брали кусок картона), поэтому домой приходили в стоящих колом, забитых снегом шубах и рейтузах. Трое сезонных каникул были островками свободы во время в принципе любимой учебы. А свобода МЫСЛИЛАСЬ в компании на свежем воздухе, в подвижных играх и скромных детских безобразиях.

По отношению к снегу люди шестидесятых делились на две категории. Первые были конькобежцы или фигуристы, хотя фигурные коньки мало у кого тогда были. Вообще коньки были предметом роскоши и уважения окружающих, как примерно велосипед Другая же, более демократичная партия, была — лыжников. Ну, лыжи тогда были у всех поголовно, это было дешевое развлечение. Самые простые, с кожаной петлей, на валенки или поизящнее, с ботинками, не важно. Причем уточнять — беговые или горные — не требовалось, так как хоть гор в стране и было столько же, сколько сейчас, но средств их достижения и желания достичь явно меньше. «Умный в гору не пойдет... » Две эти группы товарищей являлись непримиримыми противоположностями, как физики и лирики, да и можно ли объединить мягкий теплый снег и жесткий холодный лед?..

Так вот, отец мой, Юрий Коваль, был явным лыжником. Я вообще не знаю, катался ли он на коньках. Думаю, что, наверное, умел, так как был спортивным молодым человеком. Опять же, каток был признанным местом знакомств молодых людей и девушек. Однако при мне не было случая, чтобы он хотя бы упоминал об этом, из чего я могу сделать вывод что коньки он не любил, точнее, был человеком лыжни.

А вот уж лыжи он явно любил. Да и правда, как мог человек, влюбленный в природу, не любить средство достижения ее зимой? Из этих двух досок с бамбуковыми палками можно было составить самую зимнюю легкую лодку в мире и плыть на ней куда угодно, хоть на Северный полюс. Кстати, вы обратили внимание, что без снега в прозе Коваля обойтись невозможно и одни из самых лирических — зимние страницы?

Прекрасное время моего детства совпало с пребыванием в прекрасном доме отдыха «Березки» прекрасного издательства «Молодая гвардия» в прекрасном Лобненском районе Московской области.

Но первые наши с отцом лыжни начинались в Сокольниках. У меня до сих пор ощущение, что это самый солнечный парк на свете. Наверное, папаша выбирал хорошую погоду для дальних выходов (в плохую я гуляла рядом с домом); но в памяти прочно засели голубые просеки с косым солнечным паркетом, лежащим поперек лыжни, снегири, музыка в отдалении, доносящаяся с катка. Впрочем, выходы эти на природу были редки. Наверное,

поэтому и запомнились. Когда я интересовалась у маман, не пойдет ли отец со мною погулять еще, она отвечала, что он занят в мастерской.

В « Березках» все было по-другому. 'Гуда приезжали дети родителей на все каникулы. Родители же детей, экономя короткий летний отпуск, устраивали сменный пост при своих отпрысках и сменялись через несколько дней. Мой-то папаня тогда уже в штате редакций не работал, а был на вольных хлебах, поэтому был более свободен, чем мать. Но все равно бывал там не часто, не каждый год. Однако же какой то был счастливый год — не то семидесятый, не то семьдесят второй — когда в этих «Березках» собралась куча Ковалей.

Приехал отец, брат его Боря с тетушкой Лялей, мать моя Ия, кузина Танька, ну и я, конечно, была. Вот это было счастье! Кстати, к погоде в детстве у меня не было претензий вообще — типа, жарко или холодно. Погода была прекрасна и в солнце, и в пасмур. Сейчас вспоминаются прекрасноснежные зимы без каких-то диких климатических особенностей. Была, правда, одна зима в семидесятых, когда на вновь распустившихся зеленых листьях сирени в декабре лег снег. Да и лета тоже были подходящие. Капризы мои, а не погоды, начались гораздо позже. А пока каждый день с утра после завтрака были лыжи в количестве трех-четырех часов.

Я до сих пор помню рельеф местности вокруг деревни Поповка. Более того, когда я во сне вижу синюю пронзительную лыжню, круто уходящую в заснеженный ельник, я сразу вспоминаю, где этот поворот по отношению к родному корпусу (за десять лет пребывания он правда стал родным). Это ощущение свободы, когда, став на лыжи, скользишь по грани между землей и небом со скоростью и легкостью полета птицы, мало с чем сравнимо. К тому же прел восхищенным взором развертывается дивная зимняя графика, которой ты можешь посвятить неограниченное количество времени (чем хороши беговые лыжи в отличие от горных). Да, как говорят адепты коньков, лыжи — это индивидуализм. В общении с природой, возражу им я, коллективизм плохо уместен. Нет, конечно, никто особо по одному в лес не ходил, тем более в нежном возрасте, но лыжня всегда позволяй притормозить и выпасть из движения и времени. Коллективизм проявлялся в другом — когда надо было утаптывать снег на сказочной белой поляне, разжигать костер из одной спички, чистить мандарины, разливать по глотку крепкий сладкий чай из термоса, делить бутерброды на всех поровну.

Отец, по крайней мере при нас, при детях, был сторонником активного бега на лыжне. Тогда впервые мы увидали от него, что такое коньковый ход Да и в классическом стиле угнаться за ним было невозможно. Благо чаще всего лыжня вела к излюбленным склонам для спусков. Как легко мы ездили по ним! Отец заканчивал спуск с лихим виражом и разворотом на 180 градусов. Я же чаще вообще не доезжала до низа, так как со страху цеплялась палками за снег, тормозила и вываливалась из траектории полета вбок. Посмотрев как-то на мои муки, он предложил мне очень простое решение — кататься с гор без палок. Я поначалу усомнилась в возможности этого, попробовала съехать сидя на корточках. Пару раз получилось. А потом так раззадорилась и навострилась, что без проблем каталась с довольно крутых склонов, хотя, конечно, до нынешних горнолыжных трасс им было далеко. Но нам хватало и скоростей, и адреналина, и ветра в лицо. Помню постоянное ощущение умытости от зимнего воздуха и неприлично яркий румянец на щеках

Ходить с отцом на лыжах в лес было большим удовольствием. На полях снежный покров выравнивался ветром, ближе к весне затвердевал наст и отражал небо. А в лесу на мягком снегу были видны следы зимней активной жизни. Когда мы шли по лыжне, казалось, что лес вымер, редкий звук (типа вороньего грая) раздавался далеко окрест. На белом же листе снега видны были и бисерные пробежки мышек, и торопливый фокстрот, и небрежные цветки заячьих следов. Иногда встречались тетеревиные лежки со следами от ударов крыльев. Видали лосиные и волчьи следы, кабаньи борозды, пропаханные брюхом по глубокому снегу. Медведя, врать не буду, не видала, но прекрасно представляю себе антураж из «Сиротской зимы». Конечно, всю эту снегопись отец объяснял и комментировал с глубоким знанием повадок зверей и особенностей погоды.

Однажды по целине преодолевали довольно глубокий овраг, хотели нарвать рдеющей под снегом калины. Путь нам пересекали следы зайца и, поверх них, лисы. Вдруг отец и дядя Боря, идущие впереди, с диким криком «Хватай ее! Держи!» — понеслись вперед. Дядюшка обернулся на ходу и сказал: «Лиса!» Мы с народом дунули со страшной скоростью за ними. Через десять минут бешеной гонки подуставшие взрослые затормозили. Папаня сказал: «Ушла! Я чуть было не схватил ее за хвост. Вот видишь, ее шерстинка у меня в руке. Ну ты-то хоть видела ее?» Я не могла признаться, что нет, и сказала, что что-то рыжее мелькнуло где-то впереди, но я не поняла, что это. Отец покивал головой и сказал: «Умная, зараза! Старая, наверное. А ты не стесняйся, рассказывай всем, что видела лису в лесу». Когда мы вернулись и я рассказала обо всем взахлеб мамане, она, конечно, выругала папаню за беготню на морозе, а насчет лисы сказала: «Хорошо, что не догнали, а то что бы мы с ней делали ?» Только долгое время спустя я догадалась допросить дядюшку, ион признался, что это был всего лишь розыгрыш, а лисы-то и не было. Сначала я, как водится, обиделась на папаню. А потом подумала: но лиса-то была, ведь неизвестно, когда прошла она за тем зайцем, и это ее пушинка, застряв на кусте калины, оказалась в руке у отца. А вдруг бы и впрямь догнали? Побегать в охотничьем азарте по хрустящему морозу — здорово, одно слово!

Приехав к обеду в дом отдыха, очистив лыжи от ледяной корки (никто нам, мелким, в этом деле спуску не давал), добредя до номеров и содрав с себя заскорузлую одежку, мы валились без задних ног. Довольно часто после обеда у нас бывал тихий час, когда по крайней мере валялись и читали книжки. А отец часто, особенно по весне, когда уже долгие дни, уходил опять на лыжню, уже со взрослыми. После ужина вновь постепенно закипала жизнь. Чего только не делали мы по вечерам! Настольный теннис! Тоже научена играть папашей, и немало подростковых носов было мною утерто за теннисным столом! Сауна, кино, танцы. На Святках гадали всенепременно — на книге (Гомер иль Шекспир), по газете, топили воск, обручальным кольцом звенели о стекло... Асы из маминых подруг гадали на кофейной гуще и по руке. Проводились живописно-графические мастер-классы, так как все дети были гениальны, а все родители хотели это подтвердить.

Самое же большое вечернее удовольствие было — одеться и незадолго до сна пойти на источник серебряной воды со стеклянным казенным кувшином. От наших ворот дорога сбегала круто вниз, в деревню, и внизу оказывались избушки с теплыми огоньками, снежные поля и темные леса. А прямо перед глазами развертывалось немыслимо прекрасное зимнее небо, где были и мой Лев, и всякие Кассиопеи, и, конечно же, гордый Орион. Выйдешь за ворота, глянешь на небо и оробеешь на невыразимо долгое мгновение. Как вдруг сзади уже набегают с хохотом и улюлюканьем с огромными деревенскими санками, и в изумлении пропускаешь их или сама валишься туда же в кучу малу с хохотом и — только снежная пыль из-под полозьев! А потом — брык! — и на боку посреди блистающей под светом звезд накатанной дороги.

К сожалению, детство быстро пролетело, и времена изменились, и нравы. Но как выйдешь зимой за дверь, так и увидишь: или закат цвета утиной крови, или снежуру с листобоем. И вспомнишь, что даже за облаками на нас строго глядит вечный небесный охотник — Орион.

Октябрь 2007 года

Борис Коваль

Последняя встреча с братом Юрой

Душа моя оказалась настроена на воспарение духа, некое отрешение от суеты, от текущих забот и настроений. Даже от прошедших конкретных эпизодов. Книга Жития Юры мне не по силам.

Душа бессмертна еще и потому, что способна перелетать не из одного тела в новое тело, а прямо в души других людей. Так сказать, чистый метемпсихоз безо всякой плоти. Правда, если речь идет, конечно, только о хороших и талантливых персонах. Плохонькие души вообще никому не нужны: « никчемных», как свидетельствовал великий Данте, держат даже в «преддверии ада». И это справедливо. Ад, оказывается, тоже надо заслужить — грехом. Но кто не знает греха, тот либо ангел, либо святой. Мы же все — грешные, хотя добрые и даже праведные. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы рассчитывать на лучшую долю.

К этому классу нормальных людей относится и мой брат Юра. Вот почему каким-то странным и почти волшебным образом герои и персонажи его творчества удобно расселяются в живых душах читателей и зрителей и тем продолжают свою жизнь. А значит, и их творец тоже. Разница времен и миров как бы стирается. Придуманный мир, пакибытие и действительность образуют общее пространство. В. И. Вернадский, Тейяр де Шарден и некоторые другие мыслители XX века именовали его ноосферой. Я с их мнением согласен. Юра тоже. Эта одухотворенная человеком зона рождается на земле, но постепенно распространяется вверх, сближаясь с высшим надмирным эоном. Сближаясь, но не сливаясь, так и хотелось бы представлять мне нынешнее местопребывание Юры, моих родителей, бабы Саши и всех других добрых и любимых людей. Их уже нет здесь, но они все же где-то есть, а главное — реально живут в наших сердцах и памяти, в чувствах и мечтах, в наших фантазиях, то есть во всей текущей жизни. Слава Богу, что Он одарил людей такой великой привилегией — удерживать в себе мистическую связь с теми, кого любили и любим, кто нас любил и, может быть даже продолжает любить, хотя и на иной, неведомый нам, манер небесного агапе. Чаще всего мы ощущаем этот контакт интуитивно и молча, так сказать, про себя. Выразить интимное чувство словами трудно.

Возьмем Васю Куролесова, Рашпиля или нашего с Юрой дорогого учителя Владимира Николаевича Протопопова. Они вместе с сотней других художественных и реальных персонажей Юриного таланта обладают для нас полным бытием. Энергия их создателя не ослабевает со временем, а даже, напротив, усиливается.

В Древнем Риме считали, что исключить из жизни дружбу и любовь все равно что лишить мир солнечного света. Юра всем своим творчеством и поведением защищал именно такую нравственную позицию. Разумеется, он не был ангелом, совершал глупости и ошибки, иногда даже допускал неблаговидности, как и всякий живой человек. И тем не менее в душе и мыслях был привержен только добру. Зло, в каком бы обличье оно ни существовало, претило складу его характера, вызывало чувство брезгливости и решительного протеста. Его герои всегда заряжены на свет и радость, на взаимопомощь и симпатию, на искренность и порядочность. В общем, для меня лично Юра был и остается человеком ярким, добрым и озорным. Такого брата я не могу не любить.

В надежде на ваше доверие, позвольте теперь откровенно поведать о самом недавнем душевном контакте с братом. Дело было так...

Недели две назад рано утром, когда я еще спал, в комнату моей сельской обители, которую мы с Юрой пятьдесят лет назад помогали строить отцу, влетел маленький купидон. Я почувствовал его появление каким-то полусонным подсознанием. Он бесшумно подлетел клипу и тоненьким голосочком прошептал: «Открой глаза». Я выполнил его приказ и обнаружил прямо перед носом трепещущее прозрачными крылышками, как у стрекозы,

нежное маленькое существо с детским личиком в кудряшках. Конечно, это был купидон, а не ангел, хотя их часто путают. Можно сказать, Амур — посланец богини Венеры. Даже, скорее семейный лар. Так римляне называли доброго духа — охранителя дома.

— Борис, пора вставать, — сказал он. — К тебе прибыли гости.

—Кто прибыл? Оттуда?

— Сам увидишь. Меня послали, чтобы только разбудить тебя. Поскольку на даче нет ни компьютера, ни телефона, пришлось лететь самому. Теперь встречай гостей.

Нежный курьер улыбнулся и тут же грациозно упорхнул, помахивая на прощанье крылышками... Через минуту я вышел на террасу, где уже сидели гости. Удивительно, но собаки (у меня их две — у Юры в одной из баллад фигурирует пятнадцать псов) вели себя спокойно и на пришельцев не обращали никакого внимания. Как будто их и не было. Позже я понял, что четвероногие охранники даже ничего и не почуяли, ибо явились странники исключительно ко мне, причем в абсолютно не плотском, а духовном образе. Это были души, а не тела.

Я подошел ближе и увидел, что за столом в этот предрассветный час, как бывало прежде, сидели мои дорогие родители, брат Юра и баба Саша. Все они уже отошли в мир иной, но нисколько не отдалились, даже стали ближе. Прежде каждый из нас был занят своими делами, хотя жили мы дружно. Теперь же связь очистилась от суеты, стала более доверительной и теплой. Поэтому я нисколько не удивился, что они в очередной раз навестили нас. Может быть, подумал я, поживут на даче денек-другой. Такие задушевные встречи случались неоднократно, но как-то внезапно и скоротечно. Хотелось бы спокойно посидеть, поболтать, обменяться впечатлениями о житье-бытье, о политике, наконец. Ну, в общем, обо всем.

—Привет! — с улыбкой обратился я сразу ко всем. — Утро какое сегодня чудесное. Давно не было такого красивого и нежного восхода. Я уже соскучился и счастлив всех повидать вновь.

—Да, в нашем мире Аврора выглядит совсем иначе, — задумчиво сказал отец. — Спокойно чайку попить не удается. Поэтому мы и решили собраться на даче, чтобы посмотреть, как же ты теперь живешь.

—Да, Боренька, — промолвила мама. — Годы бегут. Давненько мы здесь не были. Я рада, что вы с Лялей (так зовут домашние и друзья мою жену) теперь постоянно, и летом, и зимой, живете за городом. Значит, не зря мы строили этот домик и сажали яблони. Какже здесь хорошо, — вздохнула она и смахнула слезу.

—Да что ты, мам, расстраиваешься, — заметил брат. — Радоваться надо, что Боря еще здесь, а не с нами. Придет час, и он придет. По мне, так лучше всего быть вместе душой, а где — вопрос второстепенный.

—Верно, Юр, говоришь. Очень верно, — поддержал я его мысль. — Мы и в самом деле неразлучны. Вон твои книги на полке, мы их перечитываем с удовольствием. И картины твои висят. И скульптуры. И песенки поем. Даже соблазнительные «нюшечки», которых ты когда-то писал акварелью на газетных листах, нашли приют в моем чердачном кабинете. Сейчас они временно висят в мастерской Коли Си-лиса. Скоро вернутся на чердак

—Это, Борь, поверь, согревает мою душу, тем более что в наших краях весьма прохладно. Когда я вспоминаю о всех, с кем расстался уже двенадцать лет назад, становится как-то теплее. Печаль уходит, уступая место покою. Здесь мы тоже общаемся между собой, но совсем не так, как прежде, в земной жизни. Не хватает обычных плотских чувств, живости, куража. Недавно мы с Лемпортом хотели было заняться резьбой, да не нашли хорошего дерева. Взяли гитару, но аккорды многие позабыли. В общем, как ни крути, что-то не заладилось. Ну ничего, все образуется. А ты-то как? Чем занимаешься? Что сумел сделать за эти годы?

—Да, да, — поддержали его родители, — нам очень интересно узнать обо всем, что творится теперь в России. Здесь информации о земных делах крайне мало, ибо вновь прибывающие

почти сразу же теряют память и толком ни о чем рассказать не могут. Недаром этот мир зовется «страной забвения».
—Да и мы здесь тоже многое, даже самое хорошее, забываем, как будто его и не было, — вмешался я в разговор. — Упомнить все вообще невозможно, но мы вас любим и потому навсегда сохраним в сердце.

Мы еще немного поговорили на эту тему, а потом я кратко рассказал о своей работе, обрисовал обстановку в стране, поведал кое-что о жизни общих друзей и знакомых.

О пакибытии расспрашивать постеснялся. То ли почувствовал, что родным будет как-то неприятно, то ли просто стушевался, не зная, что и спросить.
— Борь, а может, прокатимся на велосипедах по знакомым местам? — предложил Юрка.

Я тут же согласился, и мы вышли из-за стола. В сарае стояли старые велосипеды, но оказалось, что у одного задняя шина спущена. Насоса, конечно, не нашлось. Мы пошли пешком. Что может быть лучше и приятнее прогулки на рассвете? Только вечернее чаепитие у костерка, чем мы регулярно занимались в прежние времена.

Мы медленно шли по лесу, подошли к реке, посидели на берегу недалеко от церкви. Туман плыл по пойме, превращая кусты в огромных таинственных великанов. Дух пробуждающейся земли окутывал нас своим вечно юным теплом. Я чувствовал, как радовался Юра, вновь оказавшись в объятиях любимой им природы. Он подходил к деревьям, нюхал листочки, обнимал стволы. Нагибался к цветам и прислушивался к щебетанью пробуждающихся птиц. Юра любил природу, одушевляя ее, как самый настоящий язычник. Можно сказать, что весь его талант был природным в прямом и переносном смысле слова. Мы говорили о чем-то или сидели молча, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. И вновь становились мальчишками с самодельными удочками и куском черняшки в карманах. Здесь, на реке Клязьме, когда-то мы ловили пескарей, ходили на стадион «Спартак», где играли вторые составы столичных футбольных команд (это станция Тарасовка Ярославской железной дороги).

— Смотри, Борь, — встрепенулся вдруг Юра. — Видишь над колокольней светлую ауру?
— Нет, не вижу. Где она?

—Смотри внимательнее. Надо сосредоточить взгляд на какой-то одной точке, скажем, на левом куполе. И тогда через некоторое время боковым зрением фиксируется несколько смещенная в сторону и вверх белая аура — светлая тень, точно повторяющая всю архитектонику храма. Это, Борь, есть удивительное отражение той божественной и человеческой энергии, которые сливаются вместе. Снизу видеть эту красоту удается не всем, а вот сверху она обозначается четко и ярко. Теперь видишь?

Я стал пристально смотреть на левый купол, и постепенно светлая аура возникла на небе вокруг всей церкви. Я как зачарованный смотрел на это чудо. Был бы Юра теперь здесь, он бы, конечно, сумел лучше рассказать об этом. Я хотел о чем-то его спросить, повернулся к нему лицом, но никого не увидел. Образ брата тихо растаял в тумане. Мне стало грустно, и я медленно побрел к дому. На террасе тоже уже никого не было...
Вчера я опять пошел к тому месту, где мы с Юрой повидались в последний раз, и долго стоял, наблюдая за появлением и рассеянием волшебной ауры, в которой, как мне чудилось, светлели образы дорогого брата, родителей, бабы Саши и других близких людей.

Значит, миры каким-то образом сообщаются. Может, все это мне просто пригрезилось? Но нет, на старой даче всего пару недель назад пили чай мои родители, баба Саша и Юра.

Многие люди испытывают подобное чувство, поэтому оно никак не может быть галлюцинацией и выдумкой. Значит, все это правда...
С этой мыслью я вновь задремал И вдруг опять отчетливо услышал тоненький голосок маленького купидона-лара:
— Боря, я вернулся, чтобы попрощаться с тобой. Обнять тебя, увы, я не способен, поэтому Юра просил, чтобы я просто потрепетал немного крылышками у твоего уха и передал привет от брата.

Я сказал:

—Потрепещи, пожалуйста. Очень тебя об этом прошу. Я лежал с закрытыми глазами и вслушивался в печальную и вместе с тем прощальную песнь маленького посланца. На душе стало мирно и легко. Незаметно я заснул крепко и глубоко.

Сон оказался коротким. Когда пробудился, все шло своим чередом. Собаки лаяли на прохожих. Жена на кухне готовила завтрак. Пора было собираться на работу. Утро оставалось таким же солнечным. Настроение — приподнятым. Душа — просветленной. Вот, собственно говоря, и вся история моей последней встречи с Юрой. Что это было? Метемпсихоз? Греза? Мистика? Память? Иллюзия? Не суть важно. Важно, что хорошая и дружная семья никогда не теряет своего душевного единства, где бы ни находились ее члены.

И последнее. Когда я вдруг вижу стрекозу, а это теперь бывает редко, я всегда останавливаюсь, закрываю глаза и слушаю трепетание прозрачных крылышек. Это звучит привет от брата и всех хороших людей.

Искренне желаю, чтобы и вам посчастливилось услышать эту тихую небесную музыку — музыку вечной жизни, то есть любви.

Октябрь 2007 года

Александр Дорофеев

Гусик

Это только кажется, что ничего нет.

Иных видишь сидящими, едящими или большей частью лежащими, а Гусик напоминал неугомонную птицу, вроде стрижа, который, кажется, только и делает, что носится над землей.

Ранней весной в середине шестидесятых он влек меня от Красных ворот на Абельмановку. Точно было солнце и капель.

Путь усложнялся, поскольку Гусика притягивали все ближайшие газетные ларьки.

В тени высотки на Каланчевке напротив Лермонтова — может, того еще и не было? — он распахнул свежий номер «Огонька». На ослепительно-глянцевой странице протянулась узенькая черная колонка, некая струйка утекающей зимы — «метели летели, метели мели...»
Он быстро пробежал глазами первое свое стихотворение, напечатанное в таком большом журнале: «Конечно, могли бы побуйствовать и на целый разворот», — усмехнулся вслед скоро уставшим метелям и превратил журнал в подзорную трубу, куда, пожалуй, уже стремились другие ветры, вроде осеннего листобоя, и мерещился поблизости то ли памятник Михаилу Юрьевичу, почти ровеснику, то ли сам небесный охотник Орион, взиравший с небес на беглых недопёсков.

«Должен сказать, — заметил Гусик, — что я просто радуюсь и удивляюсь тому, что научился когда-то читать и писать. Горжусь про себя этим умением, чего и тебе желаю. Ну-ка, почитай, что я задавал! Выучил, отрок?»
«Трусоват был Ваня бедный, — сообщил я. — Раз он позднею порой, весь в поту, от страха бледный, чрез кладбище шел домой...»

И когда дошел до конца, где выяснялось, что это не вурдалак на могиле, а собака, счастья сразу прибыло тем весенним днем.

Словом, к Пушкину Гусик подвел меня не с парадного, а как-то сбоку, представив сразу увлекательным, так что погодя и «мой дядя самый честных правил» не заставлял скучать.
В полуподвале на Абельмановке было полутемно, и, казалось, в кухонном углу кто-то кость ворча грызет. Гусик набрал чайник, цыкнув на кран, и тот примолк.

Заманчиво пахло маслом в тюбиках и скипидаром. Картины на стене были ярче окна. На одной раскраснелся давно, видно, кипевший чайник. Другую занимала огромная крона дерева с двумя невиданными плодами.

«Портрет Анны Ахматовой. Величайшая!» — пояснил Гусик

И с тех пор всякая настоящая поэтесса представлялась мне именно такой — мощной, как старая, дивно и обильно плодоносящая антоновка.
Составленными им колерами в баночках я рисовал на бумаге каких-то зверей, от бегемота и жирафа до козла в огороде, и Гусик выставлял оценки, низшей из которых была гуманная четверка.

Рядом с домом в Хоромном тупике, где он родился и жил тогда, находилось первое в Москве стеклянное кафе «Чудесница». Нередко мы заходили туда и поедали сосиски с кукурузой или зеленым горошком. Вкуснее ничего, кажется, не было.

«Жаль только, что сосиски без костей, — сказал как-то Гусик — Поглодать хорошую кость, особенно рыбью, вот наслаждение!»

Он всегда почтительно относился к рыбе. А приготовление ухи из пойманных самолично вологодских горбатых окуней вкупе с поеданием оборачивалось чистым шаманством.

«На твоем месте я бы уже заготавливал сахарные косточки и читал кинологическую литературу, — продолжал он на улице. — Вчера повстречал на птичьем рынке милейшего разговорчивого сеттера, который изъявил желание пойти к тебе на службу — к Александру, говорит, с превеликим удовольствием. Думаю, он прав. Ты уже созрел для собаки. Кстати, когда Пушкину исполнилось пятнадцать, его стали называть полным именем. Вот и я буду звать тебя Александром. А ты, просьба нижайшая, не кличь меня принародно Гусиком. Знаешь ли, у посторонних людей возникает слишком много вопросов — мудрено разъяснять!»

Это птичье имя выпорхнуло когда-то совсем случайно. В подмосковном саду Юра писал бревенчатый дом и плодовые деревья, а я вертелся позади, легко отыскивая различия с натурой.

—Ну ты и гусик! — обернулся он в конце концов.

—Сам гусик! — откликнулся я.

— Очень может быть! — рассеянно кивнул он. С тех пор имя и прилипло к нему — лет на пять.

О, счастливые годы! С Гусиком я ощущал себя приголубленным щенком и готов был бежать за ним куда угодно, внимающий каждому слову и незаметно для себя дрессируемый.

Я был вполне пустым сосудом и, кажется, дырявым. И Гусик от собственной избыточности наполнял меня всем, что под руку подворачивалось, — стихами, живописью, названиями трав, луговых цветов, созвездий и собачьих пород...

В Вологодской области, куда ездили на рыбалку, показывал, как ловчее тащить чуткого язя, убегая наперевес с удилищем от берега. Учил разбираться в грибах, ягодах и литературе. Он вливал в меня Олешу, Бабеля, Зощенко и Платонова, Мелвилла, Джойса и Фолкнера, Юрия Казакова, Георгия Семенова и Андрея Битова. Кое-что оставалось.

Мой первый литературный опыт под названием «Рыба и луна», который он посчитал достойным, сразу пристроил в журнал «Рыбоводство и рыболовство».

А я-то ему чего мог дать? Да ничего, пожалуй, кроме преданности и дружеской любви.

Немудрено, что и в первой моей книжке сквозили Юрины интонации. Ведь он и правил своей рукой мои миниатюры, склоняя их ко все большей краткости. Но чаще охватывал какой-нибудь абзац дугой и помечал на полях: «Переписать, разыграть, ничего не потерять, но приобрести»...

«Смотри на машинописную страницу как художник, — говорил он. — Она должна быть графически изящна, архитектурна, а не забита буквами сверху донизу, как мешок картошкой. Оставляй воздух для дыхания!»

С переменой имен наступили новые времена. Иной раз Юра бывал так строг, что хотелось немедленно пожечь разруганный им рассказ или этюд. Впрочем, он же и останавливал: «Может, ошибаюсь. Кажется, есть пара точных слов, а в том уголке — проблески живописи. Отложи подальше, потом сам разберешься...»

Вскоре после того, как я окончил школу, Юра договорился с друзьями, чтобы те взяли меня в археологическую экспедицию на черноморский остров.

«Знаешь, Саня, как раз в твоем возрасте я поехал в Геленджик зимой, жил там один и только и делал, что писал и рисовал. Привез двадцать этюдов темперой на бумаге — они мне и сейчас нравятся, — наставлял он перед поездкой. — Остров для тебя должен быть этапом. Как Таити для Гогена. Вот лозунг. Уже в поезде записывай, как представляешь остров. Рисуй и пиши постоянно, ничему не отдавая предпочтения, но ни в коем случае не простаивай! Кроме этюдов на больших листах, ты должен привезти очерк Для себя и для меня. Очерк, который можно будет отдать в журнал „Вокруг света". Ничто на острове не должно ускользнуть от тебя: и работа археологов, и пейзаж, и то, что под ногами, в море и над головой. Ежедневная нацеленность: накапливай строчки и образы, не позволяй себе распускаться, чего-то не записать, — накачивал он меня, как резиновую лодку перед сплавом

по горной реке. — Если кажется, что нечего записывать, — все равно надо записывать. Хорошо запомни — это только кажется, что ничего нет! Ну, еще не пей вина, а выпив, не купайся в море. Покрывай голову и не сгори в первые дни. Не лезь в грязные истории. Дни и деньги трать бережливо...»

Вероятно, таким образом он и сам заодно настраивался на работу, что у него здорово получалось — коли не писал, так рисовал. Или рубил деревянную скульптуру, или же разучивал на гитаре пятый этюд Джулиани. Да и самое обычное выпивание вина обставлялось как-то любовно-художественно — с распахнутой душой и застольно-величальными песнями.

Юра был для меня не только учителем, но и, так сказать, путеводителем. Узнав, что я собираюсь поступать в геодезический институт, крайне удивился: «Что я слышу? Стыдись! Это совсем не твое дело! Иди в реставрацию. Я уже поговорил о тебе с одним монументальным императором... »

«В каком смысле император?» — не понял я.

«В прямом смысле. Стал бы я общаться с проконсулом! На прошлой неделе мылся с ним в Тетеринских банях. После парилки он так царственно запахнулся простыней с клеймом „ТБ" на пузе, что сомнений не оставалось — император Тиберий...»

Так очутился я под державным крылом Тиберия, побывав с ним во многих уголках нашей угасавшей уже империи, где то и дело требовалось что-либо реставрировать.

Понятно, что с Юрой мы виделись реже. Зато от него приходили письма — из Крыма в Белоруссию, из Переделкино в Самарканд...

«Дорогой мой племянник, сын и брат Александр!Пишу тебе письмо на обороте черновика рукописи „Монахов". Во-первых, экономлю бумагу, во-вторых — это романтично. Спасибо тебеза„Приму"ирезиновые шлепанцы. Поверь, что я немедленно одел эти шлепанцы и сунул в зубы „Приму". Все оказалось весьма кстати, потому что за день до получения посылки я натер на ноге огромнейший волдырь и ничего не мог напялить на ногу, прибинтовывая оную к тапочку. А как получил твои шлепанцы, дело пошло на лад, хотя этот проклятый волдырь до сих пор не пускает меня в море. Так что не купаюсь уже три дня, но бледный, худой, с молодым животиком, в рваной тельняшке, никому не нужный, но одухотворенный, печатаю на машинке, суша бычков. Ем черешню.

Здесь не так уж плохо, хотя и плоховато. Под окном комнаты бегают дети. Они кричат и иногда отвратительно какают. Тем не менее мне жаль, что ты не приехал сюда. Мы бы с тобой плавали на лодке в море ловить бычков, которых пропасть. Все время вспоминаю наш разговор в электричке насчет книжки „Сорок сороков". Мне кажется, это стоящее дело. Готов помочь тебе, как угодно, вплоть до соавторства. Обнимаю тебя, мой дорогой. Надеюсь, что ты встретишь весьма соскучившегося по тебе твоего дядьку, сидящего в данный момент под акацией. В заключение скажу, что я тобой премного доволен. Будь здоров. 30 июня 76 года. Юра».

На обратной стороне листа правленный вдоль и поперек машинописный текст как раз рассказывал о посещении Тетеринских бань героями «Пяти похищенных монахов».

«Они шли медленно и величаво, у каждого в руке березовый веник, а в другой портфель. Высокий битый молниями тополь с черными узловатыми ветвями склонился над входом в переулок», — было вписано каким-то лиственным, растительно-летним, убедительным почерком.

«Конечно, насочинять можно с три короба, — говаривал, бывало, Юра, — но все это вряд ли удержится без точных образных деталей, которые надо узреть собственными глазами... »

«Здравствуй, Саня, мой дорогой, друг и любимый товарищ! Вряд ли ты видел солнечное затмение? Проворонил, наверное. Я вчера смотрел это затмение и простудился, надуло мне зуб. Болит, ревет и стогне. Стараюсь работать и в рот не беру спиртного. Пишу „Монахов" и „Размышления о своей „литературной молодости" по заказу Интернациональной библиотеки в Мюнхене. Пишу и думаю, не старость ли

это — размышлять о „литературной молодости"? Обнимаю и посылаю 20 рублей, как средство от землетрясений. Не вздумай на них мне ничего покупать — гуляй. Помню, я в твои годы скакал на бешеном коне, рубал шашкой, строчил из пулемета, а теперь вставляю себе зубы, печалюсь о былом, глажу кошку. Нет, все это уже не то. И сердце в груди дает свои перебои. И все-таки мы еще, Саня, мы все-таки еще имеем кое-что, а не только печаль о прошлом. А имеем мы, между прочим, плечи, и хотя не сияют на них золотые погоны и ордена, что обидно, зато под простою рубашкой в них бьется горячая кровь. И вы, дорогой наш товарищ на эти кровавые, изрубленные бытом плечи, можете опираться, как вам надо. Но мы не подставим эти плечи всякому шкуре и говну, а вам, дорогой товарищ мы их подставляем и говорим: „Нате вам эти плечи. Обопритесь на них, отдохните от грубого быта". Итак, дорогой товарищ мы дарим вам эти плечи, кроме книг, которые припасены. Номы отнимем от вас эти плечи и даже начнем ими пихаться, если вы не будете выполнять наши заветы. И первый завет: не быть болваном и простодырой и не давать обводить себя вокруг пальца. А второй: не отчаиваться и не терять надежды, хотя это и к нам относится. Третий: любить родных и не терять друзей, что довольно-таки порой и трудно. Четвертый: оставаться самим собой, что у вас получается пока неплохо. И только лишь надо это углубить. Пятый: не жениться раньше времени. Шестой: писать и рисовать, не ленясь и не стесняясь, и пускай свирепствует вьюга или гложет голову жара. Есть, наверное, и еще заветы, да что-то не можем пока их припомнить. Твой, между прочим, отчасти дядька и детский писатель — ЮрКоваль».

В журнале «Юный художник» Юра прочитал мой очерк о самаркандском медресе Регистан, где, в частности, отмечалось, насколько величаво звучит это имя. «Да уж, действительно гордо, точно гимн Советского Союза!» — припомнил он соавтора государственных стихов Гарольда Эль-Регистана.

Юра любил и знал этот мир, даже если иной раз чего-то недопонимал и недолюбливал. Не слишком углублялся в социально-общественное устройство и метафизику, наслаждаясь всеми доступными положительными чувствами, которые особенно блаженствовали вдали от Москвы.

« Собираюсь много сейчас ездить, жить в Москве тяжко и неприятно», — вздыхал он.

Само понятие «дача», особенно подмосковная, приводило его в сдержанное уныние. А в глухих деревнях, среди лесов, озер и рек он расцветал. Легко сходился с местными мужиками, от которых порой неизвестно чего можно было ожидать. Умудрялся найти общий язык и мирно разойтись с совсем уже темными личностями, сдерживая притом мои глуповатые порывы помериться силой и постоять за некую отвлеченную правду.

Единственное, чего он опасался, так это стада коров. Не понимал их коллективно-печального глубокого взгляда и на всякий случай сторонился.

Пожалуй, Юра стремился к первобытной простоте, не отвергая, впрочем, достижений цивилизации, вроде домов творчества или телескопической удочки, которые тоже принимал как своеобразные явления природы.

«О жареный пупок!» — воздевал он, как авгур, руки к летящим в небе весенним гусям. И огорчался, если не находил в окружающих созвучного восторга.

У него было множество знакомых, пребывающих в большинстве своем на зыбкой грани между друзьями и приятелями.

В те годы к мужской дружбе вообще относились куда серьезнее, ответственнее, вкладывая в нее хемингуэевский смысл товарищества по оружию.

Незначительная осечка в поведении могла привести к долгому разрыву отношений — друг переходил в разряд приятеля, а приятеля вообще списывали с корабля. Так пострадал император Тиберий, свергнутый в одночасье за поверхностные рассуждения о живописи и за высокомерное пристрастие к краскам на основе полудрагоценных камней — тертых малахита и лазурита. «Сик транзит», — побледнел он, покидая мастерскую в

Серебряническом переулке. «Пригляди за ним, — попросил меня Юра, — кабы в Яузу не бросился...»

У меня-то, наверное, таких осечек было предостаточно, но Юра прощал как непутевого юнгу. Только удивленно приподнимал бровь — мол, не понимаю, в чем дело, что с тобой такое, офонарел?« Скажу тебе своим юношеским стихом — мне неприятны презервативы за то, что они некрасивы. Но встречается, увы, поведение, живо напоминающее это примитивное превентивное средство...»

Как-то, заприметив мою безответную влюбленность в некую барышню, он сказал между прочим: «Еду вчера в трамвае с одной роскошной отчасти знакомой дамой. Вдруг в районе Покровки она склоняется ко мне и говорит: поцелуй меня. Не колеблясь, как истинный схимник, отвечаю: три рубля! Ну и схлопотал, конечно, по уху. Да, брат, женщина — чудо. Однако мало ли в мире чудес? Все тлен, прах и к тому же суета сует. Давным-давно ведь сказано — не сотвори себе кумира!»

Со временем, случалось, и я уже не взирал на него, как прежде, бесконечно-счастливо-щенячьими глазами. Но уж коли он брал гитару, прежнее блаженство немедленно возвращалось.

«Вот вывихнул палец, — пожаловался однажды Юра, тронув струны. — Представь, покалечился, надевая носок. Только никому не говори о моем позоре...»

И я честно молчал. Недавно сообразил — как здорово, если ничего позорнее не припомнить.

Когда в день Ильи Пророка он расставался с этим миром, в холоде его застывшего лба ощущалась усталость метелей, а на лице замерли удивление и сожаление. Верно, опечалился, не в силах рассказать о том, что теперь видит и слышит.

Но и по сию пору, как откроешь его книги или подумаешь о нем, так наполняешься радостью, любовью и простым знанием — это только кажется, что его нет.

Увы, далеко не все Юрины заветы я в точности исполнял, зато этот хорошо запомнил, как он и просил лет сорок назад.

Сентябрь 2007 года

Вадим Чернышев

Россия Юрия Коваля

С осени 1967 года, когда Соколов-Микитов переехал из Ленинграда в Москву, я стал бывать у Ивана Сергеевича еженедельно, а то и почаще. Однажды — думаю, что это было в начале семидесятых, — я, как обычно, приехал к нему на проспект Мира, 118а. Иван Сергеевич был один и пребывал в благодушном настроении, что случалось с ним не так уж часто. Щеки у него порозовели, и сидел он не в своем излюбленном глубоком кресле, а за небольшим овальным столиком, где чаще всего принимал гостей. В комнате ощутимо витал запах хорошего коньяка.

— Ах, жаль, немножко вы опоздали, не застали моего гостя. У меня был молодой писатель Юрий Коваль, приезжал брать по заданию «Воплей» — журнала «Вопросы литературы» — интервью о состоянии русского языка. Хороший парень, да и писатель, по-видимому, неплохой. Он мне почитал кое-что из своего и оставил книжку, — показал он на другой стол, где лежал сборник рассказов Юрия Коваля. — Посидели за рюмочкой, познакомились. Предложил, как интервьюер, называть его просто «Интервьюра». Остроумный... Сказал, что охотится, любит рыбалку. Я ему о вас сказал, он взял ваш телефон, обещал позвонить...

Юра действительно вскоре позвонил, мы условились о встрече. Так, с легкой руки Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, началась наша долгая и близкая, домами, дружба с Юрой Ковалем. Я побывал у него в Сокольниках — из его окна виднелась знаменитая пожарная каланча, которую он не раз рисовал, — на Уральской по Щелковскому шоссе, а потом и в Измайлове, где он получил квартиру неподалеку от парка.

Но чаще он бывал у нас. В течение ряда лет мы вместе встречали каждый Новый год Традиционные подарки при этом он извлекал из мешка в образе Снегурочки — но Снегурочки такого, прости господи, сомнительного поведения, что это вызывало всеобщий хохот. Ну а его подруге Беате, пожизненно ставшей близкой подругой и нашей семьи, оставалась роль Деда Мороза.

Выяснилось, что мы с Юрой близко соседствуем и в летнее время: мои родители жили тогда по Ярославской дороге в Клязьме, а дача Ковалей находилась на Челюскинской, между нами была лишь платформа Тарасовская, полчаса пешего хода. И мы стали время от времени похаживать друг к другу, чаще к нам Юра, потому что в Клязьме была речка, купание.

Судьба по-своему сблизила нас и одинаково тяжким горем: девятого декабря у меня скоропостижно скончалась мама, а у Юры десятого так же внезапно умер отец от сердечного приступа в метро. Юра после этого метро избегал и старался поймать такси.

Но кое-что нас, конечно, и разнило. Например, детство. Оно у нас было разным. У меня — деревенское, усадебное, а Юра рос сугубо городским ребенком. Известно, как много понятий и впечатлений дает первый десяток лет жизни.

Когда мы с ним забирались в российскую глубинку, в полуопустевшие деревни, для меня это было возвращением к привычному, для Юры же каждый ухват от русской печи, самоварная конфорка или угольный утюг, рубель для стирки белья на мостках были предметами старой экзотики, которые годились для украшения мастерской, чтобы показать их друзьям, знакомым художникам или литераторам, таким же прирожденным горожанам.

Когда мы ездили осенью 1979 года двумя машинами в Карелию, Юра подобрал брошенное тележное, с металлической шиной колесо и водрузил его на крышу своего «жигуля», вызывая такой «запаской» удивление встречных

— Гм, — насмешливо хмыкнул мой приятель Володя, когда мы заехали к нему в Кондопогу, внимательно оглядев принайтованное на машине колесо. — Значит, полторы тысячи километров будете тащить его до Москвы, чтобы подивить там городских — вот, мол, на каких колесах ездит темнота деревенская!

Это было прямое попадание в «яблочко». Человек от природы очень сметливый, с цепким взглядом, Володя обнажил Юрину задумку. Интерес к ней пропал. Юра отвязал колесо и оставил его во дворе, где оно, вероятно, валяется и сейчас, как память о чудачестве московских гостей.

Конечным пунктом нашей поездки было Заонежье, деревенька в три дома на берегу обширной губы Онего-озера. Другой мой давний приятель, лесник Миша, по случаю нашего приезда выловил в Онего палью — громадную красавицу-рыбину с зелеными боками и спиной, с ярко-оранжевым брюхом. Миша пошел на грех: промысел лососевых был запрещен. Но слово «гость» на Севере имеет магическое значение, для ублаготворения гостя все можно! И у Миши на случай объяснения с рыбнадзором были, как он считал, оправдательные обстоятельства. Такая живописная редкая рыбина просилась на холст, и Юра тотчас извлек ящичек с масляными красками, Витя Усков защелкал фотоаппаратом, а я сделал рисунок цветными карандашами. Натюрморт с выловленной пальей пополнил галерею Юриных картин в его мастерской, а рисунок остался Мише.

Еще по дороге в Карелию мы пытались рыбачить — не торопились «пожирать» пространство, любовались живописной дорогой, разбивали стан у приглянувшегося озера, забрасывали удочки, но почти всегда неудачно: видимо, рыбалка не такое дурацкое занятие, чтобы походя пускать в дело снасть и тут же начать таскать рыбу.

Отвели душеньку уже на месте, в Заонежье, на Хрылях, глухом, редкостной красоты озере километрах в восьми от дома. Исходивший охотой заонежские угодья, теперь я угощал Юру и Витю достопримечательностями полуострова. Рыбаки умостились на выступах высокой, обросшей мхом и лишайниками скалы, передвинули повыше поплавки (озеро было глубоким), закинули удочки — и началась веселая рыбацкая потеха! Стоявшие в бездне темной, неподвижной воды непуганые окуни жадно набрасывались на червей-навозников. За настырный нрав окуней заонежские рыбаки зовут их «урядниками». Черные и страшные, будто из преисподней, «урядники» один за другим шлепались на пружинистый мох Рыбак от случая к случаю, всегда предпочитавший удочке ружье, я только снимал «урядников» с крючков. Мне больше нравилось глядеть на ловлю со стороны. Когда клев идет бойко, смотреть на рыбаков также интересно, как ловить самому, — недаром на городских набережных за спинами удачливых удильщиков всегда набирается кучка деликатно помалкивающих болельщиков-зевак

На удочках было по паре крючков, окуни частенько заглатывали одновременно оба.

— Звездный час, Ви-итя! — восклицал Юра, выхватывая такой очередной «дубль». — Вот он, наш звездный час!

Ранние осенние сумерки вынудили рыбаков смотать удочки, дорога-то к дому была неблизкой...

Но вот наметился день прощания с Заонежьем. Стоял октябрь, нас могло накрыть затяжное северное ненастье. В канун отъезда состоялась, как водится, «отвальная». Был приготовлен роскошный, трудно вообразимый московскими жителями рыбно-дичной стол, украшением которого были «онежские помидоры», как называл Миша,—ярко-оранжевые ломтики свежепосольной нежнейшей пальи. Юра, конечно же, и в Карелию взял с собой гитару. Музицированное застолье перевалило далеко за полночь. Дошло дело до частушек и «топотухи». Миша в своих корузлых кирзачах дробил так, что позванивали оконные стекла и в лампешке подпрыгивало, подкапчивало пламя. Он был неиссякаем в импровизации частушек, где обычно фигурировала его жена Шура:

Стрелил лося, он залег,
Посередь болота лег,
Развалился, будто Шурочка
На горячей на печурочке!...

В паузах Юра вторил ему одним и тем же «сельскохозяйственным» куплетом:

Эх, жать хорошо
И сажать хорошо,
А картошку копать —
так это ж просто... —

... продолжить дальше текст я не решаюсь.

Взглянули на часы — около пяти утра. Можно ли было после такой «отвальной» садиться за руль?! Выехали только на следующее утро.

Юра неплохо и стрелял. В поездку по Карелии он ружье не брал. Когда мы однажды проходили рябчиными местами, я дал ему свое. Ни в одном наставлении по охоте на рябчиков не существует указаний, как стрелять их на вылетку, — в них подробно описывается, как разглядеть севшую на дерево, мастерски спрятавшуюся птицу, как подойти к ней на выстрел. Но Юра либо не читал подобных брошюр, либо пренебрег их советами. Поднялся, загремел рябец, мелькнул над тропкой, и Юра, не дав ему сесть, навскидку выстрелил вдогон. «Соскучился по стрельбе, решил испробовать ружье», — подумалось мне. Но рябчик упал. И Пыж, моя западносибирская лайка, кинулся к нему, указал место его падения.

Юра любил вальдшнепиную тягу, ждал весну, чтобы провести апрельский вечер в лесу с ружьем в руках. Тяга — единственная из охот, доступная москвичу, связанному городскими делами. Не раз мы с Юрой выезжали вместе так, чтобы за полночь вернуться домой. Подмосковный настеганный вальдшнеп тянет поздно, стрельба по нему не так-то проста, но без добычи Юра бывал редко.

Доводилось охотиться с Юрой и на его Вологодчине. Стоял сентябрь, из окон его избы на Цыпиной Горе открывались завораживающие дали разноцветных, в «багрец и золото» одетых лесов. Иногда мы бродили с ним вместе, но чаще расходились: у него были свои постоянные, излюбленные места, мне же в новых краях хотелось познакомиться с округой пошире. Под вечер собирались в избе, обменивались впечатлениями, сравнивали трофеи. Это было великолепное время бодрой ходьбы по тихим, роняющим наряд лесам, посвежевшего осеннего воздуха, высветлившейся перед скорым ледоставом воды, скромных вечерних застолий и чаепитий под гитару — как всегда, мастерски игравший Юра не расставался с нею. Время уединенного мужского братства: художники Лева Лебедев и Витя Усков, один ювелир, другой фотограф, Юра Коваль и автор этих строк... В дневнике Юры оно измерялось особыми, не календарными днями: День серой утки, День косача, День четырех рябчиков, День пустого ягдташа...

Мы объезжали окрестные, знакомые по Юриным книжкам деревни на вездеходике-луазике, «фантомасике», купленном на паях Юрой и Лёвой. По дороге в деревеньку Чистый Дор (так называлась одна из книжек Коваля) нам встретилась непроезжая разбитая гать. С одной ее стороны стоял бензовоз, с другой кузовной ЗИЛ — они ждали затребованный трактор, который должен был перетянуть их через трясину. А у нас ведь все-таки был вседорожник! Решили испытать его вездеходные качества. Лева, классный шофер, сел за руль, а мы подняли голенища болотников, чтобы подталкивать сзади. Но «фантомасик» обдал нас грязью и, к удивлению шоферов, коротавших время ожидания трактора у костра, преспокойно одолел месиво...

Юра любил свою Вологодчину, Ферапонтов монастырь с его удивительными фресками, соседствующий с Цыпиной Горой, затерянные среди лесов деревеньки, где он нашел и

любовно выписал своих героев — старушек Пантелевну и Орехьевну, дядюшку Зуя, первоклашку Нюрку, мальчишек братьев Моховых... В качестве главных персонажей его рассказов действуют и животные: «картофельная» собака Тузик, пограничный пес Алый, подросток-песец Недопёсок, клест Капитан Клюквин, кошка Шамайка, выжловка Найда, лайка Кукла... Писатель Коваль был душевно расположен к ним, как к своим друзьям. Не только в литературе — друзей у него было много и в жизни. Больше, чем он мог предположить, потому что читатели, полюбившие добрые и светлые, веселые книжки писателя, тоже становились его заочными друзьями.

Книги Юрия Коваля адресованы в основном детям. Он сам считал себя детским писателем и этим гордился Потому, наверное, что очень серьезно относился к своему писательскому делу и к детской литературе вообще. Но эта серьезность не чувствуется, когда читаешь его книжки: кажется, что написаны они легко, в один присест, играючи. Такое ощущение невымученности и непринужденности — верный признак талантливости любого произведения подлинного искусства.

Однако прозу Коваля с удовольствием читают и взрослые. То, что книга равно захватывает и малого, и старого, — еще одно несомненное подтверждение ее талантливости. Читателям всех возрастов нравится мягкий юмор его прозы, ее образный язык, вложенное в нее авторское чувство.

Творчество любого писателя особенно интересно, если оно, наряду с его художественными достоинствами, отражает время, характер, язык, умонастроения и обычаи современников, дает представление о земле, где живут эти люди и где живет сам писатель. Он видел свою страну не из окна поезда или иллюминатора самолета, имея в кармане удостоверение Союза писателей на творческую командировку, — подобного рода поездки мало прельщали Юру. Он был непоседлив, часто покидал Москву, но для того, чтобы побродяжить с ружьем и удочками, пожить на своей Цыпиной Горе или на берегу Нерли неподалеку от старинного волжского городка Калягина, навестить друзей в тверской деревеньке Глебцево или приятелей-художников под Переславлем, забраться в таежную избушку на приполярном Урале, порыбачить там на северных речках Вишера и Велс и даже побывать наложной границе страны, откуда после знакомства с буднями горной заставы он привез повесть «Алый».

Пример жизни и творчества Юрия Коваля позволяет утверждать, как благодатно сказываются на художнической деятельности такие увлечения, как охота и рыбалка, по-настоящему сближающие творческого человека с природой и близкими к ней людьми. Его охотничья и рыбацкая страсть не была всепоглощающей, диктующей, как жить, — ее отпущено ему судьбой столько, сколько нужно было, чтобы мир обрел краски и запахи, которые отразились в его творчестве. И не только писательском — Юра рисовал, профессионально владел кистью, резал по дереву, лепил, обжигал эмали... Он был Художником по природе, в самом широком значении этого слова.

В его путешествиях выстраивался образ России — с ее соловьиными зорями, чистыми речками, где он плавал на своей «самой легкой лодке в мире», байдарке-самоделке «Одуванчике», с ее тихими деревеньками и живущими в них простодушными, порой чудаковатыми людьми...

Его ранний, очень ранний, неожиданный уход из жизни болью отозвался в сердцах читателей, полюбивших его книги, и особенно, конечно, в сердцах друзей, долгие годы деливших с ним радости, огорчения и многие километры совместных путешествий. Терять друзей тяжело — с их уходом невозвратимо обрывается, останавливается время дружбы, лучшее из того, чем награждает нас жизнь.

Как писатель и художник он многое мог бы еще сделать — и в литературе, и в искусстве. Он был полон творческих замыслов. Но многое и сделано. Остались его книги. И им уготована долгая жизнь.

Ноябрь 2007 года

Инна Скороходова

Твой ли след заносит снегом поднебесным...

Юрий Коваль принес рассказ «Алый» в дошкольную редакцию «Деттиза», помнится, летом, году в шестьдесят четвертом. Мы были еще на третьем этаже — в комнате с полукруглым окном, с видом на памятник Дзержинскому.

В тот день я была дежурная. Автор, дотоле незнакомый, отдал мне рукопись, попросил почитать, недолго поговорил и ушел. Примерно через час я позвонила ему в полном восторге. И мы начали работать...

Так оно и было, как в сказке.

В действительности все шло своим чередом. Книгу вставили в план, экземпляр рукописи сдали на иллюстрацию художнику. Определили редактора для работы над текстом.

Великий Лещинский (главный по хозяйственной части в Детгизе) говорил:

— Младший редактор — хозяйка редакции. Отвечает за все: за бланки, за рукописи и за каждый карандаш.

Вот такой достался Ковалю редактор, мощный. Но это была дошкольная редакция — Счастливый остров! Нас было четверо: заведующая Леокадия Яковлевна Либет, редакторы Карл Арон и Надя Терехова и я, младший редактор.

Каким-то непостижимым образом все были друзья, сябры, кунаки. Ведь издавали поэтов и прозаиков со всех концов страны. И нашу классику, и мировую — в прекрасных переводах. Мы были вольнодумцы. Издавали Новеллу Матвееву, Хармса, Введенского.

Карл Арон собирал автографы. Кто-то (Токмаков или Заходер) написал ему на подаренной книжке: «Бывают хуже времена, смотри налево из окна». Карл сидел за своим письменным столом левым боком к тому самому полукруглому, во всю стену, окну.

Леокадия Яковлевна (мы ее звали Леля) была замечательной заведующей. Она руководила умно, весело. Всегда находила верный тон в разговоре с любым собеседником. Бережно относилась к творческим людям, писателям, художникам. И еще. Она позволяла себе (в то время!) иметь собственное независимое мнение и защищать его — на всех уровнях.

Да что говорить, Лёля это Лёля! Это она приняла к изданию «Алого» и провела Коваля через все решета и драги. А в тот раз доверила работу над рукописью новичку, то есть мне.

Я думала, что «Алый» — первый рассказ Коваля, и сразу такой талантливый, безупречный. В нем уже была особенная интонация, какой не было ни у кого другого.

Мысленный диалог Алого и Кошкина поразил.

Кошкин кричит:

— Апорт!

> *«Алый так рассуждает: ... Если бы ты мне бросил кость или хотя бы кусок колбасы — понятно, я бы побежал А так, елки-палки, я лучше полежу». «Кошкин уговаривает Алого:*
>
> *— Цветочек мой аленький, лоботрясик ты мой! Принесешь, елки-палки, палку или нет?!»*

Не только интонация, но и слова у Коваля особенные, необычные. А если и обычные, то сияли они неведомым новым смыслом.

Он чувствовал слово на вкус, на цвет, на запах, на звук.

« Чоп-чоп-чоп-чоп — Алый бежит по оттаявшей вязкой земле.

Фру-фру-фру-фру — теперь он ломал ледяную корку».

Застава в горах. Всего несколькими словами изображены изумительные горные пейзажи.

«Вода раскалывается о камень, грохочет, разлетается пеной, брызгами. Прозрачные космы закручиваются, свистят, и медленно-медленно под напором воды сползают камни, подталкивают друг друга скользкими плечами».

В работе Юра немного поправил только эпизод встречи с медведем и момент задержания диверсанта. Ускорил темп, добавил яркие подробности. Мы говорили о концовке, об одном образе: абрикосе, нагретом солнцем. Не слишком ли натуралистично? Но Юра все-таки оставил сравнение, из-за его точности. Финал написан с величайшим тактом. Трагизм гибели Алого и любовь Кошкина, который не верит, что это конец.

Повесть «Алый» вышла в 1968 году, с рисунками Вениамина Лосина (с которым они и ездили на границу). Сдержанные, лаконичные рисунки. На обложке большеглазый новобранец: тонкая шея, ушанка, лихо надвинутая на бритую макушку. Рядом — Алый, уши торчком, застыл во всем великолепии. И в конце книжки — застава, утонувшая в снегу. Очень красивый рисунок. Малюсенькие фигурки все различимы. Например, солдаты, раздевшись, бегут, вдвоем тащат тяжелый бак.

Кажется, на следующий год мы с друзьями, двумя семьями, поехали отдыхать на Украину. Хутор Становой, дома прямо в лесу. И вот утром выхожу на улицу и слышу: — Алий! Алий! Невдалеке соседский дом. На крыльце девочка, беленькая, худенькая. И собачка на ее зов прибежала маленькая, беленькая.

Неслучайный случай. Надо же было именно мне приехать на этот хутор и услышать имя Алого, произнесенное детским голоском по-украински мягко. По приезде в Москву, я, конечно, рассказала Юре о читательнице с хутора Становой.

Самуил Миронович Алянский любил нашу редакцию. Он работал с ленинградскими художниками Лебедевым, Чарушиным, Конашевичем. В соседней с нами «шестой комнате» устраивались выставки: ленинградцы привозили свои рисунки, в больших паспарту, и все приходили смотреть. Так Самуил Миронович принимал работу, он был консультантом по художественному оформлению. Иллюстрации к книгам Коваля «Недопёсок» и «Пять похищенных монахов» он поручил молодому художнику Геннадию Калиновскому. А это означало признание таланта и высокого мастерства — и писателя, и художника.

«Алый», каквспышка, отличался от других рассказов, которые Коваль написал после командировки на границу.

Может быть, какие-то сюжеты он привозил из путешествий. А уж портреты, речь героев, картины природы, юмор (иногда грустный) — все это получалось у Юры само собой, в мгновение ока. Точно оно только дожидалось своей очереди. Надо лишь записать.

Впечатления от Вологодской стороны привели в «Чистый Дор». Северный край, заповедные леса, дальние селения. И язык другой, северный, деревенский. Как будто деревня со всеми жителями, весь Чистый Дор в одночасье всплыл, как из озера, явился перед Ковалем.

В интонациях «Чистого Дора» сквозит симпатия ко всем жителям, доброе внимание к любой мелочи их жизненного уклада.

Нюрка, внучка дяди Зуя, пошла в первый класс.

«Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук белый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буковками „Нюри"».

Вот деталь: крупинка-золотинка.

Пантелевна на вопрос, где же лесовик деньги берет, чтобы сахар покупать, отвечала: «Хитит». Мне это слово очень понравилось. Но пришлось заменить: «Сам делает, — ответила старушка». Тоже, конечно, неплохо.

«Чистодорские жители все ходят за рыжиками босиком, ногами ищут». (Самый мелкий рыжик, «для прелести посола»)

«Зуюшко ногой строчит, как швейная машинка „Зингер"».

Указание: название «Зингер» исключить! Так и сделали мы с Юрой. А потом, в подписной корректуре, вернули «Зингер» на место. Никто и не заметил.

Если было сомнение в чем-то, я всегда Юре об этом говорила. Однако правки всюду сделаны самим автором и теперь при чтении мне незаметны. Было доверие и понимание. Дар судьбы.

К тому времени мы переехали на четвертый этаж. Наша комната помещалась в конце длинного коридора. Там было окно, которое выходило на Большой Черкасский, стояли журнальный столик и два кресла в стиле «колченогий модерн». Все это называлось «КарловыВары», в честь Карла. Здесь смотрели рисунки, правили гранки, обсуждали идеи и замыслы. Если собиралось более двух человек, из редакции выносили стулья.

Как-то пришел Владислав Крапивин, в полном индейском облачении, с убором из перьев на голове. Наверное, переоделся внизу, в каптерке у лифтерши. Он сидел и ждал, должно быть, своего редактора из соседней редакции.

Здесь Юра рассказывал мне про похищенных монахов, героев своей будущей книги. Он мечтал написать Бову-королевича. Это было бы чудо...

Каждую новую книгу Коваля хочется назвать самой лучшей. «Самую легкую лодку в мире» я читала в рукописи. Фраза «Опасайтесь лысых и усатых» теперь на обложке книги 1993 года. Но тогда об этом и подумать было нельзя.

На стадии подготовки рукописи возникали сложности — «непроходимые» места. Мы говорили с Юрой о старике Карасеве из повести «Недопёсок». В книге глава называется: «Колеса, которые видит старик Карасев».

Разговор старика Карасева с соседкой Нефедовой рассеял все сомнения в том, что колеса действительно существуют. Главное, у Нефедовой колесо всего сантиметра на четыре, притом коричневое. Что безусловно обидно. А вокруг Лешки Серпокрылова «радуга васильковая с розовым разводом». При объяснении необъяснимых вещей такие серьезные понятия, как аура, чакры, астрал, не применялись.

«Приключения Васи Куролесова». «А книжка-то какая длинная получилась!» — написал автор на последней странице. И правда, сколько в ней людей, событий, острых моментов, неожиданных поворотов, опасностей. И собака разыскная есть — Матрос.

Целый город, фантастический и в то же время реальный. Поначалу это были Мытищи. Но Мытищи, оказывается, нельзя упоминать, из-за какого-то «неупоминаемого» производства. Нужен вымышленный город, Вся редакция в задумчивости. Название придумал Карл. Очень удачное — город Карманов. «Кармановский колхозный рынок» — это же звучит! Художник Лев Дурасов нарисовал на форзацах «Город Карманов и окрестности». Очень красиво. И рынок на территории монастыря...

Вася не сразу стал таким уверенным и по-милицейски категоричным: «Лебедь должен быть белым». И не сразу сложилась, закружилась детективная история. Основная работа как раз с этим была связана. Но очень быстро Коваль стал совершенно свободно управляться с «водопроводчиками», с «темными лошадками», с мусорной урной как орудием чудовищной

силы. А в пчелиных вопросах Вася разобрался, пожалуй что, лучше самого знатока Емельяныча.

С удивлением обнаружила такую странность. В повести всего один раз «звучит» жаргон. Рашпиль кричит Курочкину: «Стой, Курица! Стой, дешевая повидла!» Если не считать признания Батона: «А сейчас сижу по глупости. Одному пинджаку рога посшибал». Правда, это, строго говоря, не совсем жаргон.

Юмор у Коваля — пружина, краска, инструмент, особой, превосходной степени точности.

«Вот это фамилия! — подумал Вася — Болдырев!
Как будто самовар в воду упал».

« Телевизор тюкнулся об пол, как сотня сырых яиц».

В милицейском «газике»

«Матрос глядел в окно, задумавшись, как пионер, возвращающийся из лагеря домой».

У нас было присловье: «Талант уводит в младший возраст». Соседняя редакция решила издать для младших школьников все, написанное Ковалем. Мы сидели в «Карловых Барах», толковали о сборнике. Названия пока не было. И тут Коваль говорит: « Плачу пять рублей за каждую букву». Не помню, кто еще был. Все молчали. Что-то сработало — бряк! И у меня выскочило:

— Кепка с карасями! — трель из четырнадцати букв. Название понравилось Юре и всем. В нем было что-то собирательное, как в «Корзине с еловыми шишками». В рассказе «Караси» дядя Зуй шел, спотыкаясь, по лесу и нес в кепке карасей, гостинец от кума. Во втором издании сборника этот рассказ тоже стал называться « Кепка с карасями».

Дядя Зуй простодушный, он весь как на ладони. Отдает свою долю клеенки до последнего сантиметра. Край клеенки «был открыт взглядам и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца». Жаль, что светлый рассказ «Клеенка» не вошел в книжку «Чистый Дор».

«Вода с закрытыми глазами» — диалог ребенка и взрослого. На самой высокой ноте немыслимой чистоты.

«Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья ...Я глотнул еще раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы — времени, когда вода закрывает глаза».

Сейчас этот рассказ невозможно читать. Словно в нем предчувствие.

Природа открывала Ковалю свои детские секреты.

«В тот год в садах пахло грибами, а в лесах яблоками». «Надо мной в верхушках деревьев кто-то зашуршал, отпрянул, и не скоро я понял, что это шевелится и прячется листобой».

И один пример записи из жанра «Кратких словариков»:

«Шилишпер. Рыба, которая любит хлопать хвостом по воде. Если б автору предложили стать рыбой, он, конечно бы, стал шилишпером».

Коваль — неохватный! Живопись, графика, скульптура, кино. Эти области искусства Юра считал для себя главными. Но и талант детского писателя уникален не менее, а может быть, и более (реже встречается среди взрослых).

Мне кажется, Ковалю было легко в дошкольном пространстве. Думаю, имею право сказать, что для него это — отрадный остров среди других, безумно важных в его жизни. Может быть, не случайно Юрий Коваль создал гениальный образ — дошкольника Серпокрылова, свободного человека. Он бежал на Северный полюс, сопровождая неукротимого Наполеона Третьего («Что ему в клетке сидеть?»). За один день непрерывных боевых действий дошкольник в офицерской фуражке и с винтовкой из водопроводного железа прошел путь от рядового до высшего воинского звания. «Победные флаги трепетали над головой генерала Серпокрылова».

«Приключения Васи Куролесова» — последняя из книг Коваля, которую я официально редактировала. Хотя нет... Мне достался третий экземпляр рукописи «Промах гражданина Лошакова», еще не изданной. Я вернулась. И старалась смотреть на вещи так, как посмотрел бы Юра. Книга вышла в издательстве «Самовар» в 2000 году. Название другое — «Куролесов и Матрос подключаются». Художник Виктор Чижиков. Замечательно живые, веселые рисунки. Оказывается, и огурцы есть можно с улыбкой.

В 2001 году мне поручили составить сборник рассказов Коваля. В него вошли и рассказы-миниатюры, написанные Ковалем к готовым рисункам Т. А Мавриной. Книги из этой уникальной серии были изданы один раз и до сих пор не переиздавались. Самое удивительное, что назвали новый сборник рассказов Коваля... «Алый».

Вася Куролесов планировал из Матроса сделать себе друга на всю жизнь. Многие книги Юра дарил мне с надписью: «Другу».

Закончим на веселой ноте.

Коваль знал то, о чем писал, до мельчайших подробностей. Птичий рынок, где взрослые становятся восхищенными детьми. О валлиснерии! О данио рерио и барбус суматра-нус! Юра в этом волшебном мире чувствовал себя, как рыба в воде.

Обаяние Коваля? В военных терминах оно — безоговорочно. В «капустной пьесе» к юбилею Л. Либет была ремарка: «Входит Коваль, весь в вельвете, полный отпад».

Чаще он ходил в хемингуэистом свитере. Но всегда был неотразим. Это свойство личности.

Рассказ «Капитан Клюквин» сначала назывался «Пятый этюд Джулиани ». Джулиани, Сеговия, Мария Луиза Анидо. В этих именах отзвук времени, когда царила гитара.

Юра прекрасно играл на гитаре. И пел... Для концовки я выбрала не «Сундук» для маленьких жучков, не «Прекрасную Маринэт». Песню, которую слышала один раз. Ее, из-за словарного, так сказать, состава можно назвать «радость филолога»:

Квартирьеры, квартирьеры, фейерверкера, Квартирьеры, каптенармуса...

Октябрь 2007 года

Валерий Воскобойников

Человек-праздник

Если пытаться изобразить одной фразой Юрин характер, то можно было бы сказать, что это человек постоянно праздничной души. Вне зависимости от того, везло ему в этот момент или не везло, переживал ли он за что-то, — все равно после разговора с ним, после общения оставалось ощущение радости, праздника.

В моем городе Санкт-Петербурге Юру чтят и любят настолько, что, скажем, в Государственном университете культуры и искусства, где существует кафедра детской литературы, каждый год десяток студентов и студенток пишут по творчеству писателя Юрия Коваля курсовые и дипломные работы. Преподает там рыжеволосая красавица, колоссальный энтузиаст детской литературы. Так вот, она однажды попросила, чтобы я ей дал координаты Юры, когда она поехала в Москву. Это было приблизительно за полгода до его кончины Она побывала в мастерской, как раз в часы, когда он вел семинар с молодыми, и настолько оказалась влюбленной в него за один этот вечер, что немедленно стала писать работу под таким несколько витиеватым названием: «Духовный космос и проблемы личностной эстетики Юрия Коваля в контексте литературного процесса второй половины двадцатого века».

Мне посчастливилось быть одним из первопечатников Юры. Это была первая половина 70-х годов, ленинградский детский журнал «Костер», я как раз стал заведовать там прозой. Этот период, кстати, описан у Сергея Довлатова. Поразительное дело, в первые же дни в стопке отказов нашел письмо приблизительно такого содержания: «Уважаемый Юрий Иосифович. Благодарим вас за внимание к нашему журналу, но, к сожалению, вашу повесть „Недопёсок" мы опубликовать не можем, потому что нам нужны произведения на школьно-пионерскую тему». Вместе с еще не отправленным, к счастью, письмом я обнаружил и саму повесть. Передо мной прозой заведовала дама, как раз у Довлатова описанная, она и говорит: «Вы что же, мне не доверяете, раз вы хотите эту повесть публиковать ?» А я говорю: «Но это же замечательная литература». А она: «Так вот в том-то и дело, что это замечательнаялитература».Я говорю: «Ну тогда почему вы не хотите ее печатать?» — «Потому что она привлечет внимание всех, а там есть такие аллюзии!..» Пришлось мне немедленно залезать в словарь и смотреть, что такое аллюзии, потому что слово это я прежде не слышал.

Тут надо обязательно сказать, что у главного редактора, Святослава Владимировича Сахарнова, который как раз меня и позвал, сам только начав работу на этом месте, было отличное чутье на хорошую прозу, и повесть, которую боялись издавать в Москве, была напечатана у нас в «Костре».

Потом мы издали «Пять похищенных монахов», рассказ «Клеенка». Кстати, когда печатали повесть «Пять похищенных монахов», цензура ее в самый последний момент остановила, и та же самая дама мне сказала: «Вот видите, вы поставили журнал под удар. Я же вам говорила, что нельзя печатать Юрия Коваля. Идите, разбирайтесь сами». По своей должности именно она как раз и должна была «разбираться». Но пришлось мне общаться с Горлитом, жутко трепеща за судьбу повести: журнал должен выходить, а номер остановили.

Цензор мне говорит: «А вот у вас тут в повести Коваля написано, что в таком-то городе делают алмазы». А я ему: «Так это же все сочинено». — «Мало ли что сочинено. А у нас есть пункт, запрещающий упоминать подобные города. А тут назван город Карманов, и там делают бриллианты». Я говорю: «Если в этом дело, то давайте как-нибудь выйдем из положения. Давайте я вам напишу расписку, что такого города не существует, и бриллиантов не существует, и пятерых монахов тоже на свете нет, а существует только один автор, и я за это отвечаю». Она как-то вдруг на меня взглянула с облегчением и говорит: «Пишите

расписку». Ия ей накатал довольно забавную бумагу, что все описанное в повести придумано, кроме фамилии автора.

Правда, с этой же повестью произошла еще одна забавная заминка, причиной которой стал сам Юра. Повесть была уже набрана, находилась в стадии гранок. Оставалась вторая стадия — верстка, и вдруг Юра позвонил со словами, что он хочет ее переписать. Такое в практике подготовки рукописей, пожалуй, не происходило никогда: чтобы автор после всей редакционной, пусть и небольшой по объему работы сам желал переписать повесть, уже размеченную для номера. Понятное дело, что мне и тогда пришлось поволноваться: а ну как Юра не успеет и перепишет так, что она попросту не влезет в номер! Что тогда делать! Но Юра привез новый текст через неделю. В основном была заново написана глава с погоней, где герой на мотоцикле исчезает в одной луже и выныривает в другой.

У большинства людей, которые общались с Юрой, по моим ощущениям, оставалось чувство, что он был одним из самых близких друзей в их жизни. Так на самом деле и происходило. И у меня самого тоже осталось это ощущение — просто щедрость, богатство и талант его души были таковы, что при общении его хватало на нас на всех. Мы с ним дружили довольно долго. Приезжая в Ленинград в 1980-е годы, он каждый раз бывал у нас дома, в феврале несколько лет подряд мы с ним съезжались в Ялте, и я, человек, никогда в жизни стихов не сочинявший, а писавший только детские книги, под воздействием его обаяния тоже начинал говорить примерно такими стихами:

Сегодня в Ялте расцветает
На радость жителям миндаль.
Все оттого, что проживает
Здесь на Судейском Ю. Коваль.

Судейский переулок — таким был адрес Дома творчества. И чувство, что Юра является лучшим близким другом, естественно заражало нас всех так же, как и его жизненная энергия. То он уводил нас ранним февральским утром в горы, и мы втроем, вместе с Яковом Акимом преодолевали Крымский перевал. К счастью, все заканчивалось благополучно — в сумерках мы таки выходили к какому-то поселению, откуда часа три ехали на автобусе назад до Ялты В другой раз втроем с тем же Яковом Акимом мы не спали до половины пятого утра, чтобы, расставив на балконе дома творчества телескоп, который Юре прислали из ФРГ в качестве гонорара за изданную книгу, наблюдать за восходом Юпитера. А уже на другой день он брал планшет, и я отправлялся вместе с ним на этюды.

Юра щедро делился с нами и стихами. Я думаю, что у многих знакомых хранятся дома его стихи, о которых окружающие едва ли догадываются. Любил он и петь: для себя и друзей. Помню 1984 год, когда Юра привез из Москвы песню, только что созданную Юлием Кимом, это была прекрасная «Не покидай меня, весна». Юра нам пел ее в Ялте каждый день, и она потом много лет звучала в нашей семье как сладостная музыка. А однажды Юра посвятил нашей немногочисленной семье стихотворение. Был 1982 год, февраль. Два примечания: мы с женой тогда ожидали нашего сына, она была на восьмом месяце. Но внешне это не очень проявлялось. А еще здесь упоминается Кирилл — это замечательный друг Юры, талантливейший художник. Вот те стихи, точнее, песня, которую он нам подарил:

Город Ялта, город Ялта,
Паруса и якоря,
Мою душу разменял ты,
Горы с морем сотворя.
То я к морю, то я в горы,
То я вверх, а то я вниз.

Моих взоров точит шпоры
Синеглавый кипарис.

То мой взор в морских пучинах,
То средь каменных стихий,
То в кругу других мужчин — ах! —
Бьет по шару тонкий кий.

Без руля и без ветрила
Кисть как птицу оперил,
О балконные перила
Опирается Кирилл.

Соблюдая чувство меры
И на первый взгляд вдвоем
Воскобойников Валера
На обед идет втроем.

Рыщут чайки в синем ветре,
Над волнами семеня.
Бесконечный храм Ай-Петри
В полуметре от меня.

Ну и приписка:

«Валера, это черновик, прости меня, записал, что готово. С любовью к вам. Ю. Коваль».

В песне, подаренной нам, очень хорошо изображена им самим полная энергии жизни, мятущаяся Юрина душа, которая всегда живет в нашей памяти.

Ноябрь 2007 года

Татьяна Бек

Про Юру Коваля

1. Весь день было утро

С Юрой Ковалем я познакомилась летом 1978 года — совершенно случайно и весьма легкомысленно. Произошло это в кафе Дома литераторов — путем коллективного розыгрыша («кчерту подробности!»), на которые Юра был мастер. Началось с игры, а вышла дружба, серьезная и даже, я бы сказала, взаимопоучительная, дороже которой у меня мало что было и, уж конечно, не будет. Получился диалог на всю жизнь, которая у Юры оборвалась так неожиданно и так рано...

Был он гуляка праздный — и нелюдимый пустынник, крикун, весельчак, бузотер — и печальник, молчун, скрытник.

Условно говоря, Юра был мой учитель. Он научил меня различать поименно птиц («щур — это тебе не клест»), звезды и созвездия (подаренный им «Атлас звездного неба» храню как оберег), а также самые не заласканные вниманием полевые цветы и травы. Скромная моя книга «Снегирь» (1980) всей собою — включая название — обязана Ковалю. Он, как вожатый, водил меня по заснеженным лугам и полям дальнего Подмосковья и вслух, как школьный преподаватель естествознания — занимаясь с двоечниками, распутывал следы: ласки ли, крота, зайца, лисицы. Это были его личные иероглифы и его персональные охранные знаки.

«Со мной гулять — это тебе не Брема читать», — говаривал Юра, сугубых теоретиков природы недолюбливая.

Показал мне Юра и Вологодчину — город Кириллов, и знаменитый монастырь на берегу Белого озера, и Цыпину Гору, и — как ловить раков, вязать веники, стругать лучину, сидеть под североросcийским, густо-желудевым дубом, играя на гитаре песни Брассанса в собственном (нашем совместном) переводе, и как носить ватник и сапоги из местного сельпо с немотивированно щегольским достоинством.

Юрий Коваль — это на моем веку единственный человек, с полной ненатужной органикой соединивший городское и сельское начала, европейское и скифское, цивилизованное и корневое, Улисса и Садко.

«Б одну телегу впрячь сумел ты коня и трепетную дурь», — скажуятак, помня, что Юра всегда одобрял, когда при нем изъяснялись своими и чужими стихами.

В марте 1979 года Юра прислал мне очень длинное письмо — дневник нескольких дней — из Пицунды, где он работал над «Самой легкой лодкой в мире», и работа шла вдохновенно, однако со скрипом. То ли с вдохновенным скрипом, то ли со скрипучим вдохновением.

«Устал я и от усталости и по привычке выпил немного чачи, — записывает он ночью. — (Я не умею писать букву „Ч",у меня получается то „Г", то „Ч".) Получается вместо „чачи" — „гаги". Короче, я выпил немного коньков и вошел в ритм прежнего повествования».

Пролетело несколько дней, и Юра пишет:

«С литературой моей неважно, топчусь. Конечно, я написал нечто, но мало, мало.

Впрочем, твой Петюшка (подразумевается Петюшка Собаковский, один из ведущих персонажей „Лодки", имя и общий колорит которого ненароком подарила Ковалю я, к слову рассказав об одном своем однокашнике по университету. — Т. *Б.) нагло лезет в*

главные герои. Зато написал много свободных и очень красивых этюдов. Вся комната увешана этюдами, и десятки букетов стоят под этюдами. Этюды и букеты — вот чем я занимаюсь. Букеты вянут, этюды сохнут».

А вот еще запись:

«Не поймавши кефали, пошли мы с Жорой (писателем Г. Семеновым. — *Т. Б.) за бамбуком. Пришли в бамбуковую рощу и резали бамбук. Это интересно. Он крепкий как куриная кость, и зеленый как трава. В первый раз я своим (тобой подаренным) ножом резал бамбук. Жора тоже впервые. С мордами, сияющими первым бамбуковым порезом, мы гуляли, и я рисовал».*

Очень важной, какой-то даже мистически ясной кажется мне последняя запись этого давнего дневникового письма:

«Приятно мне глядеть на море. И бывает, я сижу за столом и будто бы печатаю на машинке, а сам гляжу на море. А вдруг да дельфин вынырнет ? И они вправду выныривают, и я делаюсь счастлив. Видно мне, как солнце садится, а ночью прямо передо мною склоняется к морю Орион. Я даже написал какой-то странный этюд с Орионом и задумал еще и картину, где будут и Солнце, и Месяц, и Орион, а может, только он».

Здесь — весь Коваль, мой незабвенный друг и любимый писатель. Повторяю, все Юрины книги я знаю если не наизусть, то насквозь. И вдруг, о радость, в конце девяносто девятого выходит книга совсем для меня свежая1. Я ее прочла не раз, и не два, и даже не три, а с начала до конца и с конца наоборот — дай, думаю, напишу про нее вслух, чтобы обратить всеобщее внимание.

Итак, вот что я сообщила о Юриной посмертной книге «АУЛ» через журнал «Новый мир», который Коваля то обижал, то привечал, но, безусловно, влек. Юра, слушай, как я о тебе расскажу посторонним гражданам и прогрессивным взрослым читателям!

Юрий Коваль (1938—1995) был человек особенный. «А кто не особенный?» — возразят мне и будут правы. Однако Юрий Коваль был особенным особенно, и особо, и обособленно, и особняком. Короче, как говорят теперь, — а он эту лексику не жаловал и сердито фыркал, — был он личностью, батюшки-светы, экстракреативной и ультраэксклюзивной. (Юра, прости!)

Широкий читатель при жизни знал Ю. Коваля исключительно как детского писателя, а Коваль был «просто писателем» (как и художником, и керамистом, и певцом, и педагогом) мирового масштаба. Так с ним распорядилась цензура и автоцензура: сиди в детской нише, в «Мурзилке» и в «Детгизе», — и не рыпайся. Он сидел, но как еще рыпался — о чем ниже...

Интересно, что крестным отцом в прозе у Коваля был Юрий Иосифович (полные тезки) Домбровский, который в шестьдесят третьем году прочел рассказ двадцатипятилетнего автора, пришел в восторг и понес папку в тогдашний « Новый мир», где рассказ «ласково отклонили». Этот недальновидный возврат глубоко и навеки ранил Коваля (урок « Новому миру» нынешнему) — он незадолго до смерти вспоминал:

— Я вдруг понял, что у меня не хватит сил. Если «Новый мир» даже после рекомендации Домбровского отклонил меня, за что я их до сих пор не хвалю... Я понял, что мне не пробиться никогда. Что бы я ни написал, как бы я ни написал, как бы совершенно я ни написал — не напечатают. Ни за что. — И дальше: — С этого моментая понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желая нового имени... Понимаешь? Там

1Коваль Юрий. АУА: Монохроники. Повесть. М.: Подкова, 1999.

давят. — Как мы видим, у Коваля очень рано возникла мощная обида и фобия, и он сам себя сознательно сузил и укоротил: — Я решил скрыться в детскую литературу, уйти туда.

Грустно? Но это был талант такого сильного и неуправляемого самодвижения, что он — талант — решению Коваля-человека не подчинился: нишу раздвигал, берега размывал и пел, повествовал, рисовал не в рамках «детской секции», а по воле божьей. «На полях» детской прозы Коваль, как выяснил позже читатель, создал сказочно-фантастический роман «Суер-Выер» и дневниково-мемуарные «монохроники» «АУА» — и то, и другое вышло посмертно. Получается, что как блистательный детский писатель он более-менее процветал и славился; как взрослый — таился и внешне робел. Это отражалось и на его характере — он был сильный и слабый, вспыльчивый и смиренный, капризный, и вольный, и несвободный, и очень щедрый. Мне опять же возразят: «А мало таких?» Да. Но он, как сказал бы сам Коваль, из таких — таковейший.

Однако возьмем наконец в руки новую книгу. Что же такое «АУА»? Юрий Коваль отвечает:

«... Впервые, давным-давно, я услышал это слово от девочки, которая обожглась и вскрикнула внезапно:

— Ауа!

Размышляя об этом слове, я спросил у некоторого приятеля:

— Что такое АУА?

—Агентство Улетающих Арбузов, — ответил тот. Возможно, возможно... Возможно, в этом слове есть и крик заблудившегося, и ответ успокаивающий, и плач ребенка, и возглас боли, и даже Агентство Улетающих Арбузов. А может, нет ничего, так — белиберда, пустяк. ... А что такое, на ваш взгляд, жизнь человека? По-моему, АУА — и привет!»

Эту книгу Юрия Коваля смонтировал из оставшихся в архиве записей, миниатюр, воспоминаний, стихотворений и авторских иллюстраций друг писателя — режиссер Юлий Файт. Он ориентировался на недовоплощенный при жизни замысел Коваля — создать домашнюю книгу новаторского жанра. Можно вспомнить и Розанова, и Пришвина, и Олешу, но книга Коваля получилась абсолютно самобытной. Возможно, истоки ее следует искать не в литературной традиции, а в законах разноцветной мозаики, которую Коваль чрезвычайно жаловал как художник — он ведь на ранних порах был и мозаичист тоже.

«Монохроники — это какой-то новый (для меня) жанр, — записал Коваль однажды. — *Ясно, что это не дневник, ежедневные записи для меня невозможны, тогда пришлось бы бросить всю работу и писать и рисовать только монохроники. И все-таки кое-что есть в них и от дневника. Записи автобиографичны, хотя иногда я считаю возможным переиначить события, взглянуть на них глазами художника. Во многом монохроники — это случайный сбор. Захотелось что-то записать, нарисовать — „Монохроники"! Точной системы моей жизни в них нет, есть, наверное, какое-то общее движение».*

Итак, перед нами неполная и разрозненная, но хроника творческой жизни Юрия Коваля за несколько лет (70—80-е годы, рубеж). Здесь и путевые заметки (а Коваль с друзьями исколесил всю Россию, особенно же любил ее Север), и свои собственные «записки охотника», и размышленья о природе слова, и мемуары о Борисе Шергине, Соколове-Микитове, Корнее Чуковском, Овсее Дризе, и прозаический портрет с натуры Арсения Тарковского, и любовные переживания, и прочее, прочее, прочее. Читая этот глубоко неслучайный «случайный сбор» и разглядывая многочисленные рисунки, шаржи, этюды, наброски, пейзажи, натюрморты, — не устаешь изумляться изумлению, которое Ю. Коваль непрерывно и остро испытывал перед жизнью. Он брал на зуб каждое словцо, имя, название и по-ремизовски погружался в подпочву — тихо корнесловил, что ли. Вот бродит он по Вологодчине: «Полумертвая деревня — Палшумо... Нерусское слово, и все-таки я

прикидываю, что кто-то когда-то делал здесь пал — палил лес, и был от этого пала немалый шум». Или идет он болотной дорогой сквозь ольшаник, и открывается ему медленная, дремучая, ласковая река Модлона — явь тут же отзывается в слове: «Модлона течет модлонно...»

Литературный стиль Юрия Коваля трудноуловим — здесь нет явственных метафор, кичливых неологизмов (как максимум снегодождь), самоцельного интеллектуального нажима. Но нейтральные слова так диковинно прислонены друг к другу, что возникает некое новое языковое качество, которое друзья и ученики писателя именовали «ковализ-мом». Уникален и матово-нежный, всегда чуть печальный юмор Коваля. «Его юмор — это правда, не требующая никаких доказательств», — сказал Фазиль Искандер.

Кстати, неуемной более чем любовью Коваля — ив жизни, и в художестве — пользовались лесные и полевые букеты цветов. Он, как я помню, обронил в нашем едва ли не последнем разговоре, что замышляет особую серию миниатюр — разные сухие букеты на подоконниках и чтобы сквозь букеты был виден (но ими преображен) город. Здесь таилась некая глубоко личная мифологема Коваля, но я в ответ промолчала и развивать сюжет не стала — Коваль резко не любил светской болтовни про символику, семантику и проблематику. Ежели ему что чужое нравилось (рисунок ли, сонет или самовязаный шарф), то он попросту, чуть шуткуя, причмокивал: «Элегантиссимус!» И лишь когда разговор заходил серьезный, непраздный, обязательный — например с учениками в литературной студии, которых мэтр ласково и старомодно называл «семинаристами», — Коваль проявлял себя как одухотворенный теоретик искусства. Порою ему казалось, что, двоясь между прозой и так называемым изобразительным искусством, он разбрасывается. Нет. Я-то помню редкую цельность этой ренессансной натуры.

«АУА» — победа писателя над навязанным амплуа. Уже в самом разгаре стихийной работы над «Монохрониками» (а, как вспоминает Юрина жена Наташа, он с особой страстью прятался в них, когда подпирала очередная поденка) Коваль с радостью записывает на своих клочках: «Это оказался удивительно емкий, совершенно неожиданный жанр». Заметим, что жанр не был для него вопросом исключительно техники... Все эти магические изменения (от лукаво-детективного «Недопёска» или подлинных стихотворений в прозе, выходивших вкупе с мавринскими иллюстрациями, — и до летяще сюрреалистической «Самой легкой лодки в мире») зрели и выверялись на поляне «АУА».

Главное ощущение от этой книги — свежесть. В ней есть такой фрагмент: «Весь день — утро. С утра — солнечное и туманное, только намек на туман и свежесть. И днем — все то же утро. И даже к вечеру все еще утро. „Да что же это такое-то? — думал я. — Когда оно кончится?" Но оно не кончалось. А потом внезапно сразу превратилось в ночь». Это — пророчество о жизни Коваля. Ловил ли он язей на пареный горох, наблюдал ли, как «бабы бешено полоскали, а затем дико отжимали белье», толковал ли с приятелями о колдунах, размышлял ли о горестной судьбе сельских церквей, любовался ли пожарной каланчою или пил с большими литераторами в Доме творчества кальвадос, — взгляд его на вещи был утренним, то есть устремленным в перспективу и потому приязненным.

И в житье-бытье Коваля, и в прозе, и в живописи ощущалась тайнопись русской народной сказки с ее Иванушкой-дурачком, и Иваном-царевичем, и лежаньем на печи, и чертом в ступе, и щучьими веленьями, и, конечно, ковром-самолетом. Даже в минуты внутренней тьмы и смятения (они тоже отражены в «Монохрониках») здесь из всех щелей бил свет. Помните, у Пастернака:

Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Конец, увы, наступил ранний, внезапный, скоропостижный. Утро сразу перешло в ночь... Но состоялся творческий опыт такой силы и, повторяю, особости, что остается лишь повторить вслед за Юрием Ковалем: «АУА»!

2000 год

2. Из ряда вон и тут как тут

Я думаю, что лучшими людьми, которых я встречал, были, конечно, художники... Иисус говорил: «праведники — соль земли». Я, конечно, не смею поправлять Матфея, великого автора великого произведения, но от себя бы добавил: художники и праведники — это соль земли.

Ю. Коваль

В феврале2003 года Юре стукнуло бы шестьдесят пять лет — в марте журнал «Знамя» открыл у себя в редакции выставку его картин, скульптур, эмалей и прочих изобразительных шедевров. Что называется — «Любимый писатель у мольберта».

Увы, я была в отъезде и на вернисаж (то бишь торжественное открытие) не поспела... Кстати, за словцо «вернисаж» я бы от Юры наверняка получила расписной ложкой по лбу, или, скорее, он бы его моментально переиначил на свой Ковалиный лад во что-либо вроде «Верни сажу!» или «Вернись, Яша...» (имея в виду своего лучшего друга и соратника по словесности Якова Акима). Так, придя в юности делать беседу с большим писателем для серьезного журнала, он представился ему как «интервьЮра». Но я отвлеклась.

Потом, когда я в Москву вернулась, мы с Наташей Коваль и Ильей Булычевым (это они в первую очередь организовали или, лучше сказать, как Юра — о своей прозе, укатали и уладили состав и композицию выставки) долго-долго по редакции, в тот день опустелой, бродили... Возле каждой работы останавливались, и Наташа то очерчивала, что называется, историю создания, то открывала нам тайны Юри-ной техники. Кто бы, например, подумал, что все эти потрясающе одухотворенные и философски загадочные эмали Коваль обжигал в казенной печи, добившись левой договоренности на маленькой советской кастрюльной фабрике!

Итак, бродим и бродим кривыми кругами по редакционной выставке... Готовая ответить на любой вопрос, Наташа лишь на мои идиотские вопросы относительно того, к какому направлению Юра себя причислял или к какой школе он принадлежал, неизменно отвечает, словно бы разводя руками:

— Из ряда вон! Из ряда вон...

И впрямь — из ряда вон.

А вообще, она так колоритно, нежно и достоверно рассказывает о Ковале, что я уговариваю и уговариваю ее обо всем этом написать. Верю — напишет.

...А пока обратим-ка внимание на уникальность самоопределений этого художника. Вот его личный точкизм, причем не как русская калька с пуантилизма, а именно материально первооткрывательское направление. А вот — в развитие кубизма — шаризм: это когда художник, как пояснял Коваль в «Самой легкой лодке в мире», насобачивается писать шарами и дугами даже кубические формы и прямые линии. А вот и столб-арт — его персональный жанр, его ерническое изобретение (по модели поп- и соц-арта), его личный ковализм. Поясню: Коваль, тонко пародируя языческих идолов, мастерил деревянную скульптуру из бревен и дров. Работая в технике столб-арта средь стружек и опилок, Наташе он напоминал папу Карло в процессе создания Буратино... И живопись, и графика, и керамика, и эмали, и резьба по дереву — все у этого художника экспрессивно и остро характерно. Один из прототипов, глянув на свой портрет карандашной работы Коваля, закричал: — Я весь тут как тут!

Тут как тут на Знаменской выставке Коваля — и все его странствия, и раздумия, и природа с птицами, рыбами, зверьем, и близкие друзья, и первые встречные, и вообще весь окрестный

мир. Повторяю: более чем любовью художника — и вживе, и в искусстве — пользовались лесные и полевые букеты цветов. Конский щавель, донник, иван-да-марья, калина, просто безымянные стебли и ветки... Натюрмортов этого важнейшего ряда на выставке немало. О них на открытии прочла свое стихотворение поэт Роза Харитонова (однокурсница Коваля по пединституту и его друг сквозь жизнь):

Таких цветов на свете нет И нет подобных ваз, Но что-то вдруг взволнует вас, На что-то даст ответ. Нахлынет, смоет, вознесет, Вонзится, разрешит, спасет...

На выставке — много пейзажей, выполненных в самой разнообразной технике. Северные, дремучие, заброшенно сельские — и городские, замоскворецкие, кирпичные. Он во всех своих ипостасях проявлял полную неангажированность — урбанист-деревенщик в одно словосочетание.

Хорошо помню его любимую мастерскую в переулке на Лузе («узы Яузы» — еще один ковализм) и то, как, часами стоя у мольберта, Юра говаривал:

С улыбкою шизофренической я прихожу в Серебрянический...

Порой ему казалось, что, троясь меж литературой, музыкой и изобразительным искусством, он, дескать, разбрасывается. Нет. Коваль как писатель асимметрично обогащался всеми жанрами, в коих вдохновенно трудился. Николай Силис сказал как-то: «Глаза Коваля — это не просто глаза. Это окуляры с увеличительными стеклами…» А знаете, кто еще — помимо папы Карло, Лемпорта и Силиса — были его любимые учителя-художники? По свидетельству Наташи: Леонардо да Винчи и Сальвадор Дали, причем именно в нерасторжимой паре.

Свидетельствую снова и снова: еще Коваль боготворил художницу Татьяну Маврину с ее авангардным лубком и фольклорным новаторством. Они сделали несколько книжек в соавторстве: про рыб, про птиц... Ориентировался Юра на Татьяну Алексеевну и просто по-человечески — равнялся, что называется (особенно на ее поглощенность работой и независимость во внешнем виде — например, в надевании на этюды каких-то невероятно странных огромных шляп). Мне Коваль не раз говорил, мысли своей не поясняя: «В тебе недостает мавринизма».

Энергичные ритмы, густота, плотность, прозрачность. Портреты всегда граничат с шаржем, но не с издевательским, а с влюбленным — зачастую они, как мы теперь видим, пророчили, каким персонаж станет с годами. А цвет у Коваля всегда звучит: красный ликующе восклицает, синий обиженно стонет, желтый яростно вопит. Коваль цветом и мыслил, и страдал, и куролесил, и горевал. Здесь мы наблюдаем особый в живописи случай — шаржирование не только линий, но и красок, когда художник, оттаишваясь от реального тона и натурального оттенка, их с бешеной «уве-личительностью» утрирует. Петушиные гребешки у него не просто, а стократ алые, коты сногсшибательно пестрые, небеса истошно голубые... *Я бы* назвала Коваля-художника непревзойденным максималистом цвета! А Наташа обратила наше внимание еще и на то, как цветовые предпочтения менялись у Коваля с возрастом. Смотрите, тихо восклицала она, в юности Юра особенно любил тона охристые, карие, ржавые, кофейные и подсолнечные: они для него олицетворяли радость и восторг бытия, пусть и не без грусти. За пятьдесят, ближе к концу, он больше полюбил си-неватость, лиловость, серо-фиолет и серебро — они стали для него цветовыми знаками скоротечности жизни, пре-многого знания и еще более премногой печали.

Сердцевина выставки — серия «икон» работы Юрия Коваля: «Вход в Иерусалим», «Богородица», «Положение во гроб» ... Сплав древнерусской школы и авангарда, дисциплинированной традиции и мастерски озорного наива, храмового иконостаса и детской игрушки. Сам он остерегался называть эти вещи иконой как предметом возможной молитвы

— он считал их вариацией или даже разговором на библейскую тему. «Икона отвечает запросу души. Когда я пишу эти свои вещи, я тоже отвечаю естественному запросу души... » — скромно говорил он об иконописной линии своего высокого искусства.

Не сразу, но вдруг я обратила внимание на то, что все свои работы Юрий Коваль подписывал не, как принято, фамилией или инициалами «Ю. К», но огромной и одинокой буквой Ю. Объяснений таковому выбору может быть много: у Наташи опять «Из ряда вон!», у меня свое. Вглядитесь в Ю — и вы увидите, что это примитивистский рисунок-эмблема, означающий: художник стоит у мольберта (перекладина есть рука с кистью)... А квадрат мольберта — по законам шаризма — дан как овал... Юра, так?

Юрий Коваль постоянно — и на письме, и в разговорах — утверждал, что у художника в руках непременно должно быть ощущение уверенности и счастья. У него было и то, и другое — и оно чудесным образом передается. С выставки мы уходили увереннее и счастливее («с улыбкою шизофренической ...»), нежели на нее с улицы Малая Бронная пришли.

2003 год

Опубликовано в книге: Татьяна Бек.
До *свидания, алфавит. М.: БСГ-Пресс, 2003*

Стихи Ковалю

1

При тросточке, над бездной,
Шел человек чудесный
С ужасной бородой,
С улыбкой неуместной
И тайною бедой.

Он говорил нам чинно:
«Кручина — не причина
Отчаиваться, раз
Есть куослеп и чина,
Ольха, береза, вяз».

С улыбкой виноватой,
В рубашке полосатой
Он — баламут и мот,
Но вовсе не бездельник —

Сказал, что проживет
Без счастья и без денег,
Поскольку есть репейник
И ласточкин полет.

Я знаю, что не врет.

1978

2

На окне сухой букет,
Сквозь который виден город
Жизнь, летящая на нет,
Подымающая ворот, —

Потерявшая ключи,
Не попавшая на рынок,
И запившая в ночи,
И воспрявшая в руинах, —

Жизнь, лишенная тепла,
Даром что оно имелось,
Но его сожгли дотла,
В мусоре не видя мелос, —

Жизнь, которую скроил
В темноте столетий предок, —
Что осталось? «Дыр-бул-щил»
Да букет осенних веток,

Чья невероятна масть,
Сухость, оторопь и ярость:
Жизнь, конечная, как страсть,
И бескрайняя, как жалость.

1996

3

Сжала губы полубантиком.
Полунищим узелком...
Полно мне кружить лунатиком,
Нытиком, еретиком!

Не приемля всеми жилами
Новый паводок и слог,
Напишу большими вилами
По водице — некролог.

Дескать, жили, были, канули
Мы — без кузни и казны,
Не совпавшие с лекалами
Небывалой кривизны.

«Прощевайте!»... Тем не менее
Кланяюсь тебе, Земля,
Тихо уходя под пение
(С неба) Юры Коваля.

1998

Опубликовано в книге: Татьяна Бек.
До *свидания, алфавит. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2003*

Айлар Кербабаева

Фотография на память

Какие прекрасные лица, и как это было давно.
Георгий Иванов

Как-то летом 1978 года я зашла к Тане Бек в «Вопросы литературы», и мы отправились ужинать. Мы сидели в полупустом Дубовом зале ресторана ЦДЛ и без умолку болтали, как обычно. Вдруг к нашему столу подошел седой человек «Знакомься, — сказала Таня. — Это Яков Аким». «А можно, мы к вам пересядем? — спросил Аким. — Вам так весело, а мы заскучали с другом». Мы переглянулись, вообще-то это было не очень кстати, но, видно, отказать показалось Тане невежливым. К нам подошел коренастый модно одетый мужчина с бородой. «Юра», — представился он. Так в нашу жизнь вошел праздник. Мы никогда до этого не видели Юру Коваля, и имя его в наших кругах не мелькало. Но с этого дня оказалось, что весь мир вращается вокруг Юры Коваля. Все знакомые стали признаваться, что давно мечтали познакомиться с ним. Алла Пугачева приветственно машет Юре рукой в Доме кино. Белла Ахмадулина ждет его на день рождения. Сергей Михалков пишет предисловие к его книге. По его книгам снимается кино...

И вот мы сидим вчетвером, болтаем о всякой ерунде, и настроение у всех отличное. Вечер заканчивать не хотелось, и Юра предложил поехать в кафе. На такси едем куда-то в Текстильщики, где в маленьком, но безумно шумном кафе, кажется «Марсианин», знакомый бармен очень рад встрече с Юрой, называет его «маэстро», угощает «Мальборо» (в то время это было круто!), готовит нам «марсианские» коктейли, а мы пьем и пляшем вчетвером. Юра почему-то обращается к бармену «мадам», и это безумно смешно! Был какой-то буйный вечер, не похожий ни на что. Потом ехали в метро по домам. Юра сидел напротив и вслух решал, куда ехать: домой или к маме на дачу. На дачу далеко, но мама волнуется. Телефона на даче нет. Кажется, решил ехать домой: очень устал. Нам Юра показался странноватым, но забавным.

А утром, не успели мы проснуться, раздался звонок: «Привет! Это Юра Коваль. *Я* тут получил гонорар за перевод. Давайте отметим. Говорите адрес, я к вам подъеду». Потом Юра извинялся за напор. На самом деле он человек скорее стеснительный, чем наоборот, просто очень хотел, чтобы знакомство продолжалось. И он подъехал Мы начали жарить картошку, Юра настоял, чтобы я показала ему ближайший магазин, где мы закупили колбасы и вина. По дороге домой он меня спрашивает: «Ты что, дура совсем?» — «Не знаю, а что случилось?» — «Ну я же тебе намекаю, что влюблен в тебя». *Я* смутилась. Что он, смеется надо мной? Тут же выяснилось, что он влюблен вообще. « Да я и в Таньку влюблен!» Ему нужно было быть влюбленным, так ярче жить. В то время он был влюблен и в Арсения Тарковского, много рассказывал о встречах с ним. А мы с Таней стали читать Тарковского с утра до вечера. Его сборники долго лежали у нас в сумках, чтобы почитать в метро.

В то время Юра только получил квартиру в Измайлове и занимался обстановкой. Раз он звонит и говорит: «Сейчас мне привезут мебель, я волнуюсь. Буду звонить». И звонил каждые пять минут, комментируя поэтажно поднимание дивана. В этом он весь: в жизни нет ничего неважного, незначительного. Важно и значительно все, включая и прибытие мебели. «Привет! Как настроение?» — так он всегда начинал разговор. Про настроение они с Таней могли переговаривать раз пять в день. Однажды прислал мне в Ашхабад телеграмму — про настроение. Юра был щедрым человеком, он делился своей любовью к людям, к птицам, к природе, к языку... Он подарил нам все свои книги, с удовольствием их подписывал. Одну, «Кепку с карасями», прислал мне в Ашхабад бандеролью.

Вся наша компания была влюблена в Юру. Несколько раз он приходил с гитарой, пел. Кстати, играл на гитаре профессионально, говорил, что брал уроки. Петь он любил, но из всего почему-то помню не очень приличный вариант песни «Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки». Юра пел: «Ехали на тройке ... догонишь, а вдали мелькали ...

поймешь». В это время по его «Недопёску» снимался фильм, и он должен был спеть в фильме песню, которую еще нужно было написать. Сочиняли они ее вместе с Таней. «Я хотел в титрах указать две фамилии, но уж чересчур солидно для такой песенки. Таня не согласилась».

Как-то раз мы отправились гулять в парк, по дороге зашли к его знакомому фотографу, и Юра попросил сфотографировать нас. На стене висел большой лист ватмана, и, пока фотограф готовился, Таня с Юрой стали рисовать свои профили, так эти смешные рисунки и стали фоном. Сначала мы встали втроем, затем сфотографировались по очереди.

И еще раз — в парке, в каких-то зарослях Смотрю на эти фотографии: «Какие прекрасные лица, и как это было давно», — Иванов сказал это про нас, точно. Пока фотографировались, Юра очень волновался и дергал друга-фотографа, чтобы постарался. «Ты же великих людей снимаешь, ты посмотри, кто к тебе пришел Это же Таня Бек Ты хоть знаешь, что это значит?» — преувеличенно серьезно говорил он: друг в наш юмор не вникал и, кажется, не очень был доволен тем, что его заставили снимать.

Погуляв по парку, мы зашли перекусить в парковый ресторан, а там свадьба гуляет. Невеста в белом, жених в черном. Мы стали смеяться: фу, какая пошлость — фата, белое платье... Нет, как говорила Таня, жаме де ля ви. А Юра так серьезно возражает, что если бы он женился, то обязательно по всем правилам: невеста в белом, он в черном. «Л очень банальный человек, — убеждал он нас. — Я — простой». Мы не верили. Ну, потому, что мир так сложен, что хороший человек по определению не может быть банальным. «Девки, — уверял нас Юра, — я самый банальный человек. Я считаю, что жена должна борщ варить, котлеты жарить, а не стихи читать!» Думаю, наполовину он лукавил. Как-то Таня познакомила Коваля со своей подругой детства, немного полноватой красивой молодой мамой, и потом рассказывала, смеясь, как он описывал новую знакомую: «У нее щечки переходят в шейку, шейка в грудку, грудка в животик, а животик в попку». Ну а о том, что дала эта дружба в творческом плане, Таня рассказала сама и своими стихами, и статьями.

Опубликовано в книге « Татьяна Бек. Она и о ней»

* * *

Помню, что Юра в то время очень тесно общался с Яковом Акимом, очень нежно опекал его. Как-то раз был в Германии, приехал с ворохом подарков. Не забыл никого. С удовольствием перечислял все, что купил заграницей. Рассказывал, что привез маме — дубленку, дочке — замшевый плащ. Яше (прошу прощения за некоторую фамильярность, но в то время он просил называть себя именно так) привез модную голубую вельветовую рубашку. Мне зеленые бусы. Юра любил яркие модные вещи, мог и поболтать о них, и это было у него очень органично. К этой своей увлеченности вещами относился с большим юмором, сам же над собой и подшучивал.

Вообще ощущение маскарада, праздника возникало всегда, как только Юра появлялся. Раз приезжают они с Яшей Акимом вечером и просят нас с Таней сходить с ними на квартиру к одному важному чиновнику от литературы, от которого зависела Юрина загранпоездка, а жил этот товарищ где-то поблизости. Отказаться было невозможно. «Зачем мы там нужны? Вдруг он будет недоволен?» — никакие доводы в расчет не принимались. «Один я не справлюсь, вы моя группа поддержки. Решено, идем все вместе». И мы всей гурьбой идем и дурачимся, представляя удивление этого человека при виде нас.

Юра был очень возбужден и скрыть свою нервозность не мог, но старался смехом перебить свой ужас перед встречей. Наверное, ему было страшно, что важные для него события в руках стороннего и, может быть, незаинтересованного человека. Юра был очень ранимым и незащищенным. Яша, человек очень чуткий и тонкий, понимал Юру лучше всех и наравне принимал участие в этом полубезумном походе. Он забегал вперед, поворачивался лицом к нам, смешил и смеялся сам (кстати, был он в этой новой подаренной рубашке). Мы шумели, хохотали, редкие прохожие оборачивались, но это только добавляло куражу. Помню, как мы все вошли и даже были приглашены к столу, помню и изумление на лице хозяина при виде

нас... Мы часто с Таней обсуждали, что связывает Юру и Яшу. Яков Аким, известный поэт, замечательный детский писатель, был старше Юры, и такое легкомысленное времяпрепровождение было вроде бы не солидно, но в это время они были неразлучны. Я думаю, что все дело в Яшином умении дружить, его желании понять другого. Ему легко можно было доверится. Но в их парочке со стороны было все же что-то булгаковское.

Про себя Юра говорил: «Я — мужчина общественный!» Имел в виду, что принадлежит всем. И как подтверждение его «принадлежности всем» — такой случай. Сидели мы вечером втроем — Таня, Юра и я, и вдруг Юре приходит идея куда-то ехать. Да поздно уже, нигде нас не ждут. Но не тут-то было! Подхватываемся и едем в центр. «Сейчас я вас удивлю», — говорит Юра и привозит нас к Дому архитекторов. А там все закрыто. Время — к полуночи. Так нет, он достучался, двери открыли и даже пустили в уже пустой зал ресторана, и, самое удивительное, все были рады видеть Юру. «Вот я какой!» — смеялся Юра. Ему было необходимо, чтобы его любили. «Без этого я как цветочек без поливки», — цитировал он сам себя.

Одно время мы с Юрой переписывались, и он писал очень подробные и смешные письма, что-нибудь обязательно пририсовывал. В одном письме рассказывает, как приехал на дачу помочь маме сажать ноготки, а мама уговорила его сбрить бороду. «Без бороды чувствую себя декольте», — пишет Юра. Талантлив Юра был во всем — ив письмах, и в отношениях, и в игре на гитаре, и в живописи. На стене у меня висит подаренная Юрой картина. Узкая, мощенная булыжником улочка приморского городка ведет к морю. На обороте размашистая подпись: «Многоуважаемой Айлар от автора. Юрий Коваль. 1979 год».

Грустно, что Юра не узнает обо всех добрых словах, которые здесь напипгут, он бы очень порадовался. При жизни ему так не хватало этой поддержки. Ему было необходимо, чтобы его хвалили, чтобы им восхищались и обязательно говорили ему об этом. Грустно, но и замечательно знать, что для каждого, с кем его сводила судьба, Юра был ярким и важным событием.

Октябрь 2007 года

Владимир Лемпорт

На южном берегу

фрагменты прозы

Февральским днем по берегу Черного моря брела компания: трое высоких и один среднего роста, но крепкий. Самый высокий звался Минаевым Юрием Николаевичем, чуть пониже — Ковалем Юрием Иосифовичем, еще пониже — Силисом Николаем Андреевичем, а среднего роста, но крепким был я, автор этих строк, Лемпорт Владимир Сергеевич. Минаев был строящим архитектором Артека, по которому мы шли мимо обшарпанных цветных коттеджей; им уже по четверть века каждому, да и автор их Юрий Николаевич был уже не тонкий длинный мальчишка, выпускник архитектурного института, а пятидесятилетний полнеющий блондин. <... >

Мы, собственно, к нему и приехали, захватив с собой Юрия Иосифовича Коваля, известного писателя и, главное, нашего старого друга, который, по счастливому совпадению, приехал что-то написать в Доме творчества.

Под самой горой Аю-Даг, или Медведь-горой, Минаев строит элитарную гостиницу для членов ЦК и приезжих партийных товарищей из-за границы. Собственно, Аю-Даг — цель нашего приезда в Артек; архитекторы Полянский и Минаев предлагают украсить этот пансионат нашей керамикой, и нам необходимо посмотреть что и как

Примерно год назад Юрий Николаевич оступился и провалился в какую-то щель в кромешной тьме этой стройки. Они шли с прорабом, и вдруг прораб обнаружил, как только что маячивший во мраке перед ним Минаев исчез. Стон откуда-то снизу позволил обнаружить архитектора в подвале без сознания, со сломанной ключицей и с разбитыми очками. Коваль ярко представил себе, как он тоже проваливается, и не пошел с нами на стройку, а предпочел остаться у моря и рисовать огромных бакланов-чаек, что с криком носились над волнами. Видимо, где-то рядом проходил косяк ставриды. <... >

* * *

... Солнечным утром к нам в гостиницу «Ореанда» пришел писатель Коваль. Он был не в черном вельветовом пальто, в котором обычно ходит по Ялте, а в телогрейке защитного цвета и с большим альбомом для рисования под мышкой. Писатели рисуют, а художники, как видите, пишут. В это утро было поставлено на стену фойе гостиничного кинотеатра мое керамическое панно на тему «Искусство». <... >

Коваль снисходительно посмотрел на мое панно и сказал, что это «серьезно» — откуда-то у него появилась такая формулировка в знак одобрения.

— Как будто здесь всегда было это панно. Очень органично село на стену, — сказал он.

На полу было разложено второе панно Силиса, изображавшее пловчих (опять!). Как с эскизом артековского горельефа, так и с этими купальщицами Силис был довольно сильно обстрелян Художественным советом. < ... >

В это время пришел Силис и сказал:

— Коваль, сегодня можешь забрать Лемпорта на этюды. Наши помощники Сережа и Саша перенесут мое панно в экспресс-кафе... и дней через пять мы все закончим. Так что идите рисуйте.

* * *

Не знаю, обычно ли это для Ялты, но сегодня, 10 февраля, она была вся в снегу, как Норильск. Термометр на гастрономе на Набережной показывал минус пять, температура моря плюс семь — все это выдавалось на электронном табло. <... > Мы стали подниматься наверх по старым улочкам с домами, обстроенными клетушками. <... >

Еще при Сталине американцы предлагали за пользование Крымом в течение десяти лет застроить берег первоклассными высотными отелями, а потом, по окончании аренды, отдать их Советскому Союзу. Но у нас политика важнее выгоды. Как это мы можем, хотя и временно, пустить разлагающихся капиталистов? В результате этой политики мы почти через семьдесят лет после победы Октябрьской революции идем по нетронутым переулкам, по которым точно так же ходил Чехов в черном кожаном пальто до пят и с суковатой палкой. Но мы с Ковалем не задумываемся очень глубоко о выгодах и потерях государства. Мы радуемся, что пока разумный правитель не прибрал Крым к рукам. Хорошо что ли стало на Пицунде, где архитектор Посохин застроил реликтовый берег с тысячелетними соснами пошлыми отелями, похожими на высотные дома Арбата? Так он и с Кремлем поступил, нагло воткнув Дворец Съездов. Мы рады, что можем порисовать дореволюционные постройки.

—Главное сесть. Нужно найти место несырое и неледяное, — сказал я. — А красота, она везде и сама ляжет на бумагу.

—На этих ободранных переулках проходит чья-то целая жизнь, — сказал Коваль. — Старомодные покосившиеся и почерневшие вывески «Хлеб», и там в самом деле продают хлеб; висит железный сапог — и здесь в самом деле чинят обувь. Где для этих жителей конец двадцатого века?

Конец двадцатого века для них в том, что никто ничем не торгует, не предлагает, как бывало при Чехове, нет услужливых татар, нет водочных и пивных ларьков, а также бочек с молодым виноградным вином, да и винные магазины, дегустационный зал ликвидированы.

Мы уселись на низкой каменной стенке, охраняющей дорогу от оползня. Метра на четыре ниже теснились маленькие дворы, уныло тявкали собаки, выглядывая из своих конур, пораженные тем, что два прохожих, что здесь так редки, уселись зачем-то в непосредственной близости от их владений. Кривая улица с требующими капитального ремонта домами, однако, хорошо ложилась на бумагу. Откуда-то появился абориген: серая шляпа, серое лицо, серое пальто, серые штаны. Остановился около нас, загораживая пейзаж. Впрочем, это явление обычное, когда рисуешь на улице.

—Вы художники? — спросил он с сомнением. Не сразу дождался ответа.

—Раз рисуем, логика подсказывает, что да, — сказал Коваль, стараясь тоном дать понять, что ему мешают.

Ответ удовлетворил туземца, он постоял и сказал:

—У меня есть подлинная картина Айвазовского.

Не увидев на наших лицах никакого интереса, продолжал:

—И две картины Шундина, его ученика.

—Мы не знатоки, — сказал я, — и не любители этого жанра.

—Рисуете же! — сказал прохожий.

—Мы урбанисты, — сказал Коваль.

—Может быть, все-таки зайдете? Вон внизу во дворе, вход с торца, квартира 25.

— Хорошо, зайдем, — сказал Коваль, чтобы отвязаться. Прохожий спустился вниз любоваться бесценными картинами.

—К хренам его! — сказал Коваль. — Или, может быть, зайдем?

—Ты что, хочешь по случаю приобрести картину Айвазовского или Шундина, о котором ничего не слыхал?

—Тогда к хренам! Он скорее всего художник-дилетант или шизофреник, а вероятнее, желающий сбыть товар разиням, ничего не понимающим в живописи.

Правда, был еще один вариант: честный советский труженик, обладающий бесценными реликвиями, просто хочет показать их профессионалам. Но Айвазовского мы и в Третьяковке не смотрим. <... >

Мы рисовали фломастерами дома, которые громоздились друг над другом, узкие в талиях и широкие в плечах, как в Болгарии. Некоторые выскакивали на перекресток, вылупив мутные глаза. Голуби целовались на крышах и раздували зобы. Через дорогу переходили независимая кошка и эмансипированные бродячие собаки. Все это мы зарисовали и остались довольны собой и друг другом. Вдвоем рисуется веселее.

—Сейчас время обеда, — сказал Коваль, — пойдем-ка ко мне. Дом творчества вон, на горе виден, и похлебаем супчика. Кроме того, в номере скучает полбутылки «Лимонной».

—Супчик—это неплохо. Мы с Силисом десять дней на сухомятке. Из жидкого употребляем чай, кофе, пепси и водку, которая в Ялте есть в двух магазинах. <... >

Дом творчества имел колонны, а далее возвышался дворец Дундукова-Корсакова в мавританском стиле с зубчатыми стенами и башнями. <... > В номере Коваля были приколоты кнопками штук двадцать этюдов масляной пастелью по цветной бумаге — плод его месячных прогулок по Ялте. Коваль пожаловался, что некоторые этюды почему-то получились темноваты.

—Вообще, я люблю масло, — сказал он.

—Но масляная пастель более удобна. Этюдник таскать не надо. Положишь в папку несколько листов бумаги, пастель в карман, и готово. Чтобы она была яркая, нужно ее не жалеть, а энергичнее втирать, пусть некоторые мелки поломаются. Не рисуй, а пиши так, чтобы черная бумага не просвечивала. Когда пишешь маслом, то ведь щедро и сочно кладешь мазок

—Иначе нельзя, живописи не получится, — сказал Коваль.

—Так и при письме пастелью. Щедрость дает цвет!

—Может быть, ты ее как-то достаешь, но мне за всю жизнь еле-еле одну коробку привезли из ФРГ, как я могу ее не жалеть?

В самом деле, Сикейрос прославился тем, что из насоса накладывал краску, как из тюбика зубной пасты, красочные слои. Краска змеилась, закручивалась, расползалась. Ее было изобилие.

Отсюда богатство цвета. Силен тот, кто о материале и затратах не думает. Богатство голоса. Это не микрофонное пение наших эстрадников. Я склонен думать, что красота — это щедрость, основанная на ощущении, что богатства твои неисчерпаемы. Казалось, что у Шаляпина в запасе еще столько и еще полстолька, когда он брал высокую или низкую ноту.

— Кто-то заикнулся о «Лимонной», которая якобы скучает, — напомнил я.

Бутылка «Лимонной» оказалась в холодильнике вместе с банкой консервированных щупалец кальмара. Мы быстро зачитали смертный приговор этим врагам здоровья, привели его в исполнение и пошли хлебать супчик. Писатели уже пообедали, и мы сидели вдвоем среди колонн столовой. Коваль пошел на кухню, его обаяние сработало, как всегда, безотказно. Добродушная повариха Зина принесла столько пищи, что нам с Силисом хватило бы на неделю. < ... >

* * *

Набережная Ялты ограничена двумя гостиницами, и, если смотреть на море, справа «Ореанда» четырехэтажная и слева «Ялта» шестнадцатиэтажная. Обе по проекту архитектора Полянского. < ... >

Как-то вечером мы решили показать Ковалю гостиницу «Ялта».

_У меня нет «карты гостя», — сказал Коваль.

_В крайнем случае закажем пропуск < ... >

Мы по бокам с поднятыми карточками гостя, Коваль в середине, стали преодолевать швейцарский кордон. Главное, не поколебаться, не оглянуться! Опытный швейцар бросился было за Ковалем: «Ваша карта!», но тот и ухом не повел Швейцар был сбит с толку, подумал, что это непонимающий немец, и отстал. И правда, кто заподозрит в этом высоком,

осанистом, с тяжелым подбородком, в черном немецком вельветовом пальто да еще с висящей трубкой русского человека?

Вестибюль был украшен свисающими с потолка рыболовными сетями, на поверку они оказались металлическими. Перед рестораном был мраморный барельеф, изображающий греческих девушек в изящных позах скульптора Клыкова. <... >

Мы набрали закусок, что были в распоряжении экспресс-кафе. После нудного безнадежного стояния у лифтов мы все же пробились и на скоростном лифте через минуту оказались на 15-м этаже. У Силиса в его двойном номере (он платит за оба места, чтобы быть независимым, как польский профсоюз) нас ожидали бутылка «Посольской», рюмки, стаканы, пепси-кола и маленький кипятильник, которым мы в прошлый приезд чуть не сожгли гостиницу «Адалары» в Артеке: Силис забыл его включенным в стакане. Сидеть бы нам: гостиница-то цековская! Вовремя вспомнил, мы вернулись.

Мы удобно расселись по креслам, большая открытая веранда выходила на ночное море с огнями. Силис со своим непреложным правом виночерпия и тамады разлил по рюмкам «Посольскую» водку, пепси — по стаканам. Мы выпили, почувствовали прохождение ошельмованного напитка по пищеводам и стали беседовать.

—Я прочел «Имитатора» Сергея Есина, — сказал Коваль, закуривая трубку.

—Как тебе роман? — спросил Силис.

—Мне он понравился и даже очень. Я Есину об этом сказал, возвращая роман. Он действительно долго работал в системе художественного фонда, знает ее хорошо. Есин был рад моей положительной оценке, так как ценит мое мнение. Он очень четкий, конструктивный человек, ежедневно работает, не то что я. Не пьет, не гуляет, занимается спортом, бегает, купается в море, а потом пишет, не разгибая спины.

—Над чем он сейчас работает, не говорил? — спросил я. — Наверное, опять про художников, раз хорошо прошел этот роман?

—Нет, — ответил Коваль, — не про художников, он пишет про Ленина... У меня, наверное, тоже был такой же вид как у тебя, потому что он сказал: «Да, да, про Ленина! Не удивляйтесь, эта тема меня интересует».

—Давайте разберем этот феномен, — сказал Силис, — что-то за этим кроется. Это не просто так Где-то он кому-то обещал, может быть, за публикацию «Имитатора», иначе зачем ему беспокоить прах уважаемого Владимира Ильича.

—Может быть, это партийное задание как члену парткома (он у нас в руководстве парторганизацией), — сказал Коваль. < ... >

* * *

Мы стояли на автобусной станции города Ялты и ждали экспресса до Симферополя. Работа позади. Оба панно установлены, и дело обошлось без сильного побития камнями. <...>

Сейчас мы стоим и курим в ожидании своего экспресса. Я не курю, но нет рядом стоящего курящего, у которого не потянул бы одну затяжку, и так в течение лет двадцати. Все это знают. Саша с его взбитым коком на голове, кудрявыми усами и запятой под нижней губой напоминал Арамиса, громадного Сережу с юношеским пухом на румяных щеках, заканчивающимся светлой эспаньолкой на подбородке при черных волосах, можно бы назвать Портосом, Коваль сошел бы за Атоса двадцать лет спустя. А мне, вероятно, оставалась роль д’Артаньяна, но еще плюс десять лет спустя. Мушкетеры курили, а я рассуждал о вреде курения, уговаривая их бросить курить.

— Коваль! Ты бы себе сделал благое дело, если бы оставил эту трубку. Если бы взглянул на свои легкие, ты бы ужаснулся, это печные заслонки! Дай потянуть! Тьфу! Горечь, никотин! Лошадь убить можно!

Мушкетеры со мной соглашались, обещали бросить вредную привычку, а я делал затяжку то у одного, то у другого.

По перрону шел человек несколько нетвердой походкой. Ворот его ковбойки был расстегнут, пиджака не было, видимо, пропил или потерял. Лицо его, от природы непородистое, было сизо-фиолетового цвета. Так и есть, он направляется прямо к нам. Несколько вариантов исхода такого приближения: наиболее вероятное — просьба закурить.

Возможное — попытка попросить на пиво или пожаловаться, что его обокрали, а ему нужно ехать. Наименее вероятное — затеять с модной группой людей скандал или какие-нибудь другие агрессивные действия.

—Извините меня, — сказал он, подходя к нам, — извините.

Мушкетеры обнажили было шпаги, но всех обезоружил Коваль, сказав с бесконечным добродушием:

—Мы тебя, конечно, извиним, милый. Но ответь нам по совести, где ты напился в такую рань и чем?

Пьяный пустился в подробные объяснения, видимо, стараясь дать нам полезный совет.

—Вон в той аптеке есть тройной одеколон, что по 70 копеек флакон. Цветочный по 90 не берите, отрава. А этот пьется легко, особенно если разбавить пепси, но пепси не всегда бывает, тогда берите «Буратино», хуже, но пить можно. Хорошо с молоком, пьется мягко, но снижает грамм-градус. К одеколону я привык, и вкус, и запах отличные, только белеет от воды, это неприятно. Вот поэтому лучше пить с молоком. Но это у меня натура мягкая, другие не обращают внимания.

—Спасибо, милый, — сказал Коваль, — ты дал нам хороший совет. Закуришь?

Сизо-фиолетовый любезный человек закурил и сказал:

—Когда нет тройного одеколона, берите настойку валерианы и пузырька четыре борного спирта. Сливаете вместе, разводите один к одному водой. Отличный коктейль! Можно и клей БФ, но тут нужен знающий человек, довольно тонкую технологию нужно знать, прежде чем пить.

—Ладно, — сказал Коваль, — БФ мы подождем пить, пока не найдем знающего человека. Ну что ж, дорогой, вон подходит наш экспресс, давай прощаться.

—Разрешите пожать вам руки, — сказал алкоголик.

—Прощай, друг.

Новый знакомый с чувством пожал нам руки.

—Не забывайте нашего Южного берега, — сказал он, — Ялту помните! Нет лучше города на свете!

Мы заняли свои места... готовясь еще раз поглазеть на крымские зимние лозы виноградников, крутые повороты и снежные вершины старых крымских гор.

12 *апреля 1986 года*

Опубликовано в альманахе «Мосты», 1994, № I

Эльмира Блинова

Праздник общения с Юрой Ковалем

Набрала в поиске интернетного «Живого Журнала» «Юрий Коваль» и вышла на сообщество, где собрались люди, которые его любят. Читала и ревела, в который раз ощущая потерю. Потом решила написать о нем, снова и снова ругая себя за то, что была так расточительна — не записывала после встречи с ним каждый его потрясающий устный рассказ, каждое его словечко по тому или иному поводу, каждую его шутку.

В Юрия Коваля я была влюблена. После того как были прочитаны «Кепка с карасями», «Недопёсок», «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных монахов», «Самая легкая лодка в мире». Я была влюблена не только в волшебную прозу Коваля, но и во весь его огромный, разнообразный, фантастический, удивительно веселый и грустный мир.

Я делилась им азартно. С теми, кто уже читал его прозу, мы становились ближе, ведь у нас был общий объект восхищения.

Тем же, кто впервые о нем слышал, я настоятельно советовала почитать его и искренне завидовала предстоящим часам удовольствия, мысленно расписывая их по минутам.

Вот сейчас она (он) раскроет книгу, вот сейчас прочтет первую строчку: «Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос», и улыбнется. И улыбка не будет сходить с их лиц до самой последней страницы. И даже потом, вспоминая о прочитанном, будут улыбаться снова и снова.

И вот — Киев. Неделя детской книжки. Гостиница «Москва». Толпа писателей в комнате администрации в ожидании выдачи ключей от номеров. К одному из них и подвел меня Сережа Иванов.

Представил меня Юре и неожиданно добавил: «Кстати, в Киев прилетела только ради того, чтобы познакомиться с тобой». Хотя последняя реплика показалась мне не совсем точной, я не стала возражать.

Юра взглянул на меня с веселым любопытством и строго, я бы даже сказала, грозно произнес: «Ну держись!»

Удержаться было сложно.

Вечером, после записи на радио, после всех выступлений, мы большой писательской компанией собрались в номере Сережи Иванова.

Юра оказался блестящим рассказчиком. Удержаться от хохота не мог никто. Уже болели скулы, катились слезы, в изнеможении сползалось со стула и хотелось пощады, но Коваль не щадил. Слегка усмехаясь, он сыпал одну байку за другой, и конца им, казалось, не было.

Очень сложно передать на бумаге хоть один из его устных рассказов. Без его неподражаемой интонации, без его интригующих, специально затянувшихся пауз, без его хитроватого, медленно переходящего от одного слушателя к другому взгляда, в предчувствии очередного взрыва хохота, рассказ превратится в блюдо, хоть и изысканное, но без специй.

Потом появилась гитара. Юра запел. И это тоже было прекрасно.

... В день отъезда я прогуливалась по перрону вокзала и с отчаянием молитвы напевала песню, впервые услышанную в исполнении Коваля: «Не покидай меня, весна».

Было нестерпимо грустно. Кончился праздник. Невиданный и неслыханный ранее, яркий, веселый и прекрасный праздник общения с Юрой Ковалем.

В те печальные минуты я и не предполагала, что этих праздников будет еще очень много в моей жизни, что мы подружимся семьями и будем встречаться часто. Что даже тогда, когда Юры не станет, очутившись в какой-нибудь компании и разговорившись о литературе, я буду зажигаться и светиться при упоминании имени Коваля и рассказывать — делиться воспоминаниями, превращая обыкновенный, будничный вечер — в праздничный.

... Коваля любили решительно все — писатели и читатели, дети и взрослые, мужчины и женщины, люди простые и люди в шляпах Любили собаки, кошки, птицы, рыбы, бабочки, деревья, травы, звезды и облака.

Коваль любил всех и все. Он был неправдоподобно, потрясающе талантлив в любви ко всему на свете. И реализовывал этот дар в прозе, живописи, скульптуре, в музыке и, конечно же, в общении. Он любил и умел делиться. Его талант имел особое свойство — им заражалось все окружающее.

При этом он был удивительно, по-детски неуверен в себе. Однажды он позвонил в Казань и попросил меня приехать в Москву и обязательно захватить с собой Великого Бубу, так он называл моего десятилетнего сына. Дело оказалось в том, что в Союзе писателей, в секции детской литературы, намечалось мероприятие «Обсуждение творчества Юрия Коваля». Мероприятие ни для чего, просто так, чтобы функционеры от литературы поставили очередную галочку.

Но Юра волновался искренне: «Надо собрать побольше близких друзей, понимаешь? И мне очень нужна твоя с Бубой поддержка. Ведь обсудят, шельмы, как пить дать, обсудят. И вам придется меня как-то защищать».

Мой сын любил рисовать и ходил в художественную школу. При любой возможности я брала его с собой в Москву, в мастерскую Коваля. Именно у него Буба впервые написал натюрморт масляными красками, научился работать с эмалью. Обжигать изделия они ездили на кастрюльную фабрику. В общем, он стал Юриным учеником и другом.

Конечно же, мы приехали. Зал был переполнен близкими друзьями. Каждый выступил, находя свои, собственные слова восхищения и признательности автору потрясающей прозы. Юра слушал всех очень внимательно и очень серьезно.

После того, как «обсуждение» закончились, все направились в ресторан Центрального дома литераторов. По дороге Юра подходил к каждому, благодарил. Нам он сказал: «Друзья мои, если моя благодарность к другим пришедшим в этот день поддержать меня и имеет какие-то разумные границы, то благодарность моя вам не имеет границ. Ведь вы приехали издалека. А сейчас пришло время расслабиться, посидеть и выпить. Поскольку перепуган я не на шутку, скрывать не буду».

... Как-то раз, пообедав в ресторане ЦДЛ, я встретилась в фойе с Юрой, он тоже шел обедать. При встрече, как всегда, чмокнула его в щеку.

«Чеснока маринованного наелась?» — равнодушно поинтересовался Юра. Я охнула и инстинктивно прижала ладонь ко рту.

«Ничего, ничего... — снисходительно произнес Коваль, и добавил совсем уже ошеломляющее: — Тебе идет».

Юра был мудр. И его уроки запоминались на всю жизнь.

Однажды я вбежала в его мастерскую, чуть ли не в слезах Поссорилась с мужем и стала ябедничать Юре, что муж меня не ценит. Что я отпустила его учиться на курсы, взвалив на себя все — хозяйство, воспитание детей, материальное обеспечение... Что пашу как пчелка с утра до ночи... А он придирается к мелочам, вечно чем-то недоволен...

— Ляг на диван и лежи, — веско, но не совсем понятно сказал Юра.

— То есть? — растерялась я.

— А так. Не делай ничего. Лежи на диване и плюй в потолок.

—А как же дети? А чем кормить? На какие деньги одевать, обувать? На что за границу ездить?

—Тогда встань с дивана и работай. Я молчала, осмысливая.

—Друг мой сердечный, — продолжил Юра, смягчив интонацию, — тебе нужно определиться, в каком мире ты живешь. Если мир для тебя — базар, торгуйся до последнего, не щадя живота своего. Если твой мир — мастерская, а я склонен думать, что это именно так, то твори. Твори на радость себе и людям.

Юра, как бы в недоумении, пожал плечами и, театрально протянув руку вперед, повторил с некоей долей пафоса:
—Твори! Кто ж тебе мешает, ядрена вошь? Я рассмеялась.
Потом Юра начал расхваливать мне моего же мужа. Как он талантлив, как обаятелен и тонок Но и раним, конечно. И порой не без капризов, как всякая творческая душа.
Вечером он отправил нас, еще слегка дующихся друг на друга, в театр Советской Армии, договорившись с тещей — актрисой Савельевой — о контрамарках. После театра пригласил к себе.
Оставив меня в зале с Наташей, своей женой, увел моего мужа на кухню. Оттуда слышалось: «... и порой не без капризов, как всякая творческая душа...»
Я догадалась, что речь на этот раз идет обо мне.

Позвонила я как-то Юре в Москву, просто так, узнать, как дела.
—Плохо, — сказал Коваль. — Не знаю, как там у вас, на Волге, но в Москве стоит убийственная жара. Заниматься ничем невозможно.
Я пригласила его к нам, пожить на даче, все-таки там попрохладнее.
—Я бы, пожалуй, поехал, — ответил Юра, — но лень мне с места сдвинуться. Жара овладела мной, как хандра.
И рассказал про то, что под Москвой, в деревне Плутково, продается приличный дом, вот туда бы у него хватило сил добраться, несмотря ни на жару, ни на хандру.
Дом стоил недорого, всего 2000 рублей, но у Коваля таких денег не было. Правда, скоро он должен получить гонорар, и довольно крупный, но когда еще это будет. В этот же вечер я села на поезд, повезла Юре деньги на покупку дома в Плутково.
Прошел год. Домом Юра был очень доволен. Постоянно звал погостить и даже обижался, что мне всегда не хватало времени на отдых.
И вот мы — я и сын — все-таки собрались. Вернее, Юра с утра уехал с Бубой и с Наташей, а я должна была подъехать вечером. Коваль подробно все объяснил, какая электричка, какой автобус.
Но я приехала на «жигулях». Подвез меня некий Костик Совершенно незнакомый человек А дело было так. У меня, как у члена Союза писателей СССР, имелась такая привилегия: я могла покупать дефицитные книги в книжной лавке писателя. Такие книги на черном рынке продавались в десять, двадцать раз дороже номинала.
Подвозил меня в этот вечер к книжной лавке тот самый Костик, который подрабатывал частным извозом. По дороге разговорились о книжках. Костик поведал мне с возмущением о том, какие деньги у него уходят на покупку хороших книг. И я предложила ему такой вариант: я завожу его в лавку, он покупает там кипу книг по госцене и за это отвозит меня в Плутково.
Костик был счастлив и довез меня, что называется, с ветерком, хотя путь был неблизкий, километров семьдесят от Москвы.
Дом Коваля нашли легко. Посигналили. Юра вышел встречать. Подозрительно взглянул на Костю. Спросил шепотом:
—Кто таков?
—Костя.
—Много заплатила? *Я* покачала головой.
—Такая любовь?
—Опять не попал
—Бедный Костик Бедный Костик, — почему-то стал сокрушаться Коваль.
И потом, когда я объяснила, что Косте, в сущности, крупно повезло, Юра продолжал сокрушаться, вероятно по инерции.

...В Плутково было замечательно. Коваль писал тогда своего «Суера-Выера». Напишет главу, а потом читает нам, проверяя, как мы реагируем. Мы, разумеется, хохотали от души.
И еще мы купались, собирали грибы, удили рыбу. Казалось, что каждую травинку, каждую козявку Юра знает по имени-отчеству. Что уж там говорить про деревья, птиц и рыб.

Вечерами он рисовал нам на листочке расположение звезд в созвездиях. Проверял, насколько хорошо мы запомнили их названия. Затем выходили на крылечко и, вглядываясь ввысь, находили уже знакомые созвездия в небе, радуясь, как первооткрыватели. Юра радовался вместе с нами, и было непонятно, за кого больше. За нас, которых он познакомил со звездами, или за звезды, которых он представил друзьям.

—Пора, мой друг, заняться тебе делом, — сказал как-то Юра Бубе, после того как они вернулись с рыбалки. — Этот язь просто требует, чтобы память о нем была увековечена. Увековечивать придется тебе.

И Юра принес ножи для резьбы, деревянную доску, водрузил рыбину на стуле в профиль и объяснил Бубе технику вырезания барельефа.

Мы с Наташей готовили обед. Юра писал. Буба увековечивал. Тихо тикали часы с кукушкой.

Вдруг Буба произносит:

—Дядя Юр, я, когда вырасту большой, отращу себе бороду, как папа.

Юра поднял голову, рассеянно кивнул, как бы одобряя, и вновь погрузился в свою прозу.

Прошло несколько часов. Мы пообедали и собирались на прогулку в лес.

—Вынеси помойку, Борода! — вспомнил Юра перед выходом из дома.

Всем был хорош дом в Плуткове — просторен, уютен. Правда, удобства находились в огороде.

Или орошаешь землю под кустом смородины, или идешь с лопатой удобрять землю под яблонькой.

Но вот Юра наконец-то закончил строительство будочки и даже вырезал окошечко в виде сердечка на самом верху дверцы. Уборная получилась — загляденье! Светла, чиста, и пахло от нее свежим деревом. На дверях ее зачем-то висел объемный замок, а ключи от него Юра хранил при себе.

Первой приспичило Наташе, и она без затей попросила у мужа ключ от свежеиспеченного строения.

_Не дам, — скорбно поджав губы, произнес Юра и устремил свой взгляд в сторону леса.

—Почему? — не поняла Наташа.

—Загадите.

За несколько часов до отлета в Израиль мы всей семьей сидели на кухне Ковалей. Прощались. Конечно же, было очень грустно.

— Дядя Юр, времена-то другие, не то, что раньше. Нас даже гражданства советского не лишают. Будем летать друг к другу. Будем встречаться. Чуть больше трех часов лету! — пытаясь как-то оживить обстановку, успокаивал всех нас Буба.

Юра молча покачивал головой из стороны в сторону.

... Телефонные разговоры с Россией стоили тогда очень дорого. Я писала письма. Получила и от Юры несколько коротких записок.

Прошли три долгих года.

Наконец-то у меня появилась возможность слетать в Москву.

Я позвонила Ковалям прямо из Шереметьева и узнала от его тещи, что Юра месяц назад скончался от инфаркта.

На сороковой день я прилетела в Москву. Все родные и Друзья Юры собрались у него в мастерской. Начались воспоминания. А про Юру невозможно вспоминать, не улыбаясь.

Каждый имел свою, особо смешную историю, связанную с Юрой. Они сыпались как из рога изобилия. В общем хохоте слышались сдержанные усмешки Коваля. А мысль, что его нет, становилась абсурдной, невозможной.

И тоска, захватившая мое сердце в тиски, отступила.

Апрель 2007 года

Сергей Иванов

Наш старший товарищ

О мертвых или хорошо, или никак.

Это один из тех случаев, когда с чистой совестью о человеке можно писать только хорошее.

Эти заметки будут напечатаны, естественно, позже, а пишу я их десятого августа, когда прошло девять дней со дня кончины Юрия Коваля.

Много лет он был моим близким товарищем. Он много сделал для меня, для моей литературной работы и моей скромной литературной удачи. Он многое сделал, чтобы я был счастлив в те минуты моей жизни, когда я был действительно счастлив. Так могут сказать многие. Сам не замечая того, Юрий Коваль был очень щедр к многочисленным друзьям, вообще к людям. И мы старались отвечать ему тем же.

Наверное, необходимо сказать необходимые слова. Они состоят в том, что Коваль был одним из лучших современных писателей. Вообще, одним из лучших прозаиков, которые когда-либо писали для детей. А быть может, просто лучшим.

Его много переводили. Трудно найти какой-нибудь язык в нашей бывшей великой стране, на котором бы не звучали рассказ, или миниатюра, или повесть Коваля. Можно сказать, что он был подлинно народным советским писателем. Хотя вовсе не стремился дружить с властями — как с прошлыми, так, кстати, и с нынешними. Он заслуживал Государственной премии — и до, и после восемьдесят пятого года. Но не получил ее!

Наверное, в этом году творчество Юрия Коваля будет оценено высшей наградой, какую только могут заслужить произведения детского писателя, — Золотой Андерсеновской медалью. Хотя чем дольше путешествуешь по жизни из пункта «А» в пункт «Б», тем яснее понимаешь, что премии не слишком-то важны.

Он начинал как поэт. И собственно, оставался поэтом всю жизнь, хотя в основном писал прозу — разную: то задумчивую и серьезную, то очень веселую. И всегда необыкновенную по языку. Что это значило ? Может быть, дело в том, что Коваль видел и знал не просто жизнь, но проникал куда-то вглубь, в иное измерение — четвертое или какое-нибудь там восемнадцатое. Он видел парадоксальность жизни и находил для этого парадоксальные слова, парадоксальный синтаксис. Но эти странные, «чудные» речевые средства не воспринимались как оригинальные. Все получалось у него абсолютно естественно. Только очень хорошо.

Мне выпала удача быть редактором одного из самых мощных, на мой взгляд, рассказов — «Гроза над картофельным полем». Я поправил в этом более чем двадцатистраничном рассказе несколько слов — уже не помню каких и не помню почему. Это было почти четверть века назад, и молодость наша кипела амбициями.

Я уже тогда понимал, кто такой Коваль, и с робостью показал ему свою крохотную правку. Он сидел над текстом часа три — над этими моими несколькими словами — и для каждого из них нашел синоним, сделал не так, как было вначале, и не так, как стало у меня. На том и кончилась моя редакторская деятельность относительно текстов Юры.

Казалось, по-человечески он был очень ясен. Любил шутить, рассказывать — любил, чтоб его слушали. Вместе с тем он был по-детски непредсказуем и наивен. Однажды в какой-то поездке по Украине нас завели в просторный, исключительно светлый и тому подобное обкомовский кабинет. Коваль выглянул в окно и спросил, указывая на могучую гранитную фигуру:

—Что там за хер стоит?

Шел примерно восьмидесятый год, и обкомовцы буквально брызнули в разные стороны — подальше от «охальника».

После, уже в гостинице, у нас в номере я спросил:

—Юр, ты чего, правда не знал, что перед обкомом должен стоять Ленин?

Он несколько по-рачьи, чисто по-ковальски, выпучил глаза, рассмеялся и сказал:

— А откуда я мог знать?! Действительно...

Он старался не обижать людей. Но при этом был весьма и весьма разборчив. Однажды я стал корить его за знакомство с неким недостойным педагогическим деятелем. Он пожал плечами, улыбнулся:

— Что поделаешь, Серж? Подсунули!

Он был сложный и мудрый человек. Как теперь кажется, многое он знал наперед. Говорил: « Не умру, пока не допишу роман „Суер-Выер"». Роман был закончен Ковалем за несколько недель до смерти.

Писатель Александр Дорофеев, один из самых любимых Ковалем людей, рассказывал, что недели за три до смерти Юра сидел у Дорофеева, выпивал и рассказывал о своем переводе японской сказки про Белую Кошку, которая прожила тысячу жизней. Не докончив рассказа, Коваль заплакал... На похоронах за траурной процессией шла белая кошка. Потом сидела в стороне и смотрела, как опускают гроб, как засыпают могилу... Что это?

Юрий Коваль... Главное, конечно, что он был писатель. Большего я не скажу и ничего нового не скажу. И, боюсь, никто не скажет. Всё в его книгах.

Проститься с ним собралось много народу, И когда началось отпевание, я подумал, что все мы, собравшиеся, умрем в недалеком, по-видимому, будущем. А умерший Коваль будет жить долго.

Опубликовано в газете «Книжное обозрение», 1995,22 августа, №34

Эдуард Успенский

О Юрии Ковале

Писать о Юре Ковале мне трудно. Во-первых, он был очень живой человек, постоянно находившийся в движении — как тела, так и мысли. Во-вторых, мы с ним не были друзьями, мы были приятелями. Поэтому я практически ничего не знал о его семейной и дружеской жизни.

Тем не менее, большое количество времени мы проводили вместе, связанные писательскими делами и путешествиями.

Я влюбился в Коваля после повести «Приключения Васи Куролесова» и всем встречным говорил, что никогда не встречал такого рода юмор, как у него.

—Сами посудите, — говорил я. — «На скамье сидел человек с неспелого цвета лицом». Или: «Ну и фамилия у капитана, — подумал Вася, — Болдырев. Как будто самовар в речку упал»,

И мы стали внимательно посматривать друг на друга, потому что ему тоже нравились мои книги.

Помню, у меня и у Юры одновременно вышли в свет книги. У меня «Гарантийные человечки». У Юры «Недо-пёсок». Обе книги я привез в село Троицкое под Переславлем-Залесским, где в то время жила моя семья.

Я дал обе книжки своей семилетней дочери Татьяне читать. Через некоторое время спрашиваю:

—Какая книга больше понравилась?

—А как? По-смешному или по-интересному?

—По-смешному.

—«Недопёсок».

—А по-интересному?

—Тоже «Недопёсок».

Меня утешило только то, что, когда я через несколько лет спрашивал у нее содержание обеих книг, она лучше запомнила «Гарантийных».

Примерно в это время я напечатал в газете «Известия» статью « Шкурка с друга», после чего попал в опалу у могущественной для детской литературы Тамары Куценко — бывшей вождихи ЦК комсомола. В то время она была заместителем председателя комитета по печати Николая Свиридова. Статья осуждала ее идею о «настоящих» писателях, и бедной Куценке сильно влетело. Потому что в то время сильно считались с газетными заметками.

И меня, в смысле печатания книг, закрыли наглухо. Точно также закрыли Юру.

В основном печатались книги Анатолия Алексина, Сергея Михалкова, Агнии Барто, книги о детстве Ленина, о дедушке Калинине и прочих.

Как человек, не терпящий непорядка, я уговорил Юрия и Григория Остера (он тоже был зачеркнут) написать письма в ЦК КПСС о том, что нас совсем не печатают. Что за последние пятнадцать лет не появилось ни одного нового имени. Что печатают в основном Алексина, а «им одним не исчерпывается вся советская детская литература».

Из ЦК пришла команда разобраться. И назначена была встреча работников издательства «Детская литература» с людьми из Комитета по печати. С одной стороны министр Свиридов, его заместительница Куценко и компания (какая-то Алексеева, какой-то Сергованцев). С другой — директор «Детской литературы» Галина Кузьминична Пешеходова, главный редактор Александр Виноградов и, разумеется, мы с Ковалем.

Намечалось персональное дело, мощный разнос с оргвыводами. Меня обвиняли в создании двухпартийной системы в «Гарантийных человечках» — 127 х 220, а Юрия в том, что недопёсок сбежал из концлагеря.

На наше счастье и на счастье «Детской литературы», об этом заседании узнала Агния Львовна Барто. Она любила и ценила Коваля и попросила Сергея Михалкова заступиться за него. И он тоже пришел на разборку.

Перед началом мы с Юрой договорились, что я возьму на себя роль истерика — затравленного творца, а Юра — роль успокаивателя-примирителя.

Я буду кричать, что чиновники — негодяи, бездари, затравливают и уничтожают талантливых творцов, а Юра будет говорить:

— Эдик, перестань. Это серьезные люди, так нельзя. Но в конце-то концов Успенский прав — нас и верно затравили, загнали в угол.

Эта сцена замечательно описана в интервью, данном Юрой Ирине Скуридиной. Я привожу здесь замечательный отрывок:

«—Да... *Всё. Этого автора просто нет. Решили сделать так, что автора нет. Нету!*
—Это было как-то аргументировано'?
—Леле Либет было сказано — вычеркиваем из плана. Всё.
—Просто взяли: ник и закрыли автора как явление природы.
—Да. Ник и закрыли. Вычеркнули из плана издательства. К сожалению, это делал Николай Васильевич Свиридов. Он был тогда председатель Госкомитета по печати при Совете министров РСФСР. А детскую литературу курировала Тамара... Алексеевна, по-моему, Куценко. И именно она это сделала. То есть позвонила и приказала: Коваля из плана... — что у него там, „Пять похищенных монахов" стоит?— вычеркнуть. И не только Коваля, но еще Успенского. У него стояли „Гарантийные человечки".

—А почему Успенского-то?
—За „Гарантийных человечков". У него там было написано потому что: „Долой порох, да здравствует творог!"
—Неужели из-за этого?
—Да. „Долой порох, да здравствует творог!" — написал Эдик.
—А страна в это время усиленно вооружалась...
—Ну не знаю, что тут делалось. Видимо, да. Меня же — за старое, за „Недопёска". То есть меня решили ликвидировать как класс и Успенского тоже заодно, просто ликвидировать. Никаких новых книг. Всё. Выпустили. Просмотрели! Просмотрелись, ваше сиятельство. Ошибка-с. Исправим, итит твою мать. И вычеркнули...»

А примерно в 2004 году вместе с журналисткой Ольгой Ковалевской, собиравшей сведения об истории травли Олега Григорьева, мы зашли к Галине Кузьминичне Пеше-ходовой. Она, вспомнив об этой истории, радостно поражалась:

—Успенский такое там кричал: «Кретины, да кто вам дал право судить писателей! Тупоголовые идиоты, на помойку! »

Она закончила так:

—Я не понимаю почему, но они всё это съели! Но вернемся к совещанию.

Сам Свиридов не пришел. Я решил его позвать. Когда я влетел к нему в кабинет, чтобы позвать, он стал со злобой кричать на меня, а я с не меньшей злобой на него.

Разговор у Куценко шел не меньше двух часов. Очень сильно помог нам (точнее — Юре) Михалков. Мне казалось, что мы победили, разбили чиновников в пух и прах. Но когда мы вышли из кабинета, более мудрый Юра сказал:

—Я думаю, мы и до ничьей не дотянули.

Он оказался прав. Чиновники как не любили нас, так и остались еще более разозленными. Дела в гору не пошли.

Был такой эпизод Тамара Куценко стала бегать в лагерь Михалкова с доносами или отчетами. Она понимала, что ситуация в детской литературе может перемениться и всем будет управлять Союз писателей (то есть Михалков), а не Комитет по печати (то есть Свиридов).

Мы узнали о ее перебежничестве, но впрямую сообщить ее начальству не могли. Нас просил об этом секретарь Михалкова — Лев Лукьянов.

Тогда мы с Юрой решили показать это другим способом. На открытии Недели детской книги в Колонном зале мы торжественно подошли к Куценко и вручили ей большой букет роз, чтобы все поняли, что она переметнулась к писателям. Растерявшись, она спросила:

—Эдик, Юра, это искренне? И мы радостно ответили:

—Конечно, нет.

Когда Юра создавал «Самую легкую лодку в мире», он обратился ко мне с просьбой отвезти его с этой лодкой, с Сашей Дорофеевым и с фотографом Усковым к Кирилло-Белозерскому монастырю, куда-то под Кострому.

Я возил Юрия дважды. Это были интереснейшие живые поездки с гитарой, костром и очень живой, чудесной беседой.

Если первый раз мы мчались из Москвы до самого места — бревенчатого дома со всякими приспособлениями для житья, то во второй раз мы заехали по дороге в село Троицкое под Переславлем-Залесским. И решили в нем переночевать.

Там летом проживал художник Виктор Чижиков с семьей и художник Николай Устинов — иллюстратор Коваля. Мы переночевали у Коли.

Утром, когда мы стали выезжать, Коваль вдруг решил забрать Устинова с собой:

—Чего ты здесь торчишь? Там такие красоты, поехали с нами. Обратно тебя Эдик привезет.

Не успел Коля прийти в себя, как его затащили в машину, и он оказался в путешествии, гол как сокол, даже без зубной щетки и непременного этюдника.

Места, в которые я отвозил Юру, действительно были сказочные. И их сказочность отражена в его блистательных рассказах Что ни слово, то золото. Ну почему дядя Зуй (« Чистый Дор») ? Нет такого имени в русском языке! А вот есть, и всё.

На какое-то время у нас с Ковалем испортились отношения. Мне кажется, виноват был он. Он, наверное, думал по-другому. Но я сказал ему:

—Я с тобой два года не буду разговаривать.

И два года я отворачивался от него. Через год он подошел ко мне и сказал удивительные слова:

—Ты, наверное, хочешь, чтобы я умер.

В этот момент все отношения восстановились.

Где-то в начале перестройки Юра позвонил мне и сказал, что есть необходимость поездить и обсудить проблемы.

Мы долго катались по Москве и разговаривали. Он сказал, что хочет написать письмо Михалкову о том, что он — хороший писатель.

—Зачем?

—Ты их ругаешь на всех перекрестках А они делают полезные дела.

Я сказал:

—Юра, не сходи с ума. Мы с тобой вдвоем тянем на одного Михалкова и можем ему противостоять, и можем многое делать. А если ты считаешь его хорошим писателем, а я плохим, всё, конец: нет ни тебя, ни меня. Остается один царь и бог и властитель, и нет на него управы. Послушай, ты же выше его в сто раз. Зачем тебе портить биографию михалковщиной.

Он объяснил, что у него были какие-то неприятности с правами, а Алексин ему помог. Я сказал:

—Юра, Алексин — секретарь Союза писателей много лет. У него машина, кабинет, большая зарплата и в год выходит шестнадцать книг. Он просто обязан заботиться о писателях. А ты за одну маленькую помощь готов его целовать.

Юра сказал:

—Знаешь, Эдик, я между вами как между молотом и наковальней. Хорошо, я письмо писать не буду. Но я и не буду участвовать в твоих соцбитвах.

Я спросил:

—Юра, а если меня сильно прижмут, ну совсем возьмут за горло, ты тогда включишься?

Он ответил:

—Тогда включусь.

Потом он сказал неожиданные слова:

—Ты знаешь, Алексин сказал, что если ты не перестанешь его доставать, он покончит жизнь самоубийством.

На что я тоже неожиданно ответил:

—Да хрен с ним. Когда я вижу в библиотеках километры книг Алексина, я понимаю, какой вред детям он приносит своей литературой. Так пусть кончает.

Дело в том, что у Алексина была мания преследования, что находило место в его книгах. (В настоящее время этот партийный чиновник, обласканный всеми властями, проживает в Израиле и рассказывает о гонениях, которым он подвергался в Союзе.)

Я подвожу итог. Нам с Юрой находиться вместе было тесно и конфликтно. Находиться порознь — скучно и неинтересно. Порой я был влюблен в него, порой я на него злился. Я думаю, у него было такое же отношение ко мне.

Был бы Юра сейчас жив, мы бы договорились.

Октябрь 2007 года

Николай Устинов

Задушевный товарищ

Высокий красивый парень, Юра Коваль был разносторонне одаренным, артистичным человеком. Я познакомился с Ковалем поющим, с гитарой в руках, на встрече нового, 1968 года в «Мурзилке». Правда, перед тем видел его озорную, с рисунками Юрия Молоканова книжку со сразу запоминающими стихами: «Не пью я вина, не курю я табак, Зато я имею пятнадцать собак». А тут он пел песню своего сочинения:

Ой, угнали нас, угнали, нас угнали далеко,
Где советские снаряды роют землю глубоко.
Роют землю да песок, дорывают до досок.
Стал я доски отрывать и нашел родную мать.
Вставай, мать, вставай, мать, будем горе горевать!
Будем горе горевать, сына в армию провожать.
Из тюремного окошечка вылазит атаман,
Финский ножик на припасе и заряженный наган,
Ой, наган семизарядный, в речку брошу я тебя!
Ты зачем осечки делал, когда резали меня ?
Меня резали резаки, я на столике лежал,
Мой товарищ Женька Монин мою голову держал.
Задушевного товарища не стало у меня!
Как несчастная девчоночка, остался мальчик я!

Интересно, что у «задушевного товарища» имена могли быть и другие, по мере надобности, например: «Мой дружок Устинов Колька мою голову держал». Как он вдохновенно это исполнял! Левая рука так и скакала по грифу, локоть правой дубасил по корпусу, карие глаза выскакивали из орбит! Первую строчку каждого двустишья он поет дважды: сначала в одной тональности, потом ее же в более высокой, срываясь на крик, а потом бархатным голосом докладывает вторую строчку: «Ты зачем осечки делал, когда резали меня?»

Пускай нет логики и всякой там фабулы-морали, но социальная атмосфера сляпана потрясающе. Я запомнил ее с голоса Коваля и позволил себе привести ее целиком, потому что ни в одной книжке Коваля или про Коваля ее нет. И еще она мне послужила как бы воротами в Коваля. Это был застольный Коваль — талантливый, блистательный, шумный.

Прошло совсем немного времени, и для меня появился другой Коваль, Коваль «Васи Куролесова» и «Чистого Дора». Он был по-прежнему смешной, но гораздо глубже, лиричнее, серьезнее, это не пятнадцать собак иметь. Как у него восхитительно пахнет железнодорожное полотно, как задвигался и заиграл красками и звуками базар, а деревенские ребятишки какие. Про Коваля-писателя говорили и еще скажут лучше и компетентнее меня. Могу только выразить свой читательский восторг и сказать, что этот автор очень хорош для иллюстрирования.

Вероятно потому, что Юра постоянно варился в среде художников и сам был художником очень талантливым, чрезвычайно сильна изобразительная сторона его рассказов.

Впрочем, и звучащая, музыкальная сторона тоже в большом порядке. Его иллюстрировали прекрасные художники — Калиновский, Чижиков, Багин, Макавеева, Лосин. Я нарисовал несколько его книжек, но, к сожалению, нет среди них такой, какую Юра заслуживал. Ну, книжка-картинка «Весеннее небо» малость получше. Большой сборник «Кепка с карасями», по издательским условиям тоновой, черно-белый, получился тухлым: Коваля нужно рисовать крупно, цветно! Юра мне сказал: «Давай с тобой сделаем книжку-картинку о

природе, только я ее нарисую, а ты напишешь!» Чудак Юрка! Это для него владение словом естественно, как дыхание, он и думал, что для других тоже...

Раза три Юра побывал в моем доме под Переславлем-Залесским, по дороге в свое северное село под Вологдой. Юра был не один — фотограф Витя Усков и еще люди.

Первые два раза их вез туда на своей машине Эдуард Успенский, мой сосед по деревне. Они заночевали.

В журнальном, мурзильском варианте повести « Самая легкая лодка в мире» Юра этот визит описал, называя настоящие имена, — как они глубокой холодной ночью постучались в мое освещенное окошко, как я поднял от рисунка глаза и улыбнулся — но не им, а своему отражению, как потом различил в темноте их и возликовал, и как Юра грелся в моих валенках...

Второй раз, года два спустя, в апреле, заехали опять, опять «на Эдике», Юра, Витя Усков, писатель Саша Дорофеев, опять проездом в Вологду. В этот раз взяли с собой меня. У аустовского я прочитал хорошее выражение — «пиитиеская вотчина». Вот в такой пиитической вотчине Юры мне пришлось побывать — это село Оденьево на Цыпиной горе, километров сто за Вологдой.

Конец апреля, лежал снег, грязища необыкновенная. Машину пришлось запереть и бросить на шоссе. Выгрузили все манатки и тащили на себе — четыре километра. Село потрясающей красоты, но мертвое, зимой ни одного человека. Другие села вокруг Цыпиной горы тоже мертвые, с пустыми глазницами окон. Крутом пологие склоны холмов, зеленые, на них языками заходят ошметки снега, языками же заходят участки леса. В мае-июне, как сказал Юра, все это в белых облаках черемухи, соловьями так и гремит. Какие, должно быть, водили хороводы на этих холмах, когда были многонаселенные села, а сейчас — да что говорить...

С Цыпиной горы видно около десятка монастырей, да каких — Ферапонтов! Кирилло-Белозерский! В чашах между холмами — озера с дивной, совершенно чистой водой. Кое-где обнажается дно ото льда, и там видны камушки, которые когда-то Дионисий растирал и смешивал с яйцом, изготовляя красители для своих фресок. Вот среди этой красоты Юра сидит и пишет, и думает. Наверное, в такой обстановке могут прийти в голову совершенно замечательные литературные мысли.

Дошли наконец до Юриного небольшого дома Перед ним— некое строение, не больше деревенского свадебного сундука. Юра сказал, что это их баня (он вообще был знаток и энтузиаст бани). Поместиться там невозможно, но ведь мылись же в деревнях даже в русских печках, там-то места еще меньше.

Вошли в дом. Щели там были такие, что сквозь них виден пейзаж, а в сарайчике — та самая «самая легкая лодка в мире». На верху Цыпиной горы имелись руины триангуляционной вышки — бревна давно распались, сгнили и ни на что ни годились. Их скатили вниз, направляя пинками. На дрова... Мы топили печь, сидели за столом, потихоньку выпивали при коптилке (электричество вообще-то есть, но нужно куда-то далеко идти, просить, чтобы его включили). Холодрыга жуткая, хмель не брал. Юра вынул откуда-то гитару и вывалил на слушателей свой громадный репертуар — от «Ой, нас угнали, нас угнали» и других собственных песен перешел к проникновенному исполнению старинных русских романсов, например дельвиговского «Когда, душа, рванулась ты»; потом были негритянские спиричуэле из репертуара Армстронга, потом шансоны Жоржа Брассанса в переводе Юриного друга — художника Владимира Лемпорта. В общем, это был праздник

Фотограф Витя Усков, очевидно, имел опыт борьбы с холодом в этом доме и затопил печь. Со страшной силой он ее затопил и сразу закрыл, что ни в какие ворота не лезло, потому что если закроешь непрогоревшую печь, сразу же пойдет угарный газ СО и все задохнутся. Но, по-видимому, тяжелый угарный газ выходил сквозь щели в пейзаж, а огромная масса печи сохраняла тепло, и когда ночевали, то Витя Усков лежал на полатях в одних трусах, блаженствовал. Чудные воспоминания...

Еще я Юре Ковалю страшно благодарен за то, что он привел меня в семью Бориса Шергина. Тогда в «Детгизе» дали мне рисовать книжку этого замечательного писателя. Самого Бориса Викторовича не было уже в живых, но его племянник Михаил Андреевич Барыкин показал нам фотографии и др. Юра-то знал Шергина хорошо, дружил с ним

несмотря на значительную разницу в возрасте. Я прочел тогда произведения писателя, и передо мной открылся целый мир, целая особая поморская цивилизация, сейчас, увы, исчезнувшая. А Коваль рассказал еще, что от самого Шергина слышал, спасибо ему.

А последняя встреча с Юрой была по телефону, наверное, за месяц до его кончины. Он был нездоров, лежал в постели, в трубке ответил детский голос. Я спросил, не Алексей ли это Юрьевич. Четырехлетний Алексей Юрьевич реагировал совершенно адекватно: «Да». Отдал трубку папе. Мне нужно было Юрино согласие на то, чтобы рисунок к сказке про волка Евстифейку вынести на обложку нового издания «Полынных сказок», что затеяло издательство «Аргус». Вопрос быстро разрешился; начались обычные «как живешь» и «хорошо бы увидеться», и, конечно, в голову не пришло, что увидеться не придется. Через месяц в деревню поздним вечером приехал на машине мой зять, чтобы отвезти Виктора Чижикова и меня в Москву. На похороны...

Октябрь 2007 года

Марина Бородицкая

Юриосич

В детстве я его не читала. Как-то не успела, или не вышел еще тогда несравненный «Недопёсок»... Я познакомилась с «Юриосичем», когда у самой уже были дети. Сначала с человеком познакомилась, с писателем — позже.

Яков Лазаревич Аким привел однажды в нашу студию «детско-юношеских писателей» своего друга Юрия Коваля. Мы занимались на улице Писемского (в Борисоглебском то есть переулке), недалеко от ЦДЛ, и они, наверное, уговорились идти потом в писательский ресторан — втроем, с Сергеем Ивановым (он ту же студию вел: Аким больше поэтами занимался, а Сергей Анатольевич — прозаиками). И вот он вошел, Коваль, протиснулся в нашу узкую комнатку — в свитере, крупный такой, мягкий, но сильный. Красивый, но на писателя не похож. Мне почему-то показалось, что он за дверью оставил рюкзак, а может, ружье или удочки.

А Яков Лазаревич уже нас гостю представляет и хочет, видимо, устроить что-то вроде смотра.

— Вот Марина, — это он про меня, — сейчас нам что-нибудь п-почитает.

А у меня, как назло, ничего нет нового! Не буду же я ради этого прекрасного незнакомца старье читать, которое вся честная компания уже слышала.

— Я, — говорю, — сейчас тут одну небольшую поэму перевожу с английского... уже практически вчерне закончила.

Только она не совсем детская. То есть совсем не детская, а такая, скорее эротическая... семнадцатого, в общем, века.

Тут Яков Лазаревич смутился немножко, а собратья мои студийцы, напротив, оживились, и Коваль говорит:

— Читайте, читайте, мы же все тут взрослые люди, это даже хорошо, что у вас такие разносторонние интересы.

И я прочла по тетрадке «Блаженство» Томаса Кэрью. Милейший Андрей Николаевич Горбунов, заказывая мне для издательства МГУ эту рискованную по тем временам поэмку, все повторял:

— Только умоляю, Мариночка, побольше небесного блаженства, а то ведь выкинут вещь из состава!

Я эту вещь, кстати сказать, недавно перечитывала. Она и правда неплохо получилась. Сейчас бы, наверное, сделала с большим мастерством, но куражу того, прежнего, нет и в помине. И таких благодарных слушателей, как в тот вечер, у меня уже никогда не будет...

Память вечно всё перетряхивает и утрамбовывает, и за точность дат я не ручаюсь. Но вот у меня в руках чудом уцелевший средь бурь перестройки и журнального изобилия гласности сентябрьский номер «Пионера» за 1983 год. Слева, на шестнадцатой странице, три моих стихотворения в жанре «школьной лирики» со среднестатистическими рисуночками. Справа, на семнадцатой — волшебство. Прямоугольная картинка: плотный серый фон, желтый, светящийся в воздухе фонарик — или это поплавок небесный? — под ним растопыренная пальмовая крона безо всякого ствола, снизу лес (наш, обычный, зубчиками), река гладкая с перевернутым лесом и желтой светящейся скобочкой лодки, а в ней человечек с удочкой, в черном свитере. И надпись чуть скошенными, «бамбуковыми» буквами: «Самая легкая лодка в мире». И ниже: «рисунки автора».

В нашей тогдашней коммуналке мы с Гришей Кружковым вырываем друг у друга журнал и шепотом, чтоб не разбудить младшего, восклицаем: «Гениально! Ге-ни-аль-но!» Повесть печатается в четырех номерах, и каждый раз, глядя на уже знакомый поплавок-фонарик и нездешние буквы заголовка, мы дружно переводим дух. Но как это пропустили? Как — прорвалось?

И вот уже весна восемьдесят пятого. Только что состоялся очередной «вынос тела», и страна с мрачноватым азартом напевает: «Кто на новенького?». Сейчас Гриша достанет из ящика свежую газету с мужским портретом - и, вглядевшись в подпись, потрясенно выдохнет: «Папашка-горбач!»...

В следующий раз мы встретились с Юриосичем в ресторане ЦДЛ. Там мне назначил свидание, вполне деловое, Сергей Иванов. Мы сели за столик, и тут подошел Коваль.

—Юра! — обрадовался ему Сергей Анатольевич. — А у нас вот Марина в Союз вступает, в детскую секцию, ей рекомендации нужны. Мы с Акимом уже дали, третьим будешь?

—Буду, — твердо сказал Коваль и уселся на свободный стул,

—Но вы же моих стихов совсем не знаете, вот если только в «Пионере» ... — замирая от ужаса и восторга, промямлила я.

—А мы сейчас закажем раков, и пока они будут вариться, вы мне всё и прочтете.

Под ресторанный гул, под звяканье ножей и вилокя читаю ему стихи. Им обоим. Понимаю, что можно нести любую чушь, рекомендацию все равно напишут, но мне страшно хочется, чтобы ему понравилось. Читаю «взрослое»: про свою Бахрушинку, про детство, про любовь... Стихи образуют вокруг нас троих подобие защитного пузыря, и шум не мешает.

—По-моему, надо брать, — решительно заявляет Юрио-сич. — Чего тут думать? Я, Сереж, так и напишу: «Надо брать. Коваль».

—Т-так, Юрочка, эти вещи не п-пишутся. (Оба наших руководителя слегка заикаются — и Сергей Анатольевич, и Аким.) Вот я тебе сейчас п-продиктую...

И под диктовку Иванова разборчивыми полупечатными буквами на листке бумаги в клеточку Коваль, посапывая, выводит: «Я, такой-то, рекомендую в члены Союза советских писателей одаренного молодого автора такую-то, чьи произведения отличаются...» — дальше было что-то про оптимизм и высокий художественный уровень, дата и подпись.

Потом они учили меня разламывать раков. А я от волнения ничего не могла есть и сидела как дура, такая вся красивая и одаренная, с новой замечательной стрижкой «каре», скрывающей малиновые уши...

В Союз меня с первого раза не приняли, — идейный уровень оказался ниже нормы, — да я и не больно-то надеялась. Жаль только, что не сохранила ту бумажку. Надо было перепечатать и копию отвезти Юриосичу на подпись, а я поленилась и отдала оригинал. Может, он и сейчас пылится в каком-нибудь писательском архиве.

Мы потом еще с ним встречались не раз, только всё как-то мимоходом. Помню, я ему похвасталась, что начала учиться верховой езде, ион спросил с каким-то жадным любопытством:

— Вы сели на лошадь? Оседлали живое тело? И головой покачал:

—А я вот почему-то не могу. А я думала, он всё может.

Однажды он нам с Маринкой Москвиной пел — просто так, без гитары. Дело было после торжественного открытия Недели детской книги в Колонном зале. Там Яков Лазаревич и Юриосич приветствовали детишек от команды «живых классиков», а мы — от «молодых поэтов и писателей ». Для такого случая мне моя элегантная мама одолжила серый английский жакет и юбку до колен в благородную узенькую полоску, а Маринка нарядилась в брючный костюм-тройку: черный, вельветовый. В общем, выглядели мы на все сто, и когда Аким и Коваль после выступления пригласили нас пообедать в новый кооперативный (!) ресторан, мы долго ломаться не стали. Так в один голос и выпалили:

— Дурак откажется!

Мы были уже не ученицы, а «свои», коллеги по цеху и немножко прекрасные дамы, и это было странновато и здорово. Нас угощали долмой (я с тех пор навсегда полюбила эти игрушечные зеленые голубцы), поили вином, развлекали рассказами и пением. Мне особенно почему-то запомнилась песенка, сочиненная Ковалем для какой-то Аллочки, их с Акимом общей приятельницы. Там еще фигурировал Аллочкин муж Вадим, и когда живые классики дуэтом грянули:

Вадимово Вадиму воздадим,
И воздадим салатово — салату! —

тут всплеснулось вдруг такое веселье, будто чашу с пуншем внесли и поставили на стол... Правда, цены в этом кооперативном духане были совершенно несусветные, и, расплачиваясь, наши рыцари оставили там, кажется, всю свою наличность. Мы с Маринкой за них переживали, но они держались стойко: нам, мол, не привыкать. Настоящие гусары и поэты.

Он, разумеется, был поэт, наш Юриосич. И именно поэтому — такой ослепительный прозаик. Ведь в прозе всего драгоценнее — вещество поэзии (а в настоящую поэзию всегда подмешана проза). Он, по-моему, над каждым абзацем работал, как над строфой — стройной, причудливой, совершенной. И это умение двумя-тремя фразами нарисовать законченный портрет! Вот она, вся человеческая комедия, вся галерея людских типажей — в коротеньком рассказе «Клеенка». Недоверчивый угрюмец Колька Дрождев, слезливая скандалистка тетка Ксеня, кроткая Манька Клеткина, ходячий хватательный рефлекс — мамаша Мирониха. И блаженный, отрезающий от своей радости всем по кусочку дядя Зуй...

Да, а про фонарик, про поплавок небесный, мне потом объяснили: это Юриосич нарисовал блесну. И то сказать, не всякий ли поэт есть ловец человеков?

Он выступал вместе с Юлием Кимом в каком-то доме культуры, а после концерта подписал и подарил мне новую книжку, «Опасайтесь лысых и усатых». Кто-то взял ее почитать и не отдал. Я нашла и купила другой экземпляр, но за подписью ехать было уже не к кому. А я съездила бы, не поленилась.

Давно, еще в ученические годы, зашел у нас в студии как-то спор: можно ли да нужно ли говорить с детьми о смерти. Тогда умница Яков Лазаревич принес и прочел нам вслух рассказ Коваля «Вода с закрытыми глазами». Теперь, когда я его перечитываю, в ушах всегда звучит чуть заикающийся, подрагивающий голос Акима:

—Ты бы заплакал, если б я умерла?

(Это Нюрка спрашивает, первоклассница, дяди-Зуева внучка.)

—Конечно, — серьезно ответил я.
—А *мне кажется, никто бы не заплакал.*
—Вся деревня ревела бы. Тебя все любят...

И еще:

«Я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Еще бы часок, полтора».

Сентябрь 2007 года

Марина Москвина

Вода с закрытыми глазами

Если б инопланетяне прочитали Коваля,
они бы прониклись симпатией к землянам.

Дина Рубина

Однажды был праздник Юрия Коваля. Он был веселый, как бразильский карнавал. И на этом празднике поэт Яков Аким сказал:

— Чтобы понять, дорог нам писатель или не очень, надо представить, что бы было, если бы его не было.

И вдруг наступила ужасная тишина. Все начали это себе представлять.

Первым исчез клест Капитан Клюквин со своей песней и клювом, скрещенным, как два кривых костяных ножа.

Не стало на Земле деревни Чистый Дор. Куда-то утекла вода с закрытыми глазами и укатился глиняный кувшин, наполненный осенним ветром листобоем.

И вот что страшно: Вася Куролесов так и не узнал, что он гений милицейского сыска. Он отказал маме Евлампьевне в ее мольбе о поросятах, не взял мешок из-под картошки, не поехал на рынок и не привез вместо парочки славных поросят рыжего облезлого Матроса.

Грохочут выстрелы, и старый вор Рашпиль, который сидел в тюрьме триста или четыреста раз, гуляет на свободе, грозя ножиком, а Вася — ни гу-гу!..

Покорный судьбе недопёсок весь недопёсий век с потухшим взором просидит в клетке. И ничего с ним не случится. Ничего.

В звездном небе, боюсь, не появится Орион, тот, что важнее всего в жизни Коваля.

И напрасно близкие, хриплые голоса — абсолютно неизвестно чьи — будут звать и кричать из-за утла: « Юра, Юра, про нас напиши!..»

— Остановитесь! — сказали мы. — Больше не надо. Плохо нам без него бы пришлось. И как все-таки здорово, что есть на свете писатель Юрий Коваль.

О, недопёсок Наполеон Третий! Круглые уши, платиновый мех! Если б я, будучи подростком, узнала историю о Вашем дерзком побеге со зверофермы, как здорово поддержал бы меня Ваш нос, точно обращенный на север.

Но именно в моем детстве не было ни Наполеона, ни Юрия Коваля. И в переходном возрасте не было. Только, считай, в зрелые годы они и появились.

Нас познакомил Яков Аким, который учил меня детской литературе. Однажды он привел к нам на семинар Коваля — и Коваль, конечно, меня поразил. Особенно поразил меня этот уголок тельняшки, светивший через вырез воротника. Он звал в какие-то такие дали, что уже было неважно, целая там у него тельняшка или треугольный кусок, пришитый к майке, который оторвал от себя ударник Витя Котелок из книги «Самая легкая лодка в мире».

Все сразу испугались читать свои произведения при Ковале. Только один кто-то не побоялся и стал читать стих, Мол:

Чтобы нарисовать снег — куплю я мел, чтобы нарисовать ночь — куплю я уголь...

Коваль очень внимательно слушал Слушал-слушал да и говорит:

А чтоб над мостом рисовать Ильича, Куплю я красный кусок кирпича.

Я все помню, связанное с ним, с самой первой встречи, так бывает.

Много лет я носилась с идеей сделать о нем шикарную радиопередачу.

И вот, когда в конце концов я пришла к нему с диктофоном, обнаружилась ужасная вещь — у меня уже не было никаких вопросов, так хорошо было просто сидеть у него в мастерской, пить чай из белой кружки с синими цветами и помалкивать, что я спросила:

— Может быть, у вас ко мне есть какой-нибудь вопрос?

— Есть, — ответил он. — Юрий Коваль спрашивает у Марины Москвиной: «Какой должна быть проза?»

—Жизнеутверждающей, — говорю я.

—Все-таки жизнеутверждающей?..

—Да, — говорю я.

—Тогда кто, Сароян или Искандер?

—Сароян! — говорю я.

—«Весли Джексон» ?

—«Весли Джексон»!

—А я все-таки склоняюсь к Искандеру.

Тогда я говорю:

—Марина Москвина спрашивает у Юрия Коваля: «Какой должна быть проза?»

—Проза должна быть вот какой, — ответил он. —- Она должна быть такой, что ты готов поцеловать каждую написанную строчку.

Наша передача вышла в эфир. Это был счастливый миг в моей жизни. Но не успели отзвучать финальные аккорды «Лунной сонаты», которую любил насвистывать сэр Суер-Выер (правда, юнга Ю ему сказал: «Я бы на вашем месте, сэр, насвистывал „Патетическую»), как звонит Юрий Коваль и говорит:

—Маринка! Слушай! А почему бы тебе не сделать точно такую же передачу про моих друзей — скульпторов Лемпорта и Силиса? А то им очень понравилось. Особенно Силису, потому что Лемпорт был в полуотрубе.

Я говорю:

—Вы с ума сошли! Это передача о вас — вся моя жизнь плюс сорок пять минут.

А он:

—Друг мой! Если бы ты слышала, как они поют: «Туфельки белые, платьице белое!..» И я бы им подпел, вошел в кадр...

Говорят, что Юрий Коваль — писатель открытого сердца.

Родился ли он с таким сердцем или раскрыл его по ходу дела — неизвестно, только для многих людей, которые повстречали его, Юрий Коваль — это, конечно, подарок.

Когда-то он работал учителем в сельской школе в деревне Емельяново. В пятом, шестом и седьмом классах вел он русский, литературу, историю, географию, рисование и пение. Коловики и хорошисты, отличники, двоечники, удовлетвористы — все дружили с ним и под гитару Коваля пели хором на уроке пения Окуджаву.

Рассказы «Чистый Дор» — от тех еще емельяновских времен. И над этим словом «Дор» многие задумываются. Я понимаю его так: ДОР — РОД человеческий. И Коваль говорит — он чистый.

В этой книге он провозгласил, что человек человеку племянник.

Однажды он показал мне монокулярчик — это вроде одноглазого бинокля. Ему его подарили на день рождения. Красненький такой, изогнутой формы, на кожаном ремешке. В одну сторону повернешь — всё вверх ногами. В другую — нормально. И в то же самое время — ненормально! Особый вид открывается, непривычный.

О, Орион! Взглянуть на Вас в монокулярчик Коваля, вот было бы дело. На таволгу, на дудник, на язя, на Яузу и Серебряническиий переулок, на друга сердечного Леву Лебедева, который — так уж получилось — в последний августовский Юрин день был рядом с ним.

... Вот кроме одной фразы про Леву Лебедева, я всё это писала о Юрии Ковале почти при нем самом — он это прочитал, встал, растроганный, обнял меня, потом сел, кое-что вычеркнул, кое-что исправил и даже чуточку дописал.

Что ж мне добавить теперь — уже без его ведома?

Что люди влюблялись в него с первого взгляда и уже на всю жизнь?

Что он был настоящим вождем в нашем маленьком деле?

Что без его рассказов «От Красных ворот» и «Вода с закрытыми глазами» детская литература не литература?

И что он сам обладал особым даром любви, так мало кому присущим?..

К счастью, это было сказано в его присутствии, когда его выдвигали на Государственную премию, которую ему так почему-то и не дали. Коваль слушал, очень довольный, посмеивался и говорил:

—Друзья! Всё это мне, конечно, приятно, но прошу об одном: покороче!..

Кратким был только Юлий Ким.

—Ко всему вышеперечисленному, — воскликнул он, — остается добавить, что Юрий Коваль недюжинный шахматист и прекрасный семьянин.

Что можно сказать спустя целый год, который мы прожили без него? Ничего патетического.

О смерти — мой любимый рассказ Коваля «Вода с закрытыми глазами». И он — смешной. Такова его школа, а мы в ней — ученики.

Раз как-то я рассказала ему, что весной пригласила его большого друга поэта Якова Акима любоваться цветущими вишнями, от чего Яков Лазаревич категорически отказался и даже обиделся.

Юрий Коваль очень смеялся и говорит:

—Маринка, прошу тебя, как пойдешь любоваться — зови меня, я с тобой обязательно пойду.

Ну, проходит какое-то время, звонят мне наши общие знакомые Галя и Ваня Овчинниковы — они работают в Ботаническом саду — и говорят:

—Расцвели азалии, приходи любоваться. Я говорю:

—Сейчас я позову Юрия Иосича, и мы с ним вместе придем.

—Не-ет! — они говорят. — Мы ему уже звонили. Он очень занят и послал любоваться... своего секретаря Иру Скуридину.

... А сейчас мне кажется, что он и нас с вами послал любоваться этим, в сущности, цветущим миром.

Опубликовано в «Литературной газете» 21 августа 1996 года

Марат Ким

Коваль, мой учитель

— Пора ехать к Ковалю, — сказал мой дядя Юлик, посмотрев стопку моих рисунков. И тут же набрал номер.

Летом между девятым и десятым классом я начал рисовать. Во-первых, я нарисовал шарж на своего одноклассника Васильева, точнее, схему его лица, такую простую и похожую, что ее стали рисовать мои одноклассники все и повсюду. Во-вторых, я нарисовал профиль соседа по парте Михайлина. Как мне тогда казалось, с фотографической точностью. В-третьих, в Крыму мы отдыхали с писателем Марком Харитоновым и его женой художником Галей Эдельман. И я, окрыленный двумя успешными портретами, увязался в горы за Галей, попросил пастель, изобразил горы, и Галя велела мне продолжать рисовать! Я продолжил в Москве. И вот: пора ехать к Ковалю.

Я Коваля видел, конечно, и раньше. У него в мастерской. В мастерской у Лемпортов. У Юлика. На выставках. И даже у нас дома. Но всё это было не по делу.

Коваль открыл дверь мастерской с трубкой в зубах и просиял: где же ты пропадаешь? Как будто он только и думал, где же я пропадаю. Сколько раз потом повторялась эта прекрасная сцена! И как мне этого не хватает сейчас.

Юра — какой я тебе, на хрен, Юриосич? — велел разложить рисунки, как и положено, на полу. Я раскладывал и понимал: вот оно, настоящее. По делу. Коваль ходил надо мной и внимательно смотрел Потом стал разбирать рисунок, цвет и композицию.

—Чего эти две фигуры у тебя где-то сбоку на листе расположились?

—Да так сели.

— А ты что? Обойти не можешь? Обойди, ... твою мать!

Месяца два я не рисовал. Переваривал. Отчим мой Олег, знавший Коваля, ворчал, мол, так нельзя, всю охоту можно отбить. А я, переварив, понял главное. Мастер отнесся ко мне серьезно. Иначе не стал бы силы на меня тратить. Он просто хотел научить меня побороть робость начинающего. *Я* продолжил рисование. Показал Ковалю. Вот так и повелось на всю жизнь, что время от времени показывал накопившиеся рисунки. Смотрел и Витя Белов, Юрин друг, с которым они всю жизнь делили мастерскую. Делали замечания, никаких скидок Коваль по профессии был строг всегда Мог безжалостно припечатать. Когда я сколько-то лет спустя иллюстрировал его «Чистый Дор» для детгизовской серии «Моя первая книга», он только несколько иллюстраций оценил хорошо, а про остальные сказал: «Так себе, на тройку. От моего влияния не избавился. А вот посмотри лучше Калиновского». И это была неприятная правда.

Влияние его было огромное. Пишу и думаю, что бы он сказал, заглянув мне через плечо сейчас. Хотя делать так же, как он, невозможно, можно только учиться свободе выражения.

Как-то мой учитель дизайна Василий Евгеньевич Валериус долго думал, как сформулировать, что такое гений в искусстве. Каков критерий? Предварительно мы сошлись только на двух именах в истории искусства, которые выдерживают
это определение: Микеланджело и Пикассо. И Василий Евгенич очень точно сказал: «Гений — тот, для кого не существует сопромата, сопротивления материала».

Это и про Коваля. Стихи и проза, живопись и керамика, линогравюра и столб-арт — вот далеко не полный перечень его мировоззрения, если перефразировать строчки из « Суера», текст которого я помню кусками наизусть.

Кстати, я, уже студентом филфака пединститута, ездил с дядькой Юликом отдыхать. И мы каждый вечер на ночь читали вслух по очереди куски из «Васи Куролесова». Это, по моему твердому мнению, первый признак настоящей литературы. А любую Юрину вещь хочется читать вслух, с первых строк Достаточно посмотреть на артиста Филиппенко, который начинает читать на вечерах памяти какую-нибудь главу из «Недопёска» и не может остановиться!

В пединститут я решил пойти учиться после загадочных слов Юры: «Вот и хорошо, пойдешь к Масимычу на Парнас». Михаил Максимович Кукунов, отличный рисовальщик, художник-анималист и чудесный человек, преподавал в художественной студии при институте и был наш первый учитель рисунка (Гали Эдельман, Коваля и, стало быть, мой). Я шел верным путем.

На первом же учебном рисунке гипсовых фигур я нарисовал две линии горизонта согласно Пикассо, который говорил, что их должно быть две, потому что у человека два глаза. Максимыч твердо все это пресек. Коваль смеялся, потом сказал: «Научись сначала натуре, потом будешь два горизонта рисовать». Он, кстати, был сторонником и знатоком натурного рисунка. Очень был доволен, когда я перед работой над « Чистым Дором» приехал к нему на север в деревню, чтобы понять что-то про пейзаж, пространство. На обратном пути по-осеннему рано стемнело, дорога была дальняя, Юра нервничал, сосал валидол, я страшно жалел, что не умел водить. Потом, кстати, научился.

Во всем, что он делал, — глубокое знание правды вещей. Между прочим, он показал мне, как правильно чистить рыбу, ведь он поработал когда-то и на рыбкомбинате. Как-то я купил живого леща, когда их стали продавать с машин на рынке. Звоню: как, мол, умерщвлять.

—А ты ебни его об стол.

—Как?

—Головой, да посильнее. Он и уснет.

Я так и сделал. Лещ выскочил у меня из рук на замахе и запрыгал по всей кухне. Я еще раз. Он вроде бы уснул. Но когда я стал вынимать из него жабры, как велел учитель, лещ снова выпрыгнул из раковины на пол Тут я и уразумел, во-первых, что значит «ебнуть», а во-вторых, что надо все делать решительно и по-мужски. Как Коваль.

Так я и проучился на филфаке, у Максимыча, и у Коваля с Витей. У художника, кстати, должно быть много учителей. На третьем курсе я решил организовать концерт выпускников факультета. И неожиданно мне его разрешили! Многие помнят этот вечер. Были Володя Красновский, Юлик, Визбор и Коваль. Вел вечер Юрий Ряшенцев. Глоток чистейшего воздуха. На следующий год я хотел повторить, сделать концерт Юлика, но его запретили. Был 1979 год.

Для курсовой по педагогике я взял у Юры небольшое интервью. Спросил, в частности, кто его любимый писатель. Ответил твердо: Житков, Зощенко, Булгаков. Именно в такой последовательности: Житков на первом месте. Много лет спустя, в 1999-м, вышел великий роман Бориса Житкова «Виктор Вавич». Тогда только мне стало ясно, как Юра был прав. Автор «Морских историй» написал одну из лучших русских книг о революции. В предисловии написано, что роман был опубликован незадолго перед войной, но тираж тут же уничтожен. И только один экземпляр хранила Лидия Корнеевна Чуковская. Есть удивительное родство стилей, отношения к ценности слова Коваля и Житкова. Не знаю, читал ли Юра «Вавича». Мне он тогда об этом не сказал. А ведь мог прочитать, он дружил с Чуковскими.

После института я отслужил в армии офицером. Привез толстую папку рисунков. Целую серию линогравюрных лубков со своими стихами. Юра сказал:

— Молодец, у тебя есть мотор. А вот стихи мои-то покрепче будут. Пропала несчастная дама червей, теперь она стала едой для червей. Или: чем пить, поедая отдельных лещей, купил бы ты лучше нательных вещей. Неплохо, да? Поди посмотри Витьки-то Белова гравюры... Куда теперь пойдешь? Думаю, надо в реставрацию икон. Там получишь настоящее знание композиции и вообще искусства. Это школа.

Я пошел учиться дизайну к Валериусу и поступил в полиграфический на художественный. Юра волновался, как бы не испортили, не засушили дизайном-то. Не очень хотел, чтобы я стал просто оформителем книг. Но все-таки у истоков полиграфа были художник Фаворский и философ Флоренский. Это обстоятельство Коваля с таким моим обучением примиряло. Первые мои иллюстрации к книге бардовских песен он встретил прохладно. Ему хотелось от меня большей свободы, яркости. Но позже попросил сделать логотип для группы художников «Узы Яузы». Остался доволен. Потом позвал помочь с оформлением книги «Опасайтесь лысых и усатых». Дизайнерские умения наконец-то пригодились.

Когда мы с Андреем Великановым устроили акцию «Бассейн Москва» в 1994 году, я пригласил участвовать и Юру. Смысл акции был в том, чтобы ответить на вопрос, чем бы наполнить бассейн «Москва», и в мае прийти в бассейн, чтобы свой ответ как-то представить. Мы разослали тысячу писем историкам, политикам, артистам, писателям. Юра звонил мне, переживал, ходить или нет, решал, как это сообразуется с его внутренней религией. Пришел Значит, это было для него важно. Принес короткий текст. Привожу его полностью, потому что он нигде не был опубликован и говорит о другом — серьезном и не очень известном для нас Ковале.

«Храм Господень — небесный свод над нашей головой. Главное — его беречь.
Место, на котором стоял Храм Христа Спасителя, надо сделать таким, каким оно было прежде всего. Просто — земля, деревья, цветы. Пусть это будет — Сад Христа Спасителя. Пусть верующий посадит дерево, привезет горсть родной земли.
Нужно, конечно, построить и часовню, где мы могли бы
вознести молитвы свои к Господу.
Аминь.
27 мая 1994 года».

Для диплома я хотел взять «Суера-Выера». Маэстро сказал, что текст не даст, пока рано, а вслух с удовольствием мне почитает. Я тут же пришел в яузскую мастерскую с магнитофоном. Это были два часа счастья. Сохранилась запись на двух кассетах. Я ее знаю почти наизусть, она вся испорчена моим смехом и фырканием, я не мог сдерживаться. Там есть даже « Остров посланных на...» без купюр! Я до сих пор, бывает, ставлю запись, ложусь на пол и слушаю этот удивительный голос, часто приглашаю послушать и других и каждый раз наслаждаюсь тем, как любого, совершенно неподготовленного, незнакомого с ним человека Коваль мгновенно втягивает в свой мир. Через годы, через динамики магнитофона. «Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана».

Мой диплом не состоялся, потому что надо было работать, зарабатывать, времена наставали непростые. К тому же работы было много, а диплом у меня (кстати, до сих пор) никто ни разу не спросил Потом я ушел в кино с головой, о чем мечтал с детства.

Однажды Юра приехал ко мне в связи с подготовкой к его выставке, посмотрел, что у нас висело на стенах, и больше всего одобрил детские рисунки моего сына Юлика, сказав: остальное хорошо, а вот это гениально. Потом сидели на кухне, я спросил, как, мол, поживает роман. И вдруг он, как всегда, когда хотел сказать что-то важное, округлил глаза, поднял плечи, растопырил руки в стороны и вроде как пошутил: «Корректуру никак не закончу. Боюсь — поставлю точку, и жизнь моя кончится».
Так и случилось.

Через много лет, в 2005 году, я выступал на фестивале в Алуште. Меня туда затащила Танька, дочка Визбора, моя подруга с детства. Дело в том, что я начал писать песни. Правда, с большим опозданием. Всегда думаю, а что бы сказал Юра, если бы услышал. Так вот, на этом фестивале на открытой площадке вечером каждый участник должен был спеть сначала песню какого-то классика. Я слушал выступающих, понял, что все поют что-то ужасно лирическое и заунывное. И решил спеть Коваля. Гениальное, смешное. «Сундук». Начал с рассказа, так же, как и он мне ее демонстрировал когда-то. Мол, сочинил автор стихи про то, как Иван Петров залез в сундук с ключом в руке. А потом год не знали, что с ним делать, каким образом он туда залез, а главное, как его оттуда вытащить.

Я спел первый куплет. Перехожу ко второму про медведя. И тут у меня отшибло память. Смотрю я в зал, вижу пятьсот человек, а ощущение такое, будто в глазах темно. Ни слова не помню! Я же эту песню пел двадцать пять лет в любом состоянии. Смотрю на жену мою Свету, на Таньку Визбор и вижу, что они шевелят губами, как рыбы, а вспомнить тоже не могут. Я стал пересказывать содержание. Говорю, мол, и вот подходит к сундуку, знаете ли, огромнейший медведь, Иван кричит ему ку-ку... дальше сами собой льются слова, и я куплет допеваю.

Третий куплет. Та же история! Не помню, начинаю рассказывать, стихи вылезают из меня сами собой, как из оракула какого-то.

Четвертый. И тут я не выдержал, решил все это мучение свое закончить и уйти со сцены. Говорю, мол, в другой раз

допою. Тогда кто-то из зала кричит: «Расскажи, а чем закончилось-то? Как он вылез-то?» Вот что значит настоящая драматургия! Я засмеялся: ага, интересно? И вдруг легко допел до конца. Напряжение к финалу песни было, как во время триллера в кино. На словах «У сундука есть только верх, а вовсе нету дна» стояла мертвая тишина. Потом взрыв хохота. Коллеги решили, что я это все заранее придумал Вот так гений Коваля меня спас.

И если вдруг со мной чего не так, я слушаю какую-нибудь главу из «Суера», или гляжу на его рисунок на моей стене, или просто вспоминаю, как он с трубкой в зубах стоит посередине мастерской, смотрит на свою картину, где красное дерево, и сомневается, хороша ли она...

И Коваль снова и снова меня спасает.

Декабрь 2007 года

Наталия Ермильченко

Слушай меня!

Когда ученик готов, учитель приходит

Узнав, что я начала заниматься йогой, Коваль сказал: «Ах ты, господи!» Но дело не в этом — йогу я потом бросила. Дело в том, что на первом, вводном, занятии йог процитировал индийский афоризм: «Когда ученик готов, учитель приходит». Благодаря индийской мудрости я могу точно назвать дату своей «готовности»: 22 ноября 1988 года.

Предупреждение о том, что «учитель приходит», я получила заранее — из свежего номера «Литературки». В статье, которая называлась « Праздник белого верблюда», Коваль писал, что будет вести в редакции журнала «Мурзилка» литературный семинар для начинающих детских писателей. Это я приняла на свой счет. Вопрос о том, не пора ли мне походить на какой-нибудь семинар, ко мне периодически подступал, но я все увиливала, все трусила, все писала, как бог на душу положит, сказки и никому их не показывала.

Возможно, все решила фраза: «Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос» из «Васи Куролесова», с которой я начала читать Коваля. Коль скоро семинар будет вести автор этой фразы, лучше уж идти. Я позвонила в «Мурзилку», уложила в сумку пожитки — рукопись и пузырек с таблетками валерьянки — и 22 ноября поехала поступать в ученье.

Сказано в пять — я буду в пять. И вот приближались пять часов, и я понимала, что не опаздываю, и в то же время чувствовала, что неплохо бы остаться дома. Иначе ничего не поделаешь, придется читать. Нет, в душе я надеялась, что сказка понравится. Я, собственно, для того и ехала на семинар. Мне, как Золушке, нужна была такая фея-крестная, которая бы сказала: «Решено, Золушка, ты едешь на бал! Очень вредно не ездить на бал, когда этого заслуживаешь». И все же необходимость читать вслух на публике свое собственное произведение вызывала во мне большое внутреннее сопротивление. Сопротивляясь самой себе, я отыскала здание, в котором помещается «Мурзилка», и поднялась на пятнадцатый этаж. В комнате, куда я попала, было уже довольно много народу. Оказавшись в незнакомом месте, я стараюсь забраться в дальний угол и оттуда оценивать обстановку. К счастью, тогда в редакции «Мурзилки» такой угол был, и в нем стояло свободное кресло. Я кинулась туда, села и стала ждать.

Ждать пришлось довольно долго. Чуть ли не час. Меня познабливало, точь-в-точь как перед экзаменом. Наблюдения из угла показали, что все остальные в комнате друг с другом знакомы. И еще, что они уже печатаются — во всяком случае, печатаются в «Мурзилке». Получалось, что мы не на равных: они — опытные литераторы, а я одна — новичок. Как тут читать?! «Нет, — решила я, — читать не буду».

Наконец появился Коваль. Явление Коваля меня потрясло. Я никогда прежде его не видела, но я его себе представляла. Как оказалось, неправильно. Мое воображение нарисовало мне сухонького, невысокого, седовласого человека, почему-то с рюкзаком за плечами и в кедах. Странника, путешественника, походника. Между тем в редакцию вошел довольно высокий и отнюдь не хрупкий мужчина, одетый вовсе не по-походному. Он вообще производил впечатление человека, который не привык одеваться во что попало. И, как ни старалось мое воображение, совместить этого человека с рюкзаком никак не удавалось.

Коваль обошел всех, с каждым поздоровался за руку, каждого попросил представиться и, кажется, назвать профессию. Помню, во всяком случае, как сказала ему, что я историк — временно безработный.

—Хе-хе-хе, — отозвался Коваль и тут же предложил мне покинуть мой угол и сесть в другое кресло.

В то кресло, которое он мне указал, я добровольно ни за что бы не села. Оно стояло в самом эпицентре, как раз возле того стола, за которым собирался расположиться Коваль. Еще в школе я терпеть не могла сидеть за первой партой, да и сейчас мне неуютно в первых

рядах. На всякий случай я не стала торопиться — вдруг он забудет. Коваль посмотрел на меня из-за стола и очень настойчиво повторил предложение. На новом месте познабливание перешло в колотун, а доставать валерьянку было уже неудобно. Правда, я заметила, что Коваль волновался тоже. Он никак не начинал занятие и все говорил, обращаясь к Саше Дорофееву, тогда ответственному секретарю «Мурзилки»:
—Ну где Ирка-то? Опаздывает Ирка! Уволю!

(Ирка, которую порывался уволить Коваль, оказалась его литературным секретарем Ирой Скуридиной.)

Но вот Ирка пришла, Коваль с ее помощью нашел у себя в сумке очки и сказал:
— Друзья мои!

С этого обращения начиналась потом каждая наша встреча. Объяснив нам, что, вот, его пригласили вести литературный семинар, Коваль завершил краткую вступительную речь словами:
— Жажда безумной славы обуяла меня, и я согласился!

И занятие началось. Желающих читать было в тот раз немало. Яне рвалась в их ряды — зачем? Слушать я люблю гораздо больше, чем выступать. Я послушала рассказ Олега Кургузова, две или три сказки Сергея Седова про короля: «Жил-был король, очень скромный...», чьи-то стихи. Мне говорили, что на подобных мероприятиях «ругают», но никакой особенной полемики не возникало, Коваль почти не делал замечаний, Саша Дорофеев немедленно забирал свежепрочитанное в редакционный портфель. И посреди этой благости у меня затеплилась надежда, что до меня очередь не дойдет. Тогда-то Коваль оборотился ко мне:
— Читай!

В «Пяти похищенных монахах» я обожаю фразу: «В душе у похитителя рухнула гора». В тот момент у меня в душе тоже немедленно рухнула гора.
—Сколько страниц? — спросил Коваль.
—Одиннадцать...
—Хе-хе-хе, — сказал Коваль. — Читай! Учиться-то я пришла к нему, но равнялась в те годы на Туве Янссон и ее сказочные повести о муми-троллях. Мне тоже хотелось писать сказочные повести, и я их писала. Конечно, я понимала, что читать на семинаре целую повесть — это перебор, но одна короткая сказка у меня была — одиннадцать страниц, и я честно взяла ее с собой. Я не знала, что это — «много».

Иногда после чтений Коваль смотрел эдак поверх очков и спрашивал:
—Тебе самой нравится?

Сказка, надо признаться, мне нравилась. Она была про молнию. И больше всего мне нравилось то, что, когда я перепечатывала текст набело, бушевала сказочной силы гроза, и молния — не сказочная, а настоящая — сверкала сразу за всеми окнами нашего дачного домика. Карл Густав Юнг, которого я уважаю не меньше Коваля, называл такие вещи синхронизмами. Но, наверное, мне надо было выбрать более мирное явление природы. Потому что как только я осипшим голосом дочитала одиннадцатую страницу, народ оживился, и оживился как-то нехорошо. Почти все вдруг сочли необходимым высказаться; многие говорили довольно эмоционально. Суть речей ускользала от меня, но я понимала, что сказка порядком всех возмутила. Молчал один Олег Кургузов — потом я поняла, что он меня жалел.
Коваль дождался, пока буря утихнет, и объявил:
—Так. Никого не слушай, слушай меня!

Я попыталась сосредоточиться — ничего не вышло. Но то, что мне действительно хотелось услышать, пробилось таки сквозь туман в моей голове.

Однажды — не тогда, а потом — Коваль сказал мне: «Я чувствительный организм». Это правда. В частности, он чувствовал, чего от него ждут. Чувствительным своим организмом он уловил, зачем я пришла, и немедленно выдал мне «разрешение ехать на бал»: «Ты талантлива, — сказал он — тебе надо писать». И за это я ему больше всего благодарна.

Твердой рукой Коваль сократил сцену бури до слова «ругали» и поставил точку. Я ехала к метро в троллейбусе (станции «Дмитровская» тогда еще не было) и удивлялась тому, что Олег Кургузов пытался меня утешать. Все было хорошо. Я не вполне понимала только одно: как я сокращу текст с одиннадцати страниц до трех.

О дате следующего занятия сказано было: «примерно через месяц». Я провела этот месяц в битве с «Молнией». Ценой неимоверных усилий мне удалось затолкать ее в три страницы, но особой радости я не испытывала: мне казалось, что новой «Молнии» не хватало электричества. В один прекрасный день, позвонив по наитию в «Мурзилку», я узнала, что семинар начинается через час. Попасть на этот — именно этот — семинар было для меня делом чести: мне не хотелось, чтобы думали, будто я обиделась.

Когда я примчалась, кого-то уже обсуждали.

— Вот она — автор «Молнии»! — воскликнул Коваль.

И это мне понравилось. Как позже выяснилось, им с секретарем Иркой было интересно, приду я или нет после того, как меня разругали.

А на сокращенную сказку Коваль даже не взглянул.

— Отдай Ирке! — велел он.

Пятнадцатый этаж

«Малая родина» семинара отчасти напоминала гнездо. Мы сидели на пятнадцатом этаже, в угловой комнате с огромными окнами, в здании, открытом всем ветрам. Оно стоит, как дерево, на краю пустынной, уходящей к самому горизонту, исчерченной рельсами промзоны. Рабочее такое «гнездо».

В те же примерно годы в Литературном институте тоже существовал семинар детских писателей; его вели Роман Сэф и Сергей Иванов. Там занятия проходили каждую неделю, по вторникам. Ученики получали домашние задания. Скажем, все должны были написать про первый поцелуй. Или придумать комикс.

Но нам достался непредсказуемый учитель, в чем и сам он признавался, посмеиваясь. Занятия у нас не проходили, а происходили, как вспышки на солнце: Коваль назначал их, когда чувствовал, что — пора. Это случалось примерно раз в месяц, хотя, кажется, в какой-то из месяцев мы собирались дважды. Январь не был временем «ковальской активности », сентябрь, может, и был, но с какой-то невидимой для нас стороны — на лето Коваль уезжал в деревню. Из оставшихся «протуберанцев» складывался наш учебный год.

С подачи литературного секретаря Ирки меня назначили старостой семинара. Получив команду «Свистать всех наверх!», я должна была передать ее остальным.

Работа наша выглядела так Доброволец читал свое произведение. Потом Коваль брал в руки рукопись и зачитывал вслух первый абзац — или первую строфу, если это было стихотворение, — и каждую фразу комментировал. Разбирал по слову. Просто раскладывал на составные части, как *Суер* — опахало. Потому что, говорил Коваль, мало текст написать, надо его потом с наслаждением править. Но вообще-то не все готовы были с наслаждением править свои тексты. Первое время многие авторы, послушав, как Коваль разбирает их произведения, обижались и больше не приходили. Года через три только начала складываться та наша компания, которая, пережив некоторые потери и приобретения, продолжает собираться до сих пор.

Для меня совет насчет того, чтобы править тексты с наслаждением, был подобен дзенской притче — с виду прост, но смысл дошел не сразу. Можно еще было исхитриться и так расставить слова, чтоб согласная не цеплялась за согласную. Или сосредоточиться и повычеркивать из фразы то, что не несло смысловой нагрузки. Но прошло несколько лет, прежде чем я осознала: править свой текст, оказывается, действительно приятно — это такой неторопливый, практически медитативный процесс.

Некоторые советы Коваля приводили к неожиданным последствиям. Однажды по поводу какой-то своей сказки я услышала от него выражение «вялый образ»: «Это вялый образ, вяловатый такой». Этот вялый образ немедленно утратил для меня связь с контекстом и

превратился в самостоятельного персонажа. Он еще долго занимал меня — я все пыталась представить, как он мог бы жить.

Иногда для примера Коваль читал что-нибудь свое. Когда У него вышла книжечка в серии «Библиотека „Огонька"», он принес ее на семинар.

—«Снегири и коты», — объявил Коваль.

Эту миниатюру — так у него назывался жанр — он прочел нам дважды, второй раз — по фразе и с комментариями, как и наши тексты.

—«Поздней осенью, с первой порошей пришли к нам из северных лесов снегири». В этой фразе ничего особенного нет, кроме, конечно, слова «пришли».

«Пухлые и румяные, уселись они на яблонях, как будто заместо упавших яблок». Тут уже образ пошел...

Прошло лет пять, прежде чем Коваль решил дать нам всем «задание на дом»: написать по миниатюре. И это было так неожиданно, что никто не воспринял его всерьез.

Вот за «посещаемостью» он следил Вернее, наблюдал. Не из любви к школьной дисциплине, а из любви к слову «друг».

В ряду любимых слов Коваля оно явно стояло на первом месте (на втором было слово «странный»). Иногда даже складывалось впечатление, что решительно нет на свете такого человека, который не был бы другом Коваля. Так он обращался и к нам — «Друзья мои!» А в дружбе важна верность. Неявка была шагом к измене. Это печалило Коваля. Бывало так, что кто-нибудь примыкал к семинару ненадолго, а потом переставал ходить на занятия. «Вот они, наши друзья!» — с горечью говорил Коваль. Мне за те шесть с половиной лет, что существовал семинар, случилось пропустить занятия четыре, и всякий раз Коваль это отмечал. На четвертый разя была наказана. Причина моего прогула самая что ни на есть житейская: мне не с кем было оставить дочку. Этого Коваль понять не мог. (Когда я в пятый раз пыталась пропустить семинар, мне надо было ехать на конференцию по астрологии, и Коваль занятие перенес.) Он пытался меня переубедить и, услышав отказ, остался недоволен. Так и сказал: *«Я* недоволен». В тот раз он готовил нам праздник: вышла книга «Опасайтесь лысых и усатых», и он собирался ее дарить. Не стану скрывать: мне ужасно хотелось получить эту книгу из рук Коваля с дарственной надписью. Но увы! Он игнорировал все мои намеки на эту тему: что прошло, то прошло. Зато под Новый год неожиданно — просто они лежали на виду — подарил мне «Полынные сказки».

Обычных отметок нам, понятное дело, не ставили. Но по-своему нашу работу Коваль, конечно, оценивал Торопцева, например, он однажды расцеловал за прозу.

Саша Торопцев — самый из нас пассионарный человек. Кажется, что весь его огромный жизненный опыт непрерывно «стучит в его сердце», как пепел Клааса — в сердце Тиля Уленшпигеля. Саша, по-моему, каждый раз приносил что-нибудь читать. Тогда это была глава из «взрослой» повести. Повесть опубликована, так что приведу для ясности несколько строк:

> *«Он взял у жены одежду, майку, перешел реку, выбрался по упавшей иве на берег. Повернулся, хотел крикнуть: „Иди за мной, не бойся!" и вдруг замер от неожиданности. Жена его, главбух, шла совсем голая по неглубокой реке, смотрела на остолбеневшего мужа и улыбалась. Сначала улыбалась, но вдруг, не выдержав, расхохоталась. То был странный смех голой женщины, переходившей холодную реку вброд».*

Дослушав главу до конца, Коваль поднялся из-за стола:

—Саня, дай я тебя поцелую. У меня в жизни тоже такое было.

Только раз, кажется, проснулся в Ковале школьный учитель, и он сказал про мою сказку:

—Ничего. На «четверочку».

Да и нет, на самом деле, такой школьной отметки, которая бы устроила Коваля. Отметка, которую ему хотелось нам выставлять, называлась — «гениально».

—Очень хорошо, — говорил иной раз Коваль, — но не гениально. А надо — гениально!

Гениально не получалось. Один раз, правда, мне удалось дотянуть до «полугениально». Я прочла текст, кто хотел — высказался, и Коваль подвел итог:

—Наташа написала полугениальную сказку. — И прибавил: — Концовка хреновая!

Хреновость этой концовки, как, впрочем, и других, мучила меня довольно долго. Коваль, между тем, придавал большое значение эффектной первой фразе и «ударной» концовке, и к этой теме возвращался постоянно. Он рассказывал нам, как проходят слушания в ЦДЛ. Когда кто-нибудь читает новый роман, маститые писатели слушают начало и идут курить, говорил Коваль, а возвращаются только для того, чтобы послушать концовку. Начала и концовки вполне хватает им для того, чтобы оценить произведение. Пытаясь объяснить нам, что такое хорошая концовка, он приводил нам в пример «Недопёска», где концовок три.

Поэтому, когда он закончил «Суера», меня взволновал вопрос — что же за концовка там? Время от времени Коваль читал нам главы из «пергамента». В тот раз был «Остров золотых и серебряных людей». И я, воспользовавшись случаем, попросила:

_А почитайте нам концовку.

Коваль стал перечитывать концовку главы.

— Нет, «Суера».

Страшным голосом Коваль ответил:

—Этого я не сделаю никогда!

—Почему?

—Не буду, и всё!

Но это уже происходило не в редакции, а в мастерской.

Эра Водолея

В начале 90-х годов, когда стала в полной мере ощущаться атмосфера йп с!е мёс1е, заговорили о приближении эры Водолея. Кажется, она пока еще не настала. Но мы, с учетом того, что Коваль был Водолеем, можно сказать, пережили этот переход в рамках одного отдельно взятого семинара. До осени 1991 года мы жили еще в переходном периоде, а примерно с декабря наступила новая эпоха. Ее приблизили не космические причины, а земные. Секретарь Ирка ушла на другую работу, а Саша Дорофеев уехал из Москвы, и значит, оба они не могли больше бывать на наших занятиях Лишившись «группы поддержки», Коваль явил свою непредсказуемость. Он назначил нам встречу у кинотеатра «Иллюзион».

Умоляю, запоминайте дорогу, — сказал он. — Больше я вас встречать не буду.

И повел нас к себе в мастерскую на Серебрянической набережной.

Серебряническая набережная — место в буквальном смысле потустороннее. Для того, кто идет к ней от «Таганки», она — по ту сторону Яузы. Для того, кто идет от «Курской», она — за мостом, по которому проходит Садовое — за чертой Садового кольца. Но самый, пожалуй, странный путь ведет к ней с той стороны, где кинотеатр «Иллюзион». Есть такие сказки, где герой прыгает в колодец и оказывается в другом мире. На набережную надо спускаться по металлической лестнице. Внизу — довольно тесное, мрачноватое пространство между глухой стеной и винным магазином. За этим «колодцем» открывается другой мир.

Даже в часы пик, на которые приходилось начало занятий, на набережной было малолюдно. Старые дома стояли редко и довольно далеко от воды; вид они имели такой, словно в них годами никто не входил. Зимой по незастроенному пространству тянулась вдоль Яузы альтернативная тропа. По ней, как по какой-нибудь «макарке» или «кондратке», путник все глубже забредал в неведомое, пока не попадал на небольшой пустырь, ограниченный слева глухой стеной. За пустырем, в самом дальнем и самом глухом конце набережной, в углу между высокими кирпичными заборами, стоял дом, где была мастерская — единственный жилой дом. Почти уже в измененном состоянии сознания путник устремлялся во двор, к неформальному черному ходу, потом в подъезд, потом в первую же дверь налево — и оказывался на полутемной кухне. Но зато впереди светилась комната, где

обитало творчество — одно из главных чудес на свете, а на пороге стоял Коваль, и приветствовал входивших возгласом: « О!», и расцеловывал дам...

Наверное, мы что-то читали в тот первый вечер нашей новой жизни. Главное, что читал и сам Коваль, большой рассказ — в редакции мы слышали только миниатюры. У него была своя собственная манера исполнения, которая идеально подходила к его прозе. Тембр голоса, ритм, паузы, мимика, обаяние... это был какой-то особый состав. Это завораживало. Потом Коваль принес гитару. И вот тогда эра Водолея наступила для нас окончательно.

В одной статье, посвященной падению на Юпитер кометы Шумейкеров — Леви 9, я прочитала, что комета «попала в гравитационные объятья планеты-гиганта». С нами случилось точь-в-точь то же самое: мы попали в «гравитационные объятья» Коваля.

В редакции мы рассаживались вдоль стен, а перед нами, как в президиуме, восседал Коваль за большим письменным столом. В мастерской он был среди нас, за одним с нами столом, которого с трудом хватало на компанию. И вместе с тем Коваль окружал нас со всех сторон — своими картинами, эмалями, деревянными скульптурами, резными досками — всем обжитым пространством своей мастерской. Отныне занятия наши состояли из двух частей. В первой мы обсуждали Друг друга, а во второй солировал Коваль, и это был — праздник Что-то рассказывал, иногда читал главы из «Суера», почти всякий раз — пел Водолея принято изображать с кувшином: считается, что он льет на землю энергию жизни. Коваль вливал в нас некую творческую силу.

Иногда он уставал, и мы возвращались в «Мурзилку». Но там Коваль был дальше, там он не пел, и хотелось обратно в мастерскую. Нет — один раз пел: в редакции мы отмечали «юбилей» — пять лет со дня рождения семинара, и дуэтом с Татьяной Филипповной Андросенко, главным редактором, Коваль исполнял романсы. Там же назначил он последнее занятие. «В мастерской, — сказал он, — я не потяну». А чаще из редакции приходила к нам Кира Николаевна Орлова. Как я понимаю сейчас, ее подлинная миссия состояла не в том, чтобы следить за нашим развитием, пополняя редакционный портфель. Кира Николаевна помнит Коваля начинающим автором. Когда-то он не был волшебником, а только учился, и воплощением тех времен служила Кира Николаевна. Она призвана была вселять в нас надежду и зрительно уменьшать то количество световых лет, которые отделяли нас от мэтра. Если раньше Коваль пытался нас учить, то теперь почти не разбирал наши тексты, — он излучал самого себя. Это было не просто обаяние — это была такая «проникающая радиация», очень, впрочем, демократичного свойства: хочешь — получай большую дозу, хочешь — поменьше. Иногда еще он говорил нам: — Вы все — писатели.

И это был огромный аванс: Коваль проводил черту между «писателем», то есть мастером слова, и «литератором», то есть человеком, который зарабатывает на жизнь литературным трудом. А может, это было заклинание.

Как только гравитация подействовала, Коваль создал из нас своего рода солнечную систему. Он мысленно закрепил
за каждым из нас «орбиту» — место за столом. И если кто-нибудь садился «не так», просил:
—Сядь, пожалуйста, на свое место.

Он запомнил наши отчества и с удовольствием их называл: Игорь Георгиевич, Татьяна Андреевна...

Коваль умел — сказать. Он мог просто назвать кого-нибудь по имени, и это звучало как комплимент.

Моя «орбита» была в углу — кажется, сам Коваль и поставил мне туда стул. Одно было плохо: оттуда я видела мэтра исключительно в профиль. Гравитация — страшная сила. Остальные пусть рассказывают о себе сами, а я, если честно, ходила в мастерскую не учиться — я ходила смотреть на Коваля. Наблюдать Коваля, как некое далекое небесное явление, хотя он сидел совсем рядом. Примерно так я смотрю на звезды или радугу — во все глаза, не отрываясь: вот она едва видна, вот стала ярче, вот сделалась двойной... Вот он коснулся рюмки — а у него тонкое запястье, длинная кисть руки, длинные пальцы... Вот он засмеялся... нет, он не столько смеялся, сколько посмеивался; и только раз на моей памяти Коваль хохотал: его насмешил случай из жизни Торопцева, рассказанный, впрочем, на полном серьезе.

Но если радуга — чудо, то и от Коваля я ожидала чего-то особенного. А когда от Коваля чего-то ожидали, он соответствовал.

Я спросила, видел ли он ауру; мне казалось, что он просто не мог ее не видеть.

—Ауру? Конечно! — ответил он. — Я даже дал описание ауры!

—Где?

— Ну, классику можно было бы и почитать, — усмехнулся он.

Оказалось, речь шла о «колесах», которые видел старик Карасев.

В 1994 году на Юпитер упала комета, предварительно расколовшись в его атмосфере на двадцать один осколок. Когда об этом зашла речь в мастерской, Коваль воскликнул:

— Падение каждого осколка я воспринимал как удар в грудь!

И ударил себя в грудь кулаком.

И Орион — конечно же, Орион! Коваль просто обязан был писать о нем так, как писал! Чаще всего мы приходили в мастерскую в глубоких сумерках и расходились по домам ближе к ночи. И как было бы правильно, если бы Пояс Ориона сиял в небе у нас над головами. И было бы еще правильней, если бы его показал Коваль. Но как-то Ориона было в небе не видать. И я в конце концов попросила мэтра показать это созвездие.

— Но ведь это надо несколько, пардон, ночей,— заметил он. Прошло несколько лет, и до меня дошло, что Орион каждую ночь стоит в небе прямо у меня за окном — надо просто его дождаться.

Иногда вместо небесного явления в поле зрения оказывалось земное, и с этим приходилось мириться — даже радуга двумя концами касается земли.

Однажды я примерно на полчаса опоздала. Что-то в мастерской было не так. Занятие еще не началось, наши бродили по комнате, рассматривали то, что висело на стенах, и разговаривали вполголоса. Коваля видно не было.

_Он спит, — объяснили мне.

Спал наш учитель в соседней комнатке на тахте. Кроме тахты там еще помещался стеллаж, где лежали лицом вниз картины на подрамниках. Главным украшением комнаты служил расписной потолок: на нем «плавали» рыбы. Но для меня это была «комната с гобеленом». Гобелен висел над тахтой. Был он небольшого размера, с простым рисунком — дом, дорога... На него хотелось смотреть. И всякий раз, проходя мимо, я краем глаза — «тем особенным краем, которым видно все» — старалась уловить гобелен, благо дверь в комнату никогда не закрывалась — во всяком случае, при нас. Как-то, улучив момент до начала занятия, я спросила мэтра, что там за гобелен, откуда, и получила ответ, что он соткан по его рисунку его другом — мастером гобеленов.

Короче, Коваль спал под гобеленом. Я помыкалась немного вместе со всеми, а потом пошла его будить, потому что больше никто не решался. Мэтр не возражал. Он переместился с тахты во главу стола и пояснил:

—У Наташки, жены, был вчера день рожденья.

Наши занятия в мастерской проходили в жанре пира. Однако я не смогла бы описать, к примеру, как Коваль ел: этого я не запомнила. Мы приносили с собой всякую всячину и сразу же начинали бегать с тарелками из кухни в комнату, а Коваль между тем взывал:

—Друзья мои! Хватит накрывать на стол, давайте работать!

И это гораздо больше соответствовало в моих глазах его образу. Но как-то раз Коваль в разгар занятия наклонился ко мне и сказал:

—Там у меня на плите мясо варится — сходи проверь. Я «включилась» не сразу, но все-таки пошла проверять.

Действительно, на газу стояла кастрюля годов, наверное, пятидесятых — старинная, можно сказать; в кастрюле клокотал бульон, из бульона торчала кость.

Иногда, ласково поглядывая на нас, пребывавших на своих «орбитах», Коваль принимался нас по очереди, на разные лады хвалить:

—Вот Воло-одя — очень, по-моему, добрый человек Ви-ика — опасная женщина...

Ему и самому нужно было, чтобы его хвалили. Но это доходило медленно: радуга ведь не нуждается в поддержке. Все же Коваль знал, что мы его обожаем; может, поэтому, главным образом, он нас и собирал, при всей своей непредсказуемости и спонтанности, столько лет.

—Расслабляюсь я дома на кухне, да в мастерской — в обществе своих любимых — хе-хе — семинаристов...

Он читал нам главы из еще не оконченного «Суера». Мы ничего не могли сказать ему дельного — в профессиональном отношении нам было до него как до Ориона. Но он, видимо, этого и не ждал. Видимо, ему был нужен хотя бы импульс — некая волна тепла либо восхищения, обозначенная, как гребешком пены, несколькими словами — сигнал того, что волна пошла. И если удавалось произнести то, что он хотел услышать, если он чувствовал импульс, ловил волну, он немедленно откликался.

Так я получила самый странный в своей жизни комплимент.

Это был последний наш «учебный год». Коваль уже закончил «Суера». Закончил — здорово; как он выложился
на этом, мы тогда, конечно, не понимали. Как-то он взял с подоконника рукопись и сказал:

—Мне сейчас не пишется, но как человек работающий, я... написал сказки.

Это сказки из сборника «Зеленая Лошадь» — он вышел, когда Коваля уже не было. Я слушала и пугалась, потому что, против обыкновения, мне нравилось не всё. Это был какой-то другой Коваль — такой, к которому я еще не привыкла. А предстояло между тем хоть что-то сказать. Только когда дело дошло до романтической Зеленой Лошади, у меня отлегло от сердца. («Все-таки ты романтик», — сказал мне однажды Коваль с каким-то сочувственным выражением лица.)

Он потребовал, чтобы мы его обсуждали, но обсуждения не получилось, заговорили о чем-то еще. Коваль наклонился ко мне:

—Наташа, что тебе понравилось? Я сказала, что Зеленая Лошадь.

—Да, — кивнул Коваль, — ты сама и есть Зеленая Лошадь.

Я, признаться, засомневалась и даже попыталась возразить.

—Нет-нет! — перебил Коваль. — Так и есть!

Однажды «созерцание радуги» не задалось. Была она, конечно, была, но совсем тусклая и — так, отдельными кусочками. Не в форме, в общем. Чтения прошли скучновато, а неофициальная часть — главная — и вовсе не состоялась. Девушки пошли мыть посуду, Торопцев с Ваней Овчинниковым затеяли в углу какую-то дискуссию. Что до Коваля, то

он давал интервью гостье из Питера, почти касаясь лицом стоявшего на столе диктофона. (На качестве текста это, впрочем, не отражалось: в любом состоянии Коваль сохранял удивительную ясность мысли.) В самом нерадужном настроении я уехала домой.

Не каждый раз, но случалось, что Коваль звонил мне после семинаров поделиться впечатлениями. Он позвонил и на следующее утро:

—Ну как?

Честно говоря, с первой попытки ничего хорошего мне сказать не удалось, и мы довольно сухо распрощались. Минут через пять Коваль перезвонил — он мог позвонить раза три кряду.

—Наташк! Слушай, ну ты мне наговорила сплошных гадостей! Я напился, семинар плохой... Я сейчас должен ехать в «Мурзилку» на редколлегию, а мне так плохо...

И голос его дрогнул Тогда я сказала:

—Ну вы поймите: я вас люблю всяким...

—Я понимаю! — перебил он неожиданно энергично. — Я понимаю! Именно поэтому ты мне... так дорога. Ты мне бесконечно дорога! Ну, я пошел

Коваль заметил, конечно, что я его «изучаю».

—Ты все время меня оцениваешь, — сказал он мне. Но я не оценивала — я наблюдала и думала вот что. На его

картинах мне больше всего нравилось разглядывать дома. Что деревенские избы, что здания старой Москвы — все они под рукой Коваля из элементов пейзажа превратились в странных персонажей. Кажется, заглянешь в окно — а там открытый космос, переступишь порог — и попадешь в другое измерение. И, думалось мне, эти дома, по сути — его, Коваля, автопортрет. Но, может, все это — просто от моей любви к авторской сказке.

Случайно я узнала, что и Коваль, оказывается, нашел для меня образ:

— Я тебя всегда называю про себя — «Пляшущая Молния» ! — сказал он мне. А плясать я вовсе и не умею.

Домовой и донна Анна

Декабрьские занятия Коваль обычно назначал на двадцать пятое число — католическое Рождество. Каждое такое занятие получалось втройне праздничным: во-первых, оно было предновогодним, во-вторых, попадало в рождественский «интервал», а в-третьих, приходилось на канун знаменитой традиционной встречи «институтских» — бывших выпускников Педагогического института, где давным-давно, в жизни до нас, учился и Коваль.

Что было особенно здорово — в такие дни Коваль непременно пел.

В один из декабрей у Коваля открылась выставка в ЦДЛ, и из-за этого 25-го числа мы пришли в полупустую мастерскую. Все эмали, все картины, которые мы привыкли видеть на стенах, украшали собой в тот день холл Дома литераторов. Только «фея ночи», про которую Коваль говорил иногда, что ее «пора выбросить», потому что она «рассохлась», по-прежнему стояла напротив окна. Ну и некоторые незнакомые нам произведения, извлеченные Ковалем из запасов, пытались спасти интерьер. Но в общем было странно. Чувствовался недостаток изобразительного искусства.

Скорее всего, именно этот недостаток и навел Иру Антонову на смелую — даже дерзкую — мысль. В разгар застолья она сказала:

—Юрий Осич, Таньке Шорыгиной подарили эскиз, а нам?

Действительно, на одном из предыдущих семинаров Коваль в порыве щедрости извлек из сундука эскиз и вручил его Татьяне Шорыгиной.

Неожиданно произошло чудо. Коваль поддался на провокацию и распахнул сундук. Одну за другой выхватывал он свои работы, выставлял на соседний сундук, чтобы мы посмотрели, что у него есть, а потом предложил нам выбирать. Мы кинулись рыться в сокровищах. Мне хотелось что-то совсем «ковальское». И среди эскизов оказался, в конце концов, странный дом: он стоял среди пастельной синевы — то ли ночной, то ли предрассветной, под странными деревьями, а над ним пролетали странные, похожие на птиц облака.

Коваль к тому времени уже подписывал подарки — карандашом, на оборотной стороне листов.

—Очень странная вещь! — одобрил мой выбор Коваль и подписал: «Моему другу...»

Я принесла пастель домой в куске газеты, выданной Ковалем каждому из нас в качестве упаковки, и тут меня проняла совесть. Он, значит, устраивает нам праздники, дарит эскизы, выдает газетки, а мы что? Мы даже ни разу толком
не поздравили его с днем рождения. До дня рождения мэтра как раз оставался месяц с небольшим, и я стала фантазировать: вот мы прямо в мастерской даем представление, а Коваль сидит, как обычно, во главе стола, спиной к окну, и видно, что ему весело. Не разыграть ли нам главу из «Суера»? В любом случае осуществить такую идею в одиночку мне было не по силам, и я решила обсудить ее с Иной Гамазковой и Мариком Шварцем, которые, кстати, на том занятии не были и эскизов в подарок не получили.

Несмотря на разные фамилии, Ина (пишется с одной «н») и Марик—родные брат и сестра. По отчеству они — Липовичи. Помню, что Коваль, обнаружив их отчество в списке семинаристов, назвал Марика «Марком Тополеви-чем». В январе Ина с Мариком пришли ко мне в гости, и мы принялись думать, как поздравить Коваля. Мы ели оладьи и пили компот, потом Ина с Мариком шли на лестницу курить, и я шла с ними, потом мы возвращались к оладьям и все время обсуждали какие-то варианты... и ничего не придумали. Я простилась с идеей коллективного поздравления, но твердо решила что-нибудь подарить Ковалю от себя лично. Через пару дней Ина с Мариком стали мне по очереди звонить, и выяснилось, что они тоже готовят Ковалю подарки — каждый по отдельности.

Ина придумала стихи — «Письмо донны Анны дону Ковалю»:

Дон *Коваль, я твоя донна,* — начиналось оно, — *И когда тебя нет рядом, То не все у меня дома — Приходи же ко мне на дом!*

И рефрен:

Пей календулу, валерьянку, Ковалендулу, ковалерьянку!

Коваль собрал нас в феврале, вскоре после своего дня рождения.

Без тебя я в слезах мокну, —
читала ему Ина от имени донны Анны, —

Как цветок, на корню сохну.
Вот кинжал — я себя кокну,
А не кокну — и так сдохну!

И остальные хором подхватили:

Пей календулу, валерьянку...

Марик написал песню. «На день рожденья Коваля, его увеселенья для. Музыка — „Мурка", слова — Марка», — объявил он. Марик помогал Ковалю возить работы на выставку, и ему выпало лелеять скульптуру «Иона во чреве китовом». В дороге Марик очень сроднился с пыльным Ионой. И придумал более рациональную причину для его пребывания в столь неудобном пространстве:

В ките мои товары,
В ките мои доллары.
Фонтан я клал на судей и закон!
От имени народу
Китовую свободу
Блюдет организация ООН!

— Хе-хе-хе, — сказал Коваль, несколько, как мне показалось, озадаченный этой поздравительной акцией. — Я очень рад, что вы... поздравили меня с днем рожденья.

Что касается меня, то я сшила из лоскутов Домового. А так как Домовой — существо непубличное, пришлось дождаться, пока закончится занятие. Тогда только я отозвала мэтра в сторонку и вытащила игрушку из пакета за меховое ухо.

— Ох ты! — воскликнул Коваль.

И тут же от неожиданности объявил мне, что я художник и надо делать выставку.

Я предложила поселить Домового на стеллаже в комнатке с гобеленом. Но Коваль держал его в комнате, где мы собирались, на полке под эмалями.

—Домовой все-таки, — напоминала я.

—Ничего... мне кажется, он добрый, — отвечал Коваль.

Но когда мы в первый раз оказались в мастерской без Коваля, Домовой сидел на стеллаже и смотрел мимо гобелена в окно. Кажется, он понимал, что произошло.

Кутеж трех князей в зеленом дворике

Вскоре после того как семинар переехал в мастерскую, Коваль объявил:

— Надо делать сборник.

Все обрадовались, сдали ему рукописи и стали ждать, что будет дальше.

А дальше Коваль отдал рукописи мне, раз я староста семинара, и велел придумать, как их скомпоновать. Я честно начала думать, раз он велел, но подоспел май, и наш учебный год закончился. Он закончился, однако в какую-то из майских суббот Коваль вдруг вызвал меня в мастерскую для обсуждения сборника.

Ни одного прохожего не было на Серебрянической набережной. В четыре часа я подошла к двери мастерской и увидела на ней записку, написанную рукой нашего мэтра: «Буду в 16.20. Юр.». Я прошла набережную в обратную сторону, побродила немного в окрестностях Иностранки и вернулась. Когда впереди показался «под тополями старый дом», я осознала, что мне навстречу идет Коваль. С ним рядом шел Виктор Николаевич Белов, о котором семинару было известно, что он друг Коваля и совладелец мастерской. Друзья и совладельцы двигались вдоль Яузы, как два сухопутных катера, неторопливо, но уверенно, и мне оставалось только присоединиться к ним и пройти набережную в четвертый раз. Путь наш лежал к винному магазину.

В нескольких метрах от входа общество наше разделилось: мы с Виктором Николаевичем остались стоять у куста, а Коваль продолжил путь один. Неожиданно я узнала этот куст, мимо которого все мы не раз ходили: жимолость.

— У жимолости очень твердая древесина, — объяснил Виктор Николаевич, и я задумалась, подходит ли слово «древесина» к ее довольно-таки тонким ветвям.

Но тут Коваль вышел из магазина, и мы пустились в обратный путь.

В мастерской май еще не наступил: там было пасмурно и прохладно. Коваль подхватил вдруг ломберный столик и
понес во двор. Следом вынес он и три стула и пригласил нас с Виктором Николаевичем располагаться:

— Давайте сюда, на солнышко.

На ломберном столике как раз поместились бутылка мадеры, три рюмки, длинный батон очень мягкого хлеба и глубокая тарелка с кусками скользкой на вид рыбы, от которой я на всякий случай отказалась.

— Противно, да? — сочувственно спросил Коваль. Сам он, впрочем, рыбу ел

Друзья и совладельцы держались так, словно всю жизнь пировали во дворах за ломберными столиками. Отламывая от батона куски, наворачивая рыбу, они рассказывали удивительные вещи. Что дом построен еще в начале двадцатого века и жил в нем хозяин той фабрики, что за забором; а там, где сейчас мастерская, была, по их расчетам, квартира прислуги. Что на фабрике делают канаты и веревки, и Коваль купил там как-то большой моток и возил его на всякий случай в машине, пока машину не угнали вместе с веревкой. Что дерево во дворе — белая акация. И что они — друзья и совладельцы — родились в один день: 9 февраля 1938 года. Я слушала, удивлялась, но меня не покидало ощущение, что я сижу на сцене — хорошо еще, что при пустом зрительном зале. Столик стоял на солнце, а солнце в тот момент освещало проход во двор. За спиной у меня простирался пустырь, переходивший в набережную, и вид на нас открывался издалека.

Река и пустырь придавали нашему пиршеству нечто загородное, а стена и акация — нечто южное. Может, те князья в зеленых двориках, которых изображал Пиросмани, пировали и роскошнее, но сам Пиросмани наверняка пировал именно так.

Потом мадера закончилась, а с ней и застолье.

— Как я вас, ребята, вытащил! — воскликнул Коваль. — На всеобщее обозрение!

Все лето я по его заданию искала художника, и хорошо, что он не нашелся: осенью Коваль без объяснений вернул нам наши тексты, и года два мы не слышали от него слова «сборник».

Потом Ковалю предложили написать книгу о «великих рыцарях». К заказу прилагался список: помимо рыцарей «в законе» — Роланда, короля Артура, Ланселота — были там почему-то благородный разбойник Робин Гуд, а также персонажи из совсем другой эпохи —

Сигурд и Беовульф. Должно быть, самому писать обо всех этих героях, тем более по списку, Ковалю не хотелось, но он усмотрел в предложении издательства возможность сборника. «Рыцарей» он распределил между нами — точнее, предложил нам выбирать, — а себе оставил роль составителя. И снова мы сдали ему рукописи, и Коваль их сам отредактировал. Когда все было готово, редактор издательства назвала авторский коллектив «гаремом».
—Я на нее обиделся, — сказал Коваль.
И этот сборник тоже не состоялся.

Свой сборник мы все же издали, но уже без него. Называется — «Мастерская».

Позитивное ожидание

«Слушай меня!» — велел Коваль в самом начале, и я слушала. И первое время чаще всего слышала от него слово: «Сокращай!» До сих пор я не представляю, что такое написать, к примеру, десять авторских листов прозы. Но «Сокращай!» — это хоть было понятно.

Я написала сказку о том, как один карниз пишет письма другому, несколькими этажами ниже. «Это моя ученица, — сказал Коваль, — совершенно сумасшедшая. Она пишет сказки! Она пишет — о переписке карнизов!»

Я написала, как дачный забор отправился искать счастья; в одной из его штакетин, в дырке от сучка, ехала его приятельница-муха. Коваль сказал, что забор и муха несопоставимы «Что за странные, перекрученные, сюрреалистические мозги!» — воскликнул он.

Я написала сказку про мышь, которая сидит ночами под кустом пиона и смотрит на звезду. «Сказка хорошая, — сказал Коваль. — Печатать не будем!»

И наконец, ссылаясь на кого-то из «великих друзей мастера», он объявил, что мне надо «погнить».

Я растерялась. Мне не понравилось слово «погнить», и я не знала, как это делается, но знала твердо: читать Ковалю слабые вещи я не хочу. После переезда семинара в мастерскую я читала, кажется, только раз. Прощаясь с нами в конце учебного года, Коваль сказал:

— Если осенью Наташа не принесет свою сказку, я ее зарежу!

Но ни той осенью, ни еще года два никаких сказок я на семинар не приносила. Коваль спрашивал: «Ты будешь читать?» Я в ответ качала головой. Сказать мне было нечего, потому что странная из меня получалась Золушка: лошади бьют копытами, кучер тоскует, а она сидит в карете, в бальном платье, и ни на какой бал не едет — никак не соберется с духом. Коваль не обсуждал со мной эту ситуацию. Однако по отдельным, редким его репликам я понимала, что он наблюдает за моим «сидением в карете» и ждет — поеду или не поеду: *«Я тебя* не тороплю», «Я все-таки тебя немного чувствую» и даже — «Я все-таки в тебя верю».

Я занялась переводами; это получалось, и так было спокойнее: минимум — от себя. В главе из книги по психологии, которую я переводила, мне попалась фраза: «Ученики живут согласно ожиданиям своего учителя». Если учитель убежден, что из ученика выйдет все же что-то хорошее, это называется позитивным ожиданием.

Это оно и было: позитивное ожидание. Но, наверное, оно все же дается учителям не совсем легко, потому что однажды Коваль сказал мне:

— Я не могу научить писать — я могу сделать некоторое вливание... Так было с тобой — ты ушла совсем в другую сторону.

Один свой текст за эти два года я таки в мастерскую принесла. В преддверие очередного занятия оказалось, что Коваль собрался наслать на нас «великих рыцарей».
—Я хочу, чтобы о них написали вы. Рыцари были в ту пору очень от меня далеки.
—Да ну, — сказала я из своей «кареты».

_ Вот ты все время мне возражаешь! — обиделся Коваль. — Послушай, я тебе прочитаю список

Я сказала, что не из кого тут особенно выбирать — ну разве что король Артур...

— Я его записываю за тобой. Не всякий взялся бы за короля Артура — ты взялась.

Деваться было некуда. Поскольку о короле Артуре я ничего не знала, домашние достали для меня «источник»: Мэлори, «Смерть Артура» (XV век). Мэлори меня очаровал. Увидев у него слово «грамерси», я развеселилась, и дело пошло.

Но когда пришла пора везти «Артура» Ковалю, я испугалась, что не оправдаю ожиданий. Рыцарей своих мы сдавали мэтру по очереди, для чего назначались аудиенции в мастерской. Помню, я вышла на «Таганской» и долго не могла отойти от метро. Я зашла в зоомагазин и купила рыбам мотыля. Потом подошла к киоску с пончиками и купила зачем-то килограмм пончиков. И только тогда побрела по Радищевской улице к Яузе.

Коваль выхватил у меня рукопись («выхватил» — точное слово). Оглядел первую страницу. Полез в сумку:

— Ах, черт! Очки дома забыл!

Он снова всмотрелся в первую страницу и прочитал вслух название: «Король, что был когда-то и будет править вновь».

—Не уверен, что это должно быть так! — воскликнул он. Я обмерла. Но все остальное Коваль без очков прочитать

не смог, и, поговорив о том о сем, мы с ним простились.

Он позвонил на следующий день и не застал меня дома. «Ему понравилось. Сказал, что много находок», — доложила мне взволнованная мама. Я тоже взволновалась. Но когда рукопись ко мне вернулась, она была густо исчеркана карандашом. Иногда я перечитываю пометки на полях — Мэлори меркнет перед ними: «Мутная запись!», «Дикое количество инверсий — осатаневаешь!»

В январе 1995 года я неожиданно для себя написала сказку, которую можно было бы наконец прочитать Ковалю. Но я не сделала этого ни на ближайшем занятии, ни на следующем, потому что принялась «с наслаждением править». Только к маю я более-менее оторвалась от этого процесса. Майскую встречу Коваль назначил в редакции. Сказка не годилась для детского журнала. «Ну и ладно», — подумала я. В июне я написала еще одну сказку, даже интересней прежней. «Сомневаясь, промеряя варианты», я представляла себе, как читаю ее в мастерской.

Потом настало 2 августа. Днем я собиралась ехать с дачи в Москву. На садовой дорожке меня вдруг «нагнала» «Проза»: «Пора попрощаться мне с вами, любители выпить всерьез...» — услышала я у себя в голове. Я обрадовалась — очень люблю эту песню. И всю дорогу до Москвы, и в Москве я то пела ее про себя, то напевала вслух. Пока не узнала...

А все равно, хорошая штука — позитивное ожидание!

Цветение квинконса

— Немедленно брось!

На вопрос: «Как ты живешь?» я сообщила Ковалю, что начала заниматься астрологией, и услышала:

_Немедленно брось!

—Не могу.

—Уже не можешь, — кивнул Коваль.

Ему тоже все это интересно, сказал он, но он боится, что астрология затмит собой литературу. Так Коваль с самого начала определил свое отношение к делу.

Конец века — время, когда «белые вороны» собираются в стаи. В начале 90-х годов двадцатого столетия тот, кто не ходил к экстрасенсам, не читал Блаватскую и не гадал по руке, — тот штудировал астрологию. Из-за рубежа потянулись к нам тамошние «белые вороны» — обучать и поддерживать здешних. Стая любителей астрологии носилась по Москве — из клуба в клуб, с лекции на лекцию. В этой стае носилась и я.

Коваль принимал это,

— Вот я — старый писатель и художник, — говорил он. — Ты — начинающий писатель и астролог...

Услышав от меня, что у него «очень сложный гороскоп», Коваль остался доволен.

Но когда я совсем перестала читать на семинарах сказки, астрология моя начала его раздражать. Возможно, он действительно решил, что все дело в ней.

Я пошла работать в редакцию ньюэйджевского журнала «Урания», где редактировала, переводила с английского, а иногда и сама писала астрологические статьи. Коваль не стал комментировать мой поступок, но я и так знала, что это ему не нравится.

— Я не хочу, чтобы ты работала, — сказал он мне как-то- — Тебе нужно писать сказки.

—А деньги?

—Ну... может быть, муж...

Я не писала сказок, но перевела книгу по астрологии. Текст был хорош — образный, умный, интересный, посвященный не столько специальным вопросам, сколько истории культуры. И я принесла книжку на семинар: дарить «нашим» — и Ковалю. Но это была не та книжка.

Он ее, впрочем, раскрыл.

—«Квин-кон-кс»? — прочитал он. — Что такое — квин-кон-кс?

— Квинконс — угол между планетами, в 150 градусов...

—Нет! — перебил он, закрывая книгу. — Квинконс — это цветок!

Этот угол некоторые астрологи называют еще несоединением. В тот год у нас был полный квинконс. Наконец дело зашло совсем уж далеко: я сказала, что астрология выше литературы.

Ничего плохого я в виду не имела. Я имела в виду, что астрология — способ мировосприятия. Что она охватывает все стороны человеческой жизни, а значит, и литературу тоже. Все это я имела в виду, но сказала то, что сказала.

Коваль между тем звонил, чтобы назначить очередное занятие.

В тот раз в мастерскую пришел Ваня Овчинников. «Ваней» и «своим» он стал для нас потом, а тогда мы мало что о нем знали. «Мой друг Иван Михайлович Овчинников», — представлял его Коваль — и всё. Ваня был человеком с широкой эрудицией и азартным спорщиком. Он появлялся не каждый раз, изредка что-нибудь читал, а чаще,

дождавшись неофициальной части, рассуждал с Ковалем о литературе.

Как подвел Коваль разговор к этой теме — не помню, но он объявил:

_ Наташа сказала недавно, что астрология выше литературы.

— Вот я так скажу, — поднял руку Ваня Овчинников. — Такого зодиака, которым пользуются астрологи, в природе не существует. Это подтвердит любой астроном...

Я еще не знала того исторического анекдота про Ньютона, с помощью которого удобно возражать оппонентам астрологии. Рассказывают, что Галлей (открывший комету Галлея) стал однажды упрекать Ньютона в том, что он увлекается астрологией. На что Ньютон ответил: «Я изучал этот вопрос, мистер Галлей, а вы нет!» Я пустилась в объяснения. Да, в том зодиаке, о котором говорят астрономы, знаки разной протяженности и не переходят один в другой, их разделяют некоторые космические расстояния. А у астрологов зодиак условный — круг, разделенный на двенадцать равных частей. Тем не менее, он прекрасно «работает». Его придумал Птолемей... Но даже Ньютон не смог бы, наверное, переубедить Ваню, когда он брался отстаивать какую-либо мысль. Ваня гнул свое, напирая на то, что доводы астрологов не имеют под собой никаких оснований. Его поддержал Торопцев. Я раздражалась. Коваль молча наблюдал. В какой-то момент он прекратил спор.

Несколько лет спустя Ваня признался, что в тот раз мэтр специально позвал его на семинар и велел ругать астрологию.

Но как-то на очередной нашей встрече Коваль вдруг спел песню, которую ни разу не пел нам прежде, — песню из фильма «Недопёсок»:

Снова холода, холода
Нам Полярная приносит звезда.
И выплыли из мрака
Все знаки зодиака,
Которые с нами всегда.

Может, это и совпадение, но мне нравится думать, что пел он для меня.

Перед отъездом в деревню Коваль неожиданно позвонил попрощаться.

—Значит, «Урания» ? — начал он.

—«Урания», — подтвердила я.

—Знаешь, что я тебе скажу?

—Да знаю...

— Я тебе так скажу, — продолжил он, — через это тоже надо пройти!

Он, как всегда, оказался прав: года через три я ушла из редакции «в свободный полет».

Как только я более-менее научилась рассчитывать гороскопы при неизвестном времени рождения, я рассчитала Ковальский гороскоп.

В гороскопе Коваля бушевал первый закон марксистской диалектики — единство и борьба противоположностей. Например, большую роль в нем играли два знака, расположенные на зодиакальном круге друг напротив друга — в оп-
позиции: Водолей и Лев. Существенный перевес был все же на стороне Водолея. Различаются эти знаки, в частности, своими «политическими пристрастиями»: Лев символизирует единоличную власть, абсолютную монархию, а Водолей — демократию. Наши занятия проходили в полном соответствии с этой оппозицией, которую Коваль блистательно в себе примирял: он царил в мастерской, но был при этом абсолютно демократичен. Глядя в его гороскоп, я вдруг поняла, как надо к Ковалю обращаться: «Ваше Водолейство!»

Надо сказать, что с обращением к Ковалю у меня назрела к тому времени некоторая проблема. Слова «Юрийосич» маловато было для того образа Коваля, который я себе нарисовала. Обращение «Учитель» описывало, конечно, наши с ним отношения, но отдавало восточными оккультными практиками. Не обращаться же к нему, как к Суеру — «сэр»! Раз Коваль даже предложил звать его Юрой, но к этому я и вовсе оказалась не готова. И тут само собой придумалось это «Ваше Водолейство». Оставалось только выяснить, как к нему отнесется Коваль. Случай представился не сразу... Наш литературный мэтр назначил очередное занятие и накануне позвонил уточнить, собирается ли народ на семинар.

—Наташк, ну что — семинар-то будем проводить? Я поняла, что пора:

—Ну, если Ваше Водолейство не передумало... Секунду Коваль молчал, потом осторожно, как-то даже
крадучись, ответил:

—Мое Водолейство не передумало.

С тех пор он откликался на «Ваше Водолейство», хотя на семинарах я, конечно, обращалась к нему «как положено» по имени-отчеству.

Коваль был «образцовым» Водолеем, и мне нравилось подмечать разные хрестоматийные водолейские черты в его прозе, в нем самом и в окружавшем его пространстве. Почти всякий раз, когда я шла вдоль Яузы к мастерской, у берега стоял катерок-буксир подназванием «Уран». Это и само по себе замечательно, но самое замечательное то, что в астрологии, где каждый знак зодиака имеет планету-управителя, Уран считается управителем Водолея.

На сороковины мы с ребятами ушли из мастерской пораньше: хотелось погоревать своей компанией. У ступенек, ведущих к воде, стоял, как обычно, «Уран». При нем оказались капитан и еще какой-то дядька — должно быть, местный «механик Семенов». Завидев плавсредство, Торопцев кинулся на лестницу и стал настойчиво звать нас прокатиться. Мы замахали на него руками: с ума сошел — до вод-ныхли сейчас прогулок! «Я плачу!» — закричал Торопцев, вручая капитану купюру. И со всей своей пассионарностью загнал нас на корабль. Катерок отчалил, прошел мимо мастерской, а потом развернулся и понес нас к Москве-реке.

Там, где Серебряническая набережная закончилась, нам навстречу из-под моста выползла баржа. Ее толкал буксир по имени «Юпитер».

Ваня Овчинников

Кроме тех людей, которые занимались в семинаре постоянно, в мастерскую приходили гости. Некоторых приглашал Коваль. В их числе был его друг Иван Михайлович. Ваня уверял, что Коваль дал ему задание всех ругать. Мэтр надеялся, что это взбодрит нас, а то мы слишком уж разнежились в его «гравитационных объятьях». Кроме Коваля Ваня признавал право на гениальность только за Даниилом Заточником. Еще хвалил Мельникова-Печерского. Ко всем остальным признанным мастерам слова относился в лучшем случае снисходительно.

То, что Ваня — друг Коваля, не вызывало никаких вопросов ни у кого, кроме самого Вани. К Ковалю он относился так трепетно, что считать себя другом ему казалось нескромным. Он даже долго не мог решиться, как он сам говорил мне, называть Коваля Юрой и на ты. Лишь когда Коваля не стало, и другие его друзья рассказали Ване, что Коваль отзывался о нем как о друге, Ваня наконец уверовал, что имеет право на этот статус.

Пока мы занимались в мастерской, он хоть и сидел среди нас, но был как бы при Ковале. На сороковой день Ваня подошел ко мне обменяться телефонами и попросил позвать его, если мы будем еще собираться. Первый год мы скитались. Ваня скитался вместе с нами, а 9 февраля, в Ковальский день рождения, позвал нас в гости. Потом Володя Майоров и его жена Лера приютили семинар у себя дома в Оружейном переулке. К тому времени уже казалось, что Ваня был с нами всегда.

Под влиянием Коваля Ваня «предался писанию проз». На последнем нашем занятии, в мае 1995 года, он прочитал сказку, которая вызвала у Киры Николаевны деловой интерес. Но в нас он искал не только литературную среду. Ваня был человеком, глубоко облученным Ковалем. О Ковале ему постоянно хотелось говорить. Ион нуждался в круге людей, на которых лежал отсвет Коваля.

Ковалю нравились странные люди, и Ваню обыкновенным не назовешь. Далеко не каждый человек способен отличить одного комара от другого, а для Вани как энтомолога это не составляло труда: с одного взгляда он определил, что мне на руку сел не кто-нибудь, а «комарик снежный». Еще в советское время Ваня практиковал йогу. Он рассказывал мне, что участвовал в показательных выступлениях йогов — в каких-то клубах, что буквально лежал на гвоздях и ходил по битому стеклу, а однажды чуть было не впал в нирвану. По стеклу Ваня при нас не ходил, а на голове стоял.

Только высокая температура могла не пустить Ваню на вечер к Володе Майорову. К этим вечерам он готовился: старался что-нибудь написать. Чаще всего он читал нам отрывки из будущей книги воспоминаний о Ковале. Это были короткие главки, написанные на отдельных листах от руки, с исправлениями, так что сам автор иной раз путался в тексте. Но текст раз от раза становился все лучше, и Ваня мечтал издаваться.

Всякий раз наш последний тост был — «За Коваля!» И если мы, спохватившись, что поздно, слишком поспешно поднимались из-за стола, Ваня напоминал:

— А за Коваля мы еще не пили!

И при каждом удобном случае говорил:

_А вот Коваль...

Во мне Ваня чувствовал человека, тоже хватившего большую «дозу радиации». Каждый год 1 августа он звонил и спрашивал:

— Ты поедешь завтра?

И мы ехали в Лианозово — иногда с «нашими», а иногда вдвоем — и по дороге говорили о Ковале.

— Вот... я точно знаю, что уже ничего столь значительного в моей жизни больше не будет! — повторял Ваня.

Ваня попал под машину в ночь на пятницу, 13-е число. По странному стечению обстоятельств он похоронен в Переделкине. Но, что еще более странно, рукописи воспоминаний нигде не оказалось — сохранились только отдельные листочки.

Какое-то время мы утешали себя тем, что уж *там-то* Ваня наверняка встретился с Ковалем.

Ваня подарил мне фотографию письменного стола, за которым Коваль работал дома. Фотография была завернута в листок бумаги с написанным от руки текстом — в отрывочек воспоминаний:

«Этот стол Юрий Иосифович Коваль купил, когда жил еще в Сокольниках, и с тех пор возил с квартиры на квартиру. Сидя за ним, написал он многие свои вещи. Такого стола я больше ни у кого не видел. С одной стороны, это был стол как стол, а с другой — две книжные полки на ножках. Но, конечно, это был не уникальный стол; может, поискать по старым квартирам — найдешь такой же. Совершенно уникальны и потрясающи были книги, стоявшие на полках. Таких нельзя найти больше нигде. Почти все они были подарены Ковалю авторами. „Дорогому, милому Юре Ковалю — с любовью, с надеждой на его счастье, новые книги, с верой в его прекрасное дарование. А Тарковский". „Юре — дружески в память о нашем знакомстве и дружбе, думаю... фазиль". „Юмористу, лирику и, может быть, трагику Юрию Ковалю с любовью к его таланту. Ф. Кривин". Встречались и такие надписи: „В память о моем посещении в октябре Вашей бани. Вологда, 1979". И даже такие: „Юра! Если б я не забыл у тебя на столе мормышки, этот экземпляр попал бы в другое место". С некоторым трепетом поглядывал я на стоявший там Новый Завет и нерешался его раскрыть, надеясь и боясь увидеть на нем надпись на древнегреческом или даже на арамейском: „Юрию Ковалю от Иоанна Богослова"».

Ноябрь 2007года

Иван Овчинников

Вообще никак

В лучшей из прочтенных мною книг — «Самой легкой лодке в мире» — вот так описывается уха:

> *«Из прибрежных кустов налетел комар, закрутился над ведром. Пар, пропитанный каплями окуня, вкусный пар, густой, как кучевые облака, обволок наши лбы, прочистил мысли ... „В жизни все так сложно, — размышлял я, — все непонятно. Но пора отведать ухи!" Под корнями высоких сосен мы сидим вокруг ведра с горячей дымящейся ухою. Мы не размахиваем ложками, не набрасываемся сразу на уху. Мы знаем, что она должна чуть поостыть, мы внимаем ее аромату. Невозможно сказать — „мы нюхаем уху", мы дышим ею».*

Всё. Ни строчки больше из этого, безусловно, лучшего в мировой литературе описания ухи (доставайте книгу, читайте дальше сами). Нет, не удержусь, приведу еще одну фразу:

> *«Хорошую уху надо есть так, как писали стихи древние эллины. Хорошую уху надо есть гекзаметром!»*

Так сказать об ухе мог только один человек в мире — писатель Юрий Коваль.

Почти на всех книгах Коваля стоит: «для младшего возраста», а если для старшего, то «для дошкольного». А ведь я услышал впервые его имя, когда мне было 27 лет. С женой Галей возвращались мы со Звенигородской биостанции ранней весной 1979 года. В электричке к нам подсел звенигородский человек Колька Формозов. На лавку поставил он рюкзак и вынул оттуда книжку в голубовато-белой обложке. Еще не начав читать, он уже трясся от смеха, а с первой страницы, с невыдачи бедной Прасковьюшке премии, присоединилась к нему и Галя. *Я* держался дольше. «Что за „Недопёсок", — думалось мне. — Еще какие-нибудь „Сто лет одиночества" (тогда все зачитывались Маркесом)».

Не помню точно, когда развеялось мое недоверие. Может быть, вместе с дымом от выстрела обормота Ноздрачева. Но помню, что окончательно покорила меня глава под названием «Верея», звездный охотник Орион и колдовские слова «гайки не забудь затянуть», вдруг сделавшие физически ощутимым прозрачный холодный воздух последней барсучьей ночи.

Короче, к станции Малые Вяземы я уже был пронзен насквозь прозой Юрия Коваля, а к Филям окончательно понял, что не будет мне покоя, пока я не прочитаю и не достану все его книги (надо сказать, достал я почти все, нет у меня только «Стеклянного пруда», обменяюсь, отдам за него что хотите!). Но думал ли я, рыская по букинистическим магазинам и книжным толкучкам, что Коваль станет моим другом, и придет день, когда я буду угощать его ухой!..

В тот день с раннего утра суетился я на кухне, готовил угощенья помимо ухи и все повторял домашним: «Да ведь это все равно что Пушкин к нам в гости придет!»

И вот звонок в дверь. Прихожую заполняет громоздкий Юрий Иосифович, а с ним жена Наташа и сын Алеша (тогда ему было четыре года). Уже в прихожей, снимая куртку, Коваль стал рассказывать: Алеша спросил, куда они едут. «К Ване!» — был ему ответ. «А как его фамилия?» — « Овчинников». Алеша не расслышал и страшно удивился: «Вообще никак?» Коваль рассказал эту историю со смехом, а я не знал, смеяться мне или обижаться. Конечно, всякое было в моей жизни. Называли меня и «Апчхинниковым», а в детстве и вовсе дразнили «полушубком». Но чтобы «вообще никак» ? Не то, что я очень гордился своей фамилией, но

все же дедушка мой, Павел Иванович, участник Первой мировой, георгиевский кавалер, гремел по большим сибирским рекам Лене и Алдану как первый лоцман пароходства.

«Ладно, — думалось мне, — отведаете моей ухи, тогда узнаете „вообще никак"».

А Коваль ходил по моей квартире. Он и раньше бывал у нас, но как-то быстро уезжал. А теперь он мог хорошенько рассмотреть книги и наши растения, Ковалю нравились их названия. «Хамедорея», «кодеум», — выговаривал он так, будто пробовал эти слова на зуб.

Но пора было садиться к столу. Перед ухой была еще и закуска. Я не знаю, играл ли Коваль в карты или в шахматы, но одна игра у него была. Он мог вдруг указать на пробегающего по стене таракана, и надо было проявить свое знание литературы, перечислить стихи, сказки, романы, в которых бы тараканы упоминались. Например: «Таракан, таракан, таракашечка, жидконогая козявочка, букашечка» — это из сказки Корнея Чуковского. Или: «Жил на свете таракан, таракан от детства» — а это из романа Федора Достоевского. Сегодня Коваль остановился на сыре. Я победил в игре, Юрий Иосифович застрял на Козьме Пруткове — «Вы любите ли сыр?». А я вспомнил и кусочек сыру, что снился бедному Бенджамину Ганну на острове сокровищ, и сыр «добрый квартермистр» из «Игроков», и даже библейский «сыр племен», что был даден царю Давиду.

Вот вам и «вообще никак», торжествовал я, а ведь впереди была еще и уха. Уху я готовил по всем правилам, вычитанным у знаменитого историка кухни Похлебкина. В янтарном бульоне плавали куски осетрины. На нее я возлагал особые надежды. Дело в том, что после ухи я собирался подсунуть Ковалю две-три свои сказки. Никогда до этого я не осмеливался, кроме как на семинаре, докучать ему своим творчеством. Обычно мы с ним говорили о вещах вечных — о жизни и смерти, а если о литературе, то о мировой. Задобренный осетриной, казалось мне, Коваль снисходительней отнесется к моим опусам. Да только где мне было угодить такому мастеру, как Коваль! Уж он-то готовил уху не по книжным рецептам! Конечно, будучи у меня в гостях, Юрий Иосифович из вежливости мог бы похвалить мою стряпню. Но никогда на моей памяти писатель и уховар Юрий Коваль не хвалил никого из вежливости, зря, касалось ли это литературы или ухи.

Сидя за столом, в тот день чувствовал я себя вообще никак. К счастью на столе были соленые грибы чернушки, которые привели Коваля в восторг.

— Эх, Ваня, — говорил он, — если бы ты сказки писал, как солишь грибы!

А по-честному надо вам сказать, грибы солила жена моя Галя.

Опубликовано в книге: Иван Овчинников «Вообще никак» (самиздат)

Фрагменты воспоминаний

Давно ли я мечтал увидеть Коваля хотя бы на сцене, где-нибудь в Центральном доме детей железнодорожников...

И вот он, Коваль, сидит за рулем автомобиля, а я пристроился на заднем сидении, смотрю в его спину и по сторонам, конечно. А по сторонам мелькают поля, леса, перелески, дивный город Сергиев Посад и другие населенные пункты.

Почти перед каждым из них на столбах висят указатели с названием. К примеру, «д. Волковойня 0,5 км». А одна деревня называлась «Кр. Сторожка». Коваль спросил, что, по моему мнению, означают буквы «Кр.». Наверное, он хотел проверить оригинальность моего мышления. А я растерялся и ляпнул первое, что пришло в голову:

—Красная!

—Если уж «Красная», то, скорее, «Красноармейская», — сказала Ира.

—Красноказарменная, — добавил Коваль.

Как много, оказывается, слов в русском языке начинаются с «Кр.». Версии сыпались, какиз мешка. Одна задругой у кромки кривоватого шоссе вставали кряжистые, крапленые и другие краеугольные сторожки. Я тоже вспомнил одно слово—« кроманьонская », оно оказалось не

хуже, а то и лучше других Живо представились мне пещерные стены этой сторожки, расписанные быками и мамонтами. Но я решил пока промолчать — вдруг мы опять поедем по этой дороге, и Коваль захочет еще раз проверить оригинальность и быстроту моего мышления.

* * *

> *«А где я, собственно, здешний?* — спрашивает герой повести „Самая легкая лодка в мире". — *В Москве, что ли? Вот уж нет, в Москве я совершенно нездешний, нет-нет, я не москвич, я не тамошний. Приехал сюда и опять нездешний...*»

Таким, всюду нездешним, казался мне и сам писатель Юрий Коваль. Отсюда, думал я, и его вечные странствия по нашей земле. Однажды меня попросили нарисовать карту его путешествий. Я не взялся за это дело. Вместе мы путешествовали мало, а главное, я считал, что основные его маршруты пролегают по другим, малодоступным для нас местам. Он как-то сказал: «В душе я не различаю простой одуванчик, который растет всюду, и Капеллу, которая сияет в созвездии Возничего». О звездах он писал как никто. О кровавой тусклой звезде «с таким непевучим и таким неловким, неповоротливым в наших лесах названием — Бетельгейзе», о звездном охотнике Орионе, которого Коваль особенно любил. Ему казалось, что это созвездие связано с его жизнью.

Любимым писателем Коваля был Борис Шергин. О нем написал он замечательное воспоминание. «Веселье сердечное» — единственное, что было опубликовано у Коваля при жизни в «Новом мире». Он и там был нездешний. Его считали писателем детским. Книги его не залеживались на полках, по ним ставили художественные и мультипликационные фильмы. Но у Коваля не было всеобъемлющей популярности. Я знал немало людей, которые были к творчеству Коваля равнодушны. Наверное, и в его читателях должна быть какая-то нездешность.

Я, повторю, мало путешествовал с Ковалем. Но он сказал как-то: «И потом скитаться можно... Я вот сейчас выйду из мастерской и пойду за бутылкой водки — это может быть скитанием. Дело не в том, сколько ты прошел, а в том, сколько пережил за отрезок пути...»

В тот день мы с Юрием Иосифовичем Ковалем стояли в районе метро Таганская. Путь наш сюда от мастерской был тернист и долог. Он почти завершился уже. В руках у нас оставалась только бутылка водки, в которой плескалось еще граммов триста пятьдесят. Пить нам не хотелось. Обычно в жизни бывает по-другому. Хочется выпить, а водки нет.

— Ваня, выручай, — говорил Коваль. Я предпринял очередное героическое усилие. Но в бутылке еще оставалось граммов двести. Проблема, выросшая перед нами, была почти неразрешима. Конечно, можно было вылить водку, выбросить бутылку, но это вопиюще шло вразрез со всей этикой и всемирным братством пьяных (слегка) людей.

Мы подошли к высокому забору, воздвигнутому вокруг «Николы у Таганских ворот». Тогда многие храмы Москвы окружали заборы. Слава богу, для того чтобы восстановить их, а не разрушить. Мы решительно не знали, что нам делать.

Нельзя нам было больше пить! Вдруг из дыры в заборе вылез странный человек. Небольшого роста, без бороды и слегка лысоватый. Он подошел к какой-то торчащей из-под земли водопроводной трубе, из которой хлестала вода. В руках его появился стакан. Человек пил воду.

— Послушайте, — обратился к нему Коваль. — Извините нас, ради бога! Но... Не хотите ли вы выпить?

Человек ничуть не удивился, подставил стакан под нашу водку, выпил, поблагодарил и ушел обратно в свою дыру. Довольные, шли мы к метро.

— А знаешь, Ваня, — сказал Коваль, — ведь это был Николай Угодник...

* * *

О прозе Коваля написано уже довольно много. Пожалуй, высшую точку в ее оценке поставил Фазиль Искандер. «Необыкновенный юмор, совершенно своеобразный, вызывающий то улыбку, то хохот. Я бы сказал, что его юмор — это правда, не требующая никаких доказательств». Впрочем, юмор такого уровня свойствен не одному Ковалю. Ильф и Петров, Леонид Соловьев, сам Искандер... Он назвал Коваля самым легким писателем нашей страны. «Эта легкость, как высокое очень качество, отчасти, я даже бы сказал, — пушкинское качество». Что можно сказать против этих слов, тем более в двухсотлетний пушкинский юбилей?

Современный русский литературный язык создал, конечно, Пушкин. Но русская литература началась за восемьсот лет до рождения Пушкина, со « Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона. Коваль любил Лескова и Шергина. А истинные его предтечи, по моему глубокому убеждению, были еще домонгольские авторы, такие как Климент Смолятич, «книжник и философ, каких в русской земле не бывало», или Даниил Заточник, создавший самое личностное произведение во всей русской литературе домонгольского периода Причем древнерусскую литературу Коваль не изучал глубоко, только в институте проходил, но от каждой строчки, написанной в древней Руси, почти от каждой строчки приходил в восторг.

Старостой литературного семинара, который вел Коваль, была Наташа Ермильченко, настоящий астролог, редактор астрологического журнала «Урания». Она не раз пыталась обратить Коваля в свою веру. Он уж было склонился, но спросил, что я думаю по этому вопросу. Я ответил словами Максима Грека: «Лже глаголет астроложье неистовство!» Вопрос был исчерпан.

Можно было и закончить на этом, но я не удержусь и приведу еще одну цитату. Это поучение митрополита новгородского Моисея Юрий Коваль особенно любил и много раз просил меня его вспомнить.

> *«Насколько больше нас кони, насколько быстрее нас пес, нойте, как видим, пренебрегают обжорством. Хоть не раз понукаемы будут, не примут сверх меры. Неужели коней тех мы хуже? Если видим — скотина завязла, не проходим мимо, а видим друга постоянно в шатанье, то только смеемся...»*

Татьяна Шорыгина

Юрий Коваль - мой литературный наставник

«Интересно только чудо...» — когда-то писал знаменитый детский писатель Даниил Хармс. Ожидание чуда составляет содержание и смысл человеческой жизни. Чудо каждый представляет по-своему. Для одного оно в том, чтобы написать гениальную книгу, для другого — в том, чтобы прославиться и разбогатеть. Для меня чудо — встреча с необычайным человеком! Таким чудом, которое я неосознанно ждала долгие годы, стала встреча и дружба с писателем Юрием Ковалем.

Однажды, приехав в издательство «Молодая гвардия», в редакцию одного серьезного журнала, я не застала редактора отдела поэзии и в раздумье шла по коридору. В многоэтажном здании издательства размещались редакции многих детских и взрослых журналов, и я придумывала, куда бы зайти со своими новыми стихами. Прямо перед собой увидела табличку с надписью «Мурзилка». И я рискнула зайти в редакцию этого журнала, хотя специально стихотворений для детей не писала, но было у меня много стихов-зарисовок о травах, цветах, «братьях наших меньших», — пришедших из моего подмосковного детства.

Ирина Семеновна Зарахович, ответственный секретарь «Мурзилки», встретила меня любезно и доброжелательно. А те стихи, которые я ей прочла, вызвали ее одобрение. Она сразу же пригласила меня принять участие в литературном семинаре, который журнал, заинтересованный в притоке свежих молодых сил, организовал несколько лет тому назад. И. С. Зарахович назвала мне имя руководителя семинара, писателя Ю. Коваля.

С его творчеством я была знакома. Замечательная книга «Самая легкая лодка в мире» долгое время была моей настольной книгой. Она покорила меня изумительно тонким проникновением в мир природы, мягким юмором, фантазией и философски мудрым отношением к жизни. Нравились мне и другие книги этого писателя.

Есть тайная ритмичность бытия, ритм каждого года — то раскрываться навстречу людям, то уходить в себя — замыкаться.

Одиночества, размышлений и уединения от «плена мира» в своей жизни было достаточно. Стихи я писала с самого детства, и вот теперь я ощущала глубокую внутреннюю потребность выйти навстречу людям. Мне не хватало творческой литературной среды с ее спорами, обсуждениями, в которых возникают новые мысли, обтачиваются строки и рождаются образы. Я чувствовала потребность общения с открытым и мудрым Учителем. Такого Учителя и друга я нашла в лице Юрия Коваля.

Когда я читала книги Коваля, я как-то не задумывалась о том, каков его физический облик. Но, увидев его впервые, я подумала, что человек, написавший «Недопёска» и «Шамайку», «Картофельную собаку» и «Чистый Дор» должен быть именно таким: мужественным, раскованным и естественным. Меня покорили его живые карие, чуть навыкате глаза, мягкие, теплые, веселые и насмешливые одновременно.

Я сразу и навсегда оказалась в плену его обаяния. С таким человеком хочется быть откровенной до конца, хочется заслужить его одобрение. Литературные семинары обычно проходили раз в месяц и продолжались три-четыре часа подряд. Это были часы, наполненные напряженной, интенсивной интеллектуальной работой.

Каждое стихотворение анализировалось очень детально, словно на невидимых весах взвешивалось каждое слово, каждый образ, каждый поворот мысли. Невольно вспоминались слова Оскара Уайльда: «Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка, нежная как музыка альта или лютни, не только краски — живые и роскошные... не только пластичные формы... у них есть и мысль, и страсть, и одухотворенность. Все это есть у одних слов!»

Юрий Коваль обладал поистине широчайшими знаниями и необыкновенным спектром интересов, его одаренность проявлялась во всем, за что бы он ни брался: в прозе, поэзии, живописи, ваянии, музыке, в педагогике. Он казался мне близким по складу личности к художникам эпохи Возрождения. Юрий Иосифович иногда рассказывал нам о звездном небе, о своем любимом созвездии Орион, и мне невольно приходили на ум слова известного астронома В. К Цераского, ректора Московской обсерватории, «вообще поэты не знают неба...»

Как он был неправ! Юрий Коваль прекрасно знал небо и не только его.

В то время я работала над новым сборником стихов «Магия природы». Многие стихи этого сборника я читала на семинаре и после занятий, снова возвращалась к ним, переделывала, уточняла, сокращала — словом, как говорил Коваль, «точила».

Помню, когда обсуждалось мое стихотворение «Медуница», Юрий Иосифович сказал, что эти цветы не любят яркого солнечного света, предпочитая прохладную лесную тень, и поэтому строчка «на солнечном склоне цветет медуница» неверна. «И не спорь со мной, — так закончил он разбор стихотворения, — я ведь старый „юный натуралист"!»

Он знал травы, цветы, деревья так, словно окончил биофак МГУ. Сколько изумительных слов, названий болотных, лесных, луговых и речных трав и цветов встречала я на страницах его книг. Таволга и вех, козья ива, розог и молочай. Как много говорили они моему сердцу!

Когда обсуждалась проза участников семинара, я слушала очень внимательно, хотя прозы я тогда почти не писала.

Вспоминаются слова Мэтра: «Глубина и объем прозы зависит от глубины вздоха». Многие высказывания Юрия Иосифовича — лаконичные, яркие, афористичные — легко запоминались и откладывались в моей памяти. Но, как гласит народная мудрость, «Сказанное слово — ветер, а записанное — век». Поэтому я решила стать летописцем семинара. Сейчас, готовя этот очерки перечитывая свои записи, я наткнулась на такую: «Писать надо о вечном и вечными словами. Ю. Коваль».

Я вспомнила, что Учитель не любил некоторые современные слова и словечки, считая, что, введенные в ткань стихотворения, они губят его. Однажды он заметил, что сочетание слов «целлофановый пакет» не поэтичное, а сугубо бытовое. Он говорил, что поэт может обойтись без таких слов, как магнитофон, антенна, инопланетяне. Юрий Иосифович обладал тончайшим языковым чутьем, его собственная живая литературная речь отличалась точностью, смелостью и лаконизмом.

Обычным рефреном его критических замечаний были слова: «Короче, короче, короче!» Над любым рассказом он советовал автору работать в сторону сжатия. Частенько он восклицал: «Здесь нужен гениальный конец! Какой? Не знаю. Это дело автора». Иногда он брал рукопись рассказа и с ходу переделывал три-четыре фразы. Они становились упругими и точными, оживали. Чувствовалась рука Мастера!

Мэтр не любил, когда в стихотворении употреблялись «драгоценные» слова — золотой, серебряный, перламутровый, алмазный, жемчужный и т. д. «Учитесь обходиться без них! Себя можешь украшать сколько хочешь, а из стихов их выброси! Слишком красиво! Пиши жестче!»

В 1992 году в издательстве «Московский рабочий» вышла моя книга «Магия природы». И я тут же приступила к работе над новым сборником «Предчувствия». Все стихи этого сборника прошли шлифовку семинара, и на титульном листе макета книги Юрий Иосифович размашисто написал: «Порыв осеннего ветра, первый снег, незамерзающий родник подвластны перу Татьяны Шорыгиной и любимы ее друзьями. Ю. Коваль».

Со временем наши встречи перекочевали из «Мурзилки» в мастерскую Ю. Коваля на Яузе. Трудно представить обстановку более благоприятную для занятий поэзией и прозой, чем эта художественная мастерская. На стенах — картины Коваля — пастелью и маслом, его удивительно выразительные эмали. Особенно мне запомнилась одна — золотисто-красный петух на ярком синем фоне. Огромный дубовый стол — «основательный, тяжелый, без резьбы и без затей», за которым для каждого находилось место.

Глубокий, окованный медью, старинный сундук. С этим сундуком связано у меня такое воспоминание. Когда вышла моя третья книга «Предчувствия», я подарила по экземпляру друзьям и Ю. Ковалю. Мэтр был тронут, подвел меня к раскрытому сундуку, доверху наполненному его живописными работами на картоне, и предложил на выбор несколько. Я выбрала «Андреевскую церковь в Киеве». Она напомнила мне недавнюю поездку в этот город, цветущие каштаны и акации и нарядную Андреевскую церковь на вершине крутого холма. Теперь эта работа Юрия Иосифовича украшает мой дом, напоминая о чудесном времени нашей дружбы.

С какого-то момента литературные встречи на Яузе стали перерастать рамки только «детского» семинара и, на мой взгляд, превратились в значительное литературное явление, напоминавшее гумилевский «Цех поэтов». Здесь читались современные, вполне «взрослые» и глубокие вещи.

Часто в моей памяти возникает дорога от Таганки до мастерской Ю. Коваля зимой или поздней осенью. Часов пять вечера, но в Москве уже совсем темно и густыми крупными хлопьями валит мокрый снег. Я иду по набережной Яузы — кругом ни души, только, обдавая грязью, мчатся машины.

В окнах невысоких старых кирпичных домов почему-то нет света. Мне становится жутковато. И помнится, какое я чувствовала облегчение, когда наконец подходила к мастерской. Окошки приветливо светились, сквозь неплотно закрытые шторы темнели силуэты друзей.

Вхожу. Друзья, расспросы, смех,
С шубейки стряхиваю снег
И слышу голос с хрипотцой,
В дверях — хозяин мастерской.
Как Дух языческий лесной.

Наши встречи в мастерской казались мне удивительными и даже несколько фантастичными. Кругом кипели бурные политические страсти, и большинство людей озабоченно занимались добыванием «хлеба насущного», а мы собирались под самодельным уютным абажуром, обсуждали отвлеченные образы, строки, слова, отрывались от грешной земли, витали в облаках, как когда-то Гомер оттачивал свои гекзаметры, не заботясь ни о чем, кроме гласных и согласных, цезур и спондеев.

Ведь сердцу несомненно легче
Мечтать и размышлять о вечном.

После того как заканчивался разбор стихов и рассказов, мы немного расслаблялись, начинался интересный разговор. Говорили о литературных новинках, о планах на будущее.

Я особенно любила тот момент, когда в руках Юрия Иосифовича появлялась гитара. У него был красивый мужественный голос. Пел он изумительно артистично. Мне нравился «Сундук», его песенка для мультфильма. Слова своих песен Коваль писал сам, очень остроумные и колоритные. Однажды он раскрыл сборник моих стихов и спросил: «Ну, что тебе спеть?» Я попросила «В старом саду». Как удивительно ожило и зазвучало это стихотворение в исполнении Коваля!

Иногда Юрий Иосифович читал нам и свои новые вещи. Помню главы из романа «Суер-Выер». Читал он мастерски: выразительно, пластично. Сразу становилось как-то неловко за свои стихи — еще далекие от совершенства. Эти чтения сделались для меня истинным праздником. Каждый раз думалось: «Какое счастье, что такой многогранный, могучий человек — мой учитель!»

Могла ли я представить, что майский семинар 1995 года станет моей последней встречей с Ю. Ковалем. Был очень жаркий, душный день. На этот раз мы собрались в «Мурзилке». В раскрытые настежь окна врывались порывы ветра и шуршали шелковыми шторами, то надувая их, как паруса, то утаскивая за собой наружу. Когда открывалась дверь, со стола слетали листки рукописей.

Коваль, предпочитавший темные тона в одежде, на этот раз пришел в светлой рубашке и казался нарядным и помолодевшим. Как всегда, началось чтение. Новых стихов у меня накопилось много, хотелось прочесть все. Но я помнила слова Юрия Иосифовича, что даже хорошие стихи трудно воспринимать на слух, если их больше пяти. Последним я прочла стихотворение «Я знаю, что умру в апреле». Перед этим я долго болела, и меня преследовали мысли о смерти.

Приведу это стихотворение полностью:

Я знаю, что умру в апреле,
Когда проклюнется листва.
Склонится врач к моей постели
И скажет с горечью: «Мертва!..»
В садах запахнет тонко дымом,
Польется звон колоколов
Пасхальный, светлый, и незримо
Душа покинет отчий кров.
И в край небесный возвращаясь,
Она блуждает девять дней
Вблизи земли, навек прощаясь
С тем, что любимо было ей.
Она скользит неуловимо,
Почти не сдерживая слез,
Над изумрудной луговиной,
Над белой стайкою берез.
И загрустит о бренном теле
Моя бессмертная душа:
«Да, трудно умирать в апреле,
Когда земля так хороша!»

Как всегда, мои стихи вызвали споры, а по поводу этого стихотворения Юрий Иосифович заметил: «Зачем ты пишешь о смерти? Я о ней никогда не писал и не буду. Даже думать о смерти не хочу».

Я ответила, что не задумываюсь над тем, о чем писать. Темы стихов подбрасывает сама жизнь. По дороге домой я обдумывала наш разговор, и мне пришли в голову такие строки:

Не стану размышлять, о нем писать.
За мудрою наставницей своею,
За жизнью буду следовать смелее
И всюду находить ее печать.
Придумывать не надо ничего.
Она любой фантазии богаче,
Одновременно дразнит, шутит, плачет,
Пугает смертью, радует удачей,
Не открывая замысла всего...

Когда закончилось обсуждение наших работ, Юрий Иосифович прочел свой блестящий перевод с японского сказки о белой кошечке, перевод изящный и совершенный по форме.

Встреча, как обычно, завершилась чаепитием, все были в приподнятом настроении, ведь впереди нас ждали лето, отдых, возможность убежать из Москвы на природу. Долго не могли расстаться, желали друг другу творческих удач.

Известие о смерти Юрия Иосифовича застало меня на даче под Москвой. Я была потрясена его безвременной и трагической смертью, сразу же стало ясно, что большой кусок моей жизни оторвался и рухнул в бездну.

Опубликовано в газете «Мир печати», № 12,1996, с 14—15

Марк Шварц

Тумбочки от Коваля

Семинар в «Мурзилке»

Появившись на семинаре детских писателей при «Мурзилке», я быстро завоевал признание как телефонист и электрик «Дорогому другу и ученику Марку Шварцу, с которым у нас пока нет телефонной связи, зато есть сердечная» — так подписал мне «Шамайку» Юрий Иосифович в 1993 году. Вскоре наши занятия стали проходить на берегу Яузы, в мастерской. Там висели картины, стояли скульптуры Коваля. Одна из работ изображала Иону в брюхе кита. И вот, на день рожденья Коваля, его увеселенья для я сочинил песню:

Музыка — «Мурка»
Слова Марка
Песенка Ионы-контрабандиста

Зачем мне ванты, юты,
Бушприты, мачты, реи,
С бом-брамселем на гроте суета?
Отличную каюту я завсегда имею
Внутри отдельно взятого кита.

В ките мои товары,
В ките мои доллары.
Фонтан я клал на судей и закон!
От имени народу Китовую свободу
Блюдет организация ООН!

Над морем крачка крачет,
А мать по сыну плачет,
Зачем сынок из моря не пришел?
Лети, скажи старухе,
Что яу рыбы в брюхе,
И мне у рыбы в брюхе хорошо!

Тумбочки от Коваля

Первая тумбочка досталась мне еще до переезда Коваля. Ремонтируя ему какую-то розетку, я услышал следующий монолог:

—Ты не знаешь, мебель никому не нужна? — Я пожал плечами. — Дешево отдам! Я, к сожалению, такой непрактичный. Ничего не могу продать.

У меня к этому времени была комната в коммуналке на четверых. Я ответил, что ни места, ни денег на мебель у меня нет.

—А денег и не нужно, — радостно заявил Коваль. — Это моя любимая тумбочка для рукописей. Мне тяжело с ней расставаться, но пусть она поживет у тебя! Это не будет костюм от Версаче, но это будет тумбочка от Коваля!

Во время переезда оказалось, что еще две тумбочки не помещаются в новой квартире.

—Они тебе очень понравятся! — заявилМэтр. — А если у тебя в комнате нет места, поставь их на ту первую. Получится настоящий шкаф!

Розыгрыш

Уже на новой квартире у Юрия Иосифовича отказал старый холодильник Надо было чистить контакты пускового реле. *Я* спросил, нет ли у хозяина большой отвертки. Коваль только-только переехал и никак не мог вспомнить, где у него лежат инструменты.

—Это можно легко поправить! — вдохновенно начал он. — У меня тут рядом живет знакомый парнишка, у него отвертка есть. Ты позвони от моего имени, скажи — срочно тащи отвертку к Юрию Иосифовичу! А не захочет, скажи — по шее дам! А зовут его — Яшка. Ты скажи сразу: Яшка, тащи отвертку! Он спросит — куда? А ты скажи: к Юрию Иосифовичу на новую квартиру!

Я набираю номер. Из трубки слышится царственный баритон Якова Лазаревича Акима. Коваль отвернулся, но спина напряжена. Ждет.

—Добрый вечер, Яков Лазаревич. С вами хочет поговорить Юрий Иосифович.

—Какой Юрий Иосифович?

—Юрий Иосифович Коваль.

—Юрка, что ли? Ну давай, чего там у него...

Сентябрь 2007 года

Юлий Файт

Листобой

Мне поразительно везло на пишущих Юриев. Готовясь к дипломной работе, я набрел на тоненький дешевенький сборник рассказов «На полустанке». Это была первая книга в то время мало кому известного замечательного писателя, наследника великой русской литературы XIX века, тонкого стилиста, глубоко проникающего в современные человеческие характеры и жизненные ситуации, — Юрия Павловича Казакова.

Мы сделали три попытки протолкнуть на студию сценарии по его рассказам — безрезультатно. Их рубили также, как в журналах его лучшие рассказы.

Редактором моей дипломной работы (по сценарию Геннадия Шпаликова) стал другой замечательно пишущий Юрий — Юрий Валентинович Трифонов. Впоследствии мы не раз пытались что-то затеять и с ним — не удалось.

Первую полнометражную картину я снял по сценарию Юрия Марковича Нагибина. В то время один из «ведущих», действительно крупный мастер, очень интересный и, я бы сказал, разнообразный человек был ко мне, молодому, снисходителен.

И наконец, Юрий Иосифович Коваль. Повстречавшись впервые в конце 50-х годов в мастерской скульпторов Лем-порта, Сидура и Силиса, что в Хамовниках, мы с Юрой дру жили много лет, хотя и путешествовали и по земле, и по жизни разными дорогами.

Я снял фильм «Пограничный пес Алый» по его обаятельным рассказам-очеркам, он писал и сам исполнял песни для моих фильмов, сам снялся в небольшой роли в «Марке страны Гонделупы», где прекрасно спел свой романс дуэтом с Ией Саввиной.

Когда снимали «Зеленый остров», он пришел на ипподром во время Большого приза, поставил и выиграл (не без нашей подсказки). Мы славно отметили выигрыш в ресторане «Бега». По окончании вечера, уже в мастерской на Яузе, я получил в подарок книгу с дарственной надписью:

Хотя я выиграл 7.40,
А ты какой-то сущий вздор,
Но все ж ты выиграл рупь сорок,
Мою любовь и «Чистый Дор».

Дорогая память

Много лет назад я написал сценарий, вобравший в себя часть «изысканной, божественной» прозы Коваля. Юра прошелся по нему рукою мастера... Осуществить замысел пока не удалось.

Ни с одним из писателей-Юриев, кроме Коваля, не складывалось у меня никаких сердечных, товарищеских отношений. Хотя сказать, что я знаю Коваля — не решусь. Да вряд ли и кто другой, из тех, кто был ближе, посмеет утверждать это.

Коваль — тайна.

И еще несколько слов о работе Коваля в кино. Ведь кино — это всегда «на заказ». я слышал мнение, что Юра не любил и не очень умел воплощать заказную работу. Редко, но бывало, что он вымучивал порученное ему, с трудом доводил дело до конца, если не бросал. Так, например, было с песней о границе в фильме «Пограничный пес Алый». Но и тут он нашел формулу, приведшую в восторг консультантов:

«Стоит на границе солдат. Ни шагу вперед, ни шагу назад».

«Это же наше кредо!» — кричали генералы и полковники погранвойск КГБ. Эту песню Юра никогда не пел друзьям.

Но если в заказе находились мотивы, близкие ему, если заказчик (в данном случае режиссер) достаточно точно определял задание и в то же время давал свободу, — Юра писал уже «от себя», и тогда была удача И тогда уже никто не мог исполнить его песню лучше него самого. Поверьте, это опробовано.

С кино Коваль был связан с юности. Он снимался, писал песни, писал сценарии по своим и чужим произведениям. К сожалению, киноискусство коллективное, и творчество любого из участников обязательно подвергается влиянию соавторов режиссера, оператора, актеров. Великие повести Коваля «Недопёсок», «Пять похищенных монахов», рассказы из сборника «Алый», превращаясь в кинофильмы, становились поневоле произведениями не только Коваля.

Зрителю навязывается зрительное и слуховое овеществление слова автора. А слово Коваля уникально и неповторимо, пробуждает в каждой читателе воображение, рождает свой образ, видимый и слышимый.

Большой художник — всегда единственный в своем роде. И стоит он пред миром — один. Я представляю Юру сидящим на крыльце избы на Цыпиной горе. В Вологодской области, недалеко от дивного Ферапонтова монастыря, где нежно светятся фрески Дионисия, есть такая Цыпина гора. На ее склоне — маленькая деревушка.

Много я путешествовал по стране, бывал в пустыне и в тундре, в тайге и на высокогорье, но ничего душевнее видеть не приходилось. Сдержанная мощь и нежность.

Рядом с огромным серым валуном — тоненькая рябинка с горящими гроздьями, а под горой, до горизонта, уходя в синюю дымку, — темный ковер леса с проблесками маленьких озер. И где-то здесь, рядом — Юра Коваль.

Есть у него микрорассказ «Кувшин с листобоем».

> *«Ночью задул листовой — холодный октябрьский ветер. Он пришел с севера, из тундры, уже прихваченной льдом, с берегов Печоры.*
>
> *Сырой землей, опятами, дымом с картофельных полей пахнет листобой.*
>
> *На речном обрыве, где ветер особенно силен, я подставил под его струю красный глиняный кувшин, набрал побольше листобоя и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил ее воском.*
>
> *Зимним вечером в Серебряническом переулке соберутся друзья. Я достану капусту, квашенную с калиной, чи-стодорские рыжики. Потом принесу кувшин, вытащу пробку.*
>
> *Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать его по звонким бокам, удивляться, почему он пустой. А в комнате запахнет сырой землей, сладкими опятами и дымом с картофельных полей».*

В этом волшебном кувшине, запечатанном воском, как джинн в бутылке, живет дух Юрия Коваля. Дух родной земли, духи зверей, птиц, рыб, растений и людей.

Вытащите пробку, откройте книгу Коваля, и на вас пахнёт прелым листом и чистодорскими рыжиками, вы познакомитесь с Пантелевной, Нюркой и дядей Зуем, подружитесь с Капитаном Клюквиным и Белозубкой, недопёском Наполеоном Третьим и картофельной собакой Тузиком.

Ищите книги Коваля, собирайте их для себя, для своих детей и внуков. И вы наверняка полюбите большого Художника и замечательного Человека — Юрия Коваля.

Ноябрь 2007 года

Александр Етоев

Писатель, которого не хватает

Я открываю наугад любую книгу Юрия Коваля на любой странице и читаю — не начитаюсь, радуюсь — не нарадуюсь.

> *«Отложил я весло, хотел закурить. Шарь-пошарь — нету махорки. Только что в кармане шевелилась — теперь нету. Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце за тучку ушло! Куда ж это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, черный, вода в реке черная, и стрекозы над ней черные…»*
> *«Он вышел на крыльцо, и тут же под ступеньками что-то затрещало, зашуршало, и оттуда выскочил рыжий пес. Виду него был неважный. Одноухо стояло, другое висело, третьего, как говорится, вообще не было…»*
> *« Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею вряд еще три звезды — яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона... Медленно повернулась земля — во весь рост встал Орион над лесом... Одною ногой оперся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над черными лесами звероферму „Мшага"... Стало совсем тихо, откуда-то, наверно из деревни Ковылкино, прилетел человечий голос:*
> *— ... Тайки не забудь затянуть... Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет».*

Я нарочно не говорю, откуда эти цитаты, потому что цитировать Коваля, проговаривать его строчки вслух, следить за яркостью и веселостью его слога — не знаю, как для других, а для меня это высокое удовольствие.

Много лет назад газета «Комсомольская правда» напечатала разгромную статью П. Веденяпина, которая называлась «Накуролесили». Направлена была эта статья против выпущенного тогда в продажу диафильма по повести Юрия Коваля « Приключения Васи Куролесова». Если учесть, что сама повесть к тому времени переиздана была уже не однажды, то напрашивался естественный вывод: диафильм был всего лишь поводом, чтобы очередной раз ударить по неугодному кому-то писателю. Я не знаю, кому Коваль тогда досадил, да в сущности и неважно. Статья написана казенным, доносительским стилем, и лишь цитаты из Коваля, которые автор статьи приводил как примеры безграмотности и литературной пошлости, расцвечивали ее серый шинельный войлок яркими насмешливыми заплатами.

Я был тогда человек горячий и, увидев, как какая-то комсомольская собачонка облаяла моего любимого автора, написал длинное, на шести машинописных страницах, письмо в защиту облаянного писателя. Написал, запечатал письмо в конверт и послал его на адрес журнала «Юность». Прошел месяц, другой, я остыл и стал уже забывать о своем послании, как ровно через три месяца, в феврале 1988 года, мне приходит ответ на фирменном бланке «Юности». Привожу это письмо целиком.

> *«Уважаемый тов. Етоев!*
> *Благодарим Вас за письмо. На заметку, помещенную в „Комсомольской правде", вряд ли стоит обращать такое внимание — у Ю. Коваля имя серьезного писателя, он — лауреат Андерсеновской премии, „Юность", кстати, писала о его художественных работах в №11. Мы перешлем Ю. Ковалю Ваше письмо. Уверены, ему будет очень приятно прочитать такие искренние слова читательского признания».*

И «Юность» не обманула. В самом начале апреля мне пришло письмо из Москвы от Юрия Коваля.

> *«Александр Васильевич? Анатолий Викторович? Не знаю. Но совершенно очевидно:*
> *Дорогой друг А. В. Етоев!*
> *Приветствую Вас и сообщаю, что сегодня 30-го марта получил неожиданно Ваше письмо в журнал „Юность". Кажется, из Ленинграда оно было отправлено в декабре и вот в марте прикатилось к скромному герою Вашего повествования. Пару месяцев журнал рассуждал, куда девать письмо — ну не печатать же! И прислал мне. Ну что ж, спасибо им, потому что Ваше письмо доставило удовольствие вначале моей маме, а потом и мне. Спасибо Вам (более сильное, чем им).*
> *Письмо Ваше, действительно, написано сильно и страстно и как мне, грешнику, кажется — вполне справедливо. Однако сомневаюсь, что какой-то орган соберется печатать письма в мою защиту. Сообщаю Вам как другу, что дополнительный курьез заключается в том, что „Комсомолка" в 1972 году хвалила повесть „Приключения Васи Куролесова". Автором рецензии на мою книгу был Фазиль Искандер. Начисто забыв свою хвалу, воздали и хулу. Вообще с этой газетой у меня совершенно юмористические отношения. Начались они с заметки „Чувство цвета и чувство правды" в 1960 году, когда меня громили как художника. Потом похвалили книгу „Чистый Дор" (Яков Аким), потом был и Фазиль, но вот дожили и до Веденяпина. Должен Вам рассказать, что несколько писателей (Я. Аким, В. Железников, Т. Гайдар) написали короткое письмо в мою защиту, но оно как-то не напечаталось. В „Советской культуре" директор студии „Диафильм" сумел ответить с достоинством, но на этом дело и кончилось. Сейчас оно считается „замятым". Скажу Вам честно, что я постарался внимания не обратить. Но и наслаждения не испытал. Опасения, что литературные чиновники примут к сведению, были, но вроде бы пока не оправдываются. Ходят слухи, что „Комсомолка" не прочь воздать мне хвалу, хрен знает, пока все это неясно.*
> *Моя мама требует, чтоб Ваше письмо было напечатано. Но — видит Бог — где? Мне этим заниматься совсем неловко. Можно бы послать в журнал „Детская литература". Или в „Огонек"? Не знаю.*
> *В конце концов, самое главное, что у меня есть такой друг, как Вы. Это, пожалуй, дороже всего. Пожалуйста, откликнитесь теперь уж прямо и расшифруйте буквы А В. За мной, по крайней мере, — книга Вам в подарок Хотите по почте? Могут спереть. Такие случаи бывали.*
> *Если будете в Москве, прошу Вас, попробуйте меня разыскать. Телефоны: ***.**.** (Ольга Дмитриевна, мама), ***-**.** (Наташа — жена). Адрес: 105203, Москва, Нижне-Первомайская, **, кв. ***.*
> *Очень благодарен Вам, Юрий Коваль, 30 марта 1988*
> *Приписка: Посмешили рассуждения об ушах, отдавленных медведем. Хорошо».*

История эта осталась далеко в прошлом, мои тогдашние горячность и боевой задор кажутся сейчас едва ли не дворовыми играми. И самое печальное — умер Юрий Коваль, и заменить его пока некому. Такие, как он, писатели приходят в литературу редко. Раз в полвека, не чаще. А его письмо для меня — неважно, что в нем написано, — как старинная фотокарточка, как билет в счастливую страну детства, как напоминание о высоком труде писателя и уважении к человеку, который дарит нам веселые и умные книги.

Виктор Ерофеев

Смерть писателя К

Плейбои тоже смертны, и если мне скажут, что смерть — не плейбойская тема, я повторю то, что я только что сейчас сказал. Впрочем, речь пойдет не о смерти плейбоя. Вернее, нет, в молодости он все-таки был плейбоем, или хотя бы отчасти. Много лет назад, когда мы с ним познакомились, я часто видел его в мастерской двух веселых полуавангардистских скульпторов, с гитарой в руке, поющим слегка неприличные песенки в окружении бутылок и женщин. В том кругу заниматься сексом называлось оказывать скорую помощь, и он тоже, кажется, ее нередко оказывал. Они срывались резко и исчезали — хохоча, вместе с женщинами, а я ехал на троллейбусе домой — я был для них еще маленьким.

Потом все переменилось. Писатель К (назовем его так), который вступил в мутные воды отечественной литературы лет на десять раньше меня, усомнился в своем плейбойском призвании, а может быть, оно никогда и не было его призванием. Он как-то не то что замкнулся в себе, не то что уединился, но задумался о правде и добре, как, может быть, и полагается русскому писателю. Он меньше стал ходить по мастерским, а больше — в лес, за грибами, за свежим воздухом, за свежими мыслями. Он сам посвежел и стал чуть ли не розовощеким, с мягкими, приятными глазами.

А тут в литературе, вообще у нас в культуре, где-то на из лете 70-х годов произошло размежевание: одни пошли навстречу Ядреной Фене — так назывался один из моих ранних рассказов — то есть навстречу, если хотите, словесной вакханалии, может быть, даже наркомании зла, а другие — мои же сверстники — решили прижаться скорее к добру, к идеалу.

Среди последних оказался и писатель К Он был талантливым человеком и, наверное, не зря нашел себя в детской литературе, потому что в детской литературе быть добрым писателем необходимо по определению.

И так начались параллельные жизни в культуре, никакого соревнования в сущности не было, но возникло противостояние и в связи с этим очень много всяких моральных проблем. Писатель К никогда не писал обо мне, что я сатанист и порнограф, как это не раз случалось с его товарищами по доброй литературе, но, по-моему, в душе он был заодно с ними. Когда мы с ним все случайней и случайней встречались, он радушно выбрасывал вперед свою теплую руку, но в глазах у него было все меньше и меньше радушия, и никакой радости от встреч он не испытывал. При этом он действительно был замечательно талантлив, и когда мое поколение родило детей, то, за редкими исключениями, все читали детям его добрые книжки, и дети становились его горячими поклонниками и требовали еще и еще.

Впрочем, как-то раз, в предбаннике ЦДЛ, он изменил своей привычке быть равнодушным к нашей встрече и даже похлопал меня по плечу, и мы вспомнили мастерскую и даже немножко — ну не всплакнули, но растрогались. Но, по-моему, в его неожиданном поведении, во-первых, было что-то несомненно ликероводочное, а во-вторых, даже несколько корыстное, потому что он потащил меня знакомить с какой-то красивой молодой дамой, а та, кажется, была моей благосклонной читательницей и одновременно мечтой его жизни.

Теплая встреча ничего не изменила по существу, и когда нам снова довелось встретиться, писатель К посмотрел на меня совсем холодно. Он во мне больше не нуждался. Однако подлая жизнь поставила нас еще раз в странные отношения. Во время перестройки детские книжки вышли из моды — во всяком случае, издательства перестали их печатать в прежних объемах, и вообще вся литература добра провисла. Зато русский постмодерн оказался созвучен каким-то всемирным настроениям, и его стали печатать повсюду, и меня тоже. Сатанисты купили себе машины, а добрые писатели продолжали ездить на метро. Сатанисты изъездили мир и увидели многое, а добрые писатели продолжали ходить в лес по грибы.

Казалось, божественной справедливости настал конец. В конце концов, писатель К попросил некую писательскую комиссию выделить ему какое-то пособие по бедности, и, по-моему, ему было не по себе, когда он узнал, что я тоже член этой комиссии. Он, естественно, получил пособие, но сама просьба о пособии уже задела и меня — в плане философском. И мне захотелось вызвать его на мужской разговор, но только так, чтобы он не обиделся, и с ним как-нибудь объясниться, и рассказать ему, что... поделиться ... да вот только чем?

Есть смерти, которые не укладываются в голове. Есть люди, которые не должны умирать по определению, — умные, отзывчивые. Писатель К недавно умер. Неожиданно. Вдруг. Он шел наперекор времени. А мы, выходит, плывем по течению? Или как?

Опубликовано в журнале «Плейбой», март 1996 года

Павел Френкель

Энде

глава из книги

Впервые я услышал говорящее имя Энде (по-немецки — «конец») аккурат в конце семидесятых Решил — псевдоним. Потом выяснилось: фамилия настоящая, унаследованная от отца-художника.

В «Детгизе» попросили написать внутреннюю рецензию на его новую повесть «Бесконечная история». Созданная в жанре фэнтези, она мгновенно взлетела на первое место авторитетнейшего в Германии списка бестселлеров в журнале «Шпигель» и удерживалась на самом верху рекордное время. <... >

«Бесконечная история» мне очень понравилась, и я написал пространную, восторженную рецензию, которая, однако, чем-то (скорее всего, откровенным восторгом) смутила завотделом иностранной литературы. Что-то она там учуяла своим таможенным нутром, заподозревала. И заказала еще одну рецензию — доктору философии. Тот книгу с позиций «идейно-философских» приложил так, что путь к читателю ей был заказан более чем на десятилетие, до девяностых годов.

Вскоре «Бесконечная история» стала культовой в самой Германии: по статистике, она была на полке у каждой второй семьи. Ее перевели практически на все европейские языки, включая исландский. < ... > Слава Энде приобрела уже вселенский масштаб, а в России его знали считанные единицы. <... >

Между мной и Энде протянулась тоненькая ниточка. Его друзья в Мюнхене были и моими друзьями. Одна из них, Би-нетте Шредер, яркое имя в мире книжной графике, проиллюстрировала и оформила книгу его стихов, которую подарила мне. В письмах к ней я, в частности, сообщал о ситуации вокруг «Бесконечной истории», о своих публикациях. А в те годы я опубликовал пару рецензий и эссе, где попытался сопоставить творчество Энде и Пройслера (уже 20 лет назад держал их в голове — вместе). В ответ получал от Энде приветы. И однажды ко мне в руки попал — от него — адрес с телефоном.

Надо знать Энде, чтобы этот факт оценить. По натуре он был человек совершенно не богемно-тусовочный. Со своей женой-японкой немало времени проводил на ее родине. В Мюнхене оба жили тихо, замкнуто и гостей принимали по великим праздникам.

Грянула перестройка. Жизнь начала стремительно меняться и приватизироваться. Иными словами: по всем швам трещать и нищать. <... >

К этому времени благодаря средствам массовой информации и фильму в России об Энде прознали уже многие.

Однажды мне позвонил Юрий Коваль, с которым нас связывали теплые товарищеские отношения. Хоть мы и жили через одну трамвайную остановку, и в гости друг к другу хаживали, и всяко-разно виделись (даже в бане, что для России — аргумент), назвать его своим Другом я все же постесняюсь. Слишком велика честь для меня. Тем более что сейчас, после смерти этого феноменального художника, самозванных друзей у него появилось с избытком.

Юра подробно расспросил об Энде и сказал, что собирается в Германию со своей молодой женой, знающей языки. «Очень хочу познакомиться с Энде! Помоги!»

Я заветный телефончик дал, но честно предупредил: шансов мало. И посоветовал действовать через МЮБ (Международная юношеская библиотека при ЮНЕСКО в Мюнхене.).

Приехал Юра из Мюнхена окрыленный. Поведал, что случилось чудо: после дипломатичных звонков и рекомендаций из МЮБ Энде все-таки Ковалей принял. Правда, не дома, а в уютном ресторане. К изумлению гостей, он оказался очень приветливым и щедрым.

Во время застолья обнаружилось, что Юру и Михаэля многое роднит. Оба художники широчайшего диапазона: пишут прозу и стихи, причем и для детей, и для взрослых, много рисуют и живописуют, оба сочиняют песни на свои тексты и сами же их исполняют под гитару. <... >

После ресторана Энде неожиданно повел гостей к себе домой! Проговорив полночи напролет, спев по очереди немало песен под гитару, наши художники прониклись друг к другу такой симпатией, что Юра — по его уверению, «спонтанно» (думаю, это все же была его «домашняя заготовка») — предложил Энде написать вместе книгу.

—Как же мы ее будем писать? — спросил озадаченный Энде.

—Как в шахматах: мой ход, ваш ход.

—А как я прочитаю ваш?! — еще более изумился Энде.

—Это самая маленькая проблема! — «импровизировал» Юра. — Положим, я написал первый рассказ. Отдал его Павлу (мне). Мы с ним практически соседи. Он перевел его на немецкий. Переслал вам. Вы написали продолжение, переправили его Павлу в Москву. Он перевел его на русский. Передал мне. Вот так, троицей, с Божьей помощью, и доберемся до финала. А если мы еще сами книжку проиллюстрируем, то это будет лучшая небывалая история. И Энде дал согласие.

Все это мне рассказал вдохновенно Юра Коваль, заключив сакраментальным вопросом: «Третьим будешь?» Вестимо, я согласился не раздумывая.

История мировой литературы знает немало случаев, когда у одного произведения было двое соавторов, порой блистательных Но они подписывались под единым общим текстом. Известны редкие попытки создать «соавторскую» книгу «по переписке». Но в этом случае речь шла либо о публицистических размышлениях, либо о рассказах разных писателей на общую тему, произвольно собранных под одной обложкой.

Тут же за дело брались писатели несомненно самого высокого европейского чина (имею в виду Энде и Коваля), намеревавшиеся создать общее произведение по принципу эстафеты: рассказ каждого сюжетно должен продолжать текст соавтора.

Книга обещала стать сенсацией.

Договорились, что первый ход сделает автор идеи. И вскоре Коваль попросил меня для начала («Е2 — Е4», шутили мы) перевести один свой рассказ. Про рыжего пиратствующего кота, любящего нежиться в солнечном луче. Я, как мог, постарался. Ни потом, ни прежде не было в моей жизни более трудной переводческой задачи.

Готовый перевод вместе с Юриным рисунком кота на цветном слайде я переправил Энде. Вскоре мне от него пришло письмо, самое одобрительное. Рассказ понравился, перевод тоже. Некоторые нюансы Энде хотел бы уточнить с нами после возвращении из Японии, куда как раз собирался с женой — на неопределенное время.

Мы с Юрой напряженно ждали. Потом я стал аккуратно забрасывать удочки: как, дескать, дело движется? В ответ доносились извинения и ссылки на загруженность. А вскоре и они прекратились. Энде исчез, канул, запропал. Ни слуху ни духу. Никакие мои мюнхенские связи не срабатывали: он сделался недостижимым и ирреальным, как его проза. В итоге история и впрямь стала небывалой.

Встречаясь, мы с Ковалем всякий раз пытались найти хоть какое-то объяснение случившемуся. Искренне расстроенный Юра терялся в догадках У меня имелась своя версия, но я помалкивал: думал поехать в Германию, выяснить все у самого Энде. Да видно не судьба — сорвалось. Что ж, хоть дело и не выгорело, зато идея дорогого стоила, утешались мы.

Теперь скажу, к какому выводу я тогда пришел. На мой взгляд, изначально была допущена стратегическая ошибка. Замечательный рассказ Коваля, один из моих любимых, сам по себе — абсолютно завершенная новелла, не содержащая фермента интриги и развития. К тому же, несмотря на малый формат и внешне бесхитростную фабулу, рассказ отличается изощренностью, стилистической изысканностью, что создавало дополнительные трудности для соавтора.

Сейчас (как обычно, задним умом) думаю: эх, не стоило Юре брать готовое! Лучше б он написал что-то новое, интригующее, легкостопное. С точным читательским адресом. Юра это, вне всякого сомнения, мог сделать блестяще. Но ему, скорее всего, ужасно хотелось показать Энде, не знакомому с его творчеством, что он — мастер! И Энде наверняка Юру оценил. Однако делу это не поспособствовало, даже наоборот. Помимо того, Энде кмоменту встречи с Ковалем (я потом вычислил) «болел» другим сюжетом. Не знаю, чем он руководствовался, когда соглашался. Скорее всего, поддался порыву. Но, прочитав Юрину новеллу, сильно задумался и в какой-то момент решил «уйти по-английски».

Мы с Ковалем не остыли к Энде. Я читал все, что выходило из-под его пера, в том числе пьесы, стихи и оперные либретто. А Коваль однажды зазвал меня к себе, чтобы показать перевод одной из книжек-картинок Энде, сделанный вместе с женой. «Театр теней Офелии» в переводе Н. Дегтярь и Ю. Коваля был опубликован в конце 1990 года в журнале «Мурзилка».

В 1995 году, с небольшой разницей во времени, Коваль и Энде скоропостижно скончались.

Кроме года смерти их невольно объединило и то, что они так и не получили главной премии мировой детской литературы — золотой медали Х. К. Андерсена, которую, несомненно, заслуживали. Юрий Коваль выдвигался от России дважды, причем именно в те годы, когда я был членом Международного жюри по премиям Андерсена. Как я ни сражался, в одиночку не удалось обратить в свою веру остальных членов жюри, плохо знакомых с его творчеством (переводов на иностранные языки у Коваля — по сравнению с другими соискателями — мало) и преследовавших прежде всего собственные интересы.

И все же, все же: Энде и Коваль встретились, познакомились, ощутили душевное родство, спели друг другу под гитару. И даже надумали сочинить историю. Разве этого мало?..

Опубликовано в книге «Тишинка. Поздний дневник».
СПб.: Алетейя, 2006

Дмитрий Сухарев

«Зовемся тоже писателями...»

Недолго, совсем уже недолго осталось ждать хорошего времени, когда в каждом доме будут сидеть вечерами под умным абажуром и читать вслух Юрия Коваля. Уже и так гулом гудит в приватных разговорах, колотит мониторы Интернета, аукается на весь крещеный мир: нет, мужики, какой писатель!

> *«Ранним утром второго ноября со звероферми „Мшага"бежал недопёсок Наполеон Третий».*

И все, понеслось, не оторваться от этой легкой, стремительной, дельной, приветливой прозы.

И нет на свете силы, способной противостоять чуду восхитительного чтения.

А у самого-то Коваля — откуда у него восхищение чудом речи? Может, этому его в студенческие годы научили в кузнице гениев МГПИ?

Два наиглавнейших имени неустанно называет Юрий Коваль. Первое — Протопопов.

«Владимир Николаевич был великий учитель».

Вот так, не меньше. В другом месте сказано еще сильнее: «величайший из учителей».

> *«Он вошел в класс, брякнул свой рюкзак на стол, подошел к окну, распахнул его настежь. Борода развевается. Повернулся и запел: „Среди долины ровныя, на гладкой высоте". И спел всю песню».*

Улица Чаплыгина, 657-я средняя школа.

Второе имя. Здесь надо помянуть коммуналку на Рождественском, где «белобородый, в синем стареньком костюме», сидит на железной кровати ласковый слепой старик.

> *«За окном громыхали трамваи и самосвалы, пыль московская оседала на стеклах, и странно было слушать музыку и слова былины, пришедшие из давних времен. А и ехал Илия путями дальними, Наехал три дороженьки нехоженых... Борис Викторович Шергин был великий певец».*

Вот так.

Панегирик панегирику рознь. Про пустую, торопливую похвалу в старину говорили: похвала спрохвала. Красивое, звучное было речение, но здесь оно неуместно.

> *«Борис Викторович Шергин бы лрусский писатель необыкновенной северной красоты, поморской силы. Бориса Викторовича я считал своим духовным учителем».*

Все-таки возникают вопросы. Почему великий певец, если «негромким был его голос»? Почему безвестен, если писатель необыкновенной красоты и силы? Почему, наконец, духовный учитель? В каком смысле?

Проза Юрия Коваля нежно мерцает косвенными ответами. Изредка слова становятся жесткими, прямыми.

«На литературном небосклоне вспыхивали тогда и отгорали звезды разной величины, они брали на себя все внимание бурлящего современного мира, а в самом центре Москвы кое-как сводил концы с концами Борис Шергин. Поразительно было равнодушие именитых писателей, летящих на гребне славы. Его ведь знали многие, да позабыли.

А другие, к стыду нашему, не знали, не читали и даже не слыхали этого славного имени, а если слыхали фамилию, то произносили ее неправильно (правильно — Шергин)

Как писатель Юрий Коваль имеет немного общего с Шергиным. Тот роскошествует («Я всегда старался колоритной северной речью одеть сюжет»). Где у Шергина золототканая парча, у Коваля блестка-бусинка.

«— Нету протоки, — сказал Натолий-всадник-монтер. — Откуда ей быть'?
— Как же нету протоки? — сказал капитан-фотограф, оборачиваясь ко мне. — Говорили же — есть протока.
— Нету, парень, нету протоки, а макарка совсем заросла.

—Какая макарка?
—А какая на озеро ведет.
_ Л как она выглядит, эта макарка-то?
— А никак не выглядит, — сказал Натолий. — Я ж говорю, заросла».

Коваль весело мусолит колоритное словцо. Пробует его языком, перекатывает во рту, пытает на зуб. Ликует и лукавит.

«— У нас лодочка легкая, — сказал капитан. — На ней можно хоть по болоту плавать.
— Засосет, — сказал Натолий. — В черную чарусью попадете — и засосет. Там в макарках чарусьи есть. Ямы черны, бездонны, засасывающи».

В своей МГПИшной плеяде Коваль один такой. Юрий Визбор, Петр Фоменко, Юрий Ряшенцев, Юлий Ким — всех люблю, все гении, но нет у них этой школы, иначе нас тогда учили. Мы росли на суррогатах подворотен — «В нашу гавань заходили корабли» и т. п. Взрослели в кичливом убеждении, что вся Россия говорит по-русски неправильно. Юмор наших студенческих песенок порой сводился к передразниванию какого-нибудь «чаво».

Да и поныне дутыши бульварного кольца, у которых родной язык скукожен, аки разговорник для швецко-грецких туристов, важно переглядываются, услышав несчастное «дожить». Какая, дескать, необразованность. Можно назвать это глупостью, можно снобизмом, а можно и так: чарусья. Яма черна, бездонна, засасывающа.

Коваль если и пошутит над уходящей лексической натурой, то ласково, с пониманием. «Говор, говор... — говаривал ему Шергин. — Мысль живая, живая душа дороже всякого говора».

Шел начинающий писатель через глухую деревню Чистый Дор, потому что ему, как всем нам, «надо дальше идти». А взял да остался. И прожил «не день, не месяц, а целый год», тайком обожая шестилетнюю Нюрку. Не месяц, не год, а целую жизнь прожил по Протопопову и Шергину — внимая дарам, даря в ответ.

Не деревня ведь глухая — самому не оказаться бы глухим. И накатывает чистая, как дор, слеза. Сладка родная речь, когда она не телеграфный столб, не англофонский стеб — арго мелкооптового истеблишмента.

« Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем».

Это не Шергиным — Пушкиным сказано. Пушкин, чей словарный запас богаче богатого, сделал такое грустное признание за несколько дней до смерти. Радовался подобно Ковалю при звуке новооткрытого слова.

Подозреваю, что временами там вдали они коротают вечность вчетвером. Борис Викторович тихо бает архангельскую байку. Протопопов, колотя кулаком, яростно читает Пастернака. «Вот загадка, — скажет Коваль (сам-то выведал у лесника Булыги). — В лесу пять зверей: волк, медведь, лиса, заяц и белка. У зверей пять хвостов. У хвостов шесть названий: веер, куцик, пых, труба, полено и цветок Чей тут хвост с двумя именами?» Александр Сергеевич засмеется
счастливо, да вдруг засомневается, скажет: сдаюсь, побежит звонить другу Далю. А у Коваля уж новый подарок готов.

Опубликовано в «Новой газете» от 9— I5 февраля 1998 года под
названием «В начале было Слово.
Например — „макарка"»

Марина Тарковская

На смерть Юрия Коваля

Неправда. Не хочу знать, не пойду хоронить, не пошлю телеграмму вдове, не буду выражать соболезнований. Не хочу считать его умершим...

И телеграмму послала, и на поминки пошла. И вот уже сознание смиряется с мыслью об его уходе из жизни...

Много лет назад папа сказал мне, когда я приехала к нему в Переделкино: «Здесь живет Юрий Коваль. Он написал гениальную вещь —„Недопёсок"».

Я не очень прислушалась к папиным словам, потому что с недоверием относилась к молодым детским писателям. Был период «социализма с человеческим лицом», прошло время «Красного галстука», и в детскую литературу табуном ворвались очеловеченные звери — слоны, львы, жирафы, крокодилы. Не литература, а какие-то джунгли! На полке у моего маленького сына, как блины, складывались книжки молодых авторов. Стопка угрожающе росла, и почти не было книжки, которая бы не производила впечатления легкомысленной халтуры, лучшие художники были авторами иллюстраций, но все герои, все эти человекозвери были так похожи друг на друга, что не остались в памяти. Повезло только крокодилу Гене, может быть потому, что по книге был сделан симпатичный мультфильм... И вдруг — Коваль!

Юрий Коваль не был ни на кого похож. Он был сам по себе, и его знание природы, истинная любовь к животным, деревьям и травам, его мастерство, богатейший язык, уважение к читателю-ребенку сразу выделили его из массы детских писателей.

Он был необычайно талантлив... Он был артистичен и обаятелен. Обаятелен тем обаянием, которое делает привлекательным даже некрасивого мужчину. А Юра был красив. Этот обаятельный красавец в черном свитере взглянул на меня черными круглыми глазами и заторопился уходить. Дело было в Доме творчества в Переделкине. Он был куда-то или к кому-то устремлен, спешил...

Настоящее знакомство состоялось через много лет, после смерти папы. Позвонил Коваль и сказал, что он был на папиной могиле, что ему понравился памятник. Я обрадовалась, потому что долго мучилась с памятником и боялась неодобрительных отзывов — проект был намного лучше результата. Единственное, что не понравилось Юре, так это стеклянные банки для цветов. Мне они тоже не нравились, чего уж хорошего. Но приличная ваза не простояла бы на могиле и часа, ее бы украли тут же. Но Юра не хотел слушать моих аргументов, его вкус не терпел банок на могиле поэта, и мы собрались с ним поехать в магазины поискать чего-нибудь подходящего. Поездка так и не состоялась...

Но состоялась встреча в его мастерской весной 1995 года. Мы с мужем приехали посмотреть портрет папы, написанный Ковалем в восемьдесят первом году в том же Переделкине, где я увидела его впервые. Портрет был написан широкими мазками, в монументальной манере и по цветовому решению напоминал мне почему-то мексиканскую пустыню. Он был написан с живого папы, и на нем стоял папин автограф — «АТ ».

Конечно, я его купила. И теперь благодарна Ковалю за то, что он его написал. Потому что я очень люблю этот портрет. На нем папа суров, аскетичен, высокомерен даже. Мне кажется, что он ждет близкого человека, он оттает, и тогда исчезнут его суровость и высокомерие, он улыбнется и станет добрым и веселым. Но пока он очень одинок...

Юра тогда сказал, что должен решать что-то с мастерской, видимо, ему придется ее освобождать, поэтому он спешит пристроить картины. Ему было очень неловко брать деньги за свою работу... Он спешил... Через несколько месяцев его не станет. Но тогда, весной 1995-го, он был жив, хотя был озабочен и невесел...

Через некоторое время Коваль прочел мои скромные «Осколки зеркала» и позвонил Он говорил со мною долго, наверное, полчаса. И все эти полчаса хвалил мои рассказы.

Знаменитый писатель хвалит мои рассказы! Да еще в наше время, когда люди разучились интересоваться кем-либо, помимо себя. Юра поддержал и воодушевил меня, помог избавиться от неуверенности и сомнений. Посоветовал убрать вводный кусочек в рассказе «Шуба», который я добавила после того, как рассказ сложился, я написала это вступление как бы в свое оправдание и сама чувствовала его ненужность. Юра это понял сразу, не зная, что я долго мучилась — оставить или убрать? И посоветовал — убрать!

Незадолго до смерти он окантовал для меня репродукцию еще одного своего портрета папы, того, что в Литературном музее...

Я как Божий дар приняла Юрину дружбу. Бог дал, Бог и взял — я привыкла к сиротству. Но почему все-таки они уходят так рано? На кого они нас оставляют?

Август 1995 года

Юрий Коваль

Из писем 1994-95 годов к Евгении Филипповой

11 *октября*
Я здесь... почти не пью. «Суера» поставил на правильное место. Кончил эйфорию и слезы насчет окончания романа Твердо исполняю последнюю главу, вижу впереди много прекрасного...

20 октября
Сейчас я каждое утро пишу, чего со мной отродясь не бывало... С деньгами сильно улучшилось. Я вдруг стал государственным стипендиатом. Думаю, что это усилия Битова. Пишу я сейчас, Жень, сказочки для маленьких. После Суера это особенно забавно. Идут не так уж легко, но и без дикого напряга. Книжка будет называться «Тигренок на подсолнухе»…
Был на выставке Б. Мессерера в Академии художеств. Он очень хорошо меня принял. Была и Б. А. (Белла Ахмадулина., которая, как известно, поддерживает меня... Очень-очень ласково оба они относятся ко мне, а выпивать я не стал. Выставка Мессерера меня потрясла. Этот странный человек — не совсем человек — это зрительный нерв.

4*ноября*
Извини меня за красные чернила, остальной цвет отчего-то иссяк Смело пользуюсь красным, тем более что приближается 7-е ноября. ВОСР*. Это я так еще в институте баловался и на уроках по истории КПСС говорил: «А потом начался ВОСР» (Великая октябрьская социалистическая революция).

5*ноября*
8мастерской вроде бы затопили, но холод собачий. Буду работать, но как-то не сегодня.
А сегодня в Москве полный обвал с бензином. Нигде нет. У меня-то в баке еще осталось.

9*ноября*
Вечер. Алешка смотрит мультики, а я тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо живу...
Какая особенная в этом году осень. Клянусь, я никогда в жизни такой осени не испытывал. В Москве тихо и прекрасно, особенно на бульварах. Одиноко и солнечно, одиноко и тихо.
Ничего совершенно не зарабатываю, но как-то все в порядке, откуда-то что-то берется. Книг совершенно не осталось. Сегодня в мастерской вылепил рамку для эмали (Ялтинский пейзаж). Рисуночки делаю маленькие... Возможно, эти рисунки превратятся в эмали и картины. (Думаю пока.) А про Зеленую Лошадь начал писать сказку, пока не знаю, что из этого получится... Странная закономерность, Женя, когда я пишу прозу (сейчас это «Зеленая Лошадь» («Сказка про Зеленую Лошадь» вышла в издательстве «Малыш» в 1996 году.)), мне трудней писать письмо. Видно, проза здорово высасывает и, главное, я там всегда в тупике, из которого ищу выход.

15 ноября
Расскажу тебе вот что. Возможно, ты помнишь, что заказы про Гену с рентгеном и Ивана Грозного заказал мне Белов для своих лубков. Его гравюра — мой текст. Он отгравировал Ивана Грозного, Гену, Басова и Зою, Сергея и Никанора и еще несколько гравюр-лубков с моим текстом... Сегодня он разбирал свои лубки и показал мне один подготовительный рисунок, на котором везут Емельяна Пугачева на грузовике, которым правят какие-то солдаты. Я этот рисунок помнил. Витька сказал:

— Вот сделал я рисунок, а смысл его и сам не понимаю. Потом мы с ним (с Беловым) ужасно возвращались из мастерской.
В Москве — пурга, метель. Жуткие пробки. На Садовой — смертосветопреставление. Но все-таки я вырвался, высадил Белова на Сретенке, и, как только он вылез, я стал осмысливать этот лубок про Емелю Пугачева. И неожиданно решил задачу так:

Солдаты маршала Грачева
Везли Емелю Пугачева.
Емеля же — характер воров! —
Кричал: — Грачев! А где Суворов?!

Не успел доехать я до дома, как решил вдруг и второй беловский лубок. Это старая литературная задача. Первые две строчки я написал 20 лет назад или 25, не помню. Они были написаны так гениально, что я не мог продолжить. Такое с нами уже случалось.
На лубке изображен человек — парашютист. Этот человек приземляется неожиданно в селе Ферапонтово и прямо — в Бородаевское озеро. Два алкоголика в резиновых вышеколенных сапогах наблюдают за этой картиной. Вот тогда Белов и сказал мне 25—30 лет назад: «Напиши стихи». И я написал:

Вот человек.
Сию минуту —
Он предается парашюту, —

И не мог продолжить. Но вот сегодня:

А я всегда: «Да *ну их к шуту!» —*
Кричу при виде парашюту!

3 *декабря*
Был я на собрании Пен-клуба. Собрание мне не понравилось. К сожалению, я все понял, только когда оно кончилось. Я не из этой компании и вообще из другого теста. Видел я там многих, но расцеловался только с Разгоном и Искандером. И снова я благодарил Бога за то, что Он так разумно отстраняет меня, не дает возможности слиться с ними и смешаться. Я так и сидел один, в стороне. Некто хотел рекомендовать меня в какую-то комиссию, на что я живо воскликнул:
— Ты что, взбесился?! Я — алкоголик! Чем посмешил зал.
Твое замечание, что про Емелю политизировано — неверно. Новая фамилия просто подвернулась под руку.

10 декабря
Так — настроение нормально. Пью в меру. Начал было писать воспоминания об Арс. Ал. (Арсений Александрович Тарковский), но там начинается с Битова, а он сдуру (с его дуру) не понравился мне в последний раз — и воспоминания пошли чуть побоку. Отложил. Может, это и правильно...
Они все-таки всунули меня в ревизионную комиссию, где я буду трудиться под руководством Ряшенцева. Известно, что я человек мягкий, покричу и успокоюсь. Стипендию на будущий год, к счастью, мне не дали. И правда— хватит. Ее получит Виктор Конецкий, я рад, что это — он. К счастью, это потому, что действительно хватит. Сообщу тебе, что эта стипендия вообще первый случай в моей жизни, когда я получаю что-то просто так, даром, за то, что я есть. Конкурсы я выигрывал и порой под девизами (правда, меня разгадывали по первой фразе), на госпремию выдвигали дважды и дважды не дали.

Сделал я, Жень, в эмали кабана. Вепря! Год Свиньи грядет. Жуткий получается. Еще разик Леон обожгет.

18 декабря
Самым гениальным из моих друзей, посетивших Париж, оказался Лемпорт. Привез десятки рисунков! Вот молодец! ... Излишнее обилие пейзажных и экзотических впечатлений убивает искусство в тебе. Художник просто не может с ним справиться, не успевает. Большинство художников бросает все свое искусство и начинает щелкать слайды, дескать, я потом по ним что-то вспомню и нарисую, и напишу. Никогда! Этого не происходит никогда! Никогда! К фотографиям возвращаются ровно неделю после возвращения домой. Всё! Воспоминания тихо помирают. Маврина один раз поехала в Афины, получать андерсеновскую медаль. Ее вытащили насильно. Говорят, что она не выходила из номера гостиницы. Она рисовала из окна. В результате никто ничего не привез, кроме шмоток, а она привезла золотую медаль и пятьдесят первоклассных акварелей. Целая выставка!

20 декабря
Сегодня написал «Похвальное слово Евгению Монину» — это мой друг, прекрасный художник, чья выставка откроется 28-го на Крымском Валу, вчера начал «Сказку про русскую Золушку», вполне безумное мероприятие; пишу и про святого Иннокентия, и воспоминания о Тарковском — кошмар, кошмар! Так много всего! Нужна же очередность! О! Сделал я Вепря! Ужас! Белов говорит: «Если будет такой год...»
31-го декабря снова будет радио! «Детский остров». Я пожелал детям, чтоб будущий год не был свинским.

*13 января 1*995
Написал я для Белова еще стихи для лубка, сильно, Женьк, политизированные, прости.

—Гром грянул!
—И на нас с небес,
—Ломая поднебесный лес,
—Метеорит упал тунгусский!
—Да *нет! Родился Новый Русский!*

Не знаю уж, что он нарисует, пока мучается. Второй тоже с политикой, что за сволочная история?
На рисунке предполагается женский торс, обнятый генералом.

О, Татарстан!
О, Дагестан!
О, знаете ли Вы?!
Что отделился Теплый Стан
От города Москвы.
Генералиссимус Онисим
Сказал: — Наш Стан стал независим,
Демократически устроен:
Тепл, выпукл, развит, статен, строен,
Манящ доступен, но —увы! —
Без рук, без ног, без головы.

Вот так! А первые три лубка: «Парашют»,« Емеля Пугачев» и «Иван с Василием» он уже отгравировал. Получилось неплохо. Мне принадлежат по два оттиска.
... Не помню, писал ли тебе про Ивана с Василием. Но повторюсь.
Итак, на картинке два мужика двуручной пилой распиливают дом.

—Иван! Что пилите с Василием?
—Ты что, ослеп? Деревню пилим.
—И много ль напилили стенок?
—Сарай, онбар и пятистенок.
—Да что ты, паря, мы осилим:
—Расею к вечеру распилим.

30 января
Здравствуй, друг сердечный мой! Вдруг какие-то 5 минут — возможность написать тебе строчки. Так вот: я заметил неприятную закономерность: человек, который сделал что-то наплевательское или гадкое по отношению ко мне, — терпит в дальнейшем крутые неприятности. Как правило, это происходит так: я умоляю, прошу чего-то не делать, переживаю, но человек это делает. Я плачу, а там приходит время и... Женька, просто страшно и неловко говорить. Я говорю: «Не делай, прошу!» Но этого всегда оказывается недостаточно, и кончается бог знает чем.

* * *

Вот такие глупости приходят в понедельник в понедельническую мою голову после выступления перед прекрасными третьеклассниками. Как они меня трогали за рукав и как стеснялись! Как просили ласки, видно, дома не хватает. Я давал— и голосом, и по головке гладил. Я думаю, что это как-то отложится и в будущем не пропадет, как не пропадает же дождь, выпитый маленьким дубком, а мы уж смотрим — на столетний.

* * *

Женя, вот эта первая — мистическая тема, как ни странно, мною все время наблюдаема. То есть — у меня десятки и даже сотни примеров. Ну, не поверь же, что это — идиотизм.

3 *февраля*
Сегодня... не хотел я никуда идти, но заставил себя и отправился. Поехал в «Мурзилку», опальную в моей душе, получил аж сто тысяч рублей за семинар, потом поехал в изд-во «Малыш», подписал договор аж на миллион. Это на « Сказку про Зеленую Лошадь ». Так решил назвать книжку. И вел с директором переговоры об издании собрания моих сочинений для детей, аж в пять томов. Все — размером с синего «Недопёска». Вот так, брат, дожил до собрания сочинений. Кошмар! А формат мне нравится, симпатичный, но в типовую полку не влезает.

* * *

Жень, у меня назревает некий нарыв — желание начать и быстро написать роман. Это будет о любви. Более откровенный, чем то, что писал я раньше. Но — не эротический и не порнуха, а просто более откровенный, свободный, но очень сильный. Очень хороший, но безумно печальный. Вчера Б. А говорила, что мечтает читать «Суера», но боится, что конец — печальный. И очень радовалась и смеялась, что может не бояться.

* * *

Б. А., конечно, заслуживает всего, что я ей посвятил. В деле знания и любви к моей прозе она даже Ваню Овчинникова перекрывает. А это уж — вообще.

* * *

Вчера у меня был молодой журналист Володя из «Арг. и факт.». Брал интервью, которое пока не очень получилось. Но — ладно, далее получится. Ион спросил, не был ли я знаком с Оболенским. Боже мой! Он мне напомнил, и я затрепетал. Да, я был знаком с этим великим человеком Леонидом Леонидовичем Оболенским.
Я с ним жил в одном номере в Одессе, в гостинице «Экран». Он снимался в кино, а я писал сценарий «Лодки». Это была эпоха «дяди Вани». У меня сохранилось несколько писем Оболенского и мой портрет (фото) его работы. Так вот, кстати, Леонид Леонидович имел жену, которую называл «Ирка». Он на ней женился, когда ему было 70 лет, а ей 20. Они прожили счастливо 17 лет. Какой же это был нежный, счастливый, добрый человек Яростный поклонник «Лодки», между прочим. Ты, конечно, видела его в кино, где он играл старых лордов («Чисто английское убийство») и вообще князей. Он и был князь, так что играть ему особо не приходилось. Я вспоминаю, как мы с ним входим в гостиницу «Экран», и нам кричит толстая секс-портье:
— Коваль и Оболенский, с вас по червонцу и губную помаду!
—У меня — бутылка, — говорю я.
—Бутылку выпьем сами, — отвечал Л Л — А всю губную помаду съела моя жена. Но если у вас есть жареные бички — заходите.
Володя этот рассказал мне, что хоронило его полгорода (он жил в каком-то городке, забыл, под Челябинском). Это был человек, не любить которого было просто невозможно. Такие бывают, вот история! Эх, Леонид Леонидович! Друг старых лет! Со счастьем и наслажденьем я вспомнил его, стал, конечно, сравнивать. Все-таки нас он перешиб. Но он-то князь, а мы только столбовые дворяне.

* * *

Женя, с каким же наслаждением я читал « Суера», особенно к концу. Смеялся и плакал, все, что надо, делал. Я так за него боюсь, так боюсь этой читающей публики. Тут я подарил «Лысых» одной аптекарше. И вот она звонит: приехать за реланиумом. Я спрашиваю: читала ли книжку? Она говорит: читала, но бросила, слишком уж просто. Вот ядреня феня: для Б. А непросто, а для аптекарши — просто. Ну?

* * *

Про Леонид Леонидыча еще вспомнилось. Он был великолепный артист и свободно владел любым языком и, конечно, жаргоном. Надо было слышать, как он произносил эти « бички». Но снимали его в кино как уходящую натуру.
—Понимаете, Юрочка, меня снимают, как старый тарантас.
—Как то есть?
—Ну, нужен в кино тарантас. А найти трудно. Ба, есть же Оболенский. Так я и работаю тарантасом, еще более-менее сохранившимся. Но у меня ведь Ирка. Надо.
—Ну ладно уж — тарантас. Вы — роскошное ландо или карета.
—Видите ли, Юрочка, я именно тарантас, потому что ландо и карета — не мужского рода.

22 *января*
Примчался в мастерскую, мороз, машину завел кое-как, но — завел, продрог. Вчера и позавчера снимали меня для телеящика. Люди оказались хорошие, сняли и Белова. Все это будет называться «Остров посланных на... и другие географические открытия Ю. Коваля». Мы с Беловым и есть посланные. Комментируя свой лубок, в котором есть слово

«женьской», Белов, оказывается, по-своему это понял. Я ему сказал «Жене посвящаю», а он про себя вдруг вспомнил Женю Уханова, нашего друга, которого уже нет. Вот такие зигзаги в мозгу Белова, я их не стал исправлять... На этой ниве ничего нового больше не произошло, кроме еще одного двустишия (заключительного вдруг) к «Теплому Стану»:

Генералиссимус Онисим
Был справедлив — но онаниссим.

* * *

Для журнала «Русская виза» нарисовал пару картинок к Суеру и вдруг неожиданно решил, как надо делать к нему иллюстрации. Не в прямую, а в кривую. Ну, скажем, такая картина: «Одно из первых одеял мадам Френкель», «Головка чеснока, поданного на острове Нищих», «Пенный след за кормою „Лавра"» и т. п.
Здесь могут быть замечательные и смешные находки. Это развитие романа другим путем. Кажется, начну это делать, не бросая «бульварных эмалей».

23 *января*
Друг мой, любезный сердцу, пишу тебе торопливо. Мороз. Понедельник. Ничего не поймешь. Денег нигде не платят. Да и не за что. Работа клеится, но некрепко. Телефон звонит зачем-то. Бестолково все. Замыслы набегают друг на друга и мешают один другому. Это самое противное. В телевизор я сказал, что я человек пониженной гениальности. Может быть, зря я так сам себя обложил? Запись прошла неплохо, но я так хотел сказать что-то главное, что не сумел. Может быть, получилось в общей тенденции этой личности. Опять телефон. Ошибка. Моя литературная личность попала в 500 писателей XX века. Называй меня: здравствуй, пятисотый. Это будет энциклопедия. Надо писать «объективку». Может быть, и зря я вчера бросил тебе письмо в почтовый ящик. Но уж — всё... бросил. Пусть бестолковщина процветает.

5 *февраля*

Отснялся. С Филей (Передача «Спокойной ночи, малыши»). Чудесный артист — усач Сергей Григорьев. Работать с ним — одно удовольствие. Находчив и талантлив.

Снимали у меня, опоздали на два часа, я задыхаюсь — астматические признаки — сыро — снег — дождь...

* * *

Выступал на вечере Татьяны Бек. У нас с нею старая приязнь, если не сказать «любовь». Это такая — вечная любовь. Таня читала стихи такой силы, что мне даже было неловко потом выступать, но — попросили. Чуть отвлек внимание, чуть разрядил. Кроме меня выступал Женя Рейн. Очень хорошо.

* * *

Сегодня утром, до телевидения, была у меня Лакшина Светлана Николаевна. Забрала портрет Владимира Яковлевича. Это событие само по себе настолько волнующе, что мне уж было и трудно потом сниматься. Светлана Николаевна — выглядит великолепно, но — печальна.

25 февраля
Был тут в ЦДЛ вечер памяти В. Я. Лакшина. Я на нем выступал. Выступил я и блестяще, и живо, и весело, и кратко, и спел... и вздохнул после, и позвонил потом с благодарностью, и все хорошо, а сегодня я подумал, что две строчки из песни Владимира Яковлевича в точности отражают всю мою жизнь и пройденную землю.

А над забытым полем
Давно умерший звон.
Бескрестных колоколен
Одна другой поклон.

* * *

Сегодня суббота. Была у меня Марина Тарковская. Марина Арсеньевна с мужем Сашей. Продал я им портрет Арсения Александровича за 500$.
К сожалению, заплатить они сразу не могут. Будут платить по сто в месяц. Вот у меня и получилась зарплата аж до самого июня: февраль, март, апрель, май, июнь. В принципе, я рад, что портрет попал к Марине. Я уверен в том, что он будет сохранен. Марина подарила мне новые книги отца: это трехтомник и еще один черненький сборник, и я страшно пожалел, что черненький всего один. Захотелось тебе его послать, а послать не могу. Он мне как-то очень пришелся по руке. Ах, как жаль, что всего один! Тебе такой нужен! Прекрасный, прекрасный, но уж очень все печально. Начинается так:

Свеча

Мерцая желтым язычком,
Свеча все больше оплывает.
Вот так и мы с тобой живем —
Душа горит и тело тает. (1926 год)

Ах! Как бы я хотел написать такое стихотворение! Ведь это — правда! Удивительно, как Бог послал мне встречу с поэтом, самым близким моей душе!

* * *

С пятой страницы начнется веселье. Правлю «Суера». Внезапно молодой парень Алексей — симпатяга-директор издательства «Аргус» — согласился издать наш роман тиражом 5 тысяч экземпляров. Мой гонорар — 500 штук экз. И всё! Надо еще и сделать несколько рисунков. Размер карманный. Женька, я пошел на это. Дам им твою дискетку, а править уже начал. Кажется, не без успеха. Тебя это может позабавить. Ты помнишь главку «Адмирал»? Теперь придуман мною новый военный чин: «адмиралиссимус». И я, конечно, не мог удержаться, чтоб не вставить туда эпитафию:

Адмиралиссимус Онисим
Был справедлив — но онаниссим.

(Белов не знает пока, но ничего).
Теперь начало романа слегка перестроено: первые фразы вынесены перед частью «Фок». Эта же часть сразу начинается с главы «Шторм», о которой, как я помню, ты сожалела. Выглядит это так:

Глава I—VI.Шторм. ... и следует сноска:*

*«*В связи с тем, что культура пристального чтения в конце XX века упала и начались перебои с пергаментом, автору пришлось не только сдваивать и страивать, но даже сошестерять главы».*

Что-то в этом роде, кажется, там я записал поудачней, но идея — такова.
Вот!
Правлю, читаю, сдваиваю, сошестеряю, очень редко, сокращаю. Улучшается, Женька, улучшается! Отдохнул от романа! Точно! Работаю с удовольствием!

5 *марта*
«Суер» будет пронизан целой серией посвящений и прямо, и в смешных сносках. Я решил каждому истинному другу моей прозы посвятить хоть что-нибудь. Вся книга — Белле, «Бизань» — тебе, больше мачт не посвящаю и внутрь «Бизани» посвящений не даю, «Остров теплых щенков» — Наташе, «Остров мишеней» — Тане Бек, «Валерьян Борисычи» — Ване Овчинникову, «Иван Грозный» — Юре Визбору, «Басов и Гена» — Вите Белову, «Остров, на котором всё есть» — Коле Силису.
На этом как бы пока все, но остались за бортом посвящений: Яков Аким, Юлик Ким, Игорь Соколов, Слава Кабанов, Володя Лемпорт. Может, и еще кто. Что-нибудь придумаю и ахну их чохом. Ну прямо так, в сноске: * *к сожалению, за бортом посвящений остались и т. д. ...*
Дурацкая история с рукой продолжается. Таня Бек прочла «Суера» и выразила восторг. Она передала рукопись С. Чупринину в «Знамя». Пока он молчит. Ждем-с.

* * *

У меня возникает идея антипосвящения, т. е. хочется изящно обложить С. Залыгина, который отверг роман. Напиши, что думаешь на этот счет.

* * *

«Аргус» не подает признаков жизни. А эта ручка, как видишь, с трудом, но подает.

8 марта
Женя, пишу наспех! Сейчас придет Ваня с женой Галей. Вот-вот постучат в дверь. Настроение среднее. Сегодня ночью... никак не мог заснуть и написал почти все, надеюсь, посвящения. Пожалуй, никого не забыл. Белову посвятил аж две главы и Соколову — две. Посвящение Ване «Остров Валерьян Борисычей» звучит так: «Славному русскому энтомологу и источниковеду Овчинникову Ивану». А тебе так:
«Евгении Филипповой — ласточке, пролетающей над последней мачтой нашего фрегата». Вот так, брат. Впрочем, все еще будет редактироваться, кроме посвящения тебе. Оно — написано. Отдал сегодня роман Валериусу. Не знаю, что будет, волнуюсь, как это у нас с тобой заведено. Сергей Чупринин («Знамя»), которому Таня Бек передала роман, пока его не прочитал. Мучает меня, мучает. Таня говорит, что желательно до выхода книги «прокатить» через журнал Она права. Если Чупринин откажет — буду посылать в «Звезду»...

Если Валериус берет роман,«Аргусу» придется отказывать. Я сказал Валериусу свои условия: аванс — тысяча долларов на руки сразу, а после выхода бесплатно какое-то количество книг. Он сказал, что это нормально, по-божески. Кажется, я буду рад, потому что «Аргус» давал только книги. Но, учти, тираж Валериуса будет очень мал и настоящая торговля романом будет после.
Вот и всё пока. Вот и Ваня с Галей пришли.

9 марта
Надеюсь, деточка моя, что это будет наиболее бодрое из всех моих последних писем...
С утра опять был на перевязке. Всадил мне доктор вот уже третий укол в локоть. Я сам не вижу этого места, но он говорит, что воспаление падает, вроде получше. Мизинец, однако, действовать отказывается, но... будем надеяться. Кроме мизинца, никаких гадостей вроде больше не испытываю.

* * *

Про «Суера» и его пребывание в разных инстанциях стараюсь забыть, отвлекаюсь. Завтра утром начну писать радиопьесу «Сказка для Алёши». Ее у тебя, кажется, нет. Это будет работа приятная, нормальная. Радио торопит, это хорошо, где-нибудь в апреле, авось, выскочим в эфир. Собираюсь, конечно, продолжать эмали. Все это — с завтрашнего дня. Завтра же отдаю машину Алещенке для ремонта на целый день. Там много всяких мелочей, и цену он назвал пристойную — 300 000. Обойдется, конечно, в 500.
Начинаю все эти работы завтра, потому что сегодня — вот пишу тебе письмо, потом повезу его к твоим, а к 5 часам нужно быть дома. Сегодня я сижу с Алёшей. Пошел бы даже с ним погулять, но ботинки мои дико прохудились. Надо новые немедленно покупать.
Погода сегодня совершенно весенняя, теплынь и пыльный бензин.

* * *

В мастерской пока что всё по-старому, но ходят упорные и очень неприятные слухи. Во всяком случае, дадут, конечно, что-нибудь другое, но — место, место! Я в легком ужасе: а вдруг выгонят, и куда ж дену весь свой адский багаж? Вот видишь, продал портреты Тарковского и Лакшина. Говорил с Таней Бек, может быть, ее портрет купит кто-нибудь из ее поклонников. Но у меня остались еще три портрета А Битова и масса всякого другого. Куда все это девать? А девать нужно, потому что производительность моя падать не желает и не желает быть задавленной старым грузом, который уже кажется никому не нужным хламом.
Надо бы, надо бы попродавать мне.
А вспомни, сколько у меня скульптуры? Вообще-то эта мастерская, конечно, музейной силы. Но... в дикости, окружающей нас, стану ли я об этом говорить? Да и кому сказать? А если станешь у кого на дороге — убьють.

13 марта
Вот уж препоганое число! Страшней не придумать!

* * *

К сожалению, г-н Валериус отказал. Сказал, что их спонсор не дает пока денег, сказал, что к разговору об издании «Суера» вернется летом, сказал, что «текст» ему и главному редактору понравился. Это было все вчера. Ты не можешь себе представить, какой я дал фейерверк психоза. Они сейчас длится. Зачем же он брал, читал, заказывал аннотацию? Я считаю, что это вежливая форма отказа. «Суер» не понравился! Катаюсь по полу, грызя ковер!..

Юрий Коваль

Я всегда выпадал из общей струи...

Экспромт, подготовленный жизнью

Беседу вела Ирина Скуридина

Мое знакомство с Юрием Ковалем можно было бы назвать закономерной случайностью. Тогда, в 1988 году, я, только-только окончив филфак МГУ, работала машинисткой в ВААПе (Всесоюзном агентстве по авторским правам) и писала для иностранной редакции рекламные рецензии о новых книгах советских писателей. Однажды мне предложили поработать над буклетом о детской литературе, включавшим три новые книги Юрия Коваля, имя которого мне тогда, скажу честно, знакомо не было. Поверив на слово, что писатель хороший, я удалилась изучать материал и обнаружила, что рукопись повести «Промах гражданина Лошакова» еще не сдана в «Детгиз» и написать о ней можно только после беседы с автором. Автор же в Москве категорически отсутствовал. Все сроки прошли, Коваля всё не было, материал был обречен, и я решила: не судьба нам встретиться, а последней, третьей рецензии — появиться на свет...

Однако, на мое счастье, срок сдачи номера отложили на пару дней, и на следующее утро я получила по телефону инструкцию жены Коваля Наташи, по какому номеру, не раньше, но и не позже сколько я могу наконец поговорить с мэтром. Он назначил мне встречу у дороги возле церкви Ильи Пророка в Черкизове и подхватил меня, проезжая мимо на такси, кажется, в « Огонек». Через два дня рецензия была готова, Коваль ее одобрил... Впоследствии я четыре года проработала литературным секретарем Юрия Осича. Это предыстория. А история такова.

Наш разговор, последний в ряду моих бесед с Юрием Ковалем, записанных на пленку, задумывался в начале марта 1995 года как рабочий материал статьи о Ковале для словаря «Русские писатели XX века. 500 имен» (словарь под редакцией П. А Николаева вышел в 2000 году), которую необходимо было написать в очень сжатые сроки. К этому времени прошло три года, как я уже не работала с Ковалем и с литературоведением и журналистикой была связана лишь как внештатный автор... Юрий Осич позвонил мне однажды, был явно огорчен срывающейся статьей, но со свойственным ему юмором попросил: «Ирка, возьми меня себе». Вскоре статья была готова, я прочитала ее Ковалю по телефону, услышала от него, растроганного, что по мне плачет литература... И ничто не предвещало, что через три месяца мне придется с горечью менять время глаголов в статье и дописывать к дате рождения Коваля дату его ухода из жизни.

Не один раз довелось мне присутствовать при беседах Коваля с журналистами, и я знаю, как трудно ему было порой быть искрометным, раскованным и афористичным в заранее оговоренное время с человеком, которого он впервые видит. Искренним было и мое сочувствие при виде его мучительных попыток талантливо ответить на неталантливый вопрос... Наша с ним беседа проходила действительно экспромтом, на кухне моей квартиры под чаек и солёные огурчики (знатокам Коваля наверняка вспомнится сейчас «колбаска, хлеб, культурное обслуживание» из рассказа «Чайник»), Прослушав пленку через некоторое время, я была поражена, насколько Юрий Осич к этому разговору был готов. Он словно специально перед этим продумал и осмыслил всю свою жизнь. Предполагаю, что за его невозмутимой внешностью все же скрывалось и волнение, о чем свидетельствует повышенное количество некоторых лишних слов (обычно к Ковалю не приставали модные слова-паразиты, и речь его, чистая, живая и по-хорошему литературная, была лишь чуть приправлена для пущей выразительности острым словцом).

Наша беседа для публикации не предназначалась, и при подготовке этого текста, когда сам писатель уже не мог выправить шероховатости и сократить длинноты при переводе устной речи в письменную, мое обычно трепетное отношение к авторскому тексту обострилось до предела. Я по двадцать раз переслушивала места, в которых голос Коваля словно сходил на нет, в страхе, что могу не расслышать что-то важное, и для начала спечатала с кассеты около пятидесяти страниц текста со всеми ковальскими «Гм» и «Хм». Особенно важным для меня это было в связи с романом «Суер-Выер» (некоторые главы которого создавались в конце 80-х годов буквально на моих глазах), где оговорки и опечатки, и раньше нередко обыгрываемые Ковалем в жизни и в литературе, заняли свое место в ряду осознанных и любимых творческих приемов писателя. Список же приемов, использованных Ковалем при создании последнего романа, пожалуй, сопоставим со словником словаря литературоведческих терминов. Применительно к Ковалю вообще и к этой беседе в частности термин М. М. Бахтина «слово с лазейкой» можно было бы трансформировать в «слово с богатыми подвалами» — теми самыми, издалека замеченными командой «Лавра Георгиевича» на одном из островов романа «Суер-Выер».

В то же время Коваль тогда наговаривал мне материал для энциклопедической статьи — жанра информативного и малоэмоционального. Поэтому второй моей задачей сейчас было представить, что бы сам Юрий Осич не захотел видеть напечатанным, зная силу печатного слова и не желая обидеть никого походя. В результате получилась некая разновидность интервью (которую оценил бы, я думаю, и сам Коваль — известный жанровый экспериментатор), где педантизм порой добуквенного сохранения авторской речи не только со всеми находками и «ковализмами», но с оговорками, паузами и междометиями сочетается с определенной самоцензурой по сути и по форме.

Юрий Коваль всегда был артистичен. Он, пожалуй, лучше всех читал слушателям свою прозу, был и виртуозным рассказчиком. В тот вечер Юрий Осич сыграл передо мной на кухне свою жизнь в литературе, будучи при этом и актером, и режиссером, и костюмером, и, уж конечно, автором пьесы

Знаю, что есть и другие версии событий, о которых поведал мне Коваль в этой беседе. Разговор о жизни и творчестве этого замечательного писателя, в сущности, только начинается. И, может быть, когда-нибудь студенты, как пишет одна из любимых учениц Коваля — Наталья Ермильченко, действительно будут защищать дипломные работы, озаглавленные: «„Суер-Выер" —„энциклопедия русской жизни"».

P.S. За несколько дней до сдачи материала в редакцию «Вопросов литературы» меня ограбили. Фактом, вернувшим мне присутствие духа и в значительной степени (поверьте!) смягчившим впечатление от разгромленной квартиры, была валяющаяся посреди прихожей кассета с записью этого последнего интервью Юрия Коваля, которое я спечатывала накануне вечером, «каким-то ловким образом» выпрыгнувшая из унесенной аппаратуры.

Ирина Скуридина: Юрий Осин, наша беседа сейчас будет в некотором роде экспромтом, но экспромт этот, можно сказать, подготовлен жизнью. Поэтому, пока вы, слава Богу, живы, давайте побеседуем в жанре автобиографии о том, какой бы вы хотели видеть энциклопедическую статью о себе.

Юрий Коваль: Ну, я тебе так скажу, чтобы тебе далеко не ходить. Я родился 9 февраля тридцать восьмого года в семье работника милиции Иосифа Яковлевича Коваля. Он был из крупных чинов милиции. И когда я родился, он был начальником уголовного розыска города Курска, впоследствии он работал в уголовном розыске Москвы, во время войны уже, в отделе по борьбе с бандитизмом, на Петровке. И потом был назначен начальником уголовного розыска Московской области во время войны же. Я думаю, это был верх его достижений. Отец всю войну прошел в Москве, тем не менее был многократно ранен и прострелен.

И. С: *Значит, выродились не в Москве?*

Ю. К: Я родился в Москве.

И. С: *А почему же он в это время был в Курске?*

Ю. К.: Ты знаешь, может быть, я сейчас путаю, и, может быть, это не так важно. Может, он там был в тридцать шестом году. Я сейчас точно не помню... Конечно, Ира, здесь мы должны помнить, что это был за год — тридцать восьмой. И конечно, предполагаю я сейчас, отец был под очень большой опасностью — попасть...

И. С: *Под репрессии.*

Ю. К.: Под репрессии, под очень большой опасностью попасть под эти репрессии. Возможно, поэтому его и отправили в Курск, или он как-то смылся туда, грубо говоря, получив там назначение. Нов сорок первом году он вернулся опять в Москву — это точно совершенно... А мама моя — врач-психиатр, она ученица одного из крупнейших — кажется, даже самого Ганнушкина. Но она не работала в «Ганнушкина». Ей было уже к моменту моего рождения тридцать лет. То есть я был для нее поздний ребенок, уже был Боря (Борис Иосифович Коваль — брат писателя.) рождения тридцатого года. Мама была главным врачом психиатрической больницы в Поливанове. Это неподалеку, небольшая психиатрическая больница под Москвой. И в детстве (мое детство довоенное) год, два, три я провел именно в Поливанове.

И. С: *В психиатрической больнице?*

Ю. К: Да. Там была комната, в которой мы жили. Потом мне ее показывали, я уже в более взрослом состоянии туда приехал как-то с Борей, и моя тетя Саша вспоминала, что я всегда жаловался и, когда говорили: Поедем в Поливаново, — я плакал ужасно и говорил: Не поеду в Поливаново, там холодно и тараканы... (В связи со стилистической спецификой разговорной манеры Ю. Коваля— сбивчивым обилием косвенно-прямой речи внутри основного монолога — интервьюер с благословения редактора позволяет себе определенные пунктуационные вольности. — *Прим. к публикации в «Вопросах литературы», где редактором была Татьяна Бек.*). Вот это семья... Ну, началась война. Ты сама помнишь.

И. С: *В общем, могу себе представить.*

Ю. К: Ты не помнишь, но предполагаешь. И тут немедленная эвакуация в город Саранск. У мамы были мордовские корни какие-то, которые можно не анализировать. Несущественно. В Саранске мама была назначена главным врачом одного из госпиталей. И когда отец был ранен в сорок третьем году, а у него были пулеметной очередью перешиблены ноги и ранение в живот, очень тяжелое ранение, маме как-то удалось его выписать в свой госпиталь. И он выехал туда и лежал в госпитале, после чего опять поехал в Москву на прохождение службы. Пожалуй, это первый раз, когда я помню отца вот так, хорошо. Я думаю, что мне было около пяти лет. Тогда в этой больнице стояло очень много костылей, и я эти костыли принимал за винтовки. Мне казалось, что это такие винтовки. Но это, Ирк, может быть, уже такая лирика... Чуть-чуть об этом, наверное, надо тебе будет написать, чуть-чуть.

И. С: *Сколько эвакуация продлилась?*

Ю. К.: Три года. В сорок третьем под самый Новый год мы вернулись в Москву. По-моему, так. Как мне кажется. Ну, значит, два года...

И. С: *И жили на Красных воротах, да?*

Ю. К.: До войны жили на Цветном бульваре, а после войны — у Красных ворот. Мы жили в доме два дробь шесть по Хоромному тупику. Про костный туберкулез, которым я переболел, можно не говорить. Это не обязательно, хотя тут я получил костный туберкулез, в Москве уже. Видимо, был очень ослаблен тогда. Но об этом не надо говорить. 45-й год — школа. 657-я школа на улице Чаплыгина. От школы, из всей этой истории у меня остался один друг — это Вячеслав Трофимович Кабанов. Который сейчас писатель сам и главный редактор издательства «Книжная палата». Это действительно достойный человек, мы с ним просидели вместе на одной парте шесть, по-моему, лет.

И. С: *Вы писали в повести своей, что там был потрясающий учитель литературы, одним пронзительным взором превращавший двоечников-рецидивистов в троечников.*

Ю. К: Да-да. На меня, конечно, огромное влияние оказал Владимир Николаевич Протопопов, как мне кажется — величайший из учителей, умеющий находить совершенно неординарные

подходы к делу, к любой теме. Вот недавно мой рассказ (а у меня есть описание, как Владимир Николаевич входит в класс) дошел до какой-то женщины в Америке, она написала Киму, и Юлик передал мне это письмо, в котором она (я так, для тебя рассказываю, не обязательно об этом писать) описывает, как он вошел к ней в класс. Мне было смешно безумно. Он вошел, брякнул свой рюкзак на стол, это все описано и у меня, снял шапку, а они еще его не видели никогда, подошел к окну, распахнул окно настежь, борода развевается. Он встал и запел (поет басом. — *И.* С.): «Среди долины ровныя, на гладкой высоте». И спел всю песню «Среди долины ровныя».

И. С: *Урок литературы, да?*

Ю. К: Урок литературы. Ученики просто отпали, очевидно, от обалдения, они не знали, что делать. Владимир же Николаевич поклонился и сказал: Так начинается пьеса Островского «Гроза». (Смеется. — *И.* С) Вот какой это был человек: он завоевывал сразу. На меня, конечно, он оказывал тоже совершенно магнетическое действие.

И. С: *Можно ли сказать, что есть и его заслуга в том, что вы стали писателем?*

Ю. К: Без всякого сомнения. Я тебе скажу так... неординарность мышления, неординарный подход к делу, огромная ласка по отношению ко мне (все-таки я понимал, что это величина, а не просто так), особая, как мне кажется, любовь ко мне, но это, может быть, и другие так понимали... И главное, ты знаешь что— утверждение того, что я личность. Обычно все говорили: Коваль — двоечник, говно. А этот никогда так не говорил, я был Для него один из выдающихся... людей... мира... Так сказать.

И. С: *Мне кажется, что порой сильные личности даже больше нуждаются в таком приятии и дружеской поддержке.*

Ю. К: Ты знаешь, в чем дело. Я нуждаюсь в ней постоянно. В поддержке я нуждаюсь постоянно, ибо переживаю каждый миг своей жизни. Скажем, сегодня я разговаривал с издателем по поводу роскошного издания « Суера» (Последний роман Ю. Коваля «Суер-Выер» (М.: Вагриус, 1998) был напечатан уже после его смерти и не в том издательстве, с которым вел переговоры сам Юрий Иосифович.), и он мне сказал: Юрий Осич, отложим разговор до августа. Ну до августа. Чего-то спонсор деньги не дает, до августа отложим разговор... Для меня это невыносимо слышать. Мне тяжело слышать. Я начинаю подозревать его. Он говорит: Мне очень понравился текст. И мне, и главному редактору, нам очень понравилось, но спонсор, в общем, не дает денег, и так далее... Я начинаю думать, что это завуалированная форма отказа. Возможно, что и нет, понимаешь. Но я буду думать и так. Вот эта бесконечная ранимость, известная вам...

И. С: *Да уж!*

Ю. К.: ... и в просчете варианта она все время есть. То есть я всегда, всю жизнь, нуждался в поддержке. Всегда, всю жизнь. В любых моих достижениях меня не интересуют мои достижения. Не интересуют. Ну получили мы премию, ну мы рады, выпили, закусили, но это ничего... Когда мне говорят: Мне нравится ваша книга «Недопёсок», я говорю: Действительно, хорошая книга. Но я не переживаю ни одной секунды. Конечно, если бы сказали: Говно, мне было бы тяжело. Но это меня не интересует.

И. С: *А что вас интересует?*

Ю. К: Меня интересует и бесконечно важна постоянная поддержка. Постоянная поддержка некоторых лиц. Из последних лиц, которые мне дают поддержку, скажем, одно лицо я не назову, но постоянно поддерживает Ахмадулина последнее время. Это важно! Причем это совершенно искренне и бескорыстно и просто так, понимаешь.

И. С: *Тогда не слишком ли ранящую область вы выбрали для работы?*

Ю. К: Я выбрал, конечно, ту, к которой тянула душа.

И. С: *Ведь все-таки это тяжелый труд и такой порой легко ранящий. Взять хоть этот словарь (***** Словарь «Русские писатели XX века. 500 имен» под редакцией П. А Николаева.). Петр Алексеевич Николаев рассказывал, что сложные взаимоотношения между здравствующими писателями делают очень болезненным вопрос, кого включать, а кого не включать в словник... И все-таки насколько сознателен был выбор именно этого пути? Он*

ведь не был случайным, хотя бы потому, что вы много искали и много всего пробовали и все равно остались, утвердились именно в литературе.
Ю. К: Я так тебе скажу. В детстве, я упоминал Кабанова, был у нас и третий друг, мы всё время писали стихи. Это были шуточные стихи и лирические стихи, мы писали их на уроках вместо того, чтобы решать задачи по алгебре. Это правда. То есть была страсть к слову — это точно. Я и поступил в пединститут, на факультет русского языка и литературы...
И. С: *Это был уже тогда истфил?*
Ю. К: Тогда он назывался факультет русского языка и литературы. С историками нас потом слили, и окончил я историко-филологический факультет уже в шестидесятом году. В пятьдесят пятом поступил, в шестидесятом закончил. И тут надо тебе будет обязательно упомянуть, что в кругу друзей, с которыми я общался, были такие люди, как Визбор, Ким, Якушева, Петр Фоменко, эти четыре имени, Ряшенцева упомяни — пять имен.
И. С: *Аля того чтобы упомянуть, нужно сказать все-таки, что вас объединяло в вашем общении, ведь вы же все были на разных курсах?*
Ю. К.: Мы были на разных курсах. Объединяла, я думаю, какая-то общая страсть к литературе, к слову и к чему-то такому новому, о чем сейчас мне даже трудно сказать, к какому-то открытию... Я не знаю, это мне очень трудно сейчас сказать, мне надо специально подумать.
И. С: *Наверное, было бы слишком просто сказать, что это была, положим, песня. КСП (**
Клуб самодеятельной песни.*) — это немножко другая область.*
Ю. К.: Нет-нет-нет, это другая область, что-то другое. Я бы сказал, желание открыть что-то новое нас объединяло.
И. С: *И все вы в большей или меньшей степени экспериментировали и искали какие-то свои пути.*
Ю. К: Ну да. Визбор, Якушева и Ким пошли своим путем, Петр Фоменко ушел в режиссуру. Юрий Ряшенцев стал поэтом, а я стал детским писателем. Но детским писателем я стал... это особая тема... Это особый разговор. И. С: *Вот давайте сразу об этом и поговорим.* Ю. К.: Ну, поговорим.
И. С: *Почему и когда именно вы стали детским писателем?*
Ю. К: Сейчас я тебе скажу. Итак, страсть к слову и к литературе владела мною с незапамятных времен, то есть еще со школьной скамьи. Владела она мною и в институте. Страсть к слову вообще. Изучение и попытка что-то писать происходили во мне всегда.
И. С: *В основном стихи изначально?*
Ю. К: В основном стихи, и прозу тоже я пробовал все время. Я пробовал все время, но не считаю, что пробовал удачно.
И. С: *Скажите мне, это была такая страсть, которая все преодолевает... или какой-то был пример перед глазами, или достаточно было импульса от учителя литературы?*
Ю. К: Нет-нет-нет. Это, ты знаешь, такое дело: хочется писать — сел да и записал. Это было, ну как тебе сказать, просто желание писать. Но пока мы учились в институте, мне это не удавалось, как-то не удавалось. Ну не удается человеку!
И. С: *Не удавалось что? Результат был не тот, которого бы хотелось?*
Ю. К.: Результат был не тот, которого мне хотелось. Я писал, но результат считал плачевным. Я не мог или еще не мог. Несмотря на то что меня ребята любили, конечно, очень и все ко мне хорошо относились, тем не менее я не достигал никакой высоты. Я это знал... В этот же момент я занимался живописью, но, может быть, живопись не будем вообще трогать в этой статье?
И. *С: Я думаю, не будем трогать.*
Ю. К: Не надо, займемся литературой... только. Там где-то, может быть, строчечку ты можешь написать, если захочешь ... Значит, дело в том, что уже где-то в шестидесятые годы я начал писать рассказы. Эти рассказы касались моей деревенской жизни.

И С: *Вот интересно, давайте это немножко вспомним.*
Ю. К.: Сразу после института я был послан в село Емельянове Татарской АССР по распределению, тогда это так называлось. Это, значит, село Емельянове Лаишевского района...
И. С: *Лаишевский?*
Ю. К.: Лаишевский, да. Ты когда напишешь, ты мне дашь, я вычитаю... Там я работал в школе и был преподавателем самых разных предметов. Самых разных — география, история, русский, литература, пение и все такое.
И. С: Вы там не единственный учитель были в этой школе?
Ю. К: Там было несколько учителей, но учителей пятого-шестого-седьмого классов не хватало. Я зарабатывал бог знает сколько по тем временам. Здорово зарабатывал, надо тебе сказать. Можешь, конечно, здесь использовать легенду, которую я всюду рассказываю, о том, что первыми моими рассказами были тексты диктантов для учеников, и можешь процитировать вот это:

На полу сидела мышь.
Вдруг вбегает грозный муж
И, *схватив огромный нож,*
К мыши он ползет, как уж

Хватит этих четырех строк. Это на правописание шипящих был диктант. Но это все были такие шутки и чепуха, это нельзя считать ничем серьезным, я никогда к этому серьезно и не относился. Это было просто легкое хулиганство по поводу правописания шипящих. Вот и все... Опускаю, я многое опускаю, но важное сказать надо. По возвращении из Татарии я написал несколько рассказов. И уже там написал.
И. С: *Вы отработали там срок свой?*
Ю. К.: Да, я отработал там срок и вернулся в Москву.
И. С: *В каком году?*
Ю. К: В шестьдесят третьем. И написал целый ряд рассказов, связанных с Татарией. Надо сказать, что в этот момент я познакомился с Юрием Домбровским, которому я показал всего один рассказ, он назывался «Октябрьские скоро», октябрьские праздники имелись в виду. Но это тебе тоже не обязательно упоминать, название даже рассказа. Рассказ нигде не напечатан, и я сейчас не считаю возможным его печатать, но Домбровский пришел в восторг. И отнес мой рассказ в «Новый мир» со словами... он называл мою прозу «жестким рентгеном». Вот это ты можешь употребить. Это слова Домбровского.
И. С: А как вы с Домбровским познакомились, где это было?
Ю. К: С Домбровским я познакомился как иллюстратор его книги. Я иллюстрировал «Вторую по качеству кровать» со всеми ее принадлежностями. Но это несущественно, это ты можешь не говорить. Я познакомился с Домбровским и дал ему этот рассказ почитать, и он ему очень понравился. Понравился настолько, что он понес его в «Новый мир». В «Новом мире» рассказ ласково отклонили. Хотя могли бы и напечатать. Это были годы, когда там печатался Войнович, уже был напечатан «Иван Денисыч... » («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.) и напечатан уже Домбровский с «Хранителем древностей». Поддержка Домбровского, конечно, для меня очень серьезной была... Юрий Осича Домбровского…
И С. *Это один из Юрий Осичей в вашей жизни.*
Ю. К: Один из Юрий Осичей, да. Один из четверых Четвертый— я.
И. С: *Подождите, третий — Визбор, а четвертый?*
Ю. К.: Визбор и Коринец. Это из магистров, конечно.
И. С: *А что, еще были?*
Ю. К.: Да. Есть и сейчас. Кроме меня (Узким кругам известно «тайное» общество Юрий Осичей, в которое кроме вышеперечисленных лиц был посвящен некий таксист, однажды подвозивший Ю. Коваля и также оказавшийся Юрий Осичем.). Теперь слушай дальше...
И. С: *То есть вы уже пробовали писать, но все-таки еще тыркались, да?*

Ю. К: Я тыркался, но у меня уже было достаточное количество рассказов, которые я сейчас не печатаю, потому что позже я записал сильнее значительно. Зачем нам, собственно, ворошить?

И. С: Логично.

Ю. К.: Где-то они валяются. Несущественно. Тут случилась очень важная вещь, если считать меня писателем-шестидесятником, то нужно сказать вот что: я вдруг понял, что у меня не хватит сил. Если «Новый мир» даже после рекомендации Домбровского отклонил меня, за что я их до сих пор не хвалю... Не обижаюсь, но и восхвалять не стану, так скажу тебе. Я понял, что мне не пробиться никогда.

И. С: *А почему вы это поняли?*

Ю. К.: Я понял по состоянию дел на тот день, так обстояли дела на тот день. Что бы я ни написал, как бы я ни написал, как бы совершенно я ни писал, как бы прекрасно я ни написал — не напечатают. Ни за что.

И. С: *Почему? Не хватало пробивной силы или силы расталкивать локтями или потому (а может быть, и потому еще), что написанное не подходило под существующие шаблоны?*

Ю. К: Здесь очень трудно сказать. Мне кажется, что я всегда выпадал из какой-то общей струи.

И. С: *Потому что хотели выпасть?*

Ю. К: Нет, Ир, потому что так устроен. Я не хотел выпасть. Конечно, о Ленине я писать бы не стал... Яне умею. Я просто не умею, пойми. Я не могу, не попадаю. Вот какая беда, я не попадаю, не влезаю. И в этот момент я понял, что не попаду никогда... Никогда. Я себя готовил к будущему художника. Совершенно случайно, при помощи Холина и Сапгира (не при помощи, а под их воздействием), именно Холина Игоря Сергеевича, поэта, я написал несколько стихотворений для детей. Холин отнес их в «Огонек», и там было неожиданно напечатано мое стихотворение.

И. *С: Можно считать это первой публикацией?* Ю. К.: Нет, вначале я напечатался в «Вопросах литературы». С критической заметкой на книгу Вадима Кожинова. Забыл, как она называется... «Искусство должно быть понято массами». Так она называлась (Книга В. Кожинова называлась « Виды искусства» (1960)).

И. С: Заметка называлась? Или книга?

Ю. К: Так называлась книга, но и заметка, по-моему, точно также называлась. Это первая публикация— 1961 год, «Вопросы литературы», не помню номер. Но я не думаю, что это надо упоминать, это, собственно, лабуда.

И. С: А в «Огоньке» в каком году?

Ю. К: А в «Огоньке», по-моему, в шестьдесят четвертом, и это тоже лабуда. Все это лабуда, то есть это не означало ничего совершенно.

И. С: *А зарабатывали вы чем в то время?*

Ю. К.: Преподавал в школе рабочей молодежи номер 114. Русский язык и литература в старших классах. Я работал преподавателем до шестьдесят шестого года... И потом поступил на работу в журнал «Детская литература». Что неважно. Меня через полгода выгнали.

И. С: За разложение коллектива?

Ю. К: В этом роде, да. Это несущественно. К этому моменту уже где-то вышел один сборник моих стихов «Станция Лось» и второй сборник моих стихов «Слоны на луне». Я их не переиздаю, хотя, говорят, можно переиздать. Но это меня как-то абсолютно не интересует. Кто хочет — пусть переиздает.

И. С: *Как и вообще вас не интересуют переиздания, да? Как я понимаю.*

Ю. К: Почему, сейчас полное собрание сочинений для детей я готов делать.

И. *С: Я помню, мне очень понравилась ваша мысль, что выпущенная книга — как повзрослевший ребенок, живущий уже своей жизнью.*

Ю. К: Нет, я его, конечно, люблю, но он уже живет своей жизнью.

И. С: А вас интересует новая книжка...

Ю. К: Только... Только, конечно... Жил я бедно, то есть денег почти не было, а уже была семья, Юля уже родилась. В общем-то, сильно отца с матерью сосал Сильно. Моя первая жена, Ия Николаевна, почти ничего не зарабатывала, естественно. Ну и я немножко подрабатывал детской литературой и потом ушел в журнал. Итак, вышли первые две книжки стихов, которые *я* не считаю серьезными публикациями. И тут я получил командировку от журнала «Мурзилка», который меня с трудом, но печатал, на границу. Куда я и поехал с Веней Лосиным, художником, взяв деньги на дорогу туда и обратно и суточные. Более того, мне было гарантировано, что, если я напишу стихотворение, оно будет напечатано.

И. С: А *вас посылали стихотворение написать?*

Ю.К.: Стихотворение, да... У тебя там мало пленки, может?

И. С: Нет, у меня еще *кассеты есть. С пленкой нет проблем.*

Ю. К.: То, что я тебе рассказываю, как тебе кажется, близко к делу или нет?

И. С: Очень хорошо, очень хорошо.

Ю.К: К делу близко?

И. С: Это *именно то, что мне нужно.*

Ю. К.: Хорошо... (Жует. — *И. С.)* Так вот, я написал один рассказ сразу. Он назывался «Козырек». Рассказ прошел в журнале... Наливай еще... (Не могу сейчас точно припомнить, относилась ли эта фраза к чаю или к другим напиткам.) Рассказ прошел в журнале, и хотя я его впоследствии включал в разные свои сборники, я его не считаю сильным, хотя что-то в нем есть.

И. С: Нет, он очень даже неплохой, я его помню. И в серии он очень хорошо смотрится.

Ю. К: Я все-таки не считал, что это, так сказать, что-то, потому что уже у меня к этому времени было несколько сильных взрослых рассказов. И вдруг совершенно случайно я записал «Алого». Слу-чай-но!

И. С: *Уже приехав, уже вернувшись?*

Ю. К: Уже приехав. Уже сдавши «Козырек» в набор. Уже «Козырек» вышел. Я совершенно случайно записал «Алого» и в этот момент поймал прозу за хвост. Понимаешь ты? Вот что случилось со мной. Я наконец написал такую вещь, когда я определился и можно было сказать — это написал писатель Коваль.

И. С: Да, *то есть как у Лермонтова, положим, чик и вдруг...*

Ю.К: Да, чик и поймал.

И. С: ...и кончился период ученичества, да? И пошла проза.

Ю. К: Нет, период мучений кончился, я вдруг случайно поймал. Понимаешь, Ира. Случайно. Само пошло.

И. С: *Поймал что? Можно сказать, что вы нашли свой стиль или...*

Ю. К: Себя. Я нашел себя. Да, в этот момент я нашел себя! После этого я написал еще несколько пограничных рассказов, надеясь, что этот «чик» совершится, но это не совершилось. Все — «Особое задание», «Елец» и «Белая лошадь» — все три рассказа и «Козырек» слабее «Алого». А «Алый» — это сделано. Вот какая вещь. После этого у меня были опять некоторые мучения. Я писал «Особое задание», топтался на месте, что-то как-то занудно делал, пока наконец не понял, что надо менять жанр немедленно, иначе... иначе подохну, иначе смерть мне. И здесь каким-то ловким образом мне удалось написать «Чистый Дор».

И. С: А что значит «ловким образом» ?

Ю. К.: Как-то вот так же чикнулся, как «Алый», то есть пошло вдруг внезапно.

И. С: *Кстати, всели пограничные рассказы в «Мурзилке» были опубликованы?*

Ю. К: Большинство. Не все, к сожалению. Был такой маразматик, что не все даже напечатал. «Козырек» напечатал, «Алый» и «Елец». «Белую лошадь» взяли в «Вокруг света». А «Особое задание» вообще никто не напечатал (Рассказ «Особое задание» был напечатан в четвертом номере журнала «Костер» за 1969 год.). Послали просто и всё. Но это несущественно.

И. С: *Налить чайку или подождать пока?*

Ю. К: Нет. Существенно, что второй раз этот «чик» прозвучал у меня в книге «Чистый Дор». Тут дело в том, что уже пошла любовь к Ферапонтову (Село Ферапонтово Вологодской области, где расположен Ферапонтов монастырь с сохранившимися фресками Дионисия. Ю. Коваль многократно бывал там, останавливаясь в деревушке на Цыпиной горе.). Я уже был там. Я уже там был, понимаешь. Все начинается внезапно. (Наклоняется к полу. — И. С.) Вообще-то. Любая вещь, любая проза, она начинается внезапно...

И. С: Бог с ней, пусть валяется. (Об упавшем кусочке колбасы. — *И. С.) Возьмите еще.*

Ю. К: Да почему, я подниму и съем. (Смеется. — И. *С.)* Моя тетка Сашуля говорила: Собака не поваляет — не съест... Вот, Ирочка, и с этого момента я понял одну вещь, которая, конечно, должна прозвучать у тебя. С этого момента я понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желают нового имени. Им не нужна новая хорошая литература. Не нужна. Понимаешь. Там давят.

И. С: *И в издательских кругах, не только в писательских?*

Ю.К: Всюду. В журнале даже. Они не хотят... Юрий Коваль? «Октябрьские скоро»? А кто это такой Юрий Коваль? Что за говно такое? Ах, еще папа работал в милиции. Да вы что, охренели, что ль, совсем?

И. С: *А папа работал в милиции — тогда это плохо было?*

Ю. К.: Тогда были годы реабилитации. Конечно, не самое лучшее.

И. С: В общем, вырешили, что детская литература не такая уж плохая экологическая ниша?

Ю. К: Я бы сказал так, я решил скрыться в детскую литературу, уйти туда. Тем более что была Леокадия Яковлевна Либет, мой редактор, упомяни ее, если можно.

И.С: *Обязательно. Конечно. Когда вы с ней начали работать?*

Ю. К.: Первым моим редактором в «Детгизе» была Инна Скороходова, если ты напишешь и ее, это тоже будет очень хорошо. И когда повесть «Алый» поимела какую-то поддержку в журналах, в «Известиях» написали, то решили ее издавать. И встал вопрос, кто будет редактор? Я выбрал самую молоденькую, Инну Скороходову, симпатичную очень внешне девочку, она была младший редактор, и ей не давали ничего редактировать. И я говорю: Вот Инна Филипповна, если согласится. Она говорит: Я с удовольствием, Юрий Осич, соглашусь. (Смеется. — *И.* С.) Она была чудесным редактором и долго со мной работала. И Либет Леокадия Яковлевна никогда не мешала. Потом Инна перешла в другую редакцию на повышение, потому что младший редактор — это ведь мельчайшие деньги... Первым моим редактором серьезным была Инна Скороходова, а потом всю жизнь Леля Либет, Леокадия Яковлевна. Она взяла меня и много раз говорила: Я бы ушла, если бы не ваше творчество... Вот это ты пойми, что я, конечно, из писателей, которые в свое время в детскую литературу спрятались, но я не только спрятался, а верно ей служил.

И. С.: Значит, причиной ухода в детскую литературу были не неудачи во взрослой, а хорошая интуиция писательская. Ю. К: Ну почему, я считаю, что у меня получаются хорошие рассказы и для взрослых, которые я, в общем, адаптировал немного и включал в детские сборники. Скажем, «Гроза над картофельным полем», конечно, первоначально была написана как рассказ для взрослых, и уже в сборник моего первого избранного «Кепка с карасями», когда подводился итог десятилетней работы, я включил «Грозу». Считал ее сильной.

*И. С.: Юрий Осич, я сейчас слушала первую пленку свою (*Интервью, взятое мной, повторюсь, при первой встрече с Ю. Ковалем в 1988 году.*), я там спрашиваю на первой нашей встрече, не выбивается ли рассказ «Крылья» из стилистики книги «Бабочки». Мне показалось тогда, что он ориентирован явно на взрослых...*

Ю.К: Ну и что?

И. С.: *Тогда вы также сказали: ничего тут явного такого нет. Как бы и это для детей, и то для детей. Мне кажется, тут дело в том, что ваши рассказы ориентированы не на*

взрослых или детей, а на своего читателя. Потому что и «Недопёском», и «Васей Куролесовым», и другими книгами может зачитываться и наслаждаться тот, кто любит язык, стиль, способен оценить жанр, правда?
Ю. К: Конечно. Наверное, так. Ну, наверное, так, Ириш. Ты смотри, ты сама решай, ты же умный человек, ты сама, сама же читаешь, сама знаешь.
И. С.: То есть для вашей прозы это не было принципиально большим изменением. Это не было тем адаптированием, которое упрощает и низводит до пересказа.

Ю. К.: Нет-нет-нет... Я бы сказал даже так... Во-первых, я писал, может быть, о взрослых проблемах, но языком, понятным для детей. Вот почему у меня нет банальных детских героев. Дошкольник Серпокрылов ? Но это же Ван Гог. Вера Меринова — сложившаяся женщина. Только такие у меня возможны. Как сказал однажды Белов (Художник Виктор Белов): Коваль — это детский Солженицын.
И. С: Серьезно? Давайте в этой связи вспомним историю выхода «Недопёска».
Ю. К: Конечно. «Недопёсок» выходил очень тяжело, один из главных зам главного редактора « Детгиза» Борис Исакыч Камир пришел в ужас. Ему дали подписывать, он курировал детскую литературу. Говорит: Это что, для дошкольников? Ему сказали: Да, по дошкольной редакции. Он пришел в полный ужас и книгу снял. Уже с рисунками Калиновского.
И. С: *Она выходила сразу в виде книги?*
Ю. К: Нет, она в «Костре» была уже напечатана. Борис Исакыч Камир вызывает меня и говорит: Юрий Осич, это невозможно. На что здесь намеки?
И. С: *Это еще был полный текст, да? С золотой китайской ручкой, с пыжиковой шапкой директора Губернаторова?*
Ю. К: Да-да-да-да. Он говорит: Здесь у вас сплошные намеки. Вы даже как будто посягаете на Константин Михалыча Симонова. Я говорю: А что на него, собственно...
И. С: Это в каком смысле?
Ю. К: А у него Серпилин есть герой, а у меня дошкольник Серпокрылов.
*И. С: А про генералиссимуса (*Звание, до которого дошкольник Серпокрылов дослужился в своих необузданных мечтаньях*) он ничего не сказал?* Ю. К: Генералиссимус был вычеркнут с самого начала. *И.* С: До *него уже не дошло. Значит, слава Богу, удар его не хватил.*
Ю. К: Сейчас могу тебе сказать, что я придумал новый
титул — адмиралиссимус. В «Суере-Выере».
И. С: Классно. Новый ковализм.
Ю. К: В «Суере-Выере» это звучит так:

Адмиралиссимус Онисим
Был справедлив, но — онанисим.

И. С: Ну и что он еще сказал?
Ю.К: Погоди, я жую.
И. С: *Это ему принадлежат исторические слова про еврея, который бежит из Советского Союза?*
Ю. К: Ему. Но это все не так прямолинейно было сказано. Он говорит: Юрий Осич, я же понимаю, на что вы намекаете. Я говорю: На что?.. Искренне. Я говорю: Я не понимаю на что. Он, конечно, стремится к свободе, на Северный полюс. Это же естественно. И я, скажем, свободолюбивый человек Он говорит: Но вы же не убежали в Израиль. Я говорю: Но я не еврей. Он: Как это вы не еврей? Я говорю: Так, не еврей.
И. С: *Если вы Иосифович...*
Ю. К: Да-да. Он говорит: Ну давайте будем считать так, что вы ни на что не намекаете. Но книгу переносим на следующий год в связи с нехваткой бумаги.
И. С: А он был кагебешник или просто перестраховался?

Ю. К.: Я думаю, что он перестраховался, но был и кагебешник. Что, в сущности, одно и то же.
И. С: *Одно другому не мешало.*
Ю. К.: Это несущественно. Впоследствии мы с ним очень-очень здоровались, чуть не целовались... Тогда же я пришел домой в очень расстроенных чувствах, а папа мой все-таки еще был полковник МВД. Преподавал в Академии милиции, и ходил в форме, и награжден был огромным количеством... иконостас был мощный. Поверь мне. Отец был очень смешливый человек. Очень смешливый. Надо сказать, я думаю, что чувство юмора, мало свойственное моей маме (ну было, конечно, но не в такой степени), у отца было просто необыкновенным. Он умел развеселить публику чем угодно, любым рассказом. Мгновенно смешил. И меня в детстве смешил, и Борю, всю семью. Ну, это, может, малороссийское, с Украины пришедшее такое. И все мои книги он очень любил, и охотно их читал, и охотно их цитировал. Правда, при этом говорил: Это, в сущности, все я Юрке подсказал. Что и правда в смысле Куролесова и куролесовской серии. И даже если я страницу написал какую-нибудь, он умел сказать: Какхо-рошо я тебе придумал! (Смеется. — И. С.) Я никогда с ним не спорил и, в сущности, я думаю, может быть, на последнем издании «Куролесова» напишу: «Памяти отца своего посвящаю».
И. С: *Это будет очень правильно.*
Ю. К.: Наверное, так надо сделать. Вот сейчас будет издание с рисунками Чижикова. Пожалуй что, я это сделаю.

И. С: Непривычно, когда такой комический, в сущности, детектив вдруг посвящается реальному...

Ю.К.: Полковнику милиции.
*И. С: ... города Курска, и слова о том, что гражданин Конев (*Первоначальный вариант фамилии гражданина Лошакова, героя повести «Промах гражданина Лошакова»*) бежал из города Курска, сразу встают на реальную почву...*
Ю. К.: Ну, у него все-таки самое высшее достижение — начальник областного уголовного розыска. Курск — это меньше.
И. С: *И тем не менее.*
Ю. К: А может, Курск и лучше. Нет, я отцу посвящу, обязательно. Это надо сделать дополнительную такую штучку. Врез.
И. С: *Возможно, даже не совсем краткую, не в одну строчку. А сказать два слова, что он прострелен и так далее. В этом есть какой-то новый аспект жанра.*
Ю. К: Ты думаешь, да? Мне это в голову не приходило просто. Ну вот, слушай-ка меня. По поводу «Недопёска» у папы никаких не было сомнений, кроме того, что это гениально. А я говорю: Вот такой Борис Исакыч Камир есть у нас. Книгу рубит. Я почти плачу. Ну, не то что я плачу, но я, можно сказать, потрясен, ни с кем не разговариваю, то есть я веду себя кошмарно дома. Отец говорит: Я к нему схожу, я хочу узнать, какие у него претензии. Полковник милиции!
И. С: *Классно! Это какой год?*
Ю. К: Это, Ирка, семьдесят пятый, по-моему, или семьдесят четвертый... Говорит: Я к нему пойду. Я хочу узнать, в чем смысл его претензий к твоей книге. Я говорю: Камир говорит, что еврей бежит... в Израиль. Отец говорит: Но у тебя же не написано, что еврей, у тебя написано: недопёсок, и бежит на Северный полюс.
И. С: *Действительно, национальность недопёска неуказана.* Ю. К: У тебя, говорит, так не написано. Я говорю: Папа, ты прав, у меня так не написано. (Смеется. — *И. С.) Я* говорю: Но не ходи, не смей ходить. Не смей ходить! *Я* не желаю вашей защиты, и идите к ядрене матери, — кричу я. Он говорит: Ну ладно-ладно, успокойся, я никуда не пойду. Тем не менее через день мне звонят из издательства и говорят: Борис Исакыч Камир хочет с вами побеседовать. Снова. Я прихожу, а мне уже там мои клевретши... Там у меня клевретша была, говорит: Слушай, твой отец тут был...
И. С: С *иконостасом...*

Ю. К: С иконостасом, в полной форме. В парадной причем форме, в фуражке, с орденами, не то что с планками, не с планками, настоящие надеты ордена, здесь значок «Почетный чекист». Один из виднейших значков. Там академии все эти. Полковник. А поскольку он преподавал, у него этого лычка «в отставке» не было. Знаешь, бывает такой — полковнике отставке. Нет! Чистый полковник. Почетный чекист. Приходит...

И. С: *И говорит: Кто тут бежит в Израиль?*

Ю. К: ... к Борису Исакычу и говорит: Можно к вам? Тот, видимо, говорит: Да. Отец: Здравствуйте, позвольте представиться, полковник Иосиф Яковлевич Коваль. Отец вашего автора, говорит. Вы знаете, вот Юра мне сказал... Он, конечно, глупый, но я, говорит, не думаю, что вы настолько примитивны, что считаете, что Юра написал про еврея, бегущего в Израиль. Там написано, Борис Исакыч, я читал вещь... вы знаете, мы изучаем...

И. *С: Это наша работа...*

Ю. К: Это, в общем-то, наша работа. Я там не увидел ничего такого. Тот: Ну как же, Иосиф Яковлевич, а вот это, а вот это? А отец отвечает: Ну это что — это чепуха. Ну, пыжиковые шапки, ну и что, а у вас какая, Борис Исакыч, шапка? Он говорит: Пыжиковая. Отец говорит: И у меня тоже. Ну и что такого — пыжиковые шапки, ну неудобно... Могут подумать ... Короче говоря, отец говорит: Юра сделает ваши замечания, я даю вам слово, но книга должна быть издана.

И. С: *Юрий Осич, это он на самом деле был так категоричен, или это вы сейчас так рассказываете?*

Ю. К: Я тебе даю слово. Видимо, так, да. Примерно я тебе рассказываю. Потом я ему сказал: Что ты наделал? Он говорит: Что наделал? Я тебе книгу издал.

И. С: *Не только написал, но еще и издал*

Ю. К: Да, видишь, какая история. Ну, говорит, он крошить тебя будет страшно. Крошить тебя будет страшно.

И. *С: Это я знаю, потому что сравнивала рукопись с изданием.*

Ю. К: Говорит: Ты знаешь что, сопротивляйся, но в меру. Все-таки важно, чтобы была издана книга.

И. С: И с этим я тоже согласна. Абсолютно правильно.

Ю. К: Вот и все. Видишь. Вот так я и сделал. Я тебе рассказал просто так уже. Я увлекаюсь, Ирк.

И. С: *Юрий Осич, давайте сейчас вернемся ко времени между «Алым» и «Недопёском». Это время мне особенно интересно как период становления, когда уже ясно стало, что вы писатель, но еще впереди был «Недопёсок» — вершина уровня Казбека.*

Ю. К.: Ну, может быть, так.

И. С: *Так вот, какие этапные моменты были после «Алого» ? И, кстати, когда ваша семья поняла, что вы — писатель?* Ю. К.: После «Алого» — «Чистый Дор» ... Если говорить про мою семью — Боре-то всегда очень нравилось, маме тоже. Папа — постепенно, папа, я думаю, после «Куролесова» признал.

И. С: То есть не признавал только папа?

Ю. К: Не то чтобы не признавал, но, так сказать, относился к этому не столь серьезно. Ладно, думает, сегодня порисует, завтра попишет. Но после «Куролесова» он, кажется, понял, что я писатель. Более того, он уже стал болеть за меня как за писателя. Это другая вещь. Он, конечно, не ожидал, он, в сущности, не такой уж грамотный человек был, грубо говоря. Тут он вдруг понял, что родил все-таки нечто.

И. С: «Чистый Дор» — это какой год? Как долго он писался?

Ю. К.: Слушай, я сейчас скажу то, что тебе понравится. И то, что тебе, кажется, нужно. Итак, после «Алого» у меня был целый период такого... Я писал, но это был спад. Я этот спад остро чувствовал, и мне было это глубоко неприятно. Но, поскольку я занимался живописью, живопись мне всегда давала возможность быть человеком и во время спада. Это так я просто для тебя говорю, используешь, не используешь — твое дело.

И. С: Живопись для вас была все же вторым номером?

Ю. К: Тут мне очень трудно сказать, очень трудно сказать, потому что я считаю, что меня жизнь заставляла. Я бы вытянул и номер один, я бы вытянул два первых номера. Итак, вернемся к литературе: после «Алого» был некоторый спад, попытки повтора «Алого», попытки выйти снова на такую величину. Испытать то чувство снова (вдохновение или как это назвать?). Это у меня не получалось до «Чистого Дора».

И. С: Сколько это по времени было?

Ю. К.: Я думаю, что прошло года два, потому что уже в семидесятом вышел «Чистый Дор». Он начался с четырех каких-то случайных совершенно рассказов, как дядя Зуй (Главный герой рассказов сборника «Чистый Дор») (а я слышал эту историю) привез медведя в стожке сена. Это действительно подлинная история, как привез мужик (ну не дядя Зуй, правда, а другой мужик) медведя в стожке сена. Это, конечно, полный маразм, чисто северный такой, вологодчина чистая, но это вроде действительно было. Я с этого рассказа и начал писать. Отдал рассказы в «Малыш», их вроде завернули, и даже к счастью. Они как-то встали... где-то валялись... и вдруг у меня начал, пошел оформляться «Чистый Дор». И. С: *Прямо как цикл, да?*

Ю. К.: Да, как цикл, как цикл. Пошел оформляться. И здесь случились две вещи. Жил-то я на самом деле не в Чистом Доре, а в деревне Гридинское. А Чистый Дор был неподалеку.

И. С: На самом деле была такая деревня? Ю. К: Да, конечно. Чистый Дор был там в двух километрах или в трех... И я тебе здесь должен сказать, огромную поддержку оказал мне Белов. Я ему сказал... И. С: Вы *с ним уже в мастерской вместе были?* Ю. К: Мы уже вместе имели мастерскую, уже дружили. Он оказал мне огромную поддержку тем, что... я ему сказал: Вить, если я назову книжку «Чистый Дор», как тебе кажется? Он сказал: Это будет гениально. Я спрашиваю Кима: Юлик — Чистый Дор? Он говорит: Все скажут — Чистый Двор. Все будут говорить: Чистый Двор. Я говорю Борису Викторовичу Шергину: Борис Викторович, название книги — Чистый Дор?

И. С: Он наверняка говорит: «Гениально».

Ю. К: Он говорит: Все будут говорить... Говорит: Название гениальное, но все будут говорить: Чистый Вздор.

И. С: Д*а? Шергин так сказал?*

Ю. К: Да. Тем не менее, обогащенный этими двумя важнейшими мнениями, я не то что их посылаю, но я рассчитываю, что Ким и Шергин — литераторы, а Белов — просто простая душа. Понимаешь. И буду-ка я простой душой. И не буду ничего придумывать, а назову «Чистый Дор».

И. С: *Нужно быть Шергиным, чтобы из дора сделать вздор...*

Ю. К.: Я слушаюсь Белова в этот момент, не то что слушаюсь, а просто я доверяю, как тебе сказать, самой чистой, самой нелитературной инстанции. Доверяю и думаю: а все равно мне лучшего названия не придумать. И потом я много раз получал Чистый Двор и Чистый Вздор, но название так и осталось «Чистый Дор». Книгой я очень доволен, когда я ее закончил, несколько рассказов туда не вошли, в первое издание. Они были уже написаны, но не вошли. Не вошла «Клеенка», не вошел рассказ «Около войны».

И. С: А почему не вошли? По каким-то особым соображениям?

Ю. К.: Они не вошли по соображениям: клеенки нет. Описывается, что нет клеенки в русской деревне. А «Около войны» не вошел почему-то вообще — какой-то такой рассказ ...

И. С: *Но он действительно немножко другой по стилистике.*

Ю. К.: Может быть, он чуть-чуть и другой, ну а что ж? Какая-то особая вещь. Кстати сказать, возврат туда, к войне, — он неплох в этой ткани, понимаешь, но все-таки этот образ человека, летящего по небу, он меня потрясал. Этот рассказ я слышал.

И. С: А «Клеенка» — это просто обожаемая мной вещь, где каждая фраза — как самоцвет. Ю.К.: Ну конечно, хорошая, конечно.

И. С: Я до сих пор говорю, когда мне что-то нужно: «У меня дети малые дома сидят, плачут, клеенки хочут».

Ю. К.: Когдая написал «Чистый Дор», я понял главное свое кредо. Менять жанр как можно чаще. То есть с каждой новой вещью менять жанр. Скажем, сегодня — лирические рассказы, завтра — юмористические рассказы. После «Чистого Дора» я написал «Куролесова».
И. С: То есть это былуже сознательный подход к жанру, да?
Ю. К: Сознательный подход.Я меняю жанр и думаю о том, как изменить жанр, и у меня он сам подходит. То есть из папиных рассказов уже вышел «Куролесов». Причем там и Болдырев, и Куролесов — это были папины сыщики. Они работали втроем.
И. С: *То есть на самом деле были люди с такими фамилиями ?*
Ю. К.: Да-да, и Болдырев, и Куролесов работали вместе с отцом.
И. С: Л *Серпокрылов-то хоть придуман все-таки или тоже был?*
Ю. К: Серпокрылова не было, он придуман. Это сконструированный мной образ такого Ван Гога, ребенка Ван Гога. Я считаю, что Ван Гоги рождаются сразу.
И. С: *Наверняка.*
Ю. К: Да. После этого дело, можно сказать, пошло как по маслу. После «Куролесова» — «Листобой», потом «Недопёсок». Потом сборник «Кепка с карасями» ... (Внезапно хлопает руками возле моего плеча — *И. С.)* Поймал — она на тебе сидела. Алёша (Сын Юрия Коваля. На момент беседы ему было четыре года.) боится моли. Боится, что она его проест насквозь. Я ему говорю, что она только шерсть ест... Итак, сформулирована была главная моя идея — смена жанра в каждой новой работе. Обязательная смена жанра. Так сейчас я сменил жанр — после «Суера-Выера» я написал ряд сказок и сейчас буду писать сказку. Понимаешь меня... Что буду после сказок делать, я пока не знаю. Сказки-то, они все сейчас уже издаются Видимо, воспоминания о Тарковском.
И. С: Давайте вернемся в историю. Как все-таки приходило признание? «Алый», «Недопёсок», «Куролесов» —это были годы формального признания и, сточки зрения сегодняшней, кажется, довольно быстрого успеха. Как на самом деле было?
Ю. К: Нет, формального признания не было никогда. После выхода «Недопёска»...
И. С: *Хорошо, назовем это фактическим признанием. Когда все-таки читающая публика приняла и признала писателя Юрия Коваля?*
Ю. К: Я думаю, что после «Алого». Я думаю, что после «Алого»...
И. С: *К вам заотносились серьезно.*
Ю. К: Ко мне заотносились серьезно целый ряд серьезных людей. То есть все художники-иллюстраторы. Все. Главные художники-иллюстраторы. То есть я имею в виду: и Чижиков, и Лосин, и Монин, и Перцов, и все-все-все-все. И Митурич, и Дувидов. Они сразу всё поняли. Художники, между прочим, не будучи ревнивыми, как писатели, очень сильно... И. С: *Интуичат?*
Ю. К: Очень сильно не только интуичат. Но они читают хорошо. Они очень хорошо читают прозу. И первым был Самуил Мироныч Алянский, очень уважаемый в «Детгизе» человек Ну, это замечательный... друг Блока. Главный издатель издательства «Алконост», который издавал Блока, дружил с Анненским и так далее.
И. С: *Он художественным редактором был?*
Ю. К: Он был консультант по художественному оформлению, у него была особая должность. То есть он иногда приходил, Самуил Мироныч, снимал кепку и смотрел, что ему показывали. Самуил Мироныч сказал, когда прочитал мою книгу: Как будто выпил хорошего вина. Можешь употребить. С. Алянский — это звучит. Для знатоков книги — это звучит. Хотя это нигде не зафиксировано, это он просто сказал мне.
И. С: *Это после «Алого» он сказал?*
Ю. К: Он прочитал тогда многое. Первой моей книгой, которую он редактировал, была «Кепка с карасями» с рисунками Коли Устинова. Но именно на «Алом» я был уже признан детскими писателями и детскими художниками. То есть всей детской литературой я был уже признан на «Алом». Потому что и для тогдашнего дня, несмотря на то что он написан был про пограничную собаку (а уже были такие фильмы, как «Ко мне, Мухтар!»), «Алому» удалось переплюнуть всю эту официально-пограничную тематику. Понимаешь, какая

история. То есть он оказался доверительным для любой души. А не только для, так сказать, ура-патриотических настроений. Вот чего мне удалось достичь в «Алом», как я понимаю. Как Льву Николаевичу Толстому, скажем, в «Казаках», или в «Хаджи-Мурате», или в «Кавказском пленнике», которого я особенно люблю. То есть было наплевать, советская это граница, несоветская граница — важно было вот это: человек и собака, их любовь. Любовь была важна. В конечном счете. Об этом и написана вещь.

И. С: *Конечно, написать рассказ про любовь на пограничную тему непросто.*

Ю. К.: Это было не то чтобы сложно. Но так получилось. Я ведь не задумывал этого, Ир. Так получилось.

И. С: Юрий Осич, на «Алом» вас признали люди, которые с вами работали, а как дальше складывалось? Как все же происходило фактическое признание писателя?

Ю. К: Я тебе скажу, что фактического признания особенно не происходило, Ир. Потому что меня несколько раз выдвигали на Государственную премию, но таковой я не получил. Дважды я выиграл конкурс. Был Всесоюзный конкурс на лучшую детскую книгу. «Приключения Васи Куролесова» выиграли этот конкурс, не помню уж, в каком году, сейчас(В 1972 году). Третью премию я получил, и причем это считалось диким достижением. И «Полынные сказки» выиграли первую премию (1987 год).

И. С, *Выигрыш потому, что ввели тайное голосование в том году, когда вы участвовали в конкурсе, и никто из присутствующих не знал, кто за кого голосует.*

Ю. К: Нуда, нуда. Выиграли, значит... больше никаких не было. Была вот эта премия «Китайская ваза», которую ты можешь упомянуть. Тогда ее получили четыре писателя в мире. А конкурентов было больше ста. Сто восемьдесят, по-моему. Потом премия «EUROPIA» в Италии. И четыре книги, занесенные в бест-лист библиотеки ЮНЕСКО («Приключения Васи Куролесова», «Картофельная собака», «Недопёсок» и «Пять похищенных монахов»). После каждого из изданий в ФРГ книжка попадала в бест-лист.

И. С: А как случилось, что, имея по одному изданию в России, практически без переизданий, что, конечно, очень плохо для наших детей (но это моя больная тема), как получилось, что вы стали широко публиковаться по миру?

Ю. К.: Видишь ли, широта их публикаций, она тоже относительна. Это, конечно, успех. Без всякого сомнения. «Приключения Васи Куролесова» были изданы на немецком языке в Штутгарте, в издательстве «Thienemann Verlag». Успех этой книги, которой я не знаю сколько тысяч экземпляров вышло (там для них, скажем, десять тысяч продал — уже успех), я думаю, что успех этой книги сопутствовал распространению ее.

И. С: Изначально это был какой-то книгоиздательский контакт?

Ю. К.: Это был... нет, это был контакт с переводчиком — с Хансом Бауманном. Юрий Коринец поехал в ФРГ, мне позвонил и сказал: Юрка, дай мне твою новую книжку, я отвезу переводчику Хансу. И отвез. Коринец переводил тогда Крюса и Пройслера.

И. С: Он сам переводил или с подстрочников?

Ю. К: Нет, он знал немецкий прекрасно. Он был, конечно, очень талантливый писатель, Коринец, очень. Я бы сказал, что, если говорить про Коринца, если тебе любопытно, он сделал странный какой-то крен, и зря его сделал. Зря сделал такой немножечко просоветский чуть-чуть такой крен. Понимаешь... И может быть, зря. Как-то так... видимо, отчаялся, я так думаю. Видимо, он отчаялся, плохо ему было, думаю я. Ну написал «Остров Большевик», « Остров Пионер», «Остров Комсомолец». Я его как бы за это поругал. Тут начался наш разлад, хотя я его очень любил и сейчас вспоминаю с нежностью. Значит, о чем я?

И. С: *Он отвез ее в Германию, и это сработало...*

Ю. К: Успех первой моей книги в Германии, без всякого сомнения, сработал на Франкфуртской ярмарке. То есть «Приключения Васи Куролесова», переведенные Хансом, купили сразу несколько издательств. И с этого момента стало привычным для них там издавать меня. Таким образом, я был издан почти во всех странах Европы.

И. С; *Я уточню — главным образом через издательство « Тинеманн», которое купило мировое право и начало издавать ваши книги по всем странам, правильно?*
Ю. К: Да, это ни в коем случае не наши, это издательство «Тинеманн».
И. С: В этом были и свои минусы, потому что они переводили на другие языки с немецкого. Юмор при этом сильно терял, я думаю.
Ю. К.: Да. Но тут ничего не сделаешь... А сейчас выходит книжка в Японии.
И. С: Скажите же мне: как могло случиться, что в других странах книги издавали и переиздавали по нескольку раз, а в России при этом почти ничего не переиздавалось? Ю. К: Что тут сделаешь? Дело в том, что «Пять похищенных монахов» вышли, можно сказать, первыми-то в ФРГ. Вроде уже был сигнал из ФРГ, а здесь еще книжка не выходила. Они же быстро делают.
И. С: Можно ли сказать, что в России вам при этом не очень хорошо жилось?
Ю. К: Нет-нет-нет. Конечно, нет.
И. С: *То есть потихонечку издавали и издавали по книжке в год.*
Ю. К: Да. Правда, меня чуть было не запретили в восемьдесят пятом году. После выхода «Недопёска». *И. С: Все-таки Камир его выпустил, но потом ему дали по башке...*
Ю. К: Выпустил. Он его выпустил после визита папы, потом дали по башке всему издательству и решили запретить не «Недопёска», у которого, в сущности, тираж-то уже разошелся ... А следующую книжку. Это были «Пять похищенных монахов».
И. С: *Так вот почему она вышла в Германии раньше.*
Ю. К: Да. Стали ее запрещать. Просто сняли из плана готовую книгу, отыллюстрированную.
И. С: *Как наказание автору, да?*
Ю. К.-. Да... Все. Этого автора просто нет. Решили сделать так, что автора нет. Нету!

И. С: Это было как-то аргументировано?

Ю. К.: Леле Либет было сказано — вычеркиваем из плана. Всё.

И. С: Просто взяли: чик и закрыли автора как явление природы.
Ю. К: Да. Чик и закрыли. Вычеркнули из плана издательства К сожалению, это делал Николай Васильевич Свиридов. Он был тогда председатель Госкомитета по печати при Совете министров РСФСР. А детскую литературу курировала Тамара ... Алексеевна, по-моему, Куценко. И именно она это сделала. То есть позвонила и приказала: Коваля из плана... — что у него там, «Пять похищенных монахов» стоит? — вычеркнуть. И не только Коваля, но еще Успенского. У него стояли «Гарантийные человечки».
И. С: А почему Успенского-то?
Ю. К: За «Гарантийных человечков». У него там было написано потому что: «Долой порох, да здравствует творог!»
И. С: Неужели из-за этого?
Ю. К: Да. «Долой порох, да здравствует творог!» — написал Эдик
И. С: А страна в это время усиленно вооружалась...
Ю. К: Ну, не знаю, что тут делалось. Видимо, да. Меня же — за старое, за «Недопёска». То есть меня решили ликвидировать как класс, и Успенского тоже заодно, просто ликвидировать. Никаких новых книг. Всё. Выпустили. Просмотрели! Просмотрели», ваше сиятельство. Ошибка-с. Исправим, итит твою мать. И вычеркнули. Именно в этот момент происходит исторический звонок Успенского ко мне.
И. С: Вы до этого уже были друзьями?
Ю. К: Мы друзьями не были никогда А знакомы были, конечно. Он мне сказал: Ты знаешь, что нас вычеркнули? Я говорю: Я знаю, ну и что? Хер с ними, я художник. Что такого? Я ждал этого, в сущности, я ни на что не рассчитывал... Нет, говорит, мы пишем с тобой письмо в ЦК Коваль, говорит, прекрати, будем бороться. Я говорю: Да? А что, а что мы напишем? Он говорит: Да хрен его знает, приезжай ко мне, сейчас что-нибудь напишем. Я еду к нему, мы пишем с ним письмо в ЦК.
И. С: Чайку налить?

Ю. К: Да... не надо. Пишем с ним письмо в ЦК в результате которого собирается коллегия министерства, или как это назвать, Комитета по печати, во главе с председателем комитета Свиридовым, во главе с Куценко и со всеми заведующими отделами, на которую едут Пешеходова, директор «Детгиза» к тому времени, Сергей Владимирович Михалков, Успенский и я... Михалков приехал со своей медалью.

И. С: *Героя Соцтруда?*

Ю. К: Героя Соцтруда, да. Насколько я понимаю, Пешеходова и Михалков приехали поддерживать нас — меня и Успенского. Конечно, это было странно с их стороны. Мягко говоря, думал я. И ни Эдик, ни я им до конца не доверяли. Эдик это недоверие и ненависть к Михалкову пронес через всю свою жизнь. Я значительно человек более спокойный и, как бы сказать тебе...

И. С: *И благодарный.*

Ю. К: Да не только благодарный. Но в этом есть и мое равнодушие. Потому что меня немножечко другие заботят вещи, понимаешь. Уже тогда понимал я и ему сказал: Это неспроста они нас поддерживают.

И. С: А почту неспроста?

Ю. К.: Ну это особый разговор. Я думаю, что мы были поводом.

И. С: *Возможно, там были какие-то дворцовые интриги?*

Ю. К.: По-моему, да. По-моему, мы были только предлогом для того, чтобы удержаться Пешеходовой на месте. И она его попросила: Сережа, защити. Как мне кажется. Потом ее все равно сняли.

И. С: То есть ее готовы были стряхнуть вместе с вами и Успенским?

Ю. К: Да, она бы, видимо, улетела. Мне кажется, что, если бы он нас не защитил, ее бы выкинули. И немедленно назначили нового директора. Видимо, так. Но мы так глубоко это не понимали, я и сейчас не знаю точно, Ира... Надо сказать, что мы с Успенским выработали роскошную тактику ведения ближнего боя. Мы сразу с ним договорились. Дело в том, что он человек много говорящий и может трепаться безостановочно. Причем с проклятиями, с воплями, со всякими выходками хулиганскими. Я это знал. Про себя же я знал, что я могу очень точно и кратко...

И. С: *Резюмировать.*

Ю. К.: Врезать. Словом. И мы с ним договорились так: он будет изматывать противника тысячей мелких уколов и ударов, когда же противник будет совершенно измотан и измордован и ничего не будет соображать, тут моя очередь бить.

И. С: *В самое сердце.*

Ю. К: Успенский говорит: Ты только мне мигни, что ты готов сказать, — я прекращу. Я говорю: Для этого мы должны сесть так, чтобы... не каждую же секунду мысль приходит. Ну, чтобы не то что мигнуть, а посмотреть друг другу в глаза. Я ему должен был просто дать знак — да, сейчас можно. И это так и происходило все. То есть мы некоторое время слушали, как один из идиотов, я забыл его фамилию, зачитывал рецензию на мою повесть «Приключения Васи Куролесова» и всячески ее поносил.

И. С: *Это не Веденяпин (*Автор дилетантской газетной заметки «Накуролесили», в которой, ругая видеоряд диафильма но повести «Приключения Васи Куролесова», он поносил и автора повести, Ю. Коваля*) был случайно?* Ю. К: Нет-нет, это был какой-то другой. Я забыл его фамилию. Эдик-то помнит, конечно. Я забыл.

И. С: А Эдик помнит?

Ю. К.: Конечно, помнит. Он помнит всех. Тот, судя по всему, приготовил достаточно длинный доклад на тему, как херово мое произведение. Понимаешь, какая история. (Смеется. — И. С.) Мы сидели. Я думаю, что Успенский высидел минуты три. Не больше. Как вдруг, пока тот еще читает свой доклад, Успенский вскочил грубо со словами: Кого мы слушаем? Что за обормот? Что он несет? Вы кто такой? Вы что, специалист по литературе? И пошел на него, попер: Да что вы читаете нам? Вы цитируете величайшую литературу в мире. Молчать. Скотина. Дурак Идиот. Кто, где здесь Свиридов? Свиридов, кто у вас работает? Даже он не

может два слова связать. Он ударения неправильно ставит. Посмотрите, кто обсуждает Коваля, кто обсуждает меня... Тот говорит: Эдуард Николаевич, Эдуард Николаевич, вам слова не давали. А тот: Как не давали? Мне слова не давали? И пошел, попер просто сразу. Он разрушил сразу все планы к ядрене матери.
И. С: Всю их рекогносцировку.
Ю. К: Абсолютно. Просто спутал карты, планы. Они не ожидали такого, думали, что он будет сидеть, ждать. (Смеется. — И. С.) И вот он нес-нес-нес, все не знают, куда деться, не знают, что делать. Я говорю: Эдуард Николаич, присядь, давай все-таки выслушаем. Это первая моя фраза была. Он сел — послушался... Этот чудак начинает снова читать. Эдик терпит — минуты две. Ну минуту примерно терпит, потом вскакивает: Коваль, ты что меня останавливаешь, как я могу это слушать! (Смеется. — *И.* С.) И дальше все разыграно было как по нотам. Ты не можешь себе представить, как это было. И я тебе должен сказать: жаль, что не было видеокамеры. Я не помню ни одной своей гениальной фразы. Но Эдик потом меня уверял, что я бил, просто припечатывал. Потом он меня уверял, что страшные были удары нанесены мной. То есть он все время взбудораживал и сбивал их совершенно с панталыку, а я как-то чудовищно припечатывал. Эту теорию мы с ним очень долго исповедовали и так и действовали в разговорах с «большими» людьми.
И. С: То есть вы на каком-то этапе были объединены общей борьбой?
Ю. К: Да, мы были объединены этой общей борьбой против Михалкова и отчасти против Алексина, потому что это были друзья не разлей вода, и, конечно, как Эдик считал, они были погубители детской литературы на то время.

И. С: *И я с ним солидарна.*
Ю. К.: Ну, может быть и так. Я склонен здесь повторить идею Сапгира, которая звучит более мягко. Его не печатали тоже как детского писателя. И идея Сапгира звучала так: Ну что всё Барто да Михалков, Барто да Михалков? Ну невозможно кормить одной пшенной кашей все время. Вот так я бы скорее сказал. А мы были явно, и Эдик, и я, явно не пшенная каша в этом смысле.
И. С: *Они чуть было не зарезали вас. Вы с Успенским себя тогда отстояли, утвердили — и все? Вы отбили эту атаку — повторялись ли они дальше?*
Ю. К.: Атака эта происходила при любой книге, при издании любой нашей книги...
И. С: Но все-таки не такая серьезная уже?
Ю. К.: Я не помню. Не такая серьезная, когда просто зачеркивают. Но у меня не было случая, когда бы моя книга была издана с полным ощущением благополучия. Может быть, такие маленькие книжки, как «Весеннее небо» — книжечка про птиц. То есть издание, в сущности, не то что ничтожное, а просто маленькое, тихое, скромное изданьице. Или «Избушка на Вишере». Пожалуй, проходили легко и лирические мои рассказы. В остальном же я не помню случая, когда книга мне бы обошлась без огромной крови с моей стороны. Даже книги с Мавриной.
И С: *Надо сказать при этом, что, будучи стилистом, вы отрабатываете каждое слово.* Для *вас любая правка — это кровь.*
Ю. К.: Без всякого сомнения. Любая правка — это страдания. Любая правка, кроме моей собственной, меня мучила ужасно. Леокадия Яковлевна меня, конечно, тоже правила, но я ей прощал очень много. Во-первых, я ее очень любил, и петом — знал, как много она для меня делает...
И. С: *Хорошо, что было после «Пяти похищенных монахов» ?*

Ю. К.: После «Монахов» я писал довольно много. Я писал взрослые рассказы, которые потом вошли в огоньковскую книжку «Когда-то я скотину пас». Я написал шесть книг с Мавриной («Стеклянный пруд», «Заячьи тропы», «Журавли», « Снег», «Бабочки», «Жеребенок»), которые очень люблю, у меня был тогда период таких кратчайших рассказов, который, наверное, не повторится.

И. С: Как родилась идея сотрудничества с Мавриной? Ю. К.: Тут автор опять Леокадия Яковлевна, которая просто посчитала нас подходящими друг другу. Она нас собрала и попросила меня сделать книжку с рисунками Татьяны Мавриной.
И. С: И еще неизвестно, кому это был больший подарок, вам или Мавриной.
Ю. К.: Это мне очень трудно, Ирочка, сказать. Ахмадулина придерживается той точки зрения: Ну конечно, она ничего, но проза! Проза!
И. С. *Аля меня это еще одно подтверждение того, что ваша проза, как я всегда думала, рассчитана на определенный круг читателей. И это ни хорошо, ни плохо, это исторический факт. Она просто имеет своего конкретного читателя.*
Ю. К.: Увы, это так. Наверное, да, Ир.
И. *С: Прошел большой пласт детской прозы и взрослых рассказов, мавринские книжки продолжались... И наконец мы подошли к «Полынным сказкам», на которых мне бы хотелось остановиться подробнее, поскольку они, по-моему, не были оценены критикой по достоинству и история их создания неизвестна широкому читателю. А жаль, поскольку это, я бы сказала, энциклопедия русской жизни для детей.*
Ю. К.: Бог его знает. Я тебе скажу, ты слишком уж замахнулась на энциклопедию. Дело очень простое с « Полынными сказками». Дело в том, что моя мама тогда очень болела, это были ее предсмертные годы. А я ее очень любил, и мне хотелось сделать для нее что-то. А что может сделать писатель? Написать. Что же еще, Ир? В конечном счете, что ты можешь сделать доброго-то? Ну купить бутылку водки, ну что? Ну что?
И. С: *Это, видимо, самый простой добрый поступок, который вы, Юрий Осич, можете совершить. Вот она, мятущаяся душа писателя!*
Ю. К.: Ну да, ну да. Вот я и выбрал этот вариант — все-таки вспомнить ее рассказ и написать книгу, целиком ей посвященную.
И. С: *Насколько эта книга основана на реальности?*
Ю. К.: Абсолютно основана на реальности. Это абсолютная реальность. «Полынные сказки» — это четкие рассказы мамы. Конечно, устный рассказ — это уже условная форма. Мама рассказывала мне все это, а я это определил и заключил в форму.
И. С: *Рассказывала когда, в детстве?*
Ю. К: Она мне рассказывала это всегда. Еще когда я был маленький, и это повторялось. Потом она сделала запись, которая у меня сохранилась. Запись своего детства, есть и более позднее время, я смотрел на эту запись даже не так, как музыкант смотрит в ноты, а как музыкант смотрит: это тональность до мажор или си-бемоль мажор? Вот так. Ты поняла. Ну, говори, еще что?
И. С: У «Полынных сказок» была особая история. Давайте поговорим о ней. Вы рассказывали, что композиция книги строилась на религиозной основе. В книге был описан весь цикл жизни русской деревни — от сева до уборки, от рождения до смерти. И от всего этого остались лишь намеки.
Ю. К.: «Полынные сказки» выходили тяжело. Правка была чудовищная, жуткая. Скажем, «Сказка о колокольных братьях», которая мне очень нравится, была абсолютно оригинальна. Ведь это потрясающая мысль, что там на колокольне колокола — это ее, Лели, братья. Конечно, она глубоко религиозная. Но у меня ведь нет такой, церковной религиозности (то есть исполнения обрядов и так далее), а есть какая-то глубинная вера. Понимаешь ли. Какая-то глубинная, изначальная вера, то есть правильная, какая и должна быть у любого человека. А для маленького человека, которому скажешь: У тебя там на колокольне братик есть. Там колокольчик звенит или колокол большой — это твой брат. Ты представляешь, какой это сильный образ... для маленького человека, для маленького восприятия. И когда эту сказку у меня оттуда полностью выкидывают... Ира, это большой удар. Это сильный удар... Причем, я считаю, в то наше атеистически-ханжеское время я нашел форму.
И. С: А для меня важно, что вы это сделали не через пять лет, когда все об этом вдруг записали, а тогда, когда об этом нельзя было писать.
Ю. К: Да, но я даже обошел цензуру. Я и цензуру-то обошел!

И. С: Но там же не только эту сказку вырезали, еще и по мелочам много попереправили. Рукопись была пропитана российской народной религиозностью.
Ю. К: Ну какой-то, да. Школа-то церковноприходская описана там, а церковно-приходская школа, как ты ни крути, она церковно(!)-приходская, понимаешь. Правда, поп, которого мне мама навязала, он там получился такой неприятный, и татары ему подкинули свинячью башку, этому попу. Я не стал с этим спорить, тем более что я вступил бы в конфликт с матерью.
И. С: С другой стороны, я до сих пор разделяю служителей церкви и веру как таковую.
Ю. К.: Это твое дело, Конечно. Церковь есть церковь, а вера есть вера. Это разные вещи, совершенно очевидно. Церковь — это тот храм, куда ты приходишь... помолиться, в сущности. А хочешь — дома молись. Кто тебе мешает? С этой точки зрения вещь была пропитана, как бы сказать тебе, глубинной верой, которая мне свойственна вообще. Ирка, мне она вообще свойственна. В любом виде... Сейчас мне надо переиздавать «Полынные сказки», и я не знаю, где найти старый экземпляр. У тебя не осталось, посмотри.
И. С: *Я помню, что у меня была машинопись «Недопёска», где было много мелкой правки, но из «Полынных сказок» я помню только выброшенную главу о колокольных братьях... Это было до меня, и у меня нет экземпляра машинописного, в котором делались исправления. Он, видимо, погиб в издательстве.*

Ю. К: У меня даже «Колокольные братья» где-то валяются, не пойму где. Я тоже буду смотреть. Сегодня я занимался знаешь чем? Я редактировал «Шамайку». Слава богу, ты мне дала экземпляр «Шамайки» еще до сокращения, и я там кое-что вставил. Она в «Малыше» выходит, и я решил восстановить то, что могу. Хотя это уже сейчас непросто. И. *С: Жаль, я в свое время не смогла сделать копий листов с восстановленной правкой, которые мы отдавали в издательство. Но тут уж ничего не поделаешь... Давайте вернемся к нашим баранам.*
Ю. К.: Вернись к баранам, действительно.
И. С: В «Полынных сказках» была только «религиозная» правка»?
Ю. К: Там правка была связана только с религиозной линией. Выкинута сказка о колокольных братьях, выкинуто описание церкви: слова о том, что это был высокий дом, который шел до неба и даже, кажется, выше неба, а дальше уж — что там было... И еще что же? Выкинуты две монашки, которые жили при церкви.
И. С: *Они не выкинуты. Просто не обозначено, что это монашки.*
Ю. К: Они сокращены или не обозначены, кажется, там есть... *И.* С: *Там есть две сестры. Только непонятно, что это за сестры. Эзоповым языком о них говорится.* Ю. К.: Эта глава тоже пострадала. Ведь текст может пострадать от маленькой редактурки. Словечко, запятую, тут союз, там союз поменять. Ну, слово «монашки», конечно, вылетело. Эта глава пострадала, и я безумно, конечно, печален от того, что она пострадала, и не помню точно, как ее восстановить. Мне кажется, что это была хорошая и мягчайшая из моих глав.
И. С: *Но несмотря на это, книга, как и все предыдущие, разошлась моментально и в этом же году выиграла на всесоюзном конкурсе...*
Ю. К: И было второе издание.
И. С: *В следующем году была переиздана по условиям конкурса.*
Ю. К: И выдвинута на Государственную премию.
И. С: И она была *выдвинута на Госпремию. Но именно она была выдвинута потому, что остальные не подходили по годам издания. И ее, к сожалению, прокатили (*«Полынные сказки» были выдвинуты на Государственную премию именно в тот год, когда изменились условия ее присуждения и не стало отдельной премии по детской литературе*).*
Ю. К.: И ее зарубили. Ну, этого я и ожидал. Я ожидал, что ее зарубят. Мне трудно сказать тебе сейчас почему... Потому что... есть люди, которым принято давать премии, а есть люди, которым не принято давать. Я не вошел, еще не вошел в число тех людей, которым принято давать премии.
И. С: Слава богу, Юрий Осич.

Ю. К.: Я это тебе просто так говорю... (Смеется. — И. С.)
И. С: *Возможно, вы вообще не из тех людей, которым принято давать премии.*
Ю. К.: Ну да, не из тех, да.
*И. С: Расскажите мне напоследок про теперешнее существование. После «Полынных сказок» прошел огромный кусок времени. Как поживает сэр Суер-Выер (*Герой последнего романа Ю. Коваля*)?*
Ю. К.: После сказок был написан «Промах гражданина Лошакова», ты должна это помнить, многие еще рассказы были написаны, была написана «Шамайка», повесть. Довольно много написано вещей, и главная, конечно, работа ушла на «Суера-Выера», который до сих пор печатался во многих журналах. «Огонек», «Столица», «Русская Виза», «Уральский следопыт» — четыре журнала, но все-таки по фрагментам — какие-то маленькие фрагменты.
И. С: *Что за явление в вашей жизни «Суер-Выер»? Апофеоз экспериментов с жанрами?*
Ю. К,: Ты знаешь, про «Суера-Выера» я тебе скажу то, что я думаю, но это не означает, что я буду прав. Я не знаю. Потому что не мне судить, и сейчас я в таком состоянии и в таком положении, когда как бы не мне судить, а я судим сейчас ... теми, кто читает. От этого у меня особенно плохое и печальное настроение. Потому что я все время, я все время, как говорится, под прицелом разных людей.
И. С: Тех, чье мнение для вас важно?
Ю. К.: Тех, чье мнение для меня важно. Ну, не так уж важно, но все-таки. Из всех моих близких мне людей единственный человек, который прочел полного «Суера-Выера», — это Татьяна Бек. Таня говорит, что это гениально. Но надо учесть, что Таня меня очень любит, это надо учесть, и тут нечего говорить. Она ко мне относится как к брату, как я не знаю к кому, то есть очень хорошо относится. Белла, которая читала главы отдельные, от него просто в полном восторге. И вся вещь будет посвящена ей. Так я понял после того, как в тяжелейшие минуты моей жизни в этом году она меня поддержала, поддерживает и пишет сейчас, мучаясь, ночами не спя, предисловие к *«* Суеру-Выеру », не прочитав всей вещи в целом. Говорит: Это несущественно, я знаю, что это за вещь. Но я думаю, что ей нельзя давать даже рукопись, потому что... Таньке можно было дать. А Белле нужно книгу. Она такой человек.
И. С: *Я понимаю. Она права. Ей как бы и несущественно...*
Ю. К.: Ей несущественно. Она всех посылает на... То есть Остров посланных на ... ею особенно любим. Я говорю: Может быть, там у меня нет больше такой сильной главы. Она говорит: Ничего, этой достаточно. (Смеется. — И. С.) Есть еще один человек, я не скажу тебе кто, который читал эту книгу и тоже считает ее гениальной. Есть еще люди, которые читали. Вот сегодня мне один человек сказал, что, к сожалению, он... что текст очень понравился, я тебе говорил уже, но спонсор не дает денег, поэтому переговоры об издании книги будем проводить в августе. Я тебе хочу сказать, что сейчас мое положение очень незавидное. Несмотря на все эти магистерские знаки (В то время у Ю. Коваля была перевязана рука, в связи с чем он был одет в некую мантию с широкими рукавами, не стягивающими больное место, которой он, однако, гордился), меня волнует сейчас только лишь, только лишь «Суер».
И. С: *Незавидное в каком смысле?*
Ю. К: В смысле душевном. Я болен.
И. С: *«Суером», да?*
Ю. К.: Я болен судьбой «Суера». Я болен судьбой «Суера». Я болен судьбой «Суера»... (Повторы были свойственны живописной речи Юрия Осича, но, когда беседа касалась последнего романа, тон его становился напряженным, фразы подчеркнуто акцентированными с оттенком предвидения, что вполне соответствует настроению последних страниц его романа.)
И. С: Он уже закончен полностью? Ю. К.: Да. Я поставил точку.
И. С: *Это не то, что раньше было, когда он как бы остановился, завис немножко?*

Ю. К.: Нет-нет-нет. Я поставил точку. Причем я со всей полной ... со всей силой поставил точку. Поверь мне. *И.* С: *Верю.*
Ю. К.: Там написано так... Там написано так, что всё. Понимаешь. Всё! Это болезнь, Ир.
И. С: Я понимаю, и все же, в чем причина мучений — неуверенность по поводу новой вещи, жажда признания или что? Ю. К.: Я думаю, что я написал вещь, равную по рангу и Рабле, и Сервантесу, и Свифту, думаю я. Но могу и ошибаться же. *И. С: То есть вас сейчас мучает именно это: насколько адекватно самоощущение?*
Ю. К.: Насколько я написал вещь. Насколько я написал вещь.
И. С: Но это, я думаю, покажет самое ближайшее время, правда?
Ю. К.: Я не знаю, Ир, трудно сказать. Не обязательно. Не обязательно.
И. С: Я имею в виду издание, поскольку в виде книги она... Ю.К.: Необязательно.
И. С: *... другой жизнью заживет, чем рукопись...*
Ю. К: Она будет издана. (С уверенностью. — И. С.)
И. С: ... и какие-то точки над «г» расставит.
Ю. К.: Конечно, да. Рукопись читают так, а книгу читают так
Книга — это другое дело. Книга и воспринимается лучше.
И. С: Юрий Осич, о «Суере» мы пока закончим, но я не хочу в своей работе ставить на нем точку, потому что это еще некоторое тире или многоточие.
Ю. К: Да, конечно, да.
*И. С: Мы упустили «Лодку» (*Повесть «Самая легкая лодка в мире» и одноименный сборник, выпущенный «Молодой гвардией» в 1984 году*). Какое место «Лодка» занимает в вашем творчестве?*
Ю. К: Думаю, что очень важное. Кстати сказать, мы ее действительно не упомянули. Я же писал ее много довольно лет. Как «Недопёска» я восемь лет писал, так примерно восемь лет писал я и «Лодку». А « Суера» — сорок, кстати сказать, начиная с пятьдесят пятого года. *И. С: То есть идея родилась тогда?*
Ю. К: Тогда родилась идея, и мы написали некоторый текст, который у Лёши (А Мезинов, однокурсник Ю. Коваля, детский писатель) есть, из которого я взял несколько фраз и пошел по своему пути просто-напросто. Странное явление природы... «Лодка», конечно, тоже важнейшая вещь. Очень сложная. Очень сложная в письме. Дикое количество времени. Это не залпом было написано.
И. С: Очень сложная и изумительная вещь, как и «Недопёсок». «Лодка» — единственная из книг, напечатанная в «Молодой гвардии». Она проходила гладко?
Ю. К: Там меня очень поддержала Мадлена Катаева, которой «Лодка» понравилась. Она меня очень поддержала, сразу ее приняла, захотела издавать и почти не редактировала. Отредактировала там одну только фразу, и то, можно сказать, выкинула не она, а цензура. *И. С: Какую фразу, помните?*
Ю. К.: Конечно, помню. Когда я описываю пединститут, а там стояли у нас скульптуры Ленина и Сталина, я написал: «Какие прекрасные девушки толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени», Вот это «двух важнейших скульптур нашего времени» было выкинуто.
И. С: Вполне безобидная фраза. Вы потом ее не восстановили случайно?
Ю. К: По-моему, я восстановил в последнем издании, надо посмотреть, проверить по «Лысым и усатым» (Последний прижизненный сборник Ю. Коваля «Опасайтесь лысых и усатых»). Там, по-моему, восстановлено.
И. С: *Значит, в основном она прошла более-менее гладко?*
Ю. К: Она прошла гладко и замечательно незаметно. Замечательно незаметно. Даже Белла Ахмадулина, которой я подарил эту книжку, то ли она ее не прочла тогда... Но позже Белла мне сказала все-таки: «Всю ночь смеялась, как дурак».
И. С: *Над «Лодкой» ?*
Ю. К.: Над «Лодкой», да. Всю ночь смеялась, как дурак. Она любит про себя в мужском роде сказать... Несколько месяцев назад, где-то в октябре, она мне звонит очень печальная и

говорит: Я не могу жить без вашей прозы, я все время читаю «Лодку», все время читаю «Лодку». Папашка — это я, самая легкая лодка в мире — это я, всё там — это я. В результате я ей посвящаю вторую вещь, то есть «Лодку». И теперь я посвящаю ей « Суера». Три книги от меня — это тоже большой рекорд, «Недопёска», «Лодку» и «Суера». С Беллой особые отношения, это, конечно, особые отношения, они вообще не вписываются ни в какие рамки...

*И. С: Кстати говоря, «Лодка» ведь никаких наград не получила. Если не считать предисловия Арсения Александровича, которое похлеще премий, пожалуй (*В сохранившемся машинописном оригинале предисловия Тарковский, в частности, называет «Недопёска» «одной из лучших книг на Земле»*).*

Ю. К: Нет, она получила Андерсеновский диплом (Почетный диплом IBBY — Международного совета по детской книге.).

И. С: *И совсем уже финально давайте поговорим — неправильно будет сказать: о кумирах, — но о тех людях, чьим мнением вы особенно дорожили, кого можно было бы назвать учителями в литературе, и общение с которыми было для вас этапным явлением,*
Ю. К: Ну конечно, я тебе хочу сказать: с самого начала Шергин.
И. *С: Как вы познакомились?*
Ю. К: К Борису Викторовичу я поехал по заданию журнала «Вопросы литературы», сделать с ним интервью. Он жил в Москве на Рождественском бульваре, все это описано в моих воспоминаниях. Дело в том, что интервью не получилось ... Но мы немедленно с ним сдружились. Мы как-то с ним сдружились быстренько. То, о чем мы с ним говорили, было невозможно превратить в материал для «Вопросов литературы». И то, что собрано в моих воспоминаниях, — это я уже собирал месяцами и даже годами («Веселье сердечное (Воспоминания о Б. В. Шергине)» // «Новый мир», — 1988. —№ 1.). За один визит это было сделать невозможно. Хотя с другими я делал за один визит. Или за два: в первый визит — запись, второй визит — редактирование. А здесь — нет. Хотя он очень хотел бы, чтоб получилось, но это не получилось.
И. С: *Здесь надо сказать, что он был, конечно, мэтром, но и вы скрасили его одинокие дни.*
Ю. К.: Я тебе скажу так. Может быть, я и скрасил, конечно ... Никто не приходит к слепому старику, а я все-таки приходил. Это так. Это точно. Но я тебе хочу сказать, что он один из тех людей, кто оказал мне прямую поддержку как литератору. Ну во-первых, написал мне рекомендацию в Союз писателей, что на дороге не валяется, между прочим. Рекомендация Шергина... Важно было то, что я читал ему рассказы и смотрел, как он реагировал. Он же был слепой. Он смеялся, как ребенок! Как он хохотал, хватаясь за животики буквально. Руку так вот, к уху, а он плоховато слышал. Как? — говорит. — А-ха-ха-ха-ха. Какая была чудесная реакция, понимаешь ли. Это была поддержка из поддержек. Вот это он — Борис Викторович. Про Соколова-Микитова (И. С. Соколова-Микитова Ю. Коваль также интервьюировал по заданию «Вопросов литературы») я так не скажу, мы дружили, но такой связи не было. Огромная поддержка, конечно, Юры Визбора. Этот любил любую мою строчку, любую мою книгу.
И. С: *И с ним вы были некой нитью связаны постоянно.*
Ю. К: Вообще да, с давних времен. Она иногда была потоньше, иногда потолще. Иногда чаще вдруг как-то встречались. Мне известно, что Визбор возил мои книги из больницы в больницу в последние годы. Он возил с собой постоянно все мои книжки и мавринские. И очень любил их читать друзьям. Я говорю: Юрка, а ты чего читаешь? Он говорит: Я читаю рассказ «Анчутки» из «Журавлей». Я говорю: Но там же есть опечатка. Он говорит: Я заметил и все переделал. — А как ты переделал? — Да хрен знает! Я, — говорит, — каждый раз по-своему переделываю эту опечатку, не помню уже точно как — как в голову придет. Визбор — огромная поддержка, как и Ким, впрочем. Тоже, конечно, огромная поддержка.
И. *С: Причем с ними не было конкуренции, как у писателей частенько бывает, а нормальная, человеческая дружба...*
Ю. К: Не-не-не, никакой конкуренции.

И. С: Полное приятие...
Ю. К: Да. Не так давно Кима в «Литературной газете» спросили: А кто ваш любимый писатель? А он ответил: Юрий Коваль. А его спрашивают: А почему Юрий Коваль — ваш любимый писатель? Он говорит: Не знаю, потому что мой любимый писатель — Юрий Коваль. Люблю и все, — говорит. А меня спрашивают в «Книжном обозрении»: А кто ваши любимые писатели в этом году? А я говорю: Мне очень понравилась книга Ахмадулиной и Ким. А они говорят: У Беллы Ахмадулиной действительно вышла книжка «Ларец и ключ», а Ким-то при чем? Ля говорю: А он всегда мой любимый писатель. (Смеется. — И. С).
И. С- *Ну это такая... Ковальская штучка...*
Ю. К.: Это взаимная такая штучка. Мы совершенно не сговаривались. Абсолютно не сговаривались. Случайно. Любим — и все, видишь, какая история. Мы с ним случайно совпадали часто, с Юликом. В разных интервью. Это было предновогоднее интервью, где моя книга «Опасайтесь лысых и усатых» признана не самой веселой, а... Написано было так: Наиболее оптимистичной книгой года признана книга Юрия Коваля «Опасайтесь лысых и усатых». Второе место занял С. Берия «Мой отец Лаврентий Берия». Среди веселых! (Смеется. — *И.* С.) Так что мне Берию удалось опередить.
И. С: *Вот папа, наверное, был бы рад.*
Ю.К: Ну конечно, да. *И. С: Хорошо, а кто еще из «столпов» ?*
Ю. К.: Огромная поддержка Арсения Алексаныча Тарковского, который...
И. С: Как он появился в вашей жизни?
Ю.К: Мы жили все в Переделкине. Андрей Битов мне сказал: У тебя чего-нибудь новое есть, дай я хоть почитаю на ночь. Я дал «Недопёска». Андрей Битов, прочитав книжку, передал ее Татьяне Алексеевне Тарковской. Татьяна Алексеевна прочла книжку, пришла в неописуемый восторг и сказала: Арсюша, ты должен это почитать. Арсений Саныч, прочтя книжку, пришел в бешеный восторг. Он меня целовал, обнимал всячески, трогал мою руку и говорил всем встречным-поперечным, которые ничего не понимали: Это Юра Коваль. Он «Недопёска» написал. Вы знаете, что такое недопёсок?.. Короче говоря, вот так С Арсением Алексанычем я мог познакомиться только таким образом. Только через литературу. И он бесконечно меня поддержал. Бесконечно меня поддержал. Ну, как сказать тебе?
И. С: *Он поддержал, как я понимаю, приятием...*
Ю.К: Это было признание... Ир, Тарковский — это признание. Понимаешь, какая вещь. Шергин — это признание. Белла потом прочла «Недопёска» и тоже рехнулась, она сошла с ума. Она сошла слегка с ума на этой почве. Она даже разговаривала голосом недопёска. То есть у нее был особый голос такой, она говорит: Вы понимаете, каким голосом я с вами разговариваю? Я говорю: Каким? Говорит: Это голос недопёска. (Смеется — И. С.) Это чудно, но это факт. И она написала на книжке, которую попросила, чтоб я подарил дочери Льва Ошанина, она написала «Недопёсок — это я». А я пожалел, что на моей-то она так не написала. У меня-то этой нет надписи. Белла потом на многие годы исчезла и вот этой осенью снова стала мне звонить, потрясенная повестью «Самая легкая лодка в мире» и всей книгой «Опасайтесь лысых и усатых». Сейчас она ходит, у них там в Доме книги еще продаются «Опасайтесь лысых и усатых», она скупает их столько, сколько есть денег, приносит домой и дарит всем, кому только может.
И. *С: Очень грамотный писательский подход.*

Ю. К.: Она ведет себя так. Говорит: Я хочу вам доставить удовольствие. И дарит. То же самое делает Ким. Дарить! Конечно. Дарить хорошим людям с надписью: От меня и моего друга. И всё. Да что там, господи. Белла так и пишет. Лемпорт так пишет. Лемпорт и Силис (Владимир Лемпорт и Николай Силис — скульпторы, очень близкие друзья Ю. Коваля) купили у меня по сорок книг и всем дарят (Наш разговор проходил на той стадии становления в нашей стране рыночных отношений, когда гонорар автору порой выдавался только книгами). Силис сейчас у меня восемь «Недопёсков» купил. Говорит: Я знаю, куда я дену. А он точно денет.

И. С: Это продолжается, в сущности, их такая салонная жизнь. Как в свое время у них была просто своя постоянная выставка в собственной мастерской, так и сейчас высокое искусство продолжает распространяться не на лотках, заваленных обложками с обнаженными красотками и окровавленными монстрами, а вот так — через свою сеть.

Ю. К.: Через свою, да. Я же действительно ваш друг. Почему же не дарить книгу друга, интересно? Это нормально. Я считаю, что это нормально.
И. С: А потом и книга эта как маленькая ленинская медаль. «Недопёска» подарить! Я «Недопёска» на особой полочке держу. Я «Недопёска» не очень-то и дарю.
Ю. К: Так «Недопёсков» нету больше — всё!
И. С: *У меня еще есть парочка.*
Ю. К.: Парочка пускай лежит. Сейчас, понимаешь в чем дело... Сейчас очень похоже, что будет полное собрание сочинений, и они все будут в форме последнего «Недопёска». Все эти шесть книг.
И. С: В формате, да?
Ю. К.: Размер, да, почти квадратный. И там будет первое — «Алый». Второе, видимо, «Чистый Дор» и рассказы. Третье — «Вася Куролесов». Четвертое — это, видимо, новые сказки, пятое — «Недопёсок» и шестое — «Шамайка».
И. С: А «Полынные сказки» ?
Ю. К: «Полынные сказки» они не включили. Сказки вообще — но, может быть, и «Полынные» там будут. Я же после «Суера» написал три новых сказки, среди них «Сказка про Зеленую Лошадь», которую я считаю очень хорошей. «Сказка про Зеленую Лошадь» — так, очевидно, и сборник будет называться.
И. С: *Юрий Осин, ну, мне кажется, мы всё обсудили.*
Ю.К.: Всё?
И. С: Теперь *мне надо всё переработать, переварить...*
Ю. К.: Всё. Выключай...

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», №6,1998

Владимир Мартынов

Последний Юрий Иосифович

Живите так, чтобы вам не было стыдно продать
домашнего попугая главной сплетнице города.
У. Роджерс

Если бы Юрий Коваль дожил до этого декабря, он получил бы к Новому году великолепный подарок — две свои книги: «Сказка про Зеленую Лошадь» в издательстве «Малыш» и «Приключения Васи Куролесова» в «Самоваре». Но у настоящих писателей, увы, нередко бывает так, что подарки от них получаем мы, причем именно тогда, когда их самих уже с нами нет.

Когда-то вчетвером они организовали «Тайное общество Юриев Иосифовичей» — Визбор, Домбровский, Коваль и Коринец. В августе прошлого года ушел из жизни последний — Юрий Коваль. Автор «Недопёска», «Самой легкой лодки в мире», множества замечательных рассказов. Писатель, который всю жизнь считался детским, но с книгами которого, прочитав в детстве, не расстаются до старости. Он был шире и глубже этих прилагательных: детский, взрослый, хороший... Он был — Писатель, и о том, какой он, никто не расскажет. Надо просто взять книжку и прочитать. Так что вам, дорогие читатели, два новогодних подарка от Юрия Коваля и «Арт-Фонаря» — веселый и грустный. Веселый — фрагменты его последнего романа «Суер-Выер» (сам он говорил: «Да какой же это роман! Это совсем другой жанр — это пергамент»). Грустный — кусочек последнего же его интервью, которое при жизни Коваля так же, как и «пергамент», опубликовано не было. И только сейчас, готовя его к публикации, я заметил, что тогда, за полгода до смерти, о своей жизни он говорил в прошедшем времени...

—*Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать ваш читатель?*
—Конечно, желательно обладать выдающимися качествами. Желательно — но это не обязательно. Я пишу так, будто я пишу для маленького Пушкина. Ну как будто. То есть я предполагаю в своем читателе — ребенке — уже очень широко развитый, готовый к восприятию меня мир. Ну и пусть он не знает некоторых слов — узнает. *Я* пишу для избранных — это совершенно четко. Для избранных детей.
—*Так вы детский писатель?*
—Да как хочешь, так и называй. Я понимаю так, что я писатель такой немножко всеобщий. Недавно одной милой женщине я подарил книжку. Она прочла что-то около пяти страниц. Я спрашиваю: «Ну как вам?» А она: «Да как-то уж очень просто. Так просто, что аж неинтересно». А другая читательница, которую уж никак не упрекнешь в простоте, а именно Белла Ахатовна Ахмадулина, сказала: « С каким наслаждением я вашу книгу перечитывала!» Ну и как тут быть ? Для одной женщины я оказался слишком прост, а для женщины со столь сложным мировосприятием — желанен.
—*Свои рассказы вы нередко пишете от первого лица.*
—Это лирическое «я», которое присутствует в рассказах, в какой-то мере меня отражает. «В бестолковых моих скитаниях по вечно вечерним сентябрьским полям встречались мне и люди с ножами». Все-таки я пишу «я».
—*Вы и в самом деле такой скиталец?*
—Сейчас, может быть, уже не такой яростный. И потом, скитаться можно... Я вот сейчас выйду из мастерской и пойду в магазин за бутылкой водки — это может быть скитанием. Дело не в том, сколько ты прошел, а в том, сколько ты пережил за количество пути. Скитание — это вещь такая, скитаться можно, сидя на месте.

—Но...
—Но все это правда. Конечно же, все это правда. Конечно же, я знаю, где Багровое озеро. И лодка эта есть, лежит она у меня на чердаке в моей избушке на Цыпиной горе. И в Ферапонтове я, конечно, бывал, и в Белозерске, и за Белозерском, и по Ковже плавал, и по Шоле, и на Ладоге бывал, и на Валааме бывал дважды. Ездил по России бесконечно. Есть у Лакшина такие слова:

А над забытым полем
Давно умерший звон
Бескрестных колоколен.
Одна другой — поклон.

Я вот как-то подумал про себя — когда мы вместе с ним это пели, я так не думал — что эти слова на редкость точно определяют мою жизнь. Вот так я и прожил. И пропутешествовал, и продвигался по земле нашей... Это, конечно, чрезвычайно
печальный итог. Разумеется, между этими поклонами было много веселий. Я любил женщин, я искал грибы, я охотился на уток, я стоял на тяге вальдшнепов, я дружил с Лакшиным, с Георгием Семеновым, с другими прекрасными людьми... Но вот эти колокольни, которые кланяются, — они были все время. Вот такая песня, мой друг...
Знаешь, у меня есть один друг, замечательный просто человек. Иван Михайлович Овчинников. Он энтомолог, зоолог, писатель. Он знает, что я человек верующий. А он — атеист. И как только мы встречаемся, он начинает мне говорить: «А все-таки Бога нет»! И всячески мне эту идею пропагандирует — ему интересно вызвать меня на поединок. И знаешь, какое самое сильное мое доказательство? «Ваня, доказательство бытия Божьего — это то, что ты есть на свете и что мы с тобой сейчас разговариваем». Ну как ему еще докажешь. А так он думает: кажется, я все-таки произведение божественное...

Опубликовано в газете «Аргументы и факты»,
приложение «Арт-Фонарь» № 24,1996 г

Галина Николаева

Зеленый мир Юрия Коваля

Это интервью было уже готово к печати, когда пришло трагическое известие — умер Юрий Коваль. Не стало удивительного жизнелюба, веселого, доброго человека. Но именно такими свойствами обладает его блестящая, совершенная проза, которую он оставил нам.

—Творчество и мир флоры. Юрий Иосифович, можете ли вы поставить рядом два эти понятия?

—Конечно, они абсолютно совместимы. Для меня любовь к растениям также естественна, как любовь к человеку, к звездам, ко всему живому. В душе я не различаю простой одуванчик, который растет повсюду, и Капеллу, сияющую в созвездии Возничего. Мне кажется, эта любовь заложена в каждом человеке. Может только, во мне она больше проявляется, потому что я очень люблю упоминать растения в своих рассказах —*Многие ли растения вы назовете «по именам» и нравится ли вам узнавать их?*

—В детстве я очень любил собирать щавель. Так интересно было отыскивать его по весне среди лугового разнотравья. Найти и с наслаждением съесть кислый листик Да и сейчас безмерно приятно — узнать растение «в лицо» и сказать кому-то: «А вот — козлобородник» или там: «Это — живокость». Мне нравится словарь ботаников. Какие замечательные здесь названия, очень русские и близкие. Очень близкие к литературе и важные для литературы. Слова, которые нельзя потерять.

Сейчас у меня дома растет шеффлера. Мне нравится и это латинское название. Как-то приятно его осваивать. Или аралия, антуриум — удивительные, новые для меня слова. И конечно, с огромным уважением отношусь к людям, знающим растения, но должен сказать, что таких встречал очень мало. Сам же, усвоив некоторое количество ботанических понятий с детства, позже захотел расширить их круг. Несколько лет назад у нас вышел замечательный двухтомник «Травянистые растения СССР». Я купил на всякий случай сразу три экземпляра. Он мне очень помог. Хотя не скажу, что рисунки там превосходные, но все-таки они близки к оригиналу и узнаваемы, и даже, пожалуй, лучшие из тех, что попадались мне в руки. Я всерьез стал изучать его, потому что, мне кажется, стыдно (ну, уж писателю совсем стыдно) не знать того, что тебя окружает: птицы ли это, звезды или растения.

—Какое впечатление на вас производят садовые цветы?

—Когда я попадаю в сад, я воспринимаю не конкретно какое-то растение — астру, например, или флокс. Я воспринимаю их в целом, в пейзаже. Для меня они чрезвычайно важны именно как часть ландшафта, и я охватываю всю картину: и цветы, и деревья, и дом, и человека, который проходит между этими цветами, словно оживляющее картину начало. Потом, медленно двигаясь по саду, я смотрю, как все меняется, одно наплывает на другое, что-то уходит из поля зрения, а что-то появляется. И только уже осмотрев всё вот так, я могу, грубо говоря, укрупнить план и обратиться к какому-то отдельному цветку. И сказать: «Какие роскошные жарки!» Понюхать, дотронуться рукой или попросить букет.

В общем, я воспринимаю цветы как необходимую и очень украшающую нашу жизнь деталь. Для меня это все-таки именно деталь пейзажа, что абсолютно не исключает моей любви к ней.

—Юрий Иосифович, вот вы писатель и художник. Не получается ли так, что наша скромная, но поэтичная природная флора, если можно так сказать, поглощается у вас литературным творчеством, а яркие садовые цветы — живописью?

—Нет, не так. Литературой и живописью поглощается все. Вот, например, подмаренник — прекрасное слово. Но это же и чудесное растение, с присущей, пожалуй, только ему странной белой окраской ажурных соцветий, которую просто белой и не назовешь. Она

какая-то призрачно-болотная, жидковато-белая с элементом зеленого, и очень холодная. По-моему, это живописнейшее растение.

—Знаю, что вы любите и комнатные растения. Вряд ли вы их видите как деталь ландшафта. Так куда же вы их определите?

—Они, как правило, необыкновенно красивы и, я бы сказал, скульгттурны. Очевидно, в растениях это заложено, они просто живые произведения искусства. Я с удовольствием рисую стволы старых яблонь. Причем могу выдумать форму и нарисовать яблоню, вообразив ее Но всё, что я ни придумал бы сам, всегда хуже того, что я увидел в натуре и попытался рабски воспроизвести. Так вот, комнатные растения для меня обладают определенной магией — магией формы. Как удивительно гармонично уживаются они со скульптурой, созданной человеком. У меня в комнате растениям отведено лучшее, почетное место. Крупные, рослые стоят на полу, и мне нравится видеть их рядом со скульптурными работами моих друзей—Лемпорта и Силиса. Но помимо магии формы существует магия внутреннего содержания. У каждого растения она своя, хотя есть и схожие в этом плане. Скажем, библейский сюжет «Въезд Иисуса в Иерусалим» традиционно связывается с пальмой. Мне кажется, что драцена или юкка здесь тоже вполне уместны. Есть в домашних растениях для меня еще одно, бытовое, что ли, наслаждение. Я давно заметил, что «живой» зеленый цвет с его различными тонами и нюансами действует на меня благотворно. И я сознательно пользуюсь этим. И последнее, а может быть, и первое. Конечно, большое счастье, когда ощущаешь радость, глядя на свежий, молодой побег, развернувшийся новый лист, когда знаешь, что твоим растениям уютно в доме. Ну а цвести — это уже и не обязательно, лишь бы хорошо росли.

—Вы любите свои растения и других вам не надо или хочется завести еще какие-то, которых вы раньше не знали и не видели?

—Конечно, хочется. Вот, например, прошлой осенью мне в одном магазине страшно понравилась кордилина — необыкновенной красоты. Уже взял деньги и поехал ее покупать. Но поскольку я очень люблю шеффлеру и аралию, которые у меня растут давно, то понял, что она, войдя в дом третьей, может их «забить» в моем сознании. И я ее не купил, хотя мучительно хотелось ее иметь. Но, с другой стороны, здесь у меня живут шеффлера и аралия, они могли обидеться. Я решил не обижать их и не взял ее.

—Л *как вы смотрите на такое решение сейчас?*

—Вот ведь дурак! Надо было брать.

Цветет верба

Когда зацветает верба — появляется у нас вербное настроение. Оно какое-то свежее, радостное, пушистое. Зацветает верба, и начинаешь чего-то ждать. Все ведь не так уж плохо, раз верба опять зацвела. Я всегда хотел иметь собственную вербу и сажал ее не раз. Да *то ли не там сажал, то ли не так ухаживал — своей вербы у меня до сих пор не получилось. Наверное, это правильно. Не может каждый человек иметь собственную вербу. Главное, чтоб было вербное настроение — свежее, пушистое.*

Сирень и рябина

Мне кажется, что сирень и рябина — сестры. Сирень — весенняя сестра. Рябина — осенняя. Весной — за каждым забором кипящий сиреневый куст. А плодов у сирени и нет никаких, так, стручочки ржавенькие. Рябина тоже весной цветет, но какие у нее цветы? Никто их не замечает. Зато уж осенью — за каждым забором — рябиновые гроздья. Кисти сирени и гроздья рябины никогда не встречаются. Кто думает весной о рябине? Кто вспомнит осенью сирень?

Опубликовано в журнале «Цветоводство»,
1995, №5, с. 34—35

Жанна Переляева

Теплый свитер грубой вязки

Конечно, радиопередачи не читать, а слушать надо — ловить интонацию. А у Юрия Коваля интонация была — будь здоров: неповторимая и ни на кого не похожая. Она даже в печатном тексте чувствуется — для тех, кто слышал его, конечно, хоть раз.

Я в тот день Юрия Иосифовича слышала и видела впервые. До этого, правда, читала, но стеснялась пригласить его, такого гениального, к себе на передачу, все ждала особого случая...

И вот мы сговорились о встрече. Решили, что я приеду к писателю в мастерскую: хотелось и запись сделать, и на картины с эмалями посмотреть. Коваль встретил меня на мосту. По дороге все расспрашивал, приглядывался. Наверное, понял, что я волнуюсь — нечасто я тогда с живыми классиками вдоль Яузы прогуливалась... Было начало лета, но все еще прохладно. Когда пришли, Юрий Иосифович, не очень-то меня спрашивая, взял свой толстый крупной вязки свитер и, надев его на меня поверх всех одежек, сказал: «Вот так и сиди. У нас здесь холодно».

Так что интервью я брала, кутаясь в теплый свитер Коваля. Мы много говорили, пили чай. Юрий Иосифович все сокрушался, что к чаю не купил ничего. Мои уверения, что вкус чая уникален сам по себе, не действовали. Я бы и не запомнила этой мелкой детали, если бы позже, когда шли до метро особым «ковальским» маршрутом, с заходом к его любимым домам и церквушкам, Юрий Иосифович вдруг резко не остановился возле первого же магазина и не вернулся через некоторое время из него... с пачкой печенья. Протянул ее мне. Оказывается, выпитый мною пустой чай не давал ему покоя, и он придумал такой приз в утешение!

Сейчас я особенно жалею о том, что не стала спорить тогда с Юрием Иосифовичем и послушно не включила микрофон, чтобы записать весь наш длинный разговор. Он убедил меня в тот день, что впереди еще много времени и интересных бесед, в подтверждение своих слов написав на подаренной мне книге: «Жанне Переляевой в день знакомства и на долгую, надеюсь, дружбу». И дату поставил: 3 июня 1994 года.

Передача «Детский остров»

«Радио России», июнь 1994 года

Ведущая (из студии). Здравствуйте девочки и мальчики! С вами на острове ведущая Жанна Переляева. Обычно дальше следует фраза: « Сегодня у нас в гостях... », но нет, на этот раз в гостях побывала я у писателя Юрия Коваля. И поскольку у себя дома человек выглядит совсем не так, как в присутственном месте, я попробую рассказать о своем визите так, чтобы и вы почувствовали себя в гостях у мастера и познакомились с Юрием Ковалем с самых разных сторон. Может быть, кто-то из вас и знает, что писатель Юрий Коваль еще и замечательный художник. (На музыке.) Но вот сейчас вы слышите гитарные переборы, которые Юрий Иосифович наиграл мне специально для нашей передачи. Не хочу раскрывать все сюрпризы, но впереди нас с вами ждет еще песня, написанная и исполненная Юрием Ковалем.

И все-таки давайте уж все по порядку. Я нахожусь сейчас в очень интересном месте. Это мастерская писателя Юрия Коваля. И столько здесь всего необычного!

Юрий Коваль: Ну, вам кажется, наверное, что это все очень интересно, и комната наполнена разными интересными предметами. А для меня она просто набита всякой всячиной. Здесь есть и скульптуры, и картины разных лет, и рисунки, и вон чего-то на полу валяется, какие-то бумаги. Вот видите, самое последнее из того, что я делаю, это петухи. Пять петухов.
Ведущая: Я смотрю... Говорите, разных лет. (Слушателям.) А Юрий Иосифович успел мне уже сказать до тех пор, пока я включила микрофон, что вот эти эмали он просто вынул из печи вчера.
Коваль: Две вынул только вчера.
Ведущая: С петухами?
Коваль: Вот это странное такое солнце. Петух позавчера вышел из печки. А вот то странное солнце с зелеными лучами, я вынул его вчера, это солнце.
Ведущая: То есть творчество просто бьет ключом. Коваль: То есть как бьет ключом? Нет. Ну что такое творчество? Трудно сказать, что это такое, но работать нужно каждый день. *Я* просто работаю, стараюсь работать ежедневно. И не люблю тот день, когда я ничего не делаю, не нравится мне.

Ведущая: Но ведь не всегда же хочется это делать. Я думаю, ребята сейчас поймут, о чем я говорю. Вот не хочется уроки делать, ну не заставишь же себя никак, ну невозможно. А вас никто не подгоняет, оценки вам не ставит, какая-то есть у вас тайна?
Коваль: Ну, особой тайны нет. Я не люблю, когда я ничего не делаю. Мне не нравится такое состояние. Конечно, уроки учить мне тоже не хочется и не хотелось, но про себя-то я всегда знал, ай-яй-яй, уроки-то я не делаю, как нехорошо. Ну ладно, все-таки пойду-ка я в кино.
Ведущая: Вы напрасно, Юрий Иосифович, сказали, что у вас нет тайны, я уже одну тайну разгадала. Вот вы сейчас где сидите? В каком кресле? (Слушателям.) У Юрия Иосифовича есть особенное кресло, (Ковалю) я начну, а вы потом расскажете, (слушателям) и особенное место. На нем только все получается. Посадите вы его в другой угол, и ничего не выйдет. Так я поняла?
Коваль: Если вы меня посадите в другой угол, я скажу: «Дайте я все-таки сяду на свое место». Вот это первое. В кресле нет никакой тайны, кроме той, что оно скрипит, ну и пусть себе скрипит. Дело в самом месте. Я привык и давно себя приучил работать и даже разговаривать и вообще сидеть только на том месте, где свет падает слева из окна. Я не могу иначе. Если у меня свет падает справа, клянусь, ничего не напишу, не нарисую, а только буду говорить: «Дайте мне пересесть, дайте я пересяду на свое место!» *(Музыка.)*
Коваль *(читает):* «Рядом с нашим домом лежит старое, трухлявое бревно. После обеда вышел я посидеть на бревне, а на нем бабочка. Я остановился в стороне, а бабочка вдруг перелетела на край, дескать, присаживайся, на нас-то двоих места хватит.
Я осторожно присел с нею рядом. Бабочка взмахнула крыльями и снова распластала их, прижимаясь к бревну, нагретому солнцем.
—Тут неплохо, — ответил я ей. Бабочка помахала одним крылом, потом другим, потом и двумя сразу.
—Вдвоем веселей, — согласился я. Говорить было, вроде, больше не о чем. Был теплый, осенний день. Я глядел на лес, в котором летали между сосен чужие бабочки, а моя глядела в небо своими огромными глазами, нарисованными на крыльях. Так мы и сидели рядом до самого заката». *(Музыка.)*
Ведущая: Почему вы теперь пишете петухов? Кто-то вас вдохновил?
Коваль: Нет, я всего написал пять петухов. А вдохновил меня петух. Мне понравился один петух, я увидел его, он был в такой боевой позе и вот-вот готов был на Меня кинуться. Ведь есть петухи очень злые, так? Вы должны это знать. И ребята, наверное, знают.
Ведущая: Наверное.
Коваль: И есть такие петухи, что, дай бог, вообще с ними лучше не связываться. И вот этот петух вдруг на меня побежал. И у него невероятный был такой гребень ярко-алый. Такой яростный, красный гребень, бородища его тоже развевалась вся. Грудь он выставил вперед и хвост распушил. И на меня кинулся. Я взял хворостину, хлестанул на него, он напугался,

убежал от меня, закричал свое кукареку. А я запомнил его, расставившего крылья, двигающимся на меня с таким несколько ужасающим видом. И я нарисовал этого петуха. Я его сделал один раз, мне не очень понравилось. Он в печке слегка обгорел, петух. Сделал его второй раз, ну, так вроде стал получше этот петух Потом я подумал, ну почему это я все одного и того же петуха рисую, дай-ка я сделаю какого-то другого петуха. Сделал третьего петуха. Третий петух почему-то оказался похож на француза, вон он висит. Вот еще сделал двух петухов. Один получился какой-то турецкий, но вот этот вот последний, пятый петух — я на нем остановился. Вот этот, по-моему, самый...

Ведущая: Наш, российский!

Коваль: Да, точно. На этом история с петухами, надеюсь, у меня закончилась.

Ведущая: А я надеюсь, что нет. Ой, какая рыба! Я только сейчас увидела.

Коваль: Это Иона в чреве кита. *Ведущая: Потрясающе!*

Коваль: Это не рыба, это кит.

Ведущая: Кит. (Слушателям.) Вы меня извините, ребята, я иногда буду отвлекаться, восклицать что-нибудь, ахать и охать, потому что я еще не очень огляделась. (Ковалю.) Юрий Иосифович, вот вы говорите про петуха, а вы наверняка вообще все хорошо знаете, не только про петухов, судя по вашим...

Коваль *(смеется):* Ну, в смысле кур, что ли, каких-то? Конечно, я знаю.

Ведущая: В смысле животных, в смысле птиц, в смысле всякой живности и растительности. Как вы это все разузнали, каким образом? Вот как это? Вы ведь не специалист — не ботаник, не зоолог.

Коваль: Ну, я так скажу вам. Я знаю то, что должен знать каждый нормальный человек. Каждый нормальный человек, мне кажется, должен знать и названия рыб, и виды их, и названия растений, что это за растения, нужно знать.

Ведущая: Так комплекс неполноценности у половины наших слушателей разовьете.

Коваль: Почему?

Ведущая: Я уверена, что многие не знают.

Коваль: Да почему? Ну вы что? То, что многие не знают, это очень плохо. А как это все узнается? Просто это изучается. Но ведь многие ребята, конечно, знают и ромашку, и кашку, и клевер. Знают. Ну а рядом с ними там растет зверобой, там растет мята, многие тоже это знают. Ну а рядом с ними растет, скажем, растение козлобород. Вот его уже знают поменьше. Или есть такое растение живучка, ее все знают эту живучку, видят ее каждый день, но они просто не знают, что она называется живучка. Это очень красивая такая синенькая свечечка. Обычно растет в еловом лесу. Я, конечно, изучал это специально, чтобы, ну, не выглядеть болваном, ей-богу.

Ведь это и прекрасные русские слова. ЖИвокость, например. Как прекрасно сказано про это растение! Вот. А может быть живокОсть, я точно не знаю, какое ударение. Наверное, жИвокость все-таки. Но это вот надо проверить, как ударение правильно. Видите, я ошибаюсь тоже. В общем, я продолжаю изучать все это и очень интересуюсь. *(Музыка.)*

Коваль *(читает):* «Издали этот дом мне показался серебряным. Подошел поближе, и серебро стало старым-старым деревом. Солнце и ветер, снега и дожди посеребрили деревянные стены, крышу и забор.

За забором ходила среди кур старушка и покрикивала: «Цыба, цыба, цыба! Тюка, тюка, тюка!».

—Хорошо-то как у вас! — сказал я, остановившись у забора.

—Чего тут хорошего, аньдел мой ? — сразу отозвалась старушка. — Лес да комары!

—Дом красивый, серебряный...

—Это когда-то он был красивый. Сто лет назад.

—Неужели сто? А вам-то тогда сколько же?

—И не знаю, аньдел мой, не считаю. Ну, сто-то, верно, нету. Да ты заходи, посиди на стульчике, отдохни.

Я вошел в калитку, мне понравилось, как старушка назвала меня «аньдел мой». Она тем временем вытащила на улицу и точно не стул, а стульчик, усадила меня, а сама не присела. Она то спускалась в сад к курам, то подходила к забору и глядела вдаль, то возвращалась ко мне.

—Посиди, посиди. Цыба, цыба, цыба. Отдохни на стульчике. Отец-то мой, батюшка, Орехий Орехиевич, этот дом сто лет назад построил. Вот тогда был дом золотой, а уж сейчас серебряный. А больше нету ничего. Комары да болото.

—Как звали вашего батюшку? — переспросил я.

—Орехий, так и звали. Орехий Орехиевич.

—А как же вас-то звать?

—А меня Орехьевна. Ты посиди-посиди на стульчике. Не спеши. Цыба, цыба, цыба. Тюка, тюка, тюка. А так ничего хорошего, аньдел мой, лес да комары». *(Музыка.)*

Ведущая: А вы и в детстве были таким любознательным, и вообще — каким вы были мальчишкой?

Коваль: Конечно, меня чрезвычайно интересовало все связанное с природой. Очень. С собаками, с животными, с кошками, с растениями. Все это меня чрезвычайно интересовало, Звездное небо долгое время для меня было такой закрытой книгой. Потому что трудно сориентироваться сразу, нужен был какой-то путеводитель, кто-то должен был помочь, подсказать. Я нашел, в конце концов, такого человека, который мне помог. Мне просто было интересно. Всё.

Ведущая: То есть вы были таким мальчиком, вот, который с книжкой под мышкой всегда, в чистенькой рубашечке, причесанный. Или вы были таким, который в разорванных штанах, носится везде, бегает. Или какой-то другой тип — ни то ни се.

Коваль: Давайте я вам отвечу. Получается вот как. Ну конечно, такой чистенький с книжечкой под мышечкой я не был. Не был и в разорванных штанах. Я был средненький такой. Не поймешь чего. Но каким мне хотелось быть, я могу вам описать. Мне хотелось надевать охотничьи сапоги, бродни, брать ружье, надеть какую-нибудь штормовку или какую-нибудь там, не знаю, телогрейку в зимнее время или в осеннее время и отправиться в лес на охоту. Я был охотником. Довольно рано, уже в тринадцать лет я выехал, первый раз поехал на охоту.

Это, конечно, была не страсть убивать животных или птиц, а страсть находиться среди всего этого. И это был единственный для меня тогда возможный вход в природу.

(Музыка.)

Коваль *(читает):* «Поздним вечером ранней весной я шел по дороге. Поздним вечером ранней весной. Складно сказано. Да больно уж красиво. А дело, правда, было поздним вечером ранней весной. Весна была ранняя, соловьи еще не прилетели, а вечер поздний. Так что же было-то поздним вечером ранней весной? А ничего особенного не было. Я шел по дороге, а вокруг меня и на дороге, и на поле, в каждом овраге светился месяц.

Иногда я наступал на него, и месяц расплывался вокруг моей ноги. Я вынимал ногу из лужи, на сапоге блестели следы месяца. Капли месяца, как очень жидкое и какое-то северное масло, стекали с моего сапога. Так и шел я по дороге, по которой ходил и ясным днем, и тусклым утром, и так уж получилось, поздним вечером ранней весной». *(Музыка.)*

Ведущая: Это как-то проявлялось уже в детстве, что вы станете писателем? Вот, кроме вашего желания все изучать и узнавать.

Коваль: Конечно, любовь к книге-то была, я читал и зачитывался многими писателями. И, конечно, я отличал Марка Твена от Жюля Верна. Очень любил в детстве книгу «Республика ШКИД», повести Гоголя. Не так уж много было книг. Все-таки учтите, что детство было военное. В 45-м году я пошел в школу. Случайно мне досталась разорванная книга Чуковского «Чудо-дерево». Так вот это было для меня, действительно, чудо-книгой. К книге я всегда относился с ощущением того, что ожидаю от нее чуда. Когда же я это чудо не получал, я даже удивлялся в детстве. Только потом понял, что бывают книги хорошо написанные, а бывают плохо написанные. Это я уже потом понял.

Ведущая: А что самое главное должно быть в хорошо написанной книге, по-вашему?
Коваль: Как у писателя у меня есть своя небольшая теория о том, как должна быть написана книга, ну, скажем, для детей. Если отбросить сейчас мысль о том, что в книге должно быть, конечно, какое-то глубинное душевное и духовное содержание. Надо с первых же строчек, с первой строчки взять читателя. Желательно так удерживать его целую страницу — если он прочтет уже первую фразу, я должен быть уверен, что он прочтет и вторую. Потом я даю ему страницу, он должен прочесть страницу, потом я ему могу дать небольшую передышку. Потом я снова должен взять его в руки. И такие способы у меня на вооружении есть. Я их ищу, я их разыскиваю.
Ведущая: А вы любите удивляться?
Коваль: Дело в том, что вообще все вокруг удивительно. Я просто только и делаю, что удивляюсь. Вот даже ваш визит ко мне — это же полное чудо и удивление, согласитесь. И кресло скрипит, и петухи тут только что не кукарекают.
Ведущая: Ну, это для меня чудо и удивление. Для вас-то это как раз жизнь просто, норма, мне кажется.
Коваль: Трудно не удивиться иной раз тому или иному. Тут масса всяких удивительных вещей вокруг.
Ведущая: А вспомните свое самое яркое удивление какое-нибудь.
Коваль: Ну пожалуйста, я так скажу: что меня удивило, что запомнилось. Ведь много из того, что нас удивляет, не запоминается. Ну вот, скажем, лингвистическое удивление, к примеру, связанное со словом.

Есть у меня друг, его зовут Ваня Овчинников, фамилия у него такая — Овчинников. Мы с моим сыном Алешей едем в гости к Ване. Алеша меня спрашивает: «А у Вани как фамилия?». Я так, видимо, быстро ему ответил: «Овчинников». Он говорит: «Вообще никак?». Вот это удивление лингвистическое... *(Смех.)*

Ведущая: Прекрасно!
Коваль: Такое вот для меня было удивление. Ибо это, в сущности, поэзия.
Ведущая: Он услышал рифму к этому слову.
Коваль: Он услышал, да.
Ведущая: Хорошо, что вы сказали про сына. Сколько ему лет?
Коваль: Ему четыре года и три месяца.
Ведущая: Это, наверное, ваш первый судья. Вы проверяете на нем ваши рассказы детские?
Коваль: Нет, нет, нет. Ну, я вообще ни на ком ничего не проверяю.
Ведущая: Ну что же вы ему свои вещи не читаете замечательные?
Коваль: Дело в том, зачем мне читать то, что я могу рассказать ему? Я написал рассказ. И вот он напечатан в книге. Книга от меня уходит. И ее читает тот, кому я не могу рассказать, кто далеко от меня. Понимаете, какая вещь. А Лешка-то рядом, что же, я ему и так расскажу что-нибудь.
Ведущая: Думаю, что сегодня все мы можем на минутку представить себя четырехлетним Алешкой и не читать самостоятельно Юрия Коваля. А послушать еще одну из его удивительных историй. (Музыка.)
Коваль *(читает):* «У нас дома под печкой объявились анчутки. Поздней ночью они вылезли потихоньку, насыпали в молоко махорки и свистнули кусок сала.
—Ну, попадись мне! — грозила Орехьевна. — Уши оборву!
—А кто это такие — анчутки ? — спросил я.
—Подпечные чертенята.
Орехьевна взяла кочергу и начала шуровать ею и греметь под печкой. Там что-то легонько мякало. Это, наверное, анчутки жевали сало. На следующую ночь анчутки забрались на чердак и до самого утра катали там колесики от ткацкого станка. Подвывали ветру в печной трубе. На третью ночь решил я их подстеречь. Залез на печку с фонариком, а на столе

оставил приманку, полстакана рябиновки. Задули лампу. Орехьевна на кровати скоро заснула. Вот и луна зашла. Ночь за окнами позеленела. Анчутки не появлялись. Я уже стал засыпать, как вдруг услышал, будто козьи ножки стучат по полу. Загремел стул, послышалось бульканье, тут я и включил фонарик. Анчутки остолбенели. Один бросился бежать, ударился лбом в гардероб и провалился в погреб. А другой, более нахальный, допил рябиновку, крякнул и неторопливо улез под печку. Анчутки были серенькие, ростом с козленка. Один из них был в тельняшке». *(Музыка.)*

Коваль: Очень важно не то, что я точно знаю психологию своего читателя, я не думаю, что я ее так уж точно знаю, но я знаю свою психологию. То есть тут нужно, конечно, очень внимательно слушать самого себя. Не обязательно, что читатель разделит с тобой это чувство, это совершенно не обязательно. Ноя все думаю: а вдруг разделит, то-то будет хорошо. Вот и все. Каждый человек сам про себя все знает. Вот что я знаю. Некоторые люди врут сами себе, и сами себя обманывают, и стараются внутри себя сделать вид, что они не такие, и все-таки они где-то знают, что сами себя обманывают. Если он сделал что-то плохо, он это знает, понимаете? Он это забывает, но в страшном сне это может появиться, и появляется.

Ведущая: То есть подлец наверняка про себя знает, что он подлец.

Коваль: Да, конечно, знает, конечно, знает. Ну а как же нет? Если ты совершил подлость и даже забыл о ней, будь уверен, что она всплывет. Вот какая вещь.

Ведущая: Юрий Иосифович, многие писатели сначала какую-то профессию получали, а потом уже понимали, что все-таки главное для них — это творчество.

Коваль: Я закончил педагогический институт. Учителем я проработал шесть лет, уже немножечко писал, занимался очень много живописью. У меня были уже персональные выставки. И потом стал, раньше так говорили, вольным стрелком. Я и до сих пор вольный стрелок. *(Музыка.)*

Коваль *(читает):* «Пришла весна. Зацвели мать-и-мачеха и незабудки. Под коричневыми корнями леса явились подснежники. А в соседнем доме неожиданно расцвел кот. Подснежниками заголубели котовьи усы, мать-и-мачехой и листом черемухи зазолотились глаза. А на лапах и на груди объявились белые вербные сережки. Разукрашенный, цветущий полеживал он на новой траве, посиживал на старом заборе, блистал глазами на крыше сарая. Я все ждал, что на хвосте у него объявится какой-нибудь тюльпан, весенний, особенный, котовий. Но тюльпан не появлялся. Наверно, у котов хвосты цветут позднее, думал я, летом, в июле». *(Музыка.)*

Коваль: Дело в том, что, когда я выступал перед детьми, я всегда или читал рассказы, или что-нибудь рассказывал, и я чувствовал, что чего-то не хватает. И мне хотелось написать для них песню, для ребят. Просто — когда выступаешь, ну почему не спеть песню? Но такую песню я никак не мог найти, как это написать? Трудно было очень. И вот я услышал бразильскую песню, которая мне очень понравилась. Это такая самба, звучала она так: *(Играет, поет.)*

Ну вот, эта песня замечательна была именно тем, что в ней всего лишь одно слово, «джамбалай». Вот я подумал: выйду я выступать перед детьми и спою им песню «Джамбалай». Потом так решил, что они подумают: что за придурковатый писатель? Вышел выступать и поет всего лишь одно слово, да еще непонятное — «джамбалай». Но все-таки меня песня чрезвычайно увлекала и, увлеченный прекрасной песней «Джамбалай», я создал свою песню, которая называется неожиданно: « Пятнадцать собак». Я сейчас ее вам спою, а вы попробуйте посчитать имена собак. *(Играет, поет.)*

Ведущая: Я считала, без обмана пятнадцать'. Это имена охотничьих собак, которые вы знали когда-то, да? Реальные все собаки?

Коваль: Да, да, клянусь вам... А Балалайка знаете почему Балалайка?

Ведущая: Нет.

Коваль: Потому что она все время трынь-бринь, трынь-бринь, трынь-бринь. Такая гончая собака была Балалайка. А Чай — это цвет собаки и цвет глаз собаки — цвета чая. Ну,

Заливай, Зажигай — это все охотничьи собаки и охотничьи имена такие, вернее, клички охотничьих собак, которые гонят зверя. Заливай — заливается, Зажигай — зажигает все дело.
Ведущая: Да, *отличная история и отличная песня.* Коваль: Спасибо на добром слове.
(Перебирает струны.)
Ведущая: А вы музыке-то учились или вот так вот просто взяли и написали песню?
Коваль: Ну вообще-то я музыке учился, сказать честно. Я учился играть на фортепьяно, я любил классическую музыку, ну, любил и джаз, то есть мне нравилось все, любые жанры.
Ведущая: И тяжелый металл тоже?
Коваль: Ну а что, собственно, может быть. Мне только не нравится, когда слишком громко. Увлекся очень гитарой, играл классические вещи и Вила-Лобоса, и Альбениса, и Джулиани.
Ведущая: Чувствуется по переборам.
Коваль: Да дело не в этом. Дело в том, что сейчас, конечно, я особо так не сыграю, уж так, чтобы было роскошно. *(Играет.)*
Палец не тот надо, как говорится. Тут с одним гитаристом мы говорим: «Ну давай поиграем дуэтом, в дуэт поиграем», он говорит: «Скорее поковыряем! Давай, — говорит, — поковыряем немножко». Так что ковыряем потихоньку.

(Играет.)
Ведущая: Напоминаю, что сегодня на «Детском острове» мы с вами встретились с писателем и художником Юрием Иосифовичем Ковалем.

Татьяна Визбор

«Четыре четверти»

Татьяна Визбор: В последнее время очень часто, к сожалению, приходится открывать эфир грустной музыкой. Здравствуйте, канал «Четыре четверти» на «Радио России». Сегодня мы вспоминаем прекрасного писателя, великолепного художника, замечательного человека Юрия Коваля. 10 сентября сорок дней, как его нет с нами.

Передо мной фотографии, сделана она в мастерской Юрия Коваля, где ежегодно собирались давние друзья, выпускники педвуза. Стол, граненые стаканы, пачка «Явы», яблоки, зелень. Визбор с гитарой, улыбающийся Ким, обнимающий его Коваль.

Недавно по Российскому каналу была показана передача Вениамина Смехова «Театр моей памяти» о Юрии Визборе. Эта программа напомнила мне ту самую старую фотографию, где Визбор с гитарой, Юлий Ким, Юрий Коваль. Юрий Осич Коваль эту программу в эфире уже не видел. Одиннадцать лет нет отца. Завтра — сорок дней Ковалю. Юлий Ким, который должен был быть сегодня у нас в студии, в больнице. Сердце. Юль Черсаныч, держитесь...

Далась мне эта черно-белая фотография! Смотрю на нее и тупо верю, что все живы, здоровы, и в этом — счастье.

(Звучит песня Юлия Кима «Девятнадцатое октября».) У микрофона Татьяна Визбор, и у нас в студии в гостях сегодня Владимир Сергеевич Лемпорт. Я хочу, чтобы адиослушатели восприняли, как будто они то, что я сейчас скажу, услышали впервые, почему... Потому что шва «друг» и «учитель» почему-то стали размытые и потеряли... свой первоначальный смысл. Я хочу, чтобы друг и учитель в отношении Владимира Сергеевича прозвучало...
Владимир Лемпорт: ... серьезно.
Т.В.: Владимир Сергеевич, (...) я думаю, вы меня поддержите, потому что люди вашего поколения... вы же воевали...
В. Л: Да. Даже инвалид войны.
Т.В.: К сожалению, нужно делать уже уточнение. Инвалид Великой Отечественной.
В. Л.: Да, Великой Отечественной. Участник Сталинградской битвы.
Т.В.: Как я уже говорила, вы умели дружить, вы умели уважать это чувство, развивать, хранить, и успевали уделять внимание своим друзьям.

В. Л.: Они начали учебу в институте, как раз на переломе эпохи. Умер Сталин, они кончали последние классы, и где-то в пятьдесят шестом году поступили в институт (В институт Юрий Коваль поступил в 1955 г.). Как раз после Двадцатого съезда. Это был такой неожиданный глоток воздуха. И мы, которые не могли мечтать даже выставить какую-нибудь одну свою работу...
Т.В.: Я забыла представить вас как замечательного скульптора ...

В. Л.: Да... Скульпторы... Лемпорт — это я. А еще со мной работали Сидур и Силис. Был в давние времена такой единый коллектив... Вдруг нас приглашают в Академию художеств с выставкой, как раз после Двадцатого съезда. Тут еще вдобавок мы написали статью разгромную « Против монополии в скульптуре». Казалось, нас должны бить и бить, а нам — пожалуйста, приходите. Мы туда вместо серьезной скульптуры — разных там колхозников с цепами, рабочих с молотками, вождей серьезных с орденами — вдруг представляем керамических обнаженных женщин, которых стыдливый сталинизм вообще не хотел видеть. И вот на эту выставку пришла целая группа студентов, среди них были Юрий Визбор, Юлий Ким, Галя Царапкина, Галя Эдельман, Галя Гладкова, Илья Габай, Алик Ненароков.
Что самое интересное, очевидно, вот этот глоток свободы, закваска такая породила и знаменитых людей. Люди, которых я перечислил, они все стали известными и актерами, и художниками, и журналистами, и писателями, педагогами... И с ними, вроде лидер их, Юрий

Коваль... Такой красавец. Такой забавный какой-то человек. Талантливый живописец, тогда он еще не был писателем, он писал картины. И когда мы все познакомились и сделались друзьями, он даже стал работать у нас в мастерской. В мастерской развернул свои полотна, и надо сказать, что увлек и нас троих живописью. После этого мы тоже стали заниматься живописью, которая позднее вошла в цветные керамические панно или просто в картины отдельные, потому что я уже, скажем, выезжая куда-нибудь за границу, — а приходилось быть и в Африке, и в Италии, и в Греции, и во Франции, — я прежде всего брал с собой листы бумаги, стульчик раскладной, пастель и рисовал на улицах. Это с легкой руки Коваля. А Коваль в свое время говорил: «Обязательно нужно писать гениально». И он действительно невероятно цветными делал свои полотна.
Т.В.: Ну, он так и писал, между прочим... В. А: Так он и писал...
Т.В.: Ваше поколение, и особенно тех перечисленных людей, которые пришли к вам на выставку, еще отличает то, что они очень многосторонние, абсолютно разножанровые. В. А: Да, разножанровые... Мы все занимались живописью, даже великий поэт Слуцкий нас однажды сводил с Юрием Ковалем к Анне Ахматовой. И мы написали ее портрет. Каждый в своем жанре. Юра в каком-то таком модернистском духе ее написал, а она так спокойно сидела, такая уже очень старая женщина, неподвижная, в кресле. Она сказала: «Ну что ж, это вполне может быть».

С Ковалем мы тогда и потом много раз выставлялись на выставках Даже в прошлом году, в Твери, у нас была большая выставка, где Коваль выступал со своими эмалями на религиозные темы. Когда Коваль закончил институт, у нас был перерыв в отношениях, потому что Коваля заслали в деревню Лаишево (Деревня называлась Емельяново), в Татарию, такая глубинка, конечно, без всяких удобств, одна только печка и тараканы на потолке. Коваль написал лучшие свои рассказы о природе, будучи в Татарии.
Когда режиссер Тед Вульфович познакомился в нашей мастерской с Юликом и Юрием, он пригласил их на фильм «Улица Ньютона, дом один». Там они блестяще спели Юли-ков репертуар, который он написал, будучи на практике на Камчатке. Причем их поставил на главные роли, даже неплохо по тому времени заработали. Но, как Юре часто сопутствовало, когда он стал переодеваться в костюмерной, у него деньги украли... После фильма Алла Гербер, которая ныне депутат Верховного совета, а тогда просто писатель, написала о них большую статью в «Юности», которая называлась «Начинающие менестрели». Время шло. Оттепель стала подмерзать. Юлик, который стал зятем Петра Якира, сделался диссидентом, запретили ему подписываться Кимом.
Т.В.: Даже не запретили, так сложилась ситуация...
В. Л: Он стал Юлием Михайловым...
Т.В.: Да, но существовал тогда замечательный каламбур: «Как Ким ты был, так Ким ты и остался»...
В. Л: Очень тяжелый был период. Были гонения на писателей. Были посажены Даниэль и Синявский. В это время Коваль определился как писатель, и не просто как писатель, а вошедший в десятку лучших. С очень ярким лицом детского писателя. И не потому, что легче писать, а вот у него был такой характер.
Т.В.: Наоборот, для детей писать очень тяжело.
В. Л: Для него как-то проходили политические бури, как-то это его не касалось. Его даже не интересовало. Его интересовали дети... Он не успел получить Андерсеновскую премию, которая ему следовала... Жаль... Юра был непревзойденным певцом своих, чужих и народных песен. Никто не мог приковывать к своему исполнению такого внимания, ни у кого не было таких карих глаз, полных безудержного веселья, которое вдруг сменялось тоской невероятной. Он был странный человек, который, видимо, был грустный человек, а его обожали за безудержное веселье. Он как-то мне даже сказал: «Я из недолго живущих». Что это? Провидение? Чем старше становились, тем наши встречи становились реже, оно и понятно, скажем, у нас мастерская своя, у него мастерская. Каждый художник идет и копается в своей мастерской. Я говорю: «Ну, давай почаще встречаться, ведь это же полезно». — «Понимаешь, — говорит, — Володя... Ты где-то француз, тебе не понять

русской души. А она требует абсолютного одиночества». Совсем недавно мой товарищ Усков говорит: «Позвони Юре». И так на меня смотрит многозначительно. Я звоню, говорю: «Юра, ты что мотаешься и в Плутково, и обратно? Заехал бы к нам в мастерскую, посмотрел бы новые работы». А он говорит: «Я так себя плохо чувствую и глотаю нитроглицерин». Я говорю: «Как же ты его глотаешь?» — «А вот так прямо горстями беру и глотаю». Я говорю: «Ты с ума сошел! Это же у Жюль Верна описано, как взрывчатое вещество, оно же тебя взорвет!» И буквально через десять часов звонит нам наш товарищ с которым он возвращался из Плуткова, Лева Лебедев, и с плачем говорит: «Юра умер». Силис подошел к телефону... «Как умер?!» — «Да вот так вот умер. Сейчас». Прямо на глазах и на руках у него умер. На похоронах из несметной толпы ко мне бросился поэт Аким, зареванный, я его обнимаю: «Ну Яша, ну что делать, он проскочил без очереди. Наше место с тобой занял. Мы же на пятнадцать лет старше. Что делать. Катушки в руках Божьих, а нитки разной длины, у каждого своя длина». Но Коваль совершенно не собирался ни в этот день, ни в другой день умирать. Он думал о продуктах, которые должен отвезти в Плутково, чтобы кормить свою семью.

Т.В.: Владимир Сергеевич, я благодарю вас за то, что вы смогли прийти. Спасибо.

В. Л: Ну что ж, если это представляет интерес, я рад, потому что Коваль был самым близким моим другом.

У микрофона Татьяна Визбор. Мы вспоминаем Юрия Коваля. Знаете, я однажды получила от него письмо. Получила не на домашний адрес — как человек деликатный он решил написать мне по рабочим делам на работу, хотя мог запросто позвонить, что мы, собственно говоря, и сделали, то есть позвонила я ему с недоуменным вопросом «почему же» ... «Ну, не хотел тебя отвлекать» ... Письмо я читаю...

> *«Таня! Тут недавно слышал отрывок передачи, которую, по-моему, вела ты. Это было интервью с композитором Григорием Гладковым. Он спел песню про бани и потом сказал, что слова написал Александр Кушнер. Танюша, это неверно. Слова этой песни написал я. Редчайший случай в моей жизни, но это так. Разберись в этом как-нибудь. Всегда твой, Юрий Осич Коваль. Целую, детка».*

Я и тогда исправляла эту ошибку в эфире, и когда вышла пластинка с песнями Григория Гладкова, там было уже написано: «Московские бани», стихи Юрия Коваля.

(Звучит песня «Московские бани».)

У микрофона Татьяна Визбор, мы вспоминаем Юрия Иосифовича Коваля.

Олег Николаевич Жданов из Москвы, 69 лет: «Слушаю вашу программу и слезы на глазах. Я сам со Сретенки, и всех, о ком вы сегодня говорите, кого вспоминаете, я лично знаю. Спасибо». Спасибо вам...

Оля Шалевич из Москвы: «Благодарю вас за сегодняшнюю программу памяти Юрия Коваля. Таня, расскажите еще о своих встречах с Юрием Иосифовичем». Олечка, я расскажу. Мало того, и не раз. Я не ставлю точки, я даже не ставлю многоточия. И концовочка, как говорил Юрий Осич, еще не написана...

Радио России, 9 сентября 1995 года

Татьяна Бек

«Я и сейчас считаю, что он был гений»

Беседа с Ириной Скуридиной

Татьяна Бек: Я начну издалека. Мы с Юрой очень подружились в конце 1978 года, 79-й, в 80-м мы остались друзьями после таких более острых, возбужденных отношений, но немножко друг от друга устали. И позже совершенно отошли друг от друга — у него Наташа появилась как раз, у меня тоже... я вовсю уезжала подолгу в Грузию. Короче, мы надолго как-то разбежались, а встретились потом уже совершенно в другом раскладе... В начале 90-х, когда начались новые времена, в «Общей газете» (такая замечательная была газета — на днях закрылась) решили устроить целую полосу, посвященную Ковалю. И вот, так же как вы, они опросили разных людей, которые не знали о монологе другого, и потом устроили такой коллаж: о нем говорит, скажем, Битов, о нем говорит какой-то художник, и его собственный монолог, где... а мы с вами говорили, Юра иногда любил мыслить списками: «люди, которые на меня оказали огромное влияние в жизни». И там у него был списочек, человек на двадцать, от первых учителей. Из писателей там у него были, скажем, Битов, Ахмадулина, Тарковский... [меня не было], я для себя это отметила, потому что я знаю, что я даже количественно гораздо больше дала... У него были такие звезды.

Но я абсолютно... я умею прощать. Иногда не умею, а Юре, конечно, все прощалось. И я с улыбкой это прочла. Но самое пикантное было в том, что на этой полосе был и мой монолог. Я там страницы на три написала абсолютно восторженно о Юре, что такое Юра для нас, и в моей жизни, и какой он талант... с огромной любовью, даже говорили журналисты, что лучше всех... И я видела, что на лице у него было (мы встретились в ЦДЛ) мучительное какое-то состояние. И вот тогда я почувствовала: Юре было так стыдно, он был так смущен... Он даже сначала наврал, в нем же много было детского вранья, мол, ты знаешь, это просто они там мне половину списка вычеркнули.

Ирина Скуридина: Очень может быть, кстати сказать.

Т. Б.: Не думаю.

И. С: *Ну да. Хорошо. Ладно.*

Т. Б.: И вот после этого у нас так потихоньку, потихоньку возобновились отношения, но на совершенно уже другом этапе. Если в начале, когда мне было, скажем, тридцать, а ему сорок, — это очень большая разница. И вообще, я была начинающий поэт, а он уже был такой для нас мэтр. Я просто смотрела снизу вверх и в рот, и искренне, кстати... но при этом я и сейчас считаю, что он был гений... Как-то мы купили путевки в Малеевку, и там я писала свое, он писал «Лодку» и переводил Брассанса, французского знаменитого шансонье, и я ему помогала.

И. С; *Это, мне кажется, был безумно интересный период и очень творческий.*

Т. Б.: Да-да, это отдельный рассказ. Это у него был безумно творческий период — он при мне писал «Самую легкую лодку в мире». Там есть и мои прототипы, о которых я ему рассказала. Есть у него очень смешной персонаж Петюшка Собаковский — это от меня, я кончила за шесть лет до этого университет, у нас был абсолютно сумасшедший такой еврей из Харькова Петя Собаковский, который в общежитии подрался с негром. Абсолютно оба пьяные выясняли, кто... то ли кто хуже, то ли кто более преследуется: негры или евреи, и потом был разбор на комсомольском активе, и этого Петю мы отстаивали, его чудом не выгнали из комсомола. И Коваля это так и насмешило, и растрогало, что он назвал одного героя Петюшка Собаковский. Потом Клара Курбе, это тоже, я не буду называть сейчас, известная журналистка, очень манерная женщина... моя знакомая. Я рассказывала, а он с нее списал. А потом у него там все время обыгрывается борьба хорошего с плохим, борьба ветра с морем, в общем такой идет пунктир, и он мне говорит как-то: «Тань, какая может быть еще борьба?» Ая подумала и сказала: «Борьба борьбы с борьбой ». И ему так это понравилось, что он просто мне жал руку, и он это вставил, и это, я считаю, не устарело. Наоборот, с

каждым годом это все больше характеризует нашу местную жизнь. Потом он переводил Брассанса. Он играл на гитаре его мелодии, и я думаю, что он очень многому научился от Брассанса... Я очень рада, и это замечательно, что его включили в антологию авторской песни, потому что эта сфера его работы недооценена, и надо потом вообще выпустить кассету даже, настолько гениальные... и настолько он на многих повлиял: и на Кима, и на Городницкого, и на Ряшенцева с его мюзиклами ... Он настолько на меня сильно влиял, он мне столько дал за этот месяц в Малеевке, что моя книжка « Снегирь», которая вышла в восьмидесятом году, должна была бы быть посвящена ему. И если она у меня войдет в избранное, то я, может быть, как-то это обозначу: памяти Юрия Коваля... Интересно, сейчас в процессе разговора всплывают какие-то детали. Во-первых, там ряд стихотворений — просто портреты.

При тросточке, над бездной,
Шел человек чудесный
С ужасной бородой, —
(он тогда с бородой ходил)
С улыбкой неуместной
И тайною бедой.
Он объяснял нам чинно:
Кручина не причина
Отчаиваться, раз
Есть куослеп и чина,
Ольха, береза, вяз.
С улыбкой виноватой,
В рубашке полосатой,
Он — баламут и мот,
Но вовсе не бездельник —
Сказал, что проживет
Без счастья и без денег,
Поскольку есть репейник
И ласточкин полет...
Я знаю, что не врет, —

он обожал это стихотворение.
И. С: *Замечательное.*
Т. Б.: И потом там есть еще цикл стихотворений, который называется «Дневник начала зимы», где тоже про него, про то, как мы гуляем... Вот за этот месяц, что мне дал Коваль, ну кроме каких-то человеческих впечатлений: он меня научил различать птиц. Снегирь, клест, щур, поползень, сойка, — я стала орнитологом, я их различаю, я их следы различаю, я их окраску различаю, голоса. Так. Звездное небо... У меня даже сохранился, он мне подарил, атлас звездного неба Тут я хочу не то что себя похвалить, хочу объяснить — он мне еще так много дал, потому что его это переполняло, он как-то сочетал любовь к природе абсолютно стихийную и почти естественно-научную, и было довольно мало людей, которые это с таким интересом слушали и воспринимали. То есть я оказалась очень благодарным, видимо, учеником для него.
И. С: *И обучаемым.*
Т. Б.: Обучаемая, да... И я умела вот так кивать: «Ой, как интересно! Водолей! Волосы Вероники! Большая Медведица!» Он это все описывал мне, когда мы гуляли вечером, и даже рассказывал историю этих названий, этих созвездий... Затем, все вот эти зимние животные: крот, норка, хорек, ласка... «Ласка», — он так умел обсасывать, как леденцы, эти названия. Причем сейчас я думаю, что, может быть, он половину даже артистически разыгрывал, не так уж он знал эти следы и эти норки. Но поскольку я такой слушатель, он мне говорил: «Неужели ты не понимаешь, что это вот сейчас пробежала норка, а за ней гналась ласка, они

обе гнались, там, за кротом». Он разыгрывал целые сказки... И теперь я думаю, что уже прошло-то больше двадцати лет, и Юра уже семь лет как умер, а у меня до сих пор в стихах, даже современных, — отголоски. Вот, например, стихотворение, одно из самых последних... Холодно? (Об открытой форточке, под которой мы сидели. — *И. С.)* Давайте я закрою...
И. С: Да, *интересно...*
Т. Б.: Да, мне интересно самой, я сама не знала, что я это помню... я не хочу брать эти личные перепалки, потому что они у всех одинаковые, интересней вот эти творческие...
И. С: Да, популяризатор он был замечательный.
Т. Б.: Вот я и говорю: как будто в одном лице он был и Брем, и Пришвин, и Бианки, и что-то гениальное свое. Мы ходили куда-то на речку и изучали движение этой речки. Он знал циклы жизни этих животных, у кого какой средний возраст. Я даже думаю до сих пор: он как мой учитель. Например, в одном из стихотворений, у меня депрессия, я ничего не хочу и иногда я отключаюсь, хочется где-то отлежаться:

... точно в школьном углу
в наказанье за норов.
А еще я завидую зимнему полю,
где животные могут отдельничать в норах] —

Вот это чисто от Коваля. Я только сейчас в разговоре с вами поняла, что это — то самое зимнее поле между Домом творчества в Малеевке и деревней Вертушино... Мы сходили там в сельпо, купили какие-то тужурки, там продавались ватники, валенки, — он любил все это со смаком стилизовать. И мы выходили в зимнее поле, и он мне показывал эти норы. Это же оттуда, а больше я никогда ни с кем не гуляла по зимним.,. Представляете, насколько это сильно осталось в подсознании. Или вот такое стихотворение, год назад:

... как не любящий птиц орнитолог,
ты зачем на меня поглядел?—

Я говорю это уже совсем другому мужчине и по другому поводу, но в подсознании у меня тоже Коваль. Это был любящий птиц орнитолог. Он был в одном лице и орнитолог, и сам певчий какой-то дрозд, да?.. Так что в Малеевке это был такой месяц, который стоит нескольких лет общения с другими людьми… Про что мы еще говорили? Ну давайте я еще расскажу...
И. С: *Мы говорили о том, что он любил эти списочки, но при этом иногда он, может быть, кого-то упускал. Скорее всего все-таки не по конъюнктурным соображениям. У меня есть и пример. Мы попали однажды в* ЦДЛ *в день юбилея детского поэта N. Он снял большой зал: огромное количество народа и все по ранжиру.*
Т. Б.: Он вообще очень ранжированный человек.
И. С: *Увидев нас, он подошел, поздоровался с обоими и пригласил на свой банкет одного Коваля, при этом он меня знал, я к тому времени сделала с ним интервью на разворот газеты «Жили-были», но это даже неважно. Ко мне приглашение не относилось, я стояла рядом, испытывала неловкость за приглашающего и думала, как бы из этой ситуации выбраться. Юрий Осич же оскорбился, принципиально пошел в другой зал и устроил там свой параллельный праздник... То есть у него было вот это чувство «исторической справедливости».*
Т. Б.: Ну вот видите, а со мной совершенно противоположное... Я начала с того, что я на Коваля вообще как-то не могла обижаться, за «списочек» я не обиделась, за нашу последнюю встречу не обиделась, когда я прождала его целый час зимой на улице... Так вот, мы долгие годы не общались, а потом уже как-то он меня увидел вдруг такой повзрослевшей, может быть, даже отчасти постаревшей, но такой очень сильной женщиной и творчески уже какой-то взрослой, и мы даже немножко поменялись ролями. *И. С: Я бы*

сказала, что поначалу вы были моложе и смотрели снизу вверх, а потом вы вдруг немного стали старше его. Т. Б.: Да-да, по крайней мере, в профессиональном смысле — да.
И. *С: И в человеческом, я бы сказала, плане...*
Т. Б.: А он, к сожалению или к счастью...
И. С: Задержался чуть-чуть.
Т. Б.: Он задержался, или... а может быть, это была его форма роста. Но, вы знаете, ведь все в жизни связано, и хорошее, и плохое. Может быть, за счет этого он сохранил свою детскость и свежесть. Но в социальном каком-то смысле он даже немножко вспять пошел Мне было больно, когда я его видела в ЦДЛ. Я уже туда ходила как взрослый такой профессионал, а он все сидел с какими-то дикими пьяницами, и они как-то не очень приятно даже там наклюкивались... Это как раз плевать, не мне судить, я сама много наклюкивалась в жизни, но было видно, что какие-то они немножко бездельники, помните, вот эта вся его компания? Как-то мне бы его хотелось видеть в более сильном коллективе. Пусть это будут не знаменитые люди, но творчески сильные. А там какое-то было немножко переливание из пустого в порожнее. Это я все тоже видела.
И. С: Ну, наверное, ему было нужно в какую-то клоаку чуть-чуть иногда закатываться.
Т. Б.: Да, может быть, ему там было легче.
И. *С: Скорей всего да, при его таком обостренном...*
Т. Б.: Самолюбии.
И. С: *... самовосприятии, я бы даже сказала... Может, ему такой фон был нужен.*
Т. Б.: Да. Нет, я его принимаю полностью таким, как есть... Ну и дальше уже он как-то стремился очень к общению. Ему было очень важно перескочить из детского прозаика во взрослого, в полноценного взрослого. У него, как ни странно, был какой-то комплекс. В детской литературе он был признанный мастер, мэтр, там ему смотрели в рот, преклонялись, он даже какой-то семинар вел в последние годы, у него были ученики. А вот он не мог стать ну, как Битов, Макании какой-нибудь там... взрослым прозаиком.
И. С: *Тань, а как вы думаете, что это было? Комплекс неполноценности или нормальное качество любого нормального писателя? Почему для него не было очевидно, насколько хороша его взрослая проза?*
Т. Б.: Ой, ну Ир, вы знаете, многие талантливые люди... у них какая-то шизофрения. С одной стороны, у них даже мания величия и они временами могут сказать другу типа «Старик, я гений», а при этом все время они сомневаются. Это даже нельзя анализировать. Он же в интервью с вами как раз рассказывает, помните, что, когда сам Домбровский его так похвалил и отнес в «Новый мир» и там понравилось, но вот сказали, что нет, недотягивает, недолет... Да вы что, именно у вас. «Я понял, что я никогда не пойду во взрослую прозу, там плохо, там несправедливо, там высокомерно, там обижают». Хотя вы знаете... вот, например, я... Наверное, он был прав, что я очень сильная. Меня столько обижали в поэзии! Мне просто говорили: «Ты писательская дочка», эти пьяные мэтры... Мне Давид Самойлов сказал в двадцать лет: «Ты никогда не будешь как Ахматова или Цветаева, а иначе быть не стоит, поэтому бросай писать стихи». У меня в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Я сейчас пишу мемуары, и недавно написала: «Всё равно я ему благодарна за штудии — мы ходили в его семинар. Но попался бы он сейчас феминисткам каким-то, они бы ему оторвали вообще все места и сказали бы: „А почему ты себе позволил быть Самойловым после Пушкина и Пастернака?"». Понимаете, это еще мужской такой вот шовинизм ... И много чего мне говорили. Но я знала свое и шла своей... А у Юры... он очень зависел... Это как у Пушкина: «хулу и похвалу приемли равнодушно» (У А.С. Пушкина «Хвалу и клевету приемли равнодушно...»). Он и хулу, и похвалу неравнодушно принимал. От хвалы он перевозбуждался, от хулы он куда-то опускался.
И. С: *Причем, я бы сказала, это бывало по-разному, правда. Когда он был силен духом, он был на высоте той мысли, что это все — ерунда и преходящее, но когда ему не хватало энергии жизненной...*
Т. Б.: А у него, видимо, были такие перепады...

И. С: ... тут он становился настолько раним безумно и чувствителен и к хуле, и к похвале.
Действительно.
Т. Б.: Да. Ну, это как раз мне тоже очень знакомо, потому что у меня у самой такое синусоидальное психическое устройство, что когда я на пике, мне кажется, что я лучше всех во всех отношениях, а потом через два дня у меня может быть абсолютно нулевая самооценка, и у нас с Юрой... я очень его понимаю... Короче, он поэтому мне принес эту свою прозу «Суер-Выер». А я просто ему сказала: «Как тебе не стыдно, что ты сомневаешься. Это высочайший уровень».
И. С: А скажите, в чем были его сомнения? Я застала период, когда он читал эти главы. Он их писал и читал, и это все рождалось на моих глазах. И, конечно, восторг был полный, приятие было полнейшим.
Т. Б.: От кого?
И. С: *От слушателей.*
Т. Б.: А кто эти были слушатели?
И. С. *Это были все, кто угодно. Он читал всем.*
Т. Б.: Нет, нутам были профессиональные писатели? Или он больше читал все-таки художникам...
И. С: *Пожалуй, больше все-таки разным другим людям, не писателям.*
Т. Б.: Ну не то что это какой-нибудь Битов или Искандер?
И. С: *Нет-нет, при мне такого не происходило. Возможно, он читал кому-то из них отдельно.*
Т.Б.: Не уверена. Он читал, ну там журналистам... мы знаем его круг. Он мне сказал, что чуть ли не «я тебе первой из литераторов даю полностью». И он настолько сомневался!
И. С: Мне интересно, что он при этом говорил? Читки шли на ура и стали стилем его жизни в это время, особенно первых глав.
Т. Б.: А вы как раз тогда... это какие годы?
И. С: *Я думаю, что это, наверное, 88-й, 89-й, примерно так.*
Т. Б.: Ну это как раз, когда мы абсолютно потеряли друг друга, поэтому я тогда его образ жизни не знаю, его круг. Ион, видимо, тогда как-то отошел от крута литераторов... А тут он хотел вернуться в большую литературу. Детская — это у него отдельно было. Ну, он сомневался, он говорил, что, во-первых, это очень долго писал, чуть ли не тридцать лет, и «я как-то не уверен». Он, потом, знаете, почему еще не очень был уверен. Он при всей его начитанности был человеком очень неровно начитанным. Он был очень образован в разных сферах и иногда неожиданно—в музыке, в живописи, а в литературе у него какими-то урывками, а вот, например, современную прозу он не очень хорошо знал. Всякие направления ... Может быть, он в этом как-то был не уверен.
И. С: То есть он сомневался — хотел войти, а не очень знал, ВО ЧТО он входит.
Т. Б.: Да, во что он входит—там же тоже какие-то образования.
И. С: *Потому что он, конечно, был ориентирован на классику...*
Т. Б.; А в XX веке — на продолжение классики. Какой-нибудь Бунин, Пришвин.
И. С: И, *в частности,про«Суера-Выера» — он же очень себя привязывал к традициям гоголевским и свифтовским. Раблезианство тоже было его любимой темой.* Т. Б.: Ну, это я всегда говорила о нем... Как-то по телевизору Шаталов его книжку показывал, и как раз тогда он меня пригласил на передачу, и мы о Ковале говорили. А до этого показывал книжку Гоголя, очень красивое новое издание.

И он говорит: «А тебе не кажется, что Коваль вышел из Гоголя?» Я говорю: «Безусловно, и сам этого не скрывал». А потом я это по телефону говорю Наташе, а она мне: «Ну конечно, у него даже былевой глагол — поноздрёвствовать, я ему часто говорила; "Кончай ноздрёвствовать"». Да, от фамилии Ноздрёва. И когда она это сказала, я даже перечитала главу о Ноздрёве, у нас в школе всегда говорят, что это отрицательный герой, Ноздрёв —

пьяница, картежник, врун. А это же светлейший герой, он оптимист, он всех любит, он просто хвалится... *И. С: Он фонтан жизни.*

Т. Б.: Это такой сгусток энергии, фонтанирующий.

И. С. *Причём он хочет всех приобщить к тому, чем сам занят, чем он увлечен.*

Т. Б.: Он людей хочет как-то подружить, поэтому он немножко врет, чтобы как бы рекламу сделать своим... И действительно, я поняла, что в Юре очень много от Ноздрёва. Ну не в самом Юре, а в образе автора, в его интонации очень много ноздревского, в лучшем смысле слова. И, видимо, у него была робость, правильно вы сказали, что он куда-то входил и не совсем знал, куда. И он меня выбрал, кроме общей любви и симпатии, еще и как человека, который внутри этого литературного процесса, это ему было очень важно... А то вдруг окажется, как бывает, — он полез с чем-то, что давно уже прошли. Как один человек говорит в таких случаях, мне очень нравится: «Когда ты шел туда, мы уже шли обратно».

И. С: Интересно, как бы он отнесся к слову «тусовка», теперь модному. Ужасное слово.

Т. Б.: Я думаю, он бы не любил это слово, он вообще не любил такие слова, какие-то захватанные, которые все употребляют, он любил слова или старые, или странные, или которые он сам как-то повернул новой гранью.

И. С: *С каким-то свежим смыслом.*

Т. Б.: Да, свежие слова, а такой жаргон — это, в принципе, захватанные словечки.

И. С: *Вот я и думаю, что он по-человечески, наверное, был действительно очень ранимым и он боялся в те времена, а сейчас, я могу себе представить, как он боялся бы этой «взрослой» литературной тусовки. Вокруг детской литературы собрались люди, которые все-таки были более щепетильны, что ли...*

Т. Б.: Ой, Ирочка, там были жуткие акулы и крокодилы...

И. С: Разные, да. Это понятно. Но все-таки: детские библиотеки, встречи с детьми... Это все было как-то чище, проще.

Т. Б.: Да. Там были сами дети, потом там учителя — это очень светлые люди, бескорыстные... А тот же X или Y, они более даже хваткие, чем взрослые писатели. А Z?! Как раз в детской литературе писатели часто жуткие такие «хваты».

И. С: *Наверное, у каждого будет своя версия, почему он с трудом себя вписывал вот в эти «взрослые» тусовки, не был до конца уверен в себе. По-моему, ему хотелось быть звездой...*

Т. Б.: А звездой он мог быть только... Вот у него была своя такая тепленькая, уже обжитая, обдышанная ниша. Он мог жить только в каком-то небольшом очень теплом пространстве, где его принимали таким как есть. Он человек был очень ранимый, очень самолюбивый. Ему нужна была атмосфера какого-то обожания, но при этом обожания непошлого...

7 июня 2002 года

Опубликовано в «Иерусалимском журнале», № 19,2005 год.

Юрий Норштейн

Беседа по поводу невстречи с Юрием Ковалем

Беседа с Ириной Скуридиной

Ирина Скуридина: Перед нашей ветреней вы очень корректно сказали, что к друзьям Коваля себя не относите...

Юрий Норштейн: Не то что к друзьям, я даже к малознакомым себя не отношу...

И. С: *И тем не менее у вас, мне кажется, могла быть такая... мультипликационная картинка о нем.* Ю. Н.: Пожалуй, вы правы, именно мультипликационная, потому что у меня такое ощущение, что он писал мультипликационным языком. И я думаю, что, если бы здесь сидел Коваль, он не счел бы мои слова унижением, поскольку мультипликационный язык невероятно сжат, образен и пахуч. Такая корица. Он источает запах, этот язык, буквально на всех думающих. Я, конечно, говорю о лучших фильмах, и поэтому, если оценивать его язык, то он невероятно мультипликационен. «Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос». На самом деле это пушкинская фраза. Пушкинской корректности и ясности. Я не один раз уже говорил, что когда делал фильм «Лиса и заяц», я все время ходил и повторял про себя строфу из Онегина: «На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает; веселый, летает, вьется первый снег, звездами падая...» Абсолютная картинка. И понимаете, вот «что мне нравится в черных лебедях — красный нос». Это то яркое, что сразу вспыхивает в темноте. То яркое, что сразу обозначается на снегу, поскольку все бело и ничего не видно. И в этом смысле, конечно, язык его невероятно пахуч. Когда я прочитал «Чистый Дор», то я сразу... у меня аж зубы заломило. А потом я понял, что нет — это невозможно... всё здесь остается в литературе и никуда не может идти. Что же касается «Недопёска», то, глядючи на рисунки Калинов-ского, я думал, что из этого может быть сделан фильм. И даже один мой студент, Миша Алдашин, — у него до сих пор в этом направлении ломит зубы, и он знает иллюстрации Калиновского, и у него есть тайная идея, и он, действительно, очень хороший режиссер и остроумный человек...

И. С: Мультфильм по «Недопёску» — это предел мечтаний.

Ю. Н.: Что касается знакомства, я, конечно, знаете... дурак... Мне надо было напрашиваться в его знакомцы.

И. С: *Тем более он вас так ценил, что нужно было лишь чуть-чуть инициативы проявить.*

Ю. Н.: Это же как в любви. Сколько любовей теряется из-за того, что один или другой не проявляет инициативы. И рушится целый мир... А уж если, знаете, уважение, которое подобно любви к какой-нибудь прекрасной даме!.. Уважение мое к Ковалю было совершенно неизмеряемо. И когда на студии, я помню, в просмотровом зале Лёшка Носырев собирался чего-то смотреть и вдруг говорит: «О, Юр, ты всё хотел с Ковалем познакомиться, вот он». Тогда мы и познакомились. Буквально трехминутное пересечение. Всё. Един ственно, что я ему сказал тогда: « Юра, вы знаете, у нас было лето имени Коваля. «Чистый Дор» был настольной книгой, которую мы читали друг другу, детям, дети говорили словарем Коваля. Вот, чтоб вы знали об этом»... «Чистый Дор» — это, собственно, первая книга, которая попалась, и имя Коваля тогда я и узнал. Купила её моя жена, и книга долго лежала без движения, как-то недосуг было, имя неизвестно... через картинки куплена была.

И. С: *Это была книга с Николаем Устиновым?*

Ю. Н.: Да-да. А потом я однажды вечером приезжаю на дачу, а она говорит: «Ты знаешь, что это за книга?» И начала читать кусочки, и было сразу понятно, что это абсолютно невероятная высота... И простота. Причем у Коваля же нет грани, где заканчивается ирония, начинается проза, которая переходит в мгновенный трагизм. Причем у него и трагизм не мясистый, а летучий. Пушкинский. Конечно, у него совершенно невероятная пушкинская основа, но если попытаться для себя прочертить линию, я думаю, это Бунин, Юрий Казаков

— такие переклички! Я думаю, что Коваль любил их. Это совершенно очевидно... Ну и, конечно, потом попалась книга «Недопёсок», которую я мгновенно схватил где-то в магазине с полки. И кроме того — ну совершенно невероятные рисунки Калиновского. *Я* их просто рассматривал отдельно и думал, что Коваль, наверное, был в полном восторге, потому что это такая адекватность тексту, текст изобразительный.

И. С: Он очень трепетно относился к работе с художником. И почти все его прижизненные книжки — шедевры художественного оформления.

Ю. Н.: Ну еще бы — он сам такой художник! Он... имеет право требовать. Понимаете, у него такой запас вкуса, такая свобода в знании народной живописи, народных росписей, пермской живописи или городецкой... Ну абсолютное знание этого всего. Понятно, что он не допустил бы никакой пошлости по отношению к своим книгам...

И. С: Мне Лёша Носырев рассказывал, что один из гонораров его был в виде книг выплачен, книгами. И он должен был сам эти книги продавать. Хорошая постановка вопроса — в фартуке стоит Коваль на рынке и кричит: «Коваль! Коваль! Кому Коваль!»

Ю. Н.: А на выставке живописи Коваля я увидел свободу совершенную, свободу мастера... свободу народной живописи. Будто это все в одну секунду делается и никаких переделок не терпит. Здесь нет того подробного набора живописи, скажем, который мы видим на поверхности фальковской живописи, где сто сеансов и это видно. Что, естественно, не мешает быть этой живописи прекрасной. Или сезанновских сто сеансов, сколько угодно сеансов — полное удовольствие. А здесь легкость, только сравнимая с его прозой. Тут что-то такое есть моцартовское. Это о Моцарте воспоминания были, что если он сидел, писал, а ветер смахивал его нотный лист, то он за ним не нагибался. Он брал новый и записывал новую мелодию. Вот, очевидно, Коваль и обладает этим совершенно невероятным свойством — он щедр на то, чтобы выбросить. Вот так прочитывается его проза.

И. С: Он, действительно, очень легко относился к черновикам, к записыванию мыслей и заметок, к записным книжкам, говорил: « Что забылось, то не была важным». И шел дальше.

Ю. Н.: Ну вот видите, я этого не знал, а собственно вот это и есть существо его.

И. С: Это мог позволить себе только очень богатый человек.

Ю. Н.: Ну конечно, конечно, у него там запас огромный... еще и соседям отдаст...

1989 год

Беседовала и подготовила к печати Ирина Скуридина

ственно, что я ему сказал тогда: « Юра, вы знаете, у нас было лето имени Коваля. «Чистый Дор» был настольной книгой, которую мы читали друг другу, детям, дети говорили словарем Коваля. Вот, чтоб вы знали об этом»... «Чистый Дор» — это, собственно, первая книга, которая попалась, и имя Коваля тогда я и узнал. Купила её моя жена, и книга долго лежала без движения, как-то недосуг было, имя неизвестно... через картинки куплена была.

И. С: *Это была книга с Николаем Устиновым?*

Ю. Н.: Да-да. А потом я однажды вечером приезжаю на дачу, а она говорит: «Ты знаешь, что это за книга?» И начала читать кусочки, и было сразу понятно, что это абсолютно невероятная высота... И простота. Причем у Коваля же нет грани, где заканчивается ирония, начинается проза, которая переходит в мгновенный трагизм. Причем у него и трагизм не мясистый, а летучий. Пушкинский. Конечно, у него совершенно невероятная пушкинская основа, но если попытаться для себя прочертить линию, я думаю, это Бунин, Юрий Казаков — такие переклички! Я думаю, что Коваль любил их. Это совершенно очевидно... Ну и, конечно, потом попалась книга «Недопёсок», которую я мгновенно схватил где-то в магазине с полки. И кроме того — ну совершенно невероятные рисунки Калиновского. *Я* их просто рассматривал отдельно и думал, что Коваль, наверное, был в полном восторге, потому что это такая адекватность тексту, текст изобразительный.

И. С: Он очень трепетно относился к работе с художником. И почти все его прижизненные книжки — шедевры художественного оформления.

Ю. Н.: Ну еще бы — он сам такой художник! Он... имеет право требовать. Понимаете, у него такой запас вкуса, такая свобода в знании народной живописи, народных росписей, пермской живописи или городецкой... Ну абсолютное знание этого всего. Понятно, что он не допустил бы никакой пошлости по отношению к своим книгам...

И. С: Мне Лёша Носырев рассказывал, что один из гонораров его был в виде книг выплачен, книгами. И он должен был сам эти книги продавать. Хорошая постановка вопроса — в фартуке стоит Коваль на рынке и кричит: «Коваль! Коваль! Кому Коваль!»

Ю. Н.: А на выставке живописи Коваля я увидел свободу совершенную, свободу мастера... свободу народной живописи. Будто это все в одну секунду делается и никаких переделок не терпит. Здесь нет того подробного набора живописи, скажем, который мы видим на поверхности фальковской живописи, где сто сеансов и это видно. Что, естественно, не мешает быть этой живописи прекрасной. Или сезанновских сто сеансов, сколько угодно сеансов — полное удовольствие. А здесь легкость, только сравнимая с его прозой. Тут что-то такое есть моцартовское. Это о Моцарте воспоминания были, что если он сидел, писал, а ветер смахивал его нотный лист, то он за ним не нагибался. Он брал новый и записывал новую мелодию. Вот, очевидно, Коваль и обладает этим совершенно невероятным свойством — он щедр на то, чтобы выбросить. Вот так прочитывается его проза.

И. С: Он, действительно, очень легко относился к черновикам, к записыванию мыслей и заметок, к записным книжкам, говорил: « Что забылось, то не была важным». И шел дальше.

Ю. Н.: Ну вот видите, я этого не знал, а собственно вот это и есть существо его.

И. С: Это мог позволить себе только очень богатый человек. Ю. Н.: Ну конечно, конечно, у него там запас огромный... еще и соседям отдаст...

1989 год

Беседовала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Виктор Белов (художник Орлов)

УзыЯузы

Начну с кончины. Умер Юрий Коваль. Еще первого августа мы сидели в мастерской на Серебрянической набережной Яузы: Игорь Соколов, Вадим Разин, Алёшка, мой сын, и я. Мы собрались, чтобы договориться об общей встрече 2 августа.

И вдруг пришел Коваль. Вернее, приехал из Плуткова и жаловался на здоровье. Приехал больной, с каким-то вместилищем таблеток. Я не представлял, как можно столько пить лекарств. Это все было страшно. Я говорю: «Юра, приходи завтра, давно не виделись».

Второго Коваль не пришел, а мы все собрались и беседовали. И вдруг Вадим говорит, что каждый умирает в одиночестве и вообще никто никому не нужен. Я тут возмутился, накричал на него: «Что же тогда ты сюда ходишь?» И ужас в том, что, как потом оказалось, в этот самый миг Коваль и умер.

Третьего с утра жена меня разбудила, сообщив: «Звонили, сказали, Коваль умер». И тут я просто провалился. И в итоге я не был на похоронах, хотя всю жизнь мы были вместе... Появился я на девятый день, в мастерской на поминках, осиротевший. И меня все время мучила шальная мысль, может быть неправильная: была дикая жара, и если бы он, плюнув на все свои заботы домашние, на магазины, вместе с Лёвой пришел бы в прохладу мастерской — может, все было бы не так...

С Ковалем познакомил нас Володя Есаулов, который учился с ним в одной школе и дружил. И в институте мы вместе учились, Коваль на филфаке, а Есаулов и я — на худграфе.

Как потом оказалось, в наших с Ковалем жизнях было много совпадений. Мы оба родились в 38-м году, в один день — девятого февраля. И так по судьбе получилось, что всю жизнь мы были вместе в мастерских Вместе путешествовали, вместе плавали по великим вологодским озерам, вместе охотились и рыбачили. Он многое знал о природе, и я много чему научился. У него было старинное ружье бельгийской фирмы «Братья Гекко», двустволка. И мне по случаю досталась мелкокалиберная винтовка «Братья Гекко». Я любил мел-кашку как снайпер, а он любил двустволку как охотник. У меня был спортивный интерес, а у него охотничий азарт.

Первая наша мастерская была на Абельмановке, напротив кинотеатра «Победа». И сейчас, в последней, пятой по счету мастерской, мы опять оказались на Абельмановке. Говорю «мы», хотя он не дожил, потому что и эту мастерскую оформляли вместе. И сейчас в мастерской мы сидим среди работ Коваля... Говорил же Коваль: «Хочу сделать свой музей, куда приходили бы дети ». А я его ругал, что музей — не наше дело и еще не время мемориалов. И ведь он добился своего. Сколько лет его уже нет, а его работы, его инструменты, его рабочее место до сих пор живут в мастерской. Я порой думаю: «Что бы сказал Коваль, глядя на нас?»

На старой Абельмановке Коваль снимал комнату или две у Петровича. Вернее, снимала троица: Мазнин, Мезинов и Коваль. Сам Петрович там не жил, он приходил только выпить и получить деньги. Именно там мы с Ковалем сдружились, а поскольку мне негде было работать, он говорит: «Вить, ты приходи, пятнадцать рублей будешь платить Петровичу и сиди, работай». Это по тем-то ценам! Года полтора мы там были, и жизнь эта довольно подробно описана в «Самой легкой лодке в мире», но деликатно описана — кроме жадности и пьянства Петровича, которого они звали Петя Кантропов, там ничего плохого не сказано. А на самом деле, конечно, Юре стало тяжело от этой зависимости, от этого Петровича—хама, сшибающего трешки, который за неуплату пытался сжигать его холсты и картины.

Однажды Коваль пришел вечером и говорит: «Витя — все! Больше мы это не терпим! Выходим и ловим грузовик!» А было двенадцать часов ночи. Поймали какой-то фургон,

остановился: «Чего вам, ребята?» — «Нам надо перевезти барахло». — «Нет, ребята, двенадцать часов ночи, а может, вы жулики». Мы говорим: «Мужик, пойдем, посмотришь и сам решишь, отвезешь нас или нет». Он посмотрел на всю нашу художественную хламиду: холсты стоят, мольберт, чайник любимый, плитка и все такое. И говорит: «Ну, грузите». И отвез нас на Миуссы. Вот это была вторая мастерская.

На Миусской улице освободилась комната, где жила моя мама. И мы с ней договорились, перевезли туда от Петровича все вещи и прожили там довольно долго. Там бывали и Леша Мезинов, и Сергей Яковенко, и Мазнин. Все приходили, выпивали, писали картины и, конечно, пели песни допоздна. Это был период, за который у меня просто согнулась шея: я ходил по городу и все время смотрел, где пустые окна в подвалах,— искал мастерскую в районе Таганки. Наконец в 65-м году нашел в Лыщиковом переулке подвал, и вместе с Ковалем мы его осваивали.

Там раньше жили четыре семьи. Это был ужасный подвал, перегороженный узкими фанерными переборками, которые мы с Ковалем яростно разрушили. Одна стена его была глухо под землей, и было слышно, как ходят поезда метро. А другая стена была полуподвальная, на ней были полуокна, которые не закрывались почти никогда. Получился в итоге красивый зал. Со сводами, с камином, с раковиной, к которой вела винтовая лестница под самый потолок. А я в те годы был бездомный, и для меня мастерская была просто жильем.

В Лыщиковом переулке была уже действительно наша мастерская. До этого Коваль много работал у Силиса с Лемпортом, что-то лепил, красил, рисовал. А здесь мы начали осваивать офорт, делать гравюры, появился первый наш совместный лубок на стихи Коваля. Мастерская позволяла вместе с нами работать нашим друзьям — Вадиму Разину, Юре Ярцеву и Юре Егорову, Юре Лаврентьеву. В это же время в друзьях у нас была Таисия Ефимовна, редактор журнала « Рыбоводство и рыболовство», которая регулярно выделяла нам полосу в журнале. В разные номера Николай Силис и Владимир Лемпорт писали и рисовали. Коваль писал, рисовал я. Это был расцвет совместной художественной работы.

Собиралось у нас в мастерской, порой, человек по тридцать. Это были времена, когда всем хотелось не просто погреться у камина от нечего делать. Это было дружеское общение. Кроме работы нас объединяло желание быть вместе, петь песни под гитару.

С Лыщикова переулка в 70-м мы съехали благополучно в Серебряническиий переулок, дом 3, квартира 4. Там все не так было красиво — обычная многокомнатная коммуналка. Тогда вышел закон, чтобы гнилые первые этажи освобождать от жилья под организации. Вид был более противный, но зато много места. Там Коваль впервые заимел свою комнату и начал работать по дереву. Тогда он мне посвятил стихотворение:

Из российских родных деревень
Я привез керосин и сирень.
А взамен, наточивши до блеску,
Я английскую вывез стамеску.

Этот стих и еще многие писались в общую тетрадь, которую Коваль называл корабельным журналом, так повелось с Абельмановки. А в его комнате среди инструментов висел настоящий штурвал и корабельный колокол — рында. В журнал писали все, кто приходил в мастерскую и кто хотел написать. В течение жизни по всем мастерским их накопилось много, включая наши личные дневники... В те же годы я вылепил людей в шляпах, болея керосиновой и граммофонной «болезнями».

Десять лет существовала наша мастерская в Серебряническом переулке. Волею судьбы все наши мастерские располагались в районе Таганки, а три из них — на разных берегахЯузы. Может быть поэтому Коваль и решил строить свою самую легкую в мире лодку. Юра говорил: «Витя, у нас тандем. Я — напор, а ты — обаяние. Вместе все пробьем».

И действительно пробивали — мастерские, и даже милиционера-художника пробили!

Однажды мы с Ковалем гуляли по Таганской площади, а может, возвращались с Птичьего рынка. Видим — едут три пролетки с черным кожаным верхом. Коваль возьми да и голосни. Последняя остановилась, и кучер нас посадил. Мы поехали в сторону Красных ворот. Это было необыкновенное ощущение — сидеть в пролетке посреди потока машин, и регулировщики давали нам зеленую улицу. Пролетки со съемок ехали на Беговую, а мы сошли на Сухаревке.

Как-то Коваль пригласил всех нас на дачу Володи Есау-лова. Мы все там уже были, когда он приехал. Всех посадил и сказал: «Слушайте, дураки!» В руках у него оказался журнал, кажется, «Октябрь». И он начал читать, и так восхищенно, что мы сидели завороженные. Он читал «Мастера и Маргариту». Для меня он тогда открыл Булгакова. И всех нас он наградил знакомством с такими великими людьми, как Владимир Лемпорт, Николай Силис, Леша Мезинов, Арсений Тарковский, Юрий Визбор, Юрий Домбровский, Фред Солянов, Белла Ахмадулина, Вениамин Смехов и многими-многими другими.

В 80-м году мы переехали на Серебряническую набережную.

Наше поколение, шестидесятники, жили как гении и друг друга хвалили, иногда ругали, но все были равны. Сами считали себя талантливыми, и друзья были все талантливые, ссор по творчеству не было, была взаимная жизнь. Когда мы — Коваль, Игорь Соколов, я, Вадим Разин, Толя Лапшинов,

Нора Островская — в конце 80-х годов делали выставку в мастерской, в комнате Коваля, я был поражен. У всех разный почерк, а дух один. «УзыЯузы» называлось наше художническое братство, и мы получились едины. Это единство меня и сейчас поражает, думаешь, какие мы были дураки. Какие же мы равные, когда вот такой Коваль получился. Но мы запросто относились к любому, не сомневались в гениальности друзей и собственной тоже.

С самого начала мастерских наш день рождения стал днем встречи друзей. В этот день гости приходили без приглашения В наших корабельных журналах позволялись все жанры, но Коваль завел стихотворный стиль, и 9 февраля все писали поздравительные стихи. Вот что однажды мне написал Коваль.

Послание к Белову
9-го февраля 1973 года

Когда конец настанет свету,
Когда совсем засрут планету,
Когда всё выпьют и сожрут,
Когда бессмертные и боги
В своем неведомом чертоге
Итоги наши подведут —
Одною связаны судьбою,
Мы не расстанемся с тобою,
Останемся вдвоем, одни.
А боги в душах разберутся,
И нам бессмертными зачтутся
Серебряные дни.
Чего ж еще поэту надо?
Эй, виночерпий! Дай мне яда!
Пускай когда-то поутру
Я припаду губой спаленной
И с другом в день один рожденный,
Я в день один пускай помру!

Пока еще осталось время,
Любви друзей несущий бремя,
Твоя ли жизнь, мой друг, пуста ль?
Что жизнь — пустая время трата.
За друга моего, за брата
Звени, сверкающий хрусталь!

Юра Коваль
9.11—1973 г.

В начале 70-х годов круг нашего общения расширился. Кроме непосредственных друзей-художников появилось достаточно уважительное творческое окружение. Появились в нашей жизни Лёня Никольский и Толя Гелескул, известный переводчик Лорки. Толя нас всех любил, а его сестра купила дом на Цыпиной горе, недалеко от Ферапонтова монастыря. И вдруг однажды в 1971 году приходит телеграмма от Гелескула: «Витя, выезжай, продается дом в Оденьево». Недолго думая, мы впятером скинулись: я, Коваль, Толя Лапшинов, Игорь Соколов и Володя Есаулов. Наскребли триста рублей за дом и еще рублей сто на дорогу, на сборы и на пропой. Мы с Игорем поехали и купили дом у Хрисанфа Андреевича, в округе его звали дед Кирсан. Дом был куплен весной, а уже летом там жил Володя Есаулов, в 72 году летом жил я. И, по-моему, в 73 году там начал жить Коваль.

Цыпина гора нужна была нам только для восторга. Для осознания, как велика Русь, такое там ощущение, что есть еще такие места, и что огромна страна с голубыми далями, со всей тайгой, озерами и людьми. И потом — это своя крыша, и ты не турист. Гора постепенно притянула к себе всех наших друзей. А рядом, в Ферапонтово, манил нас Дионисий...

Коваль ездил туда жить и охотиться со мной и без меня совершенно в разные сезоны. К этому времени я могу отнести важный момент влияния Коваля на меня, вспомнить, чему он меня научил. Он мне сказал то, чего я раньше нигде не читал и ни от кого не слышал: рубишь дерево — скажи: «Прости, дерево». Он говорил: «Вить, вот мы убили зайца, а вот у нас рябчики лежат подстреленные, нельзя их просто так сожрать. Нарисуй их, и я буду рисовать». И он, действительно, рисовал все: кисти рябины висят, бутылочка стоит с рябиновкой и рябчики лежат, или там тетерев, или даже рыбы, хотя они холоднокровные, и к ним другое отношение. «Нарисуй как художник, потому что искусство вечно и они, погубленные, попадают в вечность».

Этот ковалиный совет меня поразил, и я это соблюдал обязательно всю последующую жизнь. Примерно в 75-м году я убил последнего зайца, нарисовал его и после этого перестал охотиться, только рыбачил. Юра не переставал охотиться, потому что это была его страсть... А вообще-то мы охотились больше от голода. Это сейчас магазины набиты, да и то в Москве, а тогда ничего не было — сам себя корми или привози с собой. Гигантские рюкзаки с консервами мы с собой таскали на Гору, а там в магазинах ерунда одна была — рожки какие-нибудь. Даже рыбачили в конце октября, когда никто не клюет, потому что есть нечего было. По очереди мы ходили в лес. Одно ружье на двоих, и один другого ждет дома. В его песне это написано: «На окошко лампу яркую поставлю». Печка натоплена, что-то сварено, лампа горит на окне, потому что короткие дни и легче идти на свет теплого окна.

Оденьево нас окончательно сблизило. Я в детстве все летние каникулы провел в деревне Родионовке, на родине мамы. Когда Коваль писал свою деревенскую прозу, он использовал и мой деревенский опыт и довольно много брал из моих устных рассказов. Но это все неважно, дело в невероятном внимании Коваля к слушателю. На манжетах он не писал, у него была какая-то особая память со своим отбором. Он был очень общительный, умел разговорить любого человека, при этом по делу и красиво. А потом он очень любил свои рассказы, скажем, из «Чистого Дора», читать мне и нашим друзьям. Потому что у нас ухо обнаженное: «Юра, вставь вот это, или вот это поменяй». И в прозе его я замечаю, где его

личный опыт, а где мои микроподсказки. Я сейчас на себя не беру лишнего, я говорю о его внимании к слову — умении слушать.

У Коваля была потрясающая художественная и человеческая память, и он очень уважал всех своих героев. А что меня удивило в творчестве Коваля — так это «Суер-Выер».

В «Самой легкой лодке в мире» довольно буквально описаны Москва, Серебряническиий переулок, 70-е годы. И совершенно для меня неожиданная концовка. С одной стороны — любовь к друзьям, и такое душевное одиночество одновременно. Но оказалось, что этим его плавание еще не окончилось. Коваль перешел на свой последний корабль, фрегат «Лавр Георгиевич».

А началось все тоже на Абельмановке. Сидели трое — Коваль, Мезинов и Мазнин — и при мне пытались продолжить первые строчки: «Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана»... Через много лет был день рождения у Ме-зиноваЛёши, и он нас пригласил в ресторан «София». Всё скромно, мы даже скинулись. Но у Коваля была особая цель: за столиком все обговорить. Он говорит: «Лёш, отдай мне право на„Суера-Выера". Это была наша общая работа, а сейчас я хочу ее продолжить».

И он ее продолжил, сначала втайне. Выходили нормальные книги, которые мы знаем и восхищаемся, печатались его рассказы, а в это время голова Коваля работала в понятиях « Суера-Выера», которые просто невероятны. Ведь каждый остров — это отражение одной из граней человеческой души, покрытой темным крепдешином ночи.

В 84-м году Коваль начал строительство своего дома на Цыпиной горе. Он начал его строить, как мне кажется, от желания одиночества, потому что устал от всех нас, от общей мастерской, и все время хотел уединиться для работы. Да и в доме на Горе стало слишком много народа. Слишком много всего: все эти ЦДЛы, все эти мастерские, друзья... Это даже было причиной каких-то наших конфликтов: ему хотелось иметь свой угол, а я все время хотел, чтобы все мы были вместе.

Осенью он заказал дом. Иван Васильевич Буров и Толя, его сын, весной привезли и поставили сруб, покрыли крышей, но не окончили. Этот дом строился Ковалем как мечта. Он стоит красивее всех, перед ним, как говорится, вся страна. *Я* все время думал, что Коваль сядет у окошка, поставит перед собой пишущую машинку и будет глядеть на беспредельные леса. Но вскоре Лева Лебедев сосватал ему дом в своем Плуткове, и Коваль переключился на него. Он приезжал иногда на Гору, и какие-то мелочи доделывали, сложили печку, с Левой сделали крыльцо, но он там ни разу не ночевал, не посидел у окошка. Стройка превратилась в долгострой, дом так и не был доделан при жизни Коваля.

Заботы о доме легли на плечи дочери, и эти заботы я разделяю. Доделали мы дом по проекту Коваля, прописали там «Одуванчик» в виде бамбукового остова. И уже десять лет окошки светят в долину.

На фасаде избушки Коваля с самой стройки 84-го года положили березовую доску, и получилась длинная-длинная скамейка под навесом. Сначала мы, приезжая в наш старый дом, к Кирсану, находили там баночки для акварели и бумажные палитры. Может быть, художники Коваля и не вспоминали, но приходили рисовать именно под его окна, в которые он хотел смотреть и писать дальше-дальше-дальше, — так точно он выбрал место.

Последние года четыре очень многие издательства печатают Коваля. Расскажу о конкретных проявлениях его литературной славы. На Гору приходят люди, почти паломники: « Где дом Коваля? Где Гора? Где „Одуванчик"?» Приходится их принимать, показывать дом, каркас знаменитой бамбуковой лодки, который висит в избе под потолком до сих пор. Мы на нее только цветы кладем и банные веники, оболочку лодки торжественно сожгли в 99-м году, когда она пришла в негодность. Они фотографируют, тычут детям в затылок: « Смотри — это Коваль, это его лодка»... Не знакомые его приходят, а молодежь, двадцать-тридцать лет, не совсем птенцы, а кто пожил, читал книги, выбрал Коваля и

полюбил. Они часто думают, что все это придумано, а когда видят его дом, его бамбуковую лодку, понимают, что все реально было.

На Горе все эти годы я читаю Коваля, «Лысых и усатых», открывая в его фантазиях абсолютно глубокую правду. И я думаю, что эта глубина не кончится. В семьях, где родители выросли на его литературе, эта традиция будет продолжаться: сегодня читают дети — завтра будут читать внуки...

Октябрь 2007 года Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Виктор Усков

Косма и Дамиан

Во всех наших путешествиях Юра много рисовал. Когда мы добрались до охотничьей избушки на речке Вишере и оказалось, что в избушке нет икон, Юра взял молоток, отвертку, заточил ее напильником и из кедровой плахи вырезал первую икону Космы и Дамиана. Он любил окутать романтикой путешествие и в первой же далекой поездке решил, что нас должны охранять святые Косма и Дамиан. Они были лекарями и чудотворцами, в общем, к путешествиям не имели отношения, но Юре так сказали, и он решил, что они лечат людей, охраняют охотников и рыбаков. Когда мы ловили рыбу и садились потом у костра, мы приглашали Коему и Дамиана с нами посидеть, отведать ушицы и выпить рюмочку. Первый тост был за них. Этот ритуал даже местные наши проводники стали поддерживать.

А познакомились мы с Юрой в мастерской скульптора Николая Силиса, где я появился в 1968 году. В мастерской Юра пел, прекрасно играл на гитаре, и обаяние его было неотразимо. Дружба началась с совместного увлечения — Юра приезжал из поездок, мы обсуждали его и мои снимки. У него был фотоаппарат, он серьезно занимался фотографией, и у него были очень хорошие фотографии с Белого моря, где он снимал рыбу в сетях, охотничьи избушки с дымом. Возможно, эти снимки сохранились.

Потом Юра пригласил меня на охоту. И мы поехали с ним вдвоем, я — с фотоаппаратом, он — с ружьем. Это была граница Московской и Тверской областей, и уже там, в первой поездке, я сделал пару его удачных фотографий, которые часто выставлялись... Через много лет Юра сказал: «Если бы не Витя, я стал бы прекрасным фотографом». Но дублировать друг друга в поездке и тащить двойную аппаратуру было нелогично. А брать чужую он не хотел — уж лучше рисовать.

У нас завязалась дружба. Мы периодически встречались в мастерской Силиса. Юра приглашал меня в свою мастерскую в Серебряническом переулке. Вечерами там собиралась компания, где все были близки по духу. У Юриных друзей-художников (позже объединившихся в группу «УзыЯузы») была традиция в Пасху устраивать небольшую выставку — каждый выставлял по три-четыре новых работы. Выставляли живопись, обсуждали, смотрели, а еще ходили в церковь. В общем, получался такой художественный праздник в Пасхальную ночь. Году в 70-71-м мы собрались на такую выставку на Пасху, я был, как всегда, с фотоаппаратом и стал снимать возле церкви. Там меня и захомутали дружинники, обвинили, что я снимал «несоветское», посадили в воронок и, конечно, увезли бы. Но тут Юра начал рваться в воронок, кричать, стучать, говорил: «Я советский писатель, давайте я тоже туда сяду». Кончилось тем, что мне пришлось им отдать пленку и меня выпустили. Но выпустили только потому, что Юра со своей настойчивостью не уходил, продолжал рваться туда — товарища никогда не бросал.

Еще об отношении к друзьям. Однажды Юру пригласили поработать в журнал «Рыбоводство и рыболовство». Какая-то дама была беременна, и его взяли в штат ровно на месяц. За этот месяц Юра сразу всех друзей пригласил работать в журнал и умудрился напечатать девять человек, в том числе вышла и моя фотография на обложке.

Когда наступала весна, у Юры начинался зуд: надо было убегать из Москвы, ехать куда-то, и каждый раз мы готовили какую-нибудь поездку. Зуд начинался еще в феврале, но обычно ему приходилось долго ждать, всегда находились какие-то дела и обязательства. Очень серьезными по масштабу были поездки на реки Вишеру и Велс. Мы ездили туда несколько раз, и всегда требовалась особая подготовка, потому что нужно было лететь самолетом до Свердловска или до Перми, потом вторым маленьким самолетом — до Красновишерска, а оттуда подниматься по реке почти сто километров до поселка Велс. Это был последний посёлок на нашем пути и последний магазин, в котором мы запасались сухарями, продуктами.

В первой поездке мы поднимались высоко в верховья Вишеры. В 63-м году Юра уже был там с Николаем Силисом и его братом Вадимом и теперь со мной вернулся туда, помня эти уникальные места. Там с одной стороны начиналась река Печора, а с другой — речка Мойва, то есть мы были почти на границе Полярного Урала. Поднимались на лодках, иногда моторы были невозможны из-за маленькой глубины, шли на шестах. В верховьях Вишеры были два

дома и жили Пантелеймон и его дочка с мужем (рассказ «Пантелеевы лепёшки» написан там). Когда-то, наверное, они сбежали от людей и построили эти уединенные дома в верховьях реки. Километрах в двадцати от них была охотничья избушка, а вокруг на сто километров никакого жилья.

В следующий раз нас забрасывали на лодках в верховья Вишеры, и мы через перевал уходили в верховья реки Велс. На этой речке, в закрытом, далеком от жилья месте Вадим Силис построил охотничью избушку. Она была совершенно новая, и мы поехали на нее посмотреть.

Многие писатели высиживают за столом свои рассказы и мысли, но для Юры это было неприемлемо, ему нужно было прожить всё и все его герои реально встречались нам в путешествии. После поездки на Велс была сделана книжка «Избушка на Вишере». Мы специально изменили название реки, так как боялись, что на Велс начнут добираться путешественники, хотя и на Вишере была своя избушка.

Когда кончалась наша поездка, Юра хотел оставить в избушке вырубленную икону, но местные сказали, что все равно ее украдут, а в худшем случае истопят ею печь, и Юра забрал ее с собой. Во второй избушке на Велсе вместе с Силисом они вырубили целый рельеф на стене — этих же святых. И когда мы издавали книжку в издательстве «Детская литература», я очень переживал, что крупный план избушки выкинут из книги. Два святых на фотографии читались, пусть и неявно, но никто не возражал, и фотография состоялась. Так что Косма и Дамиан все время нас сопровождали в путешествиях и после них

В удивительных местах на Цыпиной горе Игорь Соколов, Витя Белов и Юра купили в складчину дом. Туда ездили все, кто хотел, и большими компаниями, дом этот многих согрел и многим показал Ферапонтове Гора-то, в общем, была просто возвышенностью, но открывающийся оттуда пейзаж грел душу. Приезжая туда, мы отдельной поездкой обязательно бывали в Кирилло-Белозёрском монастыре, удивительном памятнике архитектуры. В Ферапонтово мы ходили за хлебом, за водкой — там был ближайший магазин — каждые два-три дня, проходя три-четыре километра мимо Ильинского озера, церкви. А придя туда, было как-то неприлично не посетить Валентина Ивановича Вьюшина, который был на вид строг, но всегда нас принимал и в душе любил, когда к нему приходили, а Юру-то особенно любил, открывал нам монастырь в любое время. Нам повезло, потому что мы могли свободно походить, повосхищаться, когда там никого не было.

Вьюшин был сторожем и уборщиком, имел все ключи и когда-то, во время войны, сохранил для всех Ферапонтово. Помню его рассказ, как в монастырь хотели выгрузить мерзлую картошку. Он взял ружье, встал на крыльцо и сказал председателю: «Застрелю». А в военные годы это было неповиновением властям, и на следующий день он сложил в чемоданчик самое необходимое, попрощался с женой и стал ждать, когда за ним придут. Председатель позвонил в Москву о саботаже, но звонок попал на грамотного человека, который знал, что такое Ферапонтово. Это и спасло Вьюшина, хотя это скорее было исключением из правил, счастливым случаем. Тем не менее, если б выгрузили там картошку, фресок мы бы уже не увидели.

Все время Юра исследовал возможности пройти дальше и куда-то еще проехать. Машины у нас тогда не было, да и дороги были ненадежные, грунтовые... А хотелось путешествовать, открывать новые места, леса, озера. Потом, где дорога — там уже жизнь. Юре хотелось проплыть по протоке в озеро Белоусово, поплавать и порыбачить на лесном озере, и не только с берега, попутешествовать там, куда люди еще не пробирались. Эти навязчивые мысли и привели к зарождению идеи легкой лодочки, которую можно было брать с собой — Юра начал вынашивать идею самой легкой лодки в мире. Осуществлялась она много лет, и само плавание, конечно, происходило не в один раз, было несколько путешествий.

Эту идею он стал осуществлять, а если что-то появлялось в его голове, всех, кто вокруг, он заражал ею, как бациллами, всех подключал и всем давал возможность проявить себя в ее реализации.

Особенно они любили помечтать с Лёвой (Лев Лебедев, друг Юрия Коваля), Лёва был тоже фантазер. Я их немножко приземлял: «Ну, ребята, вам сейчас катер подавай с мотором, на который можно погрузить автомобиль и поехать». Это сейчас оказалось все возможно, но тогда такие идеи осуществить было нельзя, и все же у них они были всегда. Результаты получались разные, но все идеи Юра старался реализовать. И чаще всего придуманная сначала история продумывалась, осуществлялась и становилась реальностью.

Позже была создана лодка, но путешествовать всегда непросто. У Юры тогда не было машины. А у Эдуарда Успенского машина была, и на наш вопрос-просьбу Эдуард, не задумываясь, ответил: «Да, я вас отвезу». Так долго за рулем просидеть он не мог, взял соседа-таксиста, и мы поехали. Поехали с приключениями: лопались колеса по дороге, они были староваты, а таксист гнал здорово, машину мы жутко перегрузили и лодкой, и своими харчами, рюкзаками. Купить в то время колеса было невозможно, но, учитывая популярность Успенского, вдруг нам человек под честное слово продал свои колеса, а Эдик пообещал ему привезти новые (и выполнил потом свое обязательство, а Юра поучаствовал деньгами). Эдуард нас привез, переночевал на берегу и уехал, а мы утром выехали в Коровий залив. Все было точно так, как описано в книжке — стояли коровы, мы между ними выплыли. Так началось наше путешествие.

Повесть была напечатана, сначала в «Мурзилке», фрагментами, а потом — в «Пионере», и когда вышел первый номер, Юра принес мне журнал, на котором написал: «Великому капитану-фотографу», — и я его, конечно, храню.

На «Одуванчике» мы совершили три большие поездки. Самое главное — на нем получалось подняться в верховья впадающих в озера речушек. По этим речушкам никто никогда не сплавлялся. Нам открывались какие-то деревни. Иногда в них был один житель или вообще никто не жил. Переночевав, двигались дальше. Вот это было настоящим открытием, потому что мы попадали в такие места, куда люди с трудом добирались по дороге. То есть какая-то связь с деревней была, дороги-то существуют, потому что реки перестали давно быть связующими артериями. Особенно такие малые речушки. Но мы шли своим путем открытий. Тем более когда сидишь в лодке и смотришь наверх на берег, то взгляд немножко меняется, возникает другое ощущение путешествия.

Следующей идеей после самой легкой лодки в мире была покупка машины для путешествий. Вместе с близким нашим другом Лёвой Лебедевым Юра купил машину ЛуАЗ. Первым делом Лёва повесил в машину иконку Николы, потому что считал, что именно Никола должен нас охранять. Первое путешествие, которое было на ЛуАЗе, начиналось очень трудно: машина новая, грелись тормоза — просто докрасна стали накаляться диски. Мы с трудом добрались до Сергиева Посада. Там поняли, что ехать дальше нельзя, оставили машину и пошли поклониться мощам Сергия Радонежского. Пришли в храм, помолились, поставили свечку, посмотрели на красоту старых икон, вернулись к машине, сели и... машина поехала спокойно, безо всяких проблем. Наверное, уже притерлись колодки, остыли диски, и мы потихоньку поехали дальше. Это была поездка, когда Юра начал вести дневник «Монохроники» — через Загорск мы ехали в Плутково, а потом Юра мечтал посетить места своей первой книжки — деревню Чистый Дор. В это время он писал рассказы с Мавриной и, я думаю, хотел еще раз ощутить это вживую.

«Монохроники» — единственная литература, которую он позволял себе в путешествиях. Других записей не делал, а только рисовал. И надо сказать, что рисовал он много всего, в каждой поездке. Тем, кто видел его картины в стиле «шаризм» и другие условные работы, может показаться, что все это — из головы. Ничего подобного — все с натуры. Однажды на Цыпиной горе Юра рисовал пейзаж, и получалось, что телеграфный столб стоит как раз посредине. Я подошел и говорю: «Юра, ну сдвинь ты столб. Зачем такая точность... Это я не могу в фотографии ничего сдвинуть, а ты можешь себе это композиционно позволить». Но нет, он был всегда точен в своих рисунках, не хотел врать.

Можно вспомнить и такую удивительную историю. Мы ехали с Юрой на ЛуАЗе на Гору, там в одном месте довольно крутой подъем и камень с одной стороны. Юре всегда не хотелось прыгать на этом камне, и он брал правее, а тут была большая трава и не видно, где край дороги. Уходя от камня, он залез на эту траву, а под травой уже не было дороги, и мы начали переворачиваться. Мы перевернулись на бок, потом на крышу, потом на другой бок, встали на колеса, потом еще упали на бок, потом на крышу и еще раз на бок. Вот такой кульбит. АЛуАЗ — это же брезент и железки, и машина была набита — канистры, топоры, пила, продукты. Когда мы крутились, это все летало вместе с нами. И когда мы приземлились и выползли оттуда, первое, что сказал Юра, хватая меня то за руку, то за плечо: «Ты цел? Ты цел?», проверяя мои конечности, не сломаны ли они. На что я ему ответил, тоже находясь немного в шоке: «Юра, надо вытащить аккумулятор, а то он потечет и мы дальше не поедем». Вот отношение: Юрке наплевать на машину, он проверяет, цел я или нет, а я думаю об аккумуляторе.

Когда мы выползли из машины, там невдалеке какие-то бабы и мужики метали стог. Увидев, как мы крутились, они побежали к нам. Подбежали, мы поздоровались, и эти бабы тихонечко и быстренько поставили на колеса нашу машину. Мы поставили на место аккумулятор, она спокойно завелась, и мы стали разговаривать с этими как бы крестьянами. Оказалось, что эти ребята и девчата из Ленинградской консерватории жили в Ферапонтово — их прислали помогать колхозу. Они сказали, что будут вечером давать концерт, и пригласили нас. Вечером мы в охотничьих сапогах, телогрейках и вполне походном виде пошли по грязи в Ферапонтово, к монастырю, и видим шествие — идут девушки в длинных вечерних платьях, ребята — в черных смокингах, в бабочках Это шествие по Ферапонтову нас поразило. Они принесли колокол, свечи и стали петь а капелла хоралы XV века. А у Лёвы в это время ухудшался слух, и было предчувствие, что будет совсем плохо со слухом. И туг вдруг это пение, хоралы, свечи, звон колокола и такая акустика... И Лёва сказал, что, перед тем как ему оглохнуть, Бог дает услышать божественное пение, и у него даже покатились слезы.

Это нас так растрогало, что мы всех пригласили вечером к себе. Приехали все ребята с девчатами, и мы устроили второй концерт, где солировали то Юра, то ребята из консерватории, и надо сказать, что хор у нас получился колоссальный. Очень важна прямая реакция Юры — тут же всех пригласить. И хотя денег у нас было в обрез, мы путешествовали, но, естественно, водка вся была за наш счет и закуска тоже. Застолье было не такое, как было бы сейчас, но какое-то количество консервов, которые должны были нас питать ближайшее время, тут же улетели. Зато вечер получился прекрасный.

Мы путешествовали очень много с Юрой и Сашей Дорофеевым. Ездили на рыбалку... О двух случаях я бы хотел сказать. Мы приехали на Цыпину гору, оставили машину внизу, потому что наверх было не въехать, выгрузили рюкзаки, и надо было подниматься в гору. А Юра в то время очень увлекался скульптурой, и когда мы рыбачили, он нашел громадный березовый срез, из которого собирался резать скульптуру, но он был неподъемный. Я никогда не отличался физической силой, Сашка всегда был здоровее меня. Мы подошли к горе, и Юра говорит: «Ну, ребята, кто понесет?» А мы устали, ленивые, и с Сашкой переглядываемся. Я смотрю на него, он смотрит на меня, и пауза так сильно затянулась, что Юра сказал: «Ладно», нагрузил на себя и пошел До дома было километра полтора в гору. Саша уже говорит: «Юра, дай я понесу». Он не дает. Я уже говорю: «Юр, ты брось это. Давай-ка понесем вместе». Нам стало стыдно. Но Юрка пер вперед и вошел в гору с этим бревном. И это было на нашей с Сашей совести... Потом из этого бревна Юра вырубил прекрасный женский портрет.

И еще один эпизод. Мы приехали поздней осенью с Сашей и Юрой и жили на Горе. В то время снимался фильм «Недопёсок», и Юре нужно было написать песню к фильму, и еще какой-то контракт у него был, так что Юра работал дома, а я-то уходил с утра на фотопоиск Он нервничал, с трудом оставался, потому что ему хотелось на охоту, да и вообще, когда что-то происходило без него, он всегда переживал. Тут выпал снег, рано стало темнеть, и я чувствую, что опаздываю к обычному времени, забрался далековато, а надо еще из леса выйти. Когда я подошел к краю леса, смотрю, уж Юра с горы спустился и встречает меня внизу. Ну, конечно, начинает ругать: «Ты что, с ума сошел, скоро уж совсем темно, а тебя все нет». Мы стали подниматься в гору, вдалеке, в окне нашего дома, светилась оставленная Юрой лампа. А кругом первый снег, и он такой голубой-голубой.

Когда выпадает первый снег, все очень меняется в природе и появляется новое внутреннее ощущение пейзажа. Тогда-то и родилась песня «Поднебесный снег», и он ее посвятил Саше и мне, потому что мы были в то время с ним на Горе. Она была не придумана, а пережита Юрой — это правда так и было в жизни.

Лёва Лебедев когда-то вдвоем с товарищем проплыл из Плещеева озера в Волгу и в этом путешествии открыл для себя Плутково. Ему так понравилась эта деревня, что он через какое-то время вернулся туда и купил дом. Не было асфальта, была грунтовая дорога, не было моста через Нерль. В Левин дом нам нравилось ездить. А потом Юра решил, что ему уже пора иметь свой дом. Он вообще хотел в каждой деревне иметь свой дом. Мы приходили в Чистый Дор, и Юре хотелось иметь дом в Чистом Доре, он договаривался о цене, узнавал, потом мы ехали в другую деревню, и Юре уже там хотелось иметь свой дом, потому что она была в лесу, вокруг на много километров не было жилья, а в следующей деревне было прекрасно охотиться, потому что вокруг сосновый и еловый бор, и Юре уже здесь хотелось иметь охотничью избушку, он договаривался о цене, и мы ехали дальше.

И тут уж Лёва сказал Юре: «Тебе надо купить дом в Плуткове». Берег Нерли и нетронутый лес рядом с тогда еще совсем необжитой деревней (дачников были единицы) соблазнили его, и он купил дом. Купив по дому, они напали на меня и сказали, что и мне пора. Но так как я был ленив и мне было приятнее жить у Лёвы, ходить на речку, собирать грибы, а не заниматься хозяйством, то они меня долго уговаривали, пока Юра не сказал, что он договорился с председателем. Лёва с Юрой пообещали сделать на повороте с шоссе в деревню знак «Колхоз „Дружба"», а председатель за это мне продавал дом. Тут уже ничего не оставалось делать, и мы с тех пор жили рядом.

В Плуткове не было бани, была валяльня, где валяли валенки. В валяльне стоял котел, и Юра устраивал нам парную. Но там были щели, через которые дуло, земляной пол, и как самый рукастый Лёва построил первую баню. С этого началось, и через какое-то время все стали строить бани, и я могу фиксировать, что культура бани пошла в Плуткове от Юры и от Лёвы.

Юра вложил в свой дом очень много души. Он сделал свой интерьер, сохранив стиль русской избы. Сейчас современные люди, приходя в деревню, тут же начинают ломать русскую печь, что ужасно, делают какой-то свой ремонт, начинают чем-то обивать бревенчатые стены... Юру же чистые бревенчатые стены грели, напоминали охотничьи избушки. И надо сказать, я вижу по своему сыну, что Юра и в нем зародил щепетильное отношение к «окружающей среде».

Я помню такой случай: когда мы вышли из тайги, устали, несли рюкзаки через перевал, пришли в поселок Велс, сил нет, долго не ели и вечером садимся ужинать. Я говорю: «Ну давайте, ребята, сейчас я быстренько открою, подогреем чего-нибудь и все». И тут Юра говорит: «Нет, давай тарелочки, давай рюмочки». «А мыть, — я говорю, — ты будешь?» Потому что я так устал, что хотелось грохнуться спать. А ему — нет, он пришел, и ему важно было после похода, после кружек, после сапог, ощутить домашний уют,
чтобы это все было по-человечески. Это для него было важно, даже, может быть, больше, чем вкусовые качества. Хотя и вкусовые качества были важны, особенно в ухе. Мне не хватало иногда терпения, а он выберет каждую печеночку, сердечко. Не всегда же мы ловили крупную рыбу — а мелкую чистить, все выбирать очень хлопотно, но это было его отношение к деликатесам...

К деревенскому интерьеру Юра был очень внимателен. Это так кажется, что все в его доме крестьянское. Но все деревенские избушки делились перегородками на клетушечки: вот здесь кухонька, здесь спаленка. Он лишнюю перегородку убрал, и просторный зал получился. Стены деревянные отмыл и привел в человеческое состояние, и кажется, что это деревенское, а вид-то уже другой, потому что это свобода простора, и пространство стало изящным, недеревенским.

Мало того, для него было важно, как покрашен наличник: он соблюдал колер, чтобы отношение цвета дерева к цвету наличника было деликатным. А второй этаж, точнее чердак, для него стал местом уединения. Там он оставался один на один с собой, а еще он мог чуть-чуть подняться над пейзажем и наблюдать его сверху. Ион там сделал как бы свой писательский салон — был сделан красивый пол, приведена в порядок крыша, и больше ничего. Там он писал, и там мы частенько сидели и слушали.

Юра много писал в Плуткове, и когда какое-то произведение начинало у него созревать и были удачные куски, очень любил почитать. Ему нужно было проверить на слушателе, он собирал нас, мы садились, и он нам читал, а сам внимательно смотрел в глаза, какая у нас реакция: там ли мы смеемся, там ли мы хохочем, там ли мы затихаем. Все произведения Юра читал, читал кусками, иногда, правда, хитрил — какую-то главку пропускал, потому что считал, что она немножечко не дописана... Это все он проверял на нас, и надо сказать, что из-за этого я не могу слушать никого другого, читающего Коваля. Какой бы ни был прекрасный актер, но я вижу, когда он не попадает в Юрину интонацию, когда вносит свое отношение, и понимаю, что это может быть для кого-то хорошо, но для меня неправильно звучит, мне очень тяжело слушать...

Хочется сказать пару слов и о его старших друзьях. Когда я говорю, что Юра гениален, ну кто я такой? «Капитан-фотограф». А вот когда Арсений Александрович Тарковский говорил ему: «Юрочка, ты гениален», вот это было важно, это сразу давало возможность всем остальным понимать масштаб, потому что этот человек говорил искренне. Когда они встречались, меня поражало их взаимоуважение. Юра говорил: «Арсений Александрович, вы

почитайте», и Арсений Александрович говорил: «Юрочка, ты мне прочти. Я хочу тебя слышать».

Также было с Борисом Викторовичем Шергиным. Когда мы у него были, то Юра не стремился спеть или рассказать свое, а все время просил: «Борис Викторович, спойте или расскажите». И Борис Викторович откликался, рассказывал какую-нибудь историю или даже пропевал былину, а потом просил: «Юрочка, ну спой ты мне, расскажи, как там в Москве». Вот эта взаимная любовь к произведениям друг друга и взаимное желание услышать друг друга было очень важным.

С Яшей Акимом был такой случай. Мы собрались большой домашней компанией у Вадима Чернышева, все друг друга давно знали, и вдруг встает Яша и говорит: «Я ценю это время. Почему? Потому что я живу в одно время с Юрой. И я должен вам сказать, что он гениальный писатель». А Яша все-таки был старше нас всех, он прошел войну, он был уже давно признан, Юра тогда еще и не был так уж признан. И мы все думаем: собрались все свои, что уж Яша так говорит. Юра заулыбался: «Ну, Яшенька, я же тебя тоже люблю». Я тогда заерзал, думал, зачем так пафосно друг о друге говорить. А вот Юры не стало, и я понял, что я-то при жизни нечасто говорил такие слова, а Яша, умудренный опытом, сказал.

Прошло много лет. Юры уже не стало, и Лёвы не стало. Я периодически езжу в Плутково, и совсем молодые люди приходят помянуть Юру и Лёву, люди другого поколения, молодежь. Надо отдать им должное — все они помнят, как Юра им читал, они восхищаются его картинами и его книгами. Но я словно осиротел там, для меня это большая потеря и совсем другая жизнь... Этой весной вдруг я узнаю, что прямо напротив моего дома, через дорогу, будет строиться часовня, и в июне приезжает архиепископ Тверской Виктор освятить ее закладку. Это событие, конечно. Не так много сейчас строится новых храмов. И когда я прихожу на службу, то узнаю, что это будет часовня Космы и Дамиана. Вот я и думаю, что Юра к этому приложил руку, чтоб мне не было так одиноко и грустно.

Октябрь 2007 года

Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Николай Силис

Всё с восклицательным знаком

С Ковалем я встретился, когда закончил обучение в Строгановском училище и оказался в одной мастерской с Владимиром Лемпортом и Вадимом Сидуром. Туда и ворвались эти два «хулигана», тогда мы их иначе не воспринимали, Юра Коваль и Юлик Ким. Но для того, чтобы рассказать о них что-нибудь конкретное и подробное, нужно рассказать о ситуации, в которой мы тогда находились, и о том, что мы из себя представляли.

Мы представляли конгломерат из трех человек, из которых двое — Лемпорт и Сидур — были участниками войны, оба инвалиды войны, а я был довольно молодой человек, моложе одного на шесть лет, а второго на четыре года. Познакомившись в Строгановском училище, мы прожили вместе в подвале общежития семь или восемь лет. Там мы притерлись, выяснили, что можем существовать вместе и даже вести совместную творческую деятельность.

После института мы еще ощупью входили в жизнь. А потом, когда, оглядевшись, поняли, в какое общество мы попали, начали сердиться. Был короткий период «оттепели». Мы успели написать несколько статей в центральных газетах по поводу того, что происходит вокруг нас. Был грандиозный скандал по этому поводу в Союзе художников.

И вдруг... Я не помню, как именно и кто открыл дверь Юре Ковалю и Юлику Киму, но они ворвались к нам — не пришли, а именно ворвались. И мы поняли, что мы уже не молодые художники, какими себя считали. Рядом с нами появились люди совсем другого поколения, другой формации, с другими взглядами и, главное, с другим темпераментом.

Когда Юрка Коваль увидел у нас гитару — началось такое бешеное ознакомление друг с другом, что мы втроем ну просто обалдели, я не подберу другого слова. Мы с Лемпортом тогда степенно разучивали ну, скажем, «Экосез» Шуберта или «Лунную сонату» Бетховена для двух гитар. И вдруг появился Коваль, который брал гитару и начинал не просто петь, а сочинять на ходу. Они еще не закончили институт, и к нам потянулись их однокурсники: Роза Харитонова, Галя Царапкина, Галя Эдельман, Миша Гуревич, Юра Ряшенцев, Аркадий Филиппов, Ада Якушева. Другие. Они приходили с дамами, с подругами, с девушками.

Мы все были тогда где-то на границе диссидентства, хотя слова этого не знали. Юлик Ким познакомил нас с Петей Якиром, с Красиным, со многими людьми, которые пострадали от репрессий. Я еще ничего не знал о своем репрессированном отце.

Конечно, мы изображали из себя мэтров, а они прислушивались к нам, уважали. У нас в мастерской уже было довольно большое количество скульптур, явно не вписывавшихся в стилистику соцреализма, которую в нас вдалбливали в институте. Мы уже были протестантами, они почувствовали это, и мы почувствовали, что нам нужны эти люди.

В институте Коваль серьезно занимался еще и живописью. К концу института он почти решил, что будет художником, и приносил нам на оценку свои произведения. Конечно, Володя Лемпорт и Вадим Сидур давали «ценные указания». Юрка Коваль железно слушал, но темперамент у него перехлестывал наши тугодумные оценки.

В те времена была жесткая система образования: после окончания института надо было отработать те самые пять лет, которые на тебя потратили. Коваля отправили в Татарию, в Емельянове, Юлика Кима — на Камчатку. Мы уже полюбили друг друга, начали переписываться. И письма у него были прекрасные, к сожалению, не все они сохранились. Вскоре мы поняли, что Юрка — это не просто художник, письма его читать было одно наслаждение. Он применял в них такие обороты, что не придумаешь и не перескажешь. Он писал, что занимается живописью, работает с ребятами, ведет какой-то класс, описывал, как общается с учениками. Когда я учился, учитель был одно, а ученики — совсем другое... Между партами и учительским столом была стена. А Коваль смешался со своими учениками

и с ученицами, смешался в одну кучу. Он с ними ходил в походы, рисовал, разговаривал, общался как с равными.

Самое удивительное, что в это время и Лемпорт заразился живописью, скорее всего от Коваля, потому что после института мы были «черно-белыми», то есть попытались было что-то раскрашивать, но поняли, что скульптуру раскрашивать нельзя, она формой уже набирает ту информацию, которая должна поступать в глаза, в мозг человека. Короче говоря, Лемпорт стал живописцем, первым в нашем коллективе. Писал он тогда размытой акварелью. А единственным учителем живописи был у нас Борис Петрович Чернышев — очень хороший художник и человек удивительный. Потом он стал нашим наставником в искусстве. Борис Петрович занимался живописью потому, что это была его сущность... Если он видел лужу, а у него в сумке была кисть и сухие краски, он подбирал на улице любую газету и начинал, макая в лужу кисть, писать то, что видел или что хотел видеть. Спустя много лет Коваль в память о нем сделал целую серию ню на газетах.

И вот через пару лет из Татарии приехал Коваль. И привез с десяток своих работ маслом на оргалите. Оргалит тогда только что появился, это было потрясающее изобретение. Коваль его сначала олифил, потом делал левкас, а потом уже писал. Тюбики выдавливал на «холст» — рисовал тюбиком. Получался одновременно и рельеф, и живопись. Невероятно яркие и контрастные пейзажи. И вот когда он привез эти работы нам показать, произошла очень странная и печальная ситуация. Лемпорт и Сидур их отвергли. Мы не были к ним готовы, это нам показалось дико. Все-таки мы внутри были еще консерваторы, наше представление о живописи находилось на грани соцреализма, еще не пришло то время, когда мы от него отказались и стали работать совсем по-другому, скорее на протесте. Мне-то они понравились, но мой голос был третьим в этой ситуации. Володя очень резко высказался против, потому что предполагал, что нужна какая-то затуманенность Бориса Петровича Чернышева, от которой он вскоре отказался, но тогда, после своей акварели, был не готов воспринимать яростное «масло» Коваля.

После этой критики Коваль не появлялся в нашей мастерской почти год, но потребность друг в друге оказалась больше обиды. И через год Коваль появился. К этому времени мы стали довольно серьезно заниматься керамикой — я затеял керамическую индустрию в нашей мастерской.

Началось все с того, что мы лепили скульптуры из глины, она высыхала и становилась твердой, а что дальше делать не знали — дотронься до нее или капни водой, и она развалится. В те времена общеизвестная технология была такова — глиняную скульптуру передавали форматору, он делал гипсовую форму и в ней потом отливал гипсовую скульптуру. Но этот технологический процесс стоил очень дорого... Решение подсказал тот же Борис Петрович. Он находил где-то дикую глину, лепил скульптурки и обжигал в печи котельной, куда устраивался время от времени для заработка. Они у него трескались, разваливались на мелкие фрагменты. Но когда он потом все это склеивал, получались удивительно красивые произведения. И мы позаимствовали у него технологию.

Наш друг сделал нам небольшой электрический муфель, и вскоре мы увидели, как ничего из себя не представляющая зеленоватая глина превращается в теплую керамику — терракоту. Вылепили и обожгли с полсотни небольших скульптур. На первой нашей выставке мы показывали такие вот скульптурки, была она в Союзе художников в Ермолаевском переулке.

В те годы Юра Коваль сформулировал очень важную и столь же очевидную формулу. Он сказал: «Цвет должен быть активным». Тем более что керамика и майолика не понимают полутонов. И у нас произошел серьезный пересмотр эстетических и профессиональных ценностей, которыми нас нагрузило классическое образование. Идею насыщенного, условного цвета, необязательно адекватного реальному мы вскоре развили и применили к скульптуре в целом. Мы поняли, что в скульптуре не обязательно должно умещаться семь голов в росте человека, а может быть все совсем по-другому.

Мы, Лемпорт, Сидур и я, начали отказываться от реализма и пошли в сторону условности. Скульптура должна быть условна, решили мы однажды. Это не Марья Ивановна, не Петр Иванович и не Гагарин с Брежневым, а некая условная фигура, вплоть до абстракции. Формула того, что ты хочешь сделать. Коваль не был испорчен соцреализмом и сумел первым преодолеть навязанные стереотипы, уйти от адекватности формы и цвета. Юрка Коваль нашел свою палитру. Для меня это было очень важно...

Коваль, когда увидел то, что мы сделали, обалдел от керамики и прилип к печке. Он нутром почувствовал невероятные возможности, о которых мы даже не подозревали. Хотя мы уже ознакомились с технологией, с глазурями, эмалями, поливами и принимали заказы на керамические изделия. Но мы пытались даже в этом жанре приблизиться к реализму, и работали больше формой, чем цветом, а керамика выдавала свои эталоны красоты. И если мы ошибались, то печка никогда не ошибалась, оттуда всегда выходили удивительные и неожиданные произведения. Коваль это увидел, понял и начал спокойно и свободно у нас творить. Правда, я должен с запоздалым сожалением сказать — я Коваля несколько притормаживал и всегда держал немного на голодном пайке, потому что неуёмность Ковалиного темперамента врезалась в наши планы, он всегда опережал наши технические возможности. Ему нужно было немедленно увидеть то, что у него получилось.

После первых опытов мы стали делать из керамики брошки для заработка. Самое интересное, что потом эти работы стали прологом для нашего монументального жанра. Ведь на маленькой брошке много не изобразишь, новый вид условности научил нас по-другому воспринимать все монументальное искусство. Потом мы много сделали больших панно, используя именно этот наш опыт. Брошки покупали или получалив подарок все наши знакомые. Потом мы перешли к тарелкам — небольшим плоским панно. Этих тарелок мы сделали, наверное, несколько сотен. Заразились все — Димка Сидур (В мастерской Вадима Сидура часто звали Димой, Димкой), Володя Лемпорт, я как основатель этой индустрии и Коваль.

Надо сказать, что на Коваля я сердился невероятно. Он презирал все технологические нормы. И не просто презирал, но нарушал их. В итоге часто получался брак, но гениальный. Что ни сделает — все гениально. Потом я начал думать: а почему бы и мне не позволить себе некую вольность? Коваль всегда позволял себе чуть больше, чем мы себе позволяли, чем положено, чем разрешали установленные каноны Это касалось и живописи, и материалов, которыми мы занимались, и общения с друзьями, с женщинами. Коваль внес какую-то свою норму, которая отличалась от старой, но в итоге оказалась правильной в общении с материалом и со всем, что ты видишь.

Вскоре мы с Ковалем вышли на Гжельский керамический завод. Началась совершенно другая эпоха. Этот завод принадлежал Художественному фонду РСФСР, и туда каждый год направляли художников, которые делали там работы для выставок, заранее запланированные и даже оплаченные. Мы ворвались туда через такие заказы и начали понемножку захватывать места. Познакомились со всеми печниками, обжигающими керамику. А это довольно сложный процесс — там была особая манера, так называемый восстановительный обжиг. До сих пор, по-моему, никто этим не занимается. И Коваль тоже встрял туда, пользовался их формами тарелок, расписывал их по-своему. Мы стали там своими людьми. При заводе было маленькое общежитие из двух комнат на пять-шесть человек, и мы с Ковалем и с Лемпортом ездили туда довольно часто, дня на два, на три. С гитарой или без. Жили там с большим удовольствием и работали на этом убогом дореволюционном заводе.

После долгих лет совместной работы наша троица Лемпорт-Сидур-Силис начала разваливаться. Я назвал бы это полураспадом нашего альянса. Все стали взрослыми, и индивидуальность каждого не совпадала с индивидуальностью другого. Кроме того, рано или поздно в любой группе обязательно образуется лидер. Пока у нас не было лидера, все было нормально, но потом наступил период его поиска. Я не мог быть лидером по возрасту, а Сидур и Лемпорт были в этой борьбе на равных. В итоге создалась ситуация, когда мы вынуждены были расстаться.

Началась удивительная вещь — раздел друзей. У Юрки Коваля, думаю, была очень большая проблема в этом отношении, потому что он с одинаковым уважением относился ко всем нам. Но когда это произошло, он пошел с нами и даже отчасти занял ту нишу, которую раньше занимал Сидур.

Несмотря на то, что со временем у Коваля появилась общая мастерская и очень теплый альянс с художником Витей Беловым, он продолжал появляться у нас и привносить что-то новое в нашу жизнь. У Юры Коваля была очень хорошая память, образование, хорошее восприятие прошлого. И, надо сказать, всю культуру, связанную с иконописью и с православием и даже не только с православием, принес к нам в мастерскую именно он. Он был нашим учителем в этом плане и сыграл очень серьезную роль, потому что мы иконопись не знали совсем, но любили ее интуитивно. Он познакомил нас со многими людьми, которые хорошо знали иконы, привел однажды и Савелия Ямщикова, с которым мы потом общались тесно. Мы с Лемпортом заразились, стали покупать книги и репродукции на эту тему. Короче, познакомились с исторической частью целого пласта русской культуры, и для нас это было очень важно. Потом у нас был целый период, когда появилась серия работ: «Положение во гроб», «Оплакивающие», «Распятие».

Именно Юрка свозил меня в Ферапонтов монастырь, и я для себя открыл Дионисия. Я увидел в его пропорциях то, к чему меня тянуло все время. Мои фигуры, немножко вытянутые, не всегда соответствуют классическим канонам... И гамма его серовато-голубоватая, с охрой, тоже приглушенной, была мне близка.

Ферапонтово — не просто монастырь, съездил-посмотрел. Мы туда шли долго, мимо озер, Юрка все объяснял, рассказывал про разные школы иконописи, мы встречались с его местными друзьями, это все осталось у меня в памяти.

Я приобщился если не к Богу, то к этой культуре. И это целиком заслуга Юры Коваля, за что я ему очень благодарен.

Удивительная вещь — по дороге из монастыря мы вспомнили о Борисе Петровиче Чернышеве. Однажды он пришел к нам в мастерскую, мы его спрашиваем: «Борис Петрович, что вас так долго не было?» — «А я беседовал с Дионисием». — «Как это вы беседовали с Дионисием?» — «Ну я, — говорит, — был в Ферапонтовом монастыре, и мы с ним там беседовали». И показывал нам кальки — он рисовал и снимал кальки Дионисия, а потом их расписывал таким же цветом, как Дионисий, но только на бумаге. Вот такое переплетение Коваля, нашей троицы, Бориса Петровича и Дионисия.

Коваль часто вытягивал меня на природу. Мы с ним ходили на рыбалку. Причем он говорил: «Сейчас мы вот такого лаптя — вот такую щуку поймаем». Конечно, никакой щуки мы не поймали, просидели напрасно, но ощущение совместной глупости, которой мы занимались, было прекрасным! Потом звал за грибами: «Пойдем, сейчас таких грибов найдем!» У Коваля маленьких грибов не бывало, у него были только громадные грибы. Ни одного гриба мы не нашли, но идея все время куда-то стремиться и пытаться увидеть нечто большее, чем тебя окружает, была у него постоянно. И я решил пригласить его в поездку на Урал.

Мне повезло с братом: он закончил охотоведческое училище под Москвой и жил в разных глухих уголках страны — охотился, шишковал, работал в зверосовхозах. Я его познакомил с Ковалем, и, как охотники, они нашли много общего — знали калибры ружей, патронов и многое другое, что находится за пределами моего знания. Они могли с большим интересом часами болтать об этой, с моей точки зрения, ерунде.

Вадим работал одно время заместителем директора звероводческой фермы под Новгородом. Л туда несколько раз ездил и Коваля затащил. Мы с Ковалем там довольно хорошо жили. Он говорит: «Пойдем на вальдшнепов... стрелять». Л говорю: «Л же не стреляю». — «Ты увидишь, как стреляют». — «А что хоть это за птица-то?» Л не очень сведущ был в этом деле. Он говорит: «Вот как услышишь хор-хор-хор-хор — это вальдшнеп. Сразу нужно смотреть. Как раз, как только солнце заходит, они тут же и поднимаются». Ни одного вальдшнепа я не увидел, ни одного «хорха» я не услышал. «Коваль, ты выдумал,

наверное, эту птицу. Нет таких птиц в природе», — шутил я. А потом мы были на звероферме, и Вадим вытащил единственного на всю ферму ручного недопёска по имени Машка и дал Ковалю подержать... Вальдшнепа он мне так и не показал, зато у него возникла идея повести, и год спустя я прочел его «Недопёска».

В другие годы Вадим мне писал в письмах: «Приезжай на Урал, я там построил избушку охотничью». Л предложил Ковалю: «Поехали?» — «Поехали». Добрались на поезде до Свердловска, потом куда-то еще пересаживались, потом на местный самолет, потом на лодку моторную. В общем, приехали к Вадиму, и я увидел Юрку в совсем другом качестве. Он шалеет от природы. Я тоже люблю ее, но тихо, внутри себя. У Юрки же всегда всё с восклицательным знаком: любое дерево, которое он увидит, любой хариус, которого вытащит, любая лужа, в которую он влезет или упадет — это все обязательно сопровождалось восклицательным знаком с предшествующими ему словами.

Мы два раза с ним были на Урале. Один раз на Вишере. Поднялись в верховья, где жили два старика, которые поссорившись, двадцать лет друг с другом не разговаривали. Они были высланы еще в период раскулачивания в Пермскую область, в поселок, куда ссылали всех зеков, но решили бросить все это и со своими женами поднялись « на самую вершину» этой Вишеры. Там река раздваивалась. Они построили две избы и два амбара, причем амбары удивительные — на ножках, с подрубленными основаниями у бревен, чтобы ни мыши, ни звери не могли забраться туда. Завозили необходимое: соль, сахар и муку — по весне и осенью, по большой воде, моторов тогда не было — на шестах, против течения много десятков километров. Остальное все добывали в лесу и в реке. Ни радио, ни телефона, ни телевизора — ничего. Они ловили рыбу, заготавливали ее на зиму и жили прекрасно. И Коваль с удовольствием ездил со мной туда.

А второй раз — на реку Велс. Я сказал как-то брату: «Вадим, не жалей сил, не жалей денег, делай хорошие избушки, а не только чтоб там одну ночь переночевать». И он один срубил новую избушку из кедра и так, что в ней можно было стоять, не сгибаясь. Причем ни досок, ни гвоздей у него не было. Вместо доски там кедр разбивали пополам и делали пол, потолок, крышу. И когда Коваль все это увидел, он сказал опять одно слово с восклицательным знаком. «Слушай, давай сделаем здесь рельеф», — предложил он. А я увлекся тогда резьбой по дереву и взял с собой весь инструмент. «Ну а что?» — говорю. «Как что? Козьму и Демьяна. Что можно еще сделать на этой избушке. Только не Демьяна, а Дамиана». Я достал стамески, он углем нарисовал святых. Я делал Козьму, а он Дамиана.

Время от времени мы из избушки все выносили, топили ее и делали баню. Есть несколько кадров фотохудожника Виктора Ускова, где мы сидим и паримся в этой избушке.

По весенней воде на моторе Вадим привез в избушку печку, керосин, продукты необходимые и сделал лабаз, о котором Коваль написал в рассказе.

В реке было много хариуса. Хариуса там ловили на «кораблик», снасть, похожую на воздушного змея, только на воде. На веревку, на которой этот кораблик плывет, направленный против течения, навешивали пустые крючки. И они прыгали по волнам горной речушки. Дурак-хариус выпрыгивал и садился на крючок. А чтобы он активнее садился, мы делали «мушки» — выстригали из своих волос кусочки, связывали красненькой ниточкой, выдернутой из рубашки, и привязывали на крючок. Хариус не мог пропустить этого «лакомства».

Коваль мне как-то говорит: «А знаешь, существует такая еще снасть — тюкалка». А я ему: «Что это за тюкалка-то?» — «Как это ты не знаешь тюкалки? Это один рыбак на том берегу, а другой рыбак на этом. Мы держим веревку, на ней крючки, к кому первому попадет хариус, тот и тащит к себе — тюкалка называется». Потом, уже в Москве, я написал об этом рассказик в журнал «Рыбоводство и рыболовство» и узнал у них, что это запрещенный лов рыбы. Рассказик не опубликовали, но тюкалку тогда мы все-таки сделали: на одной стороне Коваль, на другой — я, на веревке прыгают по волнам крючки и выскакивает хариус, то к нему ближе, то ко мне.

Обычно в наших поездках кухарил я. А тут Коваль отвел меня от этих дел, сам хариуса чистил, сам готовил, соль сам подбирал. Картошки у нас там было немного. Но он варил уху только из одного хариуса Луковичка, разве что, и перец, и лавровый лист. Больше ничего. Я вырезал всем по ложке из дерева, и мы ели эту уху, пили чай и жили на этом прекрасно.

Дальше наступали вечера. Вечером делать было особенно нечего. Далеко не пойдешь. И выяснилось, что Коваль притащил туда Евангелие. Зачем? Не могу понять. Человек, по сути дела, неверующий, как и все мы, читал нам на ночь евангелие. Так я впервые увидел красоту этой книги, он же еще красиво читал. Долго читать не могли, керосин мы экономили и потихонечку засыпали, утром рано просыпались — и опять за хариусом. Вот такая у нас была прекрасная жизнь.

Единственный случай омрачил эту жизнь, и до сих пор я его себе объяснить не могу. Вдруг Коваль неожиданно говорит: «Я завтра должен ехать в Москву». Я говорю: «Юр, ты что?» — «Мне нужно», — говорит. «А почему ты раньше-то не сказал, мы бы как-то по-другому распределили нашу жизнь». — «Мне нужно». Я говорю: «Коваль, одному идти по тайге двенадцать километров через горы, через Чувал невозможно». Туда-то мы втроем шли и договорились, что в такой-то день по Вишере поднимутся лодки нас забрать. Я говорю: «Юра, это безумие». А Ковалю, как говорят в деревне, шлея под хвост попала — ни в какую. «Нет, — говорит, — я пойду. Я дорогу знаю». И ушел...

В 95-м году у меня очень тяжело болела дочь. И вдруг звонок Лёвы Лебедева: «Юра умер». Я грешным делом подумал на другого Юру, а он говорит: «Нет, наш Юра». — « Како й наш ?» — « Коваль ». — « Ты, — я говорю, — сума сошел». И он заплакал, а я не знал, как себя вести, не мог понять, как это могло случиться. А через три-четыре дня умерла моя дочь. В эти дни у меня была одна проблема — не сообщить ей эту весть, потому что она его очень любила, уважала, они много вместе занимались керамикой, влияли друг на друга творчески, и он тоже к ней очень серьезно относился. Так она и умерла, не зная, что Юрка умер.

Октябрь 2007 года Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Зоя Шарапова

Рябина

Познакомились мы через Марию Прилежаеву на 50-летии Игоря Мотяшова. Они с Юрой любили друг друга, он вообще всех любил, с Агнией Барто был близко знаком... Юра тогда подошел, посидел с нами, а потом говорит: «Ребятки, вы знаете, я обещал Марию Павловну отвезти домой, но выпил и машину оставлю. Или я вам такси вызову, или вы уж везите ее сами» ... Круг наших друзей — Володя Александров с Лидой, Яков Аким с Аней, Богдан Чалый, приезжавший с Украины, — стал расширяться. Мы не встречались часто, но если был случай, когда мы могли быть в этом окружении, — Юра был там и мы с ним виделись.

Однажды Юра был у нас в гостях. Посидел немного и говорит моему сыну Максиму: «А гитара-то у вас есть?» — «Есть». — «Ну-ка давай ее сюда». Максим принес гитару, Юра по струнам прошелся и говорит: «Расстроена, мальчик. Такты запомни, если тебе нужно поправить гитару, то есть дядя Юра, который очень часто бывает в мастерской на Яузе. Ты позвони, приходи, я тебе настрою».

Потом за столом Юра со мной разговорился. Ля в школе работаю, он поинтересовался, что и как, я рассказала, он спрашивает: «Как в класс-то входишь? Не боишься?» Я говорю: «Когда-то, может, нервничала, боялась». — «А знаешь, у меня есть песня „Пятнадцать собак". Она написана на мелодию одной аргентинской песни, и когда я иду выступать

перед детьми, гитара всегда со мной. Я по аккордам прохожусь и объясняю, что у меня есть песня, очень веселая, про собак, у каждой собаки свое имя, и я буду петь и перечислять. „Л вы, — говорю им, — считайте". И с первых моих слов вся аудитория, огромный зал — мой».

Я однажды была на таком вечере в ЦДЛ. Дети, понятно, не могут сидеть тихо. Но Юра выходил, такой высокий, красивый, когда он говорил, он был очень обаятельный, от него нельзя было оторвать взгляд, С первой же минуты, как он начинал петь, зал затихал и дети считали собак, они с ним работали, и Юра выходил победителем.

«Так что, — он говорит, — имей в виду: для того чтобы заставить их на тебя обратить внимание и чтобы ты держала их в напряжении и с интересом, надо обязательно что-то яркое бросить. Я помню из своей практики, я же учителем в селе работал, однажды мне надо было говорить о симметрии, а я не математик Я набрал кленовых листьев, пришел в класс и сказал: „Ребята, обратите внимание, у меня в руках листья Это от какого дерева?" — „От клена". — „Давайте посмотрим, как расположены на них линии". Я им раздал листья, и мы работали на этой теме — класс был в моих руках».

И еще один урок он припомнил. Тема была связана почему-то с долями. Наверное, в этом селе ему приходилось вести много предметов. «Я взял у бабушки, у которой жил, блюдце то ли с перламутром, то ли с золотом и поставил на него яблоко. Начал урок и говорю: «Вы читали в сказках Пушкина о золотом яблочке наливном и золотом блюдечке: Катись-катись, яблочко ?» — «Знаем» — „Так вот теперь мы с вами будем работать с этим яблоком"». Они впились глазами в яблоко. Юра разрезал яблоко пополам, потом каждую половину на доли, потом еще раз, а потом они съели это яблоко. Яблоко было большое, и на всех хватило по дольке. В сельской школе, конечно, такой урок был событием.

Я запомнила эти советы и, особенно, когда иду в новый класс, всегда думаю, чем мне их привлечь, чтобы взять в плен сразу при первой встрече. Я придумываю что-то такое, чтобы была связь — у меня с ними и у них со мной. Этому научил меня Юра. Он тогда сказал пару фраз, и дальше я развиваю это сама и отталкиваюсь от этого, но всегда помню: «Чтобы привлечь внимание детей, надо обязательно выйти к детям с чем-то необычным, ярким и неожиданным. Чтобы это захватило их в плен» ...

После этого пели. У нас не принято было говорить: «Юр, спой такую-то песню». У нас патриархом был Яков Лазаревич. Я как-то вылезла и говорю: «Юр, ну давай уже споем», а он мне тихо: «Яша еще не готов, вот когда я почувствую, что он готов...» Тогда Юра давал аккорд, и Яша подхватывал. Часто начинали с той песни, которую Яков Лазаревич любил, а песню эту, «Не покидай меня, весна», написал Юлий Ким. Яков очень хорошо вел, и Аня вместе с ним. Много пели Окуджаву и песни на стихи Беранже. Хорошо это у них получалось. А потом Юра написал песню на Яшино стихотворение «Мне странно, что я еще жив».

Мне странно, что я еще жив,
Хожу, просыпаюсь в постели,
Что бомбы, и голод, и тиф
Меня одолеть не сумели.

Так странно, что вновь суждено
Вступить в эту тихую осень,
Монетку в отверстие бросить,
Деревья увидеть в окно.

А может, еще загляну
Туда, где сосулька сверкает,
Где мальчик рисует весну
И кисточку в лужу макает,

Где снег разомлевший лежит
И тянет поленницей влажной,
Аукают гуси протяжно...
Так странно, что я еще жив.

Эту песню он пел настолько проникновенно и, конечно, мы тут все подпевали. Иногда солировал Яков Лазаревич, мы слушали и не мешали. Юра, когда Яков пел, тоже уходил в тень и только фон создавал.

Когда Юра у нас побывал, он сказал: «Ну, ребята, приходите ко мне в мастерскую». Дочь Ольга очень загорелась, и мы пошли — Оля, я и муж. Коваль нам позвонил: «Приходите во столько-то». Мы пришли, они сидят, розовые, распаренные, со своим другом Витей Беловым, с которым мастерская на двоих была. Мы, говорят, из бани только. Они показали нам мастерскую, картины. Юра — свои, Витя — свои. Одна картина Белова мне запомнилась особенно — мужчина и женщина, они оба спиной, но головы их повернуты и смотрят в противоположные стороны. Я и спрашиваю у Юры тихонько: «Как понимать-то картину эту?» А Витя услышал и говорит: «А тут, Зоечка, вот в чем дело. Ведь мужчина и женщина всегда смотрят в разные стороны». В тот вечер пришли Юрин брат с женой, очень веселые ребята. Борис говорит: «Юра, подыграй-ка, мы споем». И запели ту самую песню на аргентинском языке, на мелодию которой были написаны «Пятнадцать собак». А потом и «Собак» спели. Мы сидели разинув рот, счастливые просто оттого, что находимся среди этих людей.

Якову Лазаревичу было 60 лет. Были гости, большой стол, а в сторонке стояли два больших кресла и маленький столик. Постепенно в эти кресла перебрались Яша, Володя Александров, Паша Френкель. Мимо столика шла моя дочь Ольга. Коваль увидел ее тогда впервые и вдруг сказал: «Ведь вот не скажешь, что красавица, а глаз не оторвешь», — и пригласил ее к их столу. И когда они все как-то разместились в этих креслах, Яша вздохнул и сказал: «Наконец-то мы одни». Мы все захохотали — народу-то было полно...

Потом мы были в Библиотеке иностранной литературы на вечере поэзии Якова Акима. Вечер был хороший, вел Паша Френкель, детки принимали участие, и Юра должен был спеть те стихи, которые он положил на музыку. Но он вышел и сказал: «Вы извините, я гитару не принес и спеть не смогу. У меня очень болит локоть». На том концерте Юра выступал, морщась от боли. Дочка моя, хороший диагност, подошла и сказала: «Юра, у вас бурсит. Вам надо купить такие-то лекарства и сделать то-то и то-то». А он как-то на себя не обращал внимания, наплевательски относился, но вдруг послушал. Послушал и потом позвонил мне: «Зоя, а у меня рука-то прошла».

Вскоре после этого на своем вечере в малом зале ЦДЛ он ей подарил «Самую легкую лодку в мире» с теплой дарственной надписью. Там выступали его друзья, а потом Юра вышел и читал нам «Валенки Чуковского». Он замечательно преподносил этот текст — был таким артистом! И как он обувал эти валенки, и как они не обувались — мы все видели, так это было образно... Мария Прилежаева при нас как-то повторила ахматовскую фразу, адресовав ее Юре, что его поцеловал в уста Бог. И она его защищала тогда, когда он написал «Недопёска» и было полное гонение на него, не побоялась, вышла на трибуну на важном совещании.

Нас часто приглашали в гости в Малеевку к друзьям. В один из приездов Юра жил рядом, в Доме творчества, и тоже пришел в гости. Я приехала с пирогами, все уплетали и были довольны. Посидели за столом, поговорили, понравилось, договорились собраться на другой вечер. Юра первый раз пришел в свитере и без гитары, а назавтра он пришел в белой рубашке, постриженный, весь такой праздничный, с гитарой, которую он завернул в пиджак, чтобы она росу не схватила И говорит, с шуткой конечно: «Вы обратили внимание, какой я сегодня... другой». — «Да. А в чем дело?» — «Я увидел, что здесь женщины такие красивые,

и решил тоже не ударить в грязь лицом. Меня Яша сегодня постриг, я надел чистую рубашку и пришел с гитарой, так что у меня праздник».

Дальше шла какая-то беседа, он на гитаре немножечко подыгрывал. В комнате на длинном столе, покрытом белой вязаной скатертью, стоял в кувшине букет гранатовой рябины из рябинового питомника. Такие яркие, свежие, сочные ветки. И вдруг он аккорда два взял и запел: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Я человек и без того эмоциональный, и Юру очень любила, но когда он взял аккорд откуда-то из глубины души — этот аккорд, эти слова, эта мелодия пошли прямо в небеса. Мы все замерли, мы не поддержали его — он пел один. Я эту песню вообще-то не признавала — ну застольная песня подвыпивших людей... А у Юры это был романс, так преподнес он ее. Талантище, ничего не скажешь.

С Наташей мы познакомились тоже когда гостили в Малеевке. Она была очень молоденькая и очень милая, в сарафанчике, словно барышня тургеневская. Какая-то в ней была кротость, незащищенность. Юра пригласил нас к себе, и мы сидели, разговаривали, хотя он не очень-то пускал к себе и в душу, и в жилище. Нов тот вечер с нами он был очень близок. На подоконнике стоял Николай Чудотворец. Я говорю: «Юра, ты крещеный?» Он сказал: «Да, и вот этот Николай Чудотворец всегда со мной. В машине ли я еду, или иду куда-то, верю, он мне всегда помогает». Он очень много рассказывал о своем домике на Севере, о доме на Нерли. Потом они с Наташей нас проводили.

На похоронах Володи Александрова Юра Коваль встал и сказал: «Володя, ты ушел, а мы остались. Вопрос: кто же будет за тобой?» И очень скоро Юра пошел вслед за Володей. Он как-то очень себя не жалел. Вместе с тем он общался всегда с улыбкой. Я никогда не видела его злым или сердитым, он как будто через что-то в душе перешагивал. Я помню, как я была на одном вечере в ЦДЛ, шла со стороны ресторана, и в писательском кафе он сидел в компании, в свитере крупной вязки, я издали вижу его, он меня заметил, поднялся навстречу: «Как давно я тебя не видел!» Покинул свою компанию, поднялся, поговорил со мной. Какая теплота шла от человека, какой уют!

В то же время он не любил общение там, где неинтересно, то есть он не был трепачом, и тусовки-то, как теперь говорят, не любил. И когда у нас был, уходя, он оделся первым, вышел и тихо, не дожидаясь никого, ушел. Аня потом сказала: «Не удивляйтесь, Юра такой. У него бывает, он все выдал и опять ушел в себя. Он опять должен быть тем, какой он на самом деле».

Может быть, все это важно в основном для узкого круга моих родных и знакомых, но во всех этих моментах Юра был такой многогранный, начиная с того, как в меня вложились его советы по преподаванию, — и это была не долбежка — вот это делай так, а это так, его фразы как будто падали в сердце, схватывались разумом... Вообще все, что он говорил и делал, укладывалось в память и помнится, как будто это было вчера.

Сентябрь 2007 года

Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Леонид Носырев

Женьшень озимый

Очень это прибыльное дело для души —
на чужой успех любоваться.

Борис Шергин

Первая моя «встреча» с Юрием Ковалем состоялась на страницах журнала «Пионер». Редактор «Союзмультфильма» Марианна Качалова предложила мне почитать журналы с его «Недопёском». Я прочел, мне очень понравилось, но одно дело литература замечательная, другое дело прозу на экран переводить... Затем главный редактор сменился, пришел ненадолго Анатолий Митяев, бывший главный редактор «Мурзилки». Очень приятный человек; я не знал тогда, что он был женат на бывшей жене Юры. У меня была идея поставить второй фильм по Борису Шергину, и речь шла о сценаристе, соавторе, чтобы вместе писать. Митяев предложил Коваля. Было лето 1977 года, мы с ним созвонились и встретились. Первое мое впечатление от Юры — довольно поджарый тогда, в вельветовых темно-синих брюках, в курточке, с сумкой через плечо легкий человек, располагающий к себе. Мы сразу нашли общий язык Я говорю: «Мне хотелось бы по Шергину поставить фильм „Дождь"». Он говорит: «Ну так Борис Викторович мне рекомендацию давал в Союз писателей». Одним словом, совпали: общая любовь к Северу и к Шергину, к его произведениям.

Когда-то давно, прочтя Шергина, я был поражен, стал ездить на Север и изъездил его весь, но, к сожалению, не довелось мне повидать живьем Бориса Викторовича, он умер в 1973 году. И Юра первым делом предложил посетить квартиру на Рождественском бульваре, где Шергин жил, еще был жив его названый племянник Михаил Андреевич Барыкин, родом из Хотькова. Юра писал о нем в своих замечательных воспоминаниях «Веселье сердечное». И мы побывали у Михаила Андреевича, естественно, взяли с собой бутылочку портвейна, была очень располагающая атмосфера...

Еще до встречи с Юрой, в 1963 году, я ездил в Ферапонтов монастырь, был там целый месяц — копировал портальную фреску «Рождество Богородицы». Я был в полном очаровании от Дионисия, окрестностей и Цыпиной горы... А потом оказалось, что у Юры на Цыпиной горе дом. Все эти совпадения, конечно, не были случайны и нас еще больше связывали.

Началось наше сотрудничество с Юрой. Писали мы вместе. Тогда он жил в Сокольниках, мы там встречались, начинали сразу обговаривать: я свои идеи высказывал, он — свои, и тут же на машинке тук-тук-тук. Мы очень легко написали этот сценарий, и принят он был в Госкино очень хорошо. Фильм «Дождь» вышел в 78-м году, и это один из любимых моих фильмов, хотя он не очень-то был известен, но тонкая и красивая получилась вещь о северных мастерах-красильщиках.

Следующим в наших планах был фильм «Волшебное кольцо». Но у него судьба была уже непростая. Как Юра
любил повторять на многочисленных встречах, мы писали и пять раз переписывали. Работали с удовольствием и много напридумывали. Писалось это в мастерской и часто обсуждалось в кафе ЦДЛ Юра горел этой великолепной скоморошьей сказкой, которую Борис Викторович, замечательный рассказчик, часто рассказывал на радио и на встречах со слушателями. Однако чиновники Госкино захотели шергинский живой язык, северный диалект, который звучал у нас, убрать из фильма, привести язык к сухому среднестатистическому звучанию. Дескать, народ этого не поймет. Это была чушь собачья,

конечно. Но мы со всем соглашались и переписывали сценарий по их поправкам несколько раз. И уже на стадии озвучания, а у меня записывались замечательные актеры во главе с Евгением Павловичем Леоновым, я все восстановил, все шергинские слова. Премьера фильма была в Доме кино, Юра чувствовал себя гордо, и заслуженно. Этот фильм действительно стал этапным и в моем творчестве, и для студии « Союзмультфильм», как новая страница, свежий, незаезженный материал по Северу. Фильм получил много призов, в том числе в Дании, на родине Андерсена, — серебряный приз за лучшую сказку.

Вообще Юра обладал замечательным свойством — уметь начать произведение. Начать и закончить — это очень важно и в литературе, и в кино. Мне всегда вспоминается его «Вася Куролесов» с началом: «Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос». Очень по-ковалевски. Это его умение начать и первой фразой увлечь читателя в свой выдуманный мир — уникальное свойство его таланта, особенно в ранних произведениях, которые мне наиболее по сердцу. Все они как будто на одном дыхании написаны, хотя это был довольно большой отрезок времени. Краткость Коваля и емкость смысла даже в одном предложении очень хорошо сопрягались с анимацией. Не случайно мы так легко нашли общий язык в написании сценариев. Наша совместная работа шла легко, непринужденно, без мучений, он никогда не влезал в режиссерскую кухню и правильно делал. Не портя себе нервы, он полностью доверял партнеру, мы дополняли друг друга и привносили каждый свои придумки, чтобы трудоемкий процесс создания кино дальше шел легко и плавно.

Мы время от времени встречались с Юрой в его мастерской в старом московском дворике, в Серебряническом переулке. Юра вообще был очень московский прозаик. Особенно в таких вещах, как «Пять похищенных монахов» или в проникновенной песне о банях. Молодые читатели по его книгам смогут понять, какой была Москва еще совсем недавно... Помню комнаты мастерской на первом этаже со вздутыми половицами, где я познакомился с Витей Беловым, помню его скульптуру «Люди в шляпах», там я узнал ЛёвуЛебедева, других друзей Юры, реставраторов, художников — я вошел в круг его друзей-товарищей, круг очень мне близкий, понятный и нужный. Мы не были с ним закадычными друзьями, но товарищами и сотрудниками в самом хорошем смысле этого слова были.

Конечно, у него большой круг был знакомых среди писателей, но его тянуло к художникам. Юра, кажется, лучше себя чувствовал в кругу художников — живописцев, графиков, реставраторов, скульпторов. Отчасти потому, что Юра сам пробовал себя во многих жанрах, и потому, что занятия изобразительным искусством ему помогали в его писательском деле. А еще Юра имел способность впитывать в себя талантливое влияние друзей, не стеснялся этого и не кичился. Происходило замечательное накопление материала. Он вместил в себя и музыканта, и художника, и, конечно, писателя. Все это в нем бурлило, казалось, все так легко делалось, на самом деле, конечно, это было нелегко. При этом он был очень ранимый человек, и я бы еще сказал «непробивной» — он не пробивал себе дорогу в обывательском смысле слова.

Прозу Юрия Коваля очень трудно переводить на экран, но тем не менее один фильм мы поставили и по его произведению. Мне в руки попалась его книжечка для самых маленьких «Тигрёнок на подсолнухе», и я предложил Юре сделать по ней фильм. Со сценарием там все было непросто, потому что надо было не только придумать ход, но практически сочинить заново всю историю.

Там очень важно было вступление от автора. И Юра придумал: «На далекой на реке на Уссури, там в зеленой высокой тайге, где медведи живут белогрудые, где олени ревут благородные, Амба бродит там, Амба — тигр уссурийский». И очень хорошая находка была дальше. «Да. Он был уссурийский от носа до хвоста. И даже полоски у него были уссурийские». Это придумка очень в духе Коваля.

Потом, когда в фильме от дыхания тигренка прорастает семечка и вырастает подсолнух, закадровый голос Леонова говорит: «Да что же это такое? Подсолнух посреди зимы! Уж не женьшень ли озимый». Такие парадоксальные Юрины вставочки очень хорошо ложились в тему. Замечательная сказка и очень хорошее кино получилось у нас. На фестивале в Таллине в 1982 году «Тигрёнок» получил приз детского жюри.

После «Тигрёнка на подсолнухе» был некоторый перерыв у нас с Юрой, а потом возникла идея сделать полнометражное кино под общим названием «Архангельские новеллы», состоящее из нескольких фильмов. Этот наш сценарий тоже нелегко проходил в Госкино. Мы с Юрой довольно долго думали, очень интересная была работа, много разных черновиков. И в 1986-87 году выпустили два фильма по сказкам Писахова «Апельсин» и «Перепилиха», и по замечательному трагическому рассказу Шергина «Для увеселения». После этого удалось уже сценарий пробить, и надо было написать связки между фильмами «Не любо не слушай», «Волшебное кольцо», «Апельсин», «Перепилиха» и «Поморская быль». Связки о том, как старый помор рассказывает рыбакам свои были и небылицы. В этих связках были очень интересные Юрины находки, например, скомороший зачин «Волшебного кольца»:

... поморскую сказку-скоморошину,
про доброго Ваньку и царя нехорошего,
про хитрую царскую дочку Ульянку,
которая хлебала в Париже солянку,
а также расскажет сия эпопея
про верных друзей и змею-скарапею.

Этот фильм вобрал в себя двенадцать лет работы. Получилось большое полотно, в нем начало и финал были эпически былинными, а внутри были много смешного. И в 1989 году была очень хорошая значительная премьера нашего фильма «Смех и горе у Бела моря». На сцене были и портрет Шергина, и корабль из его комнаты, на вечере были его наследники, священник, который соборовал Шергина, и звучал голос самого Бориса Викторовича. Юра как соавтор сценария был горд, ведь работа в кинематографе — это отдельный, очень значимый для него этап жизни.

Последний фильм, который мы сделали вместе, был «М15(;ег Пронька». Здесь очень много было придумано вместе с Юрой в сценарии, хотя и в самом «Проньке Грезном» у Шергина много было озорного, смешного и хорошего. Самое начало 90-х было временем создания кооперативов, развития частной торговли. И в «Мистере Проньке» зазвучало слово «кооператив». Вещь, написанная в тридцатые годы, оказалась настолько злободневной, что даже сейчас посмотреть — ни прибавить, ни убавить.

В этом фильме он очень точно нашел название, ведь у Бориса Викторовича эта вещь называется «Пронька Грезной», а в нашем фильме «мистер» писалось латинскими буквами, а уж Пронька русскими. Вслед за этим Юра придумал стихотворный зачин в стиле скоморошьего, балаганного райка:

Невероятная история
про грезного Прения,
про пари американско,
про семейство царско,
про меньших братьев ковбоев...

Юра говорит: «Похожих как два куска обоев». И они действительно такие в фильме, это очень хорошо легло. Он часто придумывал такие ключевые слова, которые легко ложились на канву сценария. В 1991 году Юра был на теплой премьере в Доме кино и очень радовался, что фильм понравился его другу Ролану Быкову.

Завершив нашу совместную деятельность этим фильмом, мы с ним встретились весной 1995 года, он тогда неважно себя чувствовал... А в июле друзья пригласили нас с женой пожить на Волге. Оказалось, это недалеко от Плуткова, и мы поплыли по Нерли на моторке к Юре в деревню. По пути я зашел в магазин, купил бутылку водки. Мы пришли к дому, он был покрыт новым шифером. Вышла Наташа, потом Юра. Дом был такой обжитой: запахи, тепло — все было, о чем Юра мечтал, когда писал о деревенской жизни. Мы разговорились. «Вот, — говорит, — дом покрыл новой крышей». Повел меня в свою чердачную мастерскую, показал последний натюрморт — синие цветы. Было видно, что он неважно себя чувствует, и о бутылке я даже не заикнулся. Он мне рассказал о гонораре в виде части тиража за последний сборник, я с ним поделился идеей поставить шергинского «Пинежского Пушкина». Говорю: «Ты поправляйся, мы с тобой обязательно возьмемся». Поговорили, попрощались, во дворе бегал пятилетний Алёша. Это было 29 июля 1995 года.

В Москву мы приехали в начале августа, от Юры не было ни слуху ни духу, звонить как-то не решался. В один из дней в киоске я купил «Литературную газету», которую давно не выписывал и не покупал. Открываю, а там — портрет Юры на сороковой день.

В последние годы я был на многих встречах памяти Коваля и заметил, что на лицах людей, говоривших о нем, появляется легкая улыбка. Человек как бы сразу начинает светиться тихой радостью... Знакомство, работа, соприкосновение с его талантом сыграли и в моей жизни огромную роль и помогали жить. Теперь во ВГИКе я знакомлю студентов с прозой Коваля, рассказываю о нем самом. Моя студентка Вероника Федорова сейчас делает фильм по коротеньким новеллам Коваля о весенне-летне-зимних котах. Связь времен продолжается. В 2010 году была закончена работа над 12-й серией мини-сериала «Круглый год» (режиссер — Вероника Федорова).

Ноябрь 2007 года
Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Ия Саввина

Вечерний разговор

У меня на стене, среди других, висят портреты Окуджавы и Слуцкого с их автографами работы Владимира Лемпорта, есть у меня его же портрет Юры Коваля. Юра был необыкновенный человек. Этот портрет столько лет у меня в доме, и он сам — у меня в душе, как неотъемлемая часть добра и красоты человеческой.

Юрочка все хотел его подписать, но так и не случилось. Ведь мы общались практически только во время съемок фильма Юлия Файта. Тот тоже добряк невероятный, вечно улыбающийся красавец. А я была мерзкая женщина. Мерзкая в том плане, что тяжелая была жизнь, работы тогда было много, сын и все в семье тоже было на мне. И у меня с давних-давних пор сложилось такое отношение к детям: я общаюсь с ними на равных, даже если ребенку три года. Просто на равных. И если они чем-то меня раздражают, то они получают по полной программе. У нас в фильме «Марка страны Гонделупы» был мальчик, по сценарию наш с Юрой сын, как сейчас помню, похожий на маленького Ленина. Он был очень самостоятельный, гордый, такой-сякой. Когда он прокалывался, тут я возникала, и парень бедный не знал, куда ему деваться... И здесь, как черт из коробочки, появлялся Юрочка.

Не знаю, как это у него получалось, что было у него в натуре, какое невероятное добро и такт, но он без напряга так «выруливал» ситуацию: и мальчика поднимал — мальчик начинал сиять, все обиды проходили, и меня ни в коем случае не задевал. У Юрочки было какое-то необыкновенное сердце. Масса есть людей хороших, добрых. Ну разве моих друзей Булата, Володю Высоцкого и прочих можно назвать недобрыми? Ни в коем случае. Но у Коваля было особенное чувство добра, справедливости, отношений между людьми. Я не могу это передать, это живет в моей душе, а словами не скажешь.

Кстати, если бы не он, я никогда не запела бы в кино. В студенческие годы я много выступала — на концертах в колхозах пела «Пряху», «В низенькой светелке огонек горит», и голос был уникальный... Потом мне сделали операцию на связках, и голос поменялся. После этого я пою только дома, в компании... А тут надо было петь на экране... А у меня нет голоса, как я считала, совершенно.

Это была Юрина песня, и кроме замечательной игры на гитаре и пения у него был еще один талант — уйти в тень, выделяя партнера. Такого просто не бывает... Я не буду называть одного знакомого. Он показывал мне однажды материал, где играл вдвоем с другим актером. И я сказала: «Ну что ж ты делаешь-то? Ты же должен как-то его подать. Вы же вместе должны работать на фильм». — «Ну вот еще. Пусть сам выкручивается как умеет». Это я всегда не любила и до сих пор не люблю. А Юрочка был как раз человеком, который мог, пожертвовав собой, что называется, «вырулить» партнера.

Причем он даже и не жертвовал. Он просто пел:

Темнеет за окном — ты зажигаешь свечи,
И светлая рука стеклом отражена.
И снова к нам с тобой пришел осенний вечер,
И в доме и в душе покой и тишина.

А где-то далеко шумит вечерний ветер,
Кружится в темноте опавшая листва.
И снова мы вдвоем и с нами долгий вечер —
Вечерний разговор, вечерние слова

Пел он замечательно и не навязывал мне ничего. Но когда он запел, я забыла, что у меня нет голоса, и стала ему подпевать. Дело было даже не в песне, а в отношениях между нашими героями, которые через эту песню выявлялись. Мы не песню пели, а как бы разговаривали, признавались друг другу в любви, не называя все своими именами. И это в фильме все сделал Юрочка, я тут совершенно ни при чем...

И вот мы всё собирались повидаться, и книжку он обещал, и подписать этот рисунок изумительный. Сделан этот рисунок был в мастерской Лемпорта-Сидура-Силиса. Коваль был человеком, который входил в их крут, а там уже были Левитанский, Слуцкий, Окуджава, все они были шестидесятники. И Юрочка там был, никогда не лидерствовал, а там вообще никто не лидерствовал. Они чем-то родня для меня, они родные по крови, по своему добру, по своей какой-то честности, открытости, по своей грусти... Иногда просыпаешься — ну ничего плохого, а почему-то такая грусть невероятная. Юрочка называл это «великой осенней печалью». Жаль, что мы больше не встречались — я бы прочла ему танку Исикавы Такубоку, чтоб снять с него эту печаль.

Ах осени приход,
Ты как вода:
Умоешься —
И чувства освежились.

А может быть, через свою тоску он освежал чувства. Как всякий неординарный, необыкновенный, необычный, отдельный человек, он мог существовать так, как в этот момент диктовало ему его сердце, его душа.

Слуцкий был частым гостем этой мастерской, и почти в каждый его приход за столом пели его песню про лошадей. Как-то раз Слуцкого не было, а Левитанский читал пародии в стиле «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять». На Ахмадулину, на Евтушенко, Вознесенского и еще многих. И вдруг он прочел:

Зайцы не умеют плавать
И не близко и не далеко.
Одного из зайцев звали Клава,
В это вам поверится легко.

Клава жил без мамы и без папы
И имел имущества всего
Две *и две — всего четыре лапы,*
Уши, хвост и больше ничего...

Ну и дальше, про охотника и так далее. Юра так захохотал! На него строго посмотрел Булат и сказал: «Прошу всех встать». Все обомлели, Юрка еще продолжает смеяться, а он говорит: «Это нужно слушать стоя. Ибо они фамильярностей не любят». И тут все стали хохотать.

В фильме у него была только пара эпизодов, но на съемках он присутствовал независимо от своего эпизода, с удовольствием погружаясь в новую стихию. Он сопереживал всему. И именно поэтому он был помощником и в случае с ребенком, и вообще. Он приезжал заранее, задолго и наблюдал, как тут что, чего. И, как всегда, как юный пионер, был готов немедленно помочь. Я и говорила ему тогда: «Ну, юный пионер, давай помогай, будь наготове».

Всю жизнь я завидовала людям, умеющим играть на фортепиано и водить машину. Потом я двадцать лет водила машину, а на фортепиано так и не научилась играть. Юрочка умел играть на фортепиано и еще много чего. Это мне напоминает анекдот, как Путин зашел на соревнования по женской гимнастике и случайно победил. Так вот у меня такое ощущение от Коваля. Он мог везде случайно победить, не настаивая на этом, потому что профессионализм у него сочетался с удивительной чуткостью, органикой и красотой души...

Октябрь 2007 года

Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Виктор Чижиков

Птица-иволга

Познакомились и перезнакомились мы все в «Мурзилке». В здании «Молодой гвардии» я тогда работал и в «Мурзилке», и в «Вокруг света», и в «Юном натуралисте», и в «Вожатом», и в «Веселых картинках», и в «Пионерской правде». Никуда не надо было выходить — мы играли в пинг-понг в холле, иногда высовывалась голова заинтересованного в ком-нибудь из нас человека и говорила: «Витя, зайди». Время от времени нас всех расхватывали по комнатам прямо от этого стола. Мы с Ковалем так и познакомились: поиграли в пинг-понг и пошли в шашлычную на Краснопролетарской, где разрешались тогда споры и завершались дискуссии.

Редактором «Мурзилки» в то время был Анатолий Васильевич Митяев, человек очень внимательный к молодежи. Он понимал, что будущее журнала надо отрывать от пинг-понговского стола. И у него с большим успехом начинали работу многие литераторы и художники. Сам Анатолий Васильевич располагал к этому: все мы увлекались рыбалкой и часто ездили рыбачить на его машине. Вот и Коваль пришел к Митяеву и полюбился ему сразу. Митяев тут же предложил ему и художнику Вениамину Николаевичу Лосину командировку на границу, к пограничникам. Лосин — блестящий рисовальщик. Ему ничто не стоит нарисовать и пограничную собаку, и лошадь, и кого угодно в любом ракурсе. И они поехали с большим удовольствием. Результат превзошел все ожидания — великолепные рисунки Вени Лосина и великолепная проза Коваля ошеломляли. Еще когда повесть «Алый» публиковалась с продолжением в «Мурзилке», я с нетерпением ждал следующего журнала. Хотя я тогда уже был членом редколлегии и мог бы рукопись взять, но я нарочно не брал — мне было интересно сохранять интригу.

Так совпало, что в той деревне, где у меня дом, и Митяев жил. На многие годы после развода он осел там и был моим непосредственным соседом... Совершенно неожиданно он женился, и совершено неожиданно на бывшей жене Коваля, и совершенно неожиданно представил ее мне. В общем-то, мы были знакомы, потому что Ия работала в «Молодой гвардии». Я часто обращал внимание на эту красивую женщину, знал, что это жена Коваля, и, конечно, очень удивился, узнав, что теперь она жена Митяева и моя соседка. И тут приехал Юра.

Зашел к нам и говорит: «Ты знаешь, мне сказали, что дочка моя приехала и у Митяева живет, но я там еще в качестве бывшего мужа не бывал. Пошли со мной». Заходим в дом. И вдруг я увидел, что печка в избе Митяева расписана. Коваль спрашивает: «А кто это расписывал печку?» А Митяев говорит: «Это Юля расписала. Она сейчас у нас тут живет. Ушла за грибами» ... Коваль долго смотрел на печку и говорит: «Анатолий Васильевич, ну какая ж талантливая у нас с вами дочка!» Это была самая естественная и самая уместная фраза, произнесенная Ковалем в этот вечер.

Коваль очень тепло относился к дочке. Ато, что между Юлей и Ковалем мощная связь — это видно и внешне. Она играет на гитаре, она рисует, и вот, как теперь выясняется, пишет. Она еще и людей лечит, в реанимации работает. Юля — молодец.

Вспоминается поездка группы писателей и художников в Латвию на Дни российской культуры для детей. По приезде в Ригу нас собрали в вестибюле гостиницы. Навстречу нам вышла женщина-администратор с мощным бюстом и зычным голосом:

— Товарищи декадники, прошу вас зарегистрироваться в этом окошке!

Коваль, чуткий к слову человек, восторженно смотрел на администратора, пораженный не то словом «декадники», не то бюстом администратора.

На следующий день во время завтрака мне слышался голос Коваля: «Нет, я как декадник не могу себе позволить...» или: «Мы, декадники, просто обязаны...»

Надо сказать, что после выступлений в школах, детских домах, нас не только кормили, но и здорово поили. Однажды мы с Юрой накануне переусердствовали, поэтому с нетерпением ждали отъезда автобуса на выступление, чтобы поправить здоровье.

Сели в автобус, поехали в город Огре. Долго петляли по закоулкам пригорода Риги, остановились у светофора. И тут Юра обратил мое внимание на двух пьяных, которые никак не могли поднять третьего своего друга из лужи.

—Видишь, Чиж, — это «декадники» из конкурирующей организации. Они уже выступили, отдыхают, а мы всё еле тащимся.

Коваля иллюстрировали замечательные художники, и он сам о художниках сказал очень хорошо: «Я думаю, что лучшими людьми, которых я встречал, были, конечно, художники. Мне кажется, художники — это, в сущности, соль земли. Иисус говорил: „Праведники — соль земли". Я, конечно, не смею поправлять Матфея, великого автора великого произведения. Но я от себя так бы добавил: художники и праведники — это соль земли». Гениально сказано... И хорошо, что Юра больше дружил со скульпторами. У них другое ощущение объема, и оно помогало ему осознать свой космос. Коваль в прозе умел одним мазком создать огромную картину. Калиновский это все очень остро почувствовал и форзацем в «Недопёске» сделал степь: маленький недопёсок бежит по этой степи, а над всем этим — созвездие Орион. И сразу чувствуешь, что Коваль охватывает своим творчеством космос. И в этом космосе созвездие дышит над землей, и тут же передвигается «микроорганизм», убежавший со зверофермы. Огромнейший масштаб.

Приехал однажды Юра к нам в деревню. Зина, моя жена, показала ему красивое лоскутное одеяло, сшитое нашей соседкой Евдокией Павловной. Ковалю захотелось такое же, пошли узнать, нет ли еще одного в продаже.

—Евдокия Павловна, какое красивое одеяло вы Чижиковым сделали! Нет ли еще одного? — спросил Юра.

—Как нет? Есть! Вон на печке лежит.

Развернул Юра одеяло и ну нахваливать, восторгаться:

—Евдокия Павловна, а где вы такие красивые лоскутки берете?

—А на «Красном Эхе».

—Где, где?

—На «Красном Эхе», фабрика у нас в Переяславле такая есть.

—Надо же! — сказал Коваль, обернувшись ко мне. — И эхо у них красное!

Прошло несколько лет. Сидим мы с Юрой на каком-то вечере в Малом зале Союза писателей. Когда на трибуну забрался толстый человек с красным лицом и мощным голосом, Коваль сказал:

—А вот тебе, Чиж, и «Красное Эхо»!

В деревне моей Коваль бывал несколько раз, как правило, проезжая мимо по дороге в Ферапонтове В один из приездов Коваля к нам в деревню произошел такой случай. Было утро с небольшим морозцем. Стояла осенняя, пронизанная солнцем, абсолютно безоблачная погода. Мы с Ковалем шли по деревне, похрустывая льдинками под ногами, и я ему рассказывал, кто где живет: «Здесь вот Устинов живет». Он говорит: «Это я знаю, я у Коли бывал». Я говорю: «Здесь Эдик Успенский живет». — «Знаю». Показал еще несколько интересных домов, и вдруг Коваль говорит: «А вот в этом доме у вас Феллини живет». Я посмотрел, ничего не понимая, и увидел — во дворе дома плавно летали мелкие пушинки (только что кто-то выколачивал перину), создавая иллюзию того снега, который у Феллини в «Амаркорде» шел по всему экрану — такие хлопья в пронизанном солнцем небе. На заборе у Феллини сидел павлин, а здесь на заборе сидел петух дивной красоты, с красной основательной шеей, с синей мощной грудью. Он явно не уступал феллиниевскому павлину.

И я подумал: вот что значит большой художник — надо же усмотреть такую мощную цитату в обычной русской деревне. Потом, когда Коваль уехал, я проходил мимо этого словно поникшего дома — стоит обычный дом, и петух тоже стал обычным. Как будто они все слегка напыжились к приезду Коваля. Он, действительно, всегда нес в себе большую торжественность, и сама природа ему подыгрывала.

Одним из свойств Коваля было внести какой-то необыкновенный интерес к собранию. Любое собрание людей, профессионалов обретало гораздо больший смысл, когда туда приходил Коваль. Много раз было так, что собрание начиналось без Коваля и вроде бы неплохо шло. Всё вроде бы хорошо, но приходит Коваль, и собрание обретает какую-то особую ценность. Какими-то замечаниями, предложениями интересными и неожиданными, не то чтобы он был каким-то затейником, но от одной его зажигающей фразы самому хотелось стать затейником. Вот в чем всё дело-то и всем всегда было весело.

Но он терпеть не мог болтологии. Если на встречах с детьми они не реагировали десять минут на чье-то выступление, он в зале начинал нервничать, он начинал апеллировать жестами к людям, понимающим его. И жутко любил, когда дети вовсю, очень здорово или смеются, или, затаив дыхание, сидят и слушают. Он умел смешить детей, и песни его, рассчитанные на детей, — и «Сундук», и «Пятнадцать собак» — работали замечательно. Одно удовольствие было смотреть.

Как-то Юра позвонил и сказал: «Давай поедем в пионерский лагерь. Там проводятся конкурсы — изобразительного искусства, литературный и музыкальный, будешь членом жюри, и я буду. А какой-то композитор, который придет из поселка композиторов неподалеку, будет судить музыкальный конкурс». Время было, я говорю: «Конечно поедем». Мы сели в машину, в рафик, и поехали в пионерский лагерь недалеко от Рузы. Там мы познакомились с Евгением Птичкиным, милейшим человеком, который пришел на конкурс в домашних тапочках без задников. Видно, он был рассеянный человек, но милый, очень хороший, и мы с Юрой его как-то жутко полюбили. Он очень здорово судил музыкальный конкурс, был хороший рассказчик, да вообще с ним было как-то уютно.

После выступлений был ужин с возлияниями, а потом Коваль предложил мне поехать в мастерскую. Нам дали рафик. Я сел, Коваль сел, и неожиданно Птичкин решил сесть. Коваль говорит: «Но ты же тут живешь, недалеко, зачем же ты поедешь в Москву?» Он говорит: «Мне просто необходимо побывать у тебя в мастерской». Тогда Коваль говорит: «Это да. Вот это я понимаю. Тапочки при тебе?» — «При мне, при мне... А, нет, одного нет, сейчас, одну минутку. Помогите, пожалуйста, тапок найти, я там его где-то оставил». Принесли ему тапок, он надел и мы поехали.

Всю ночь в мастерской у Коваля шли нескончаемые разговоры, песни, игра на гитаре, Птичкин играл-пел, Коваль играл-пел, еще приходили люди, умеющие петь-играть и было необыкновенно весело. Часов в 11 утра следующего дня потянуло в сон, в это время пришла машина за Птичкиным. Птичкин сел в машину, Коваль спрашивает: «Все тапочки у тебя целы?» — «А, нет, вот того одного нету». Пошли, нашли, принесли ему тапочек, попрощались, и он уехал. Потом я еще один раз встречал Птичкина. Он мне сказал: «Это был один из лучших дней в моей жизни, потому что Коваль — это подарок судьбы». И я с ним, конечно, согласился.

Коваль не то чтобы начал такую традицию, может, и до него бывало, что рисунки художника, давным-давно сделанные, обрастали новым литературным текстом. Мы с Андреем Усачевым точно пошли по пути, указанному нам Мавриной и Ковалем. Потому что сначала возникли рисунки Мавриной, потом возникла проза Коваля и появились великолепные книжки, украшенные Андерсеновской медалью... В моей папке лежали рисунки котов, некоторые из них — тридцатилетней давности. Андрей предложил написать к ним стихи, я не стал возражать, и книжка получилась нарядная, большая, красивая и даже

получила приз «Книга года». В общем, если вы последуете в чем-либо примеру Коваля, вас ждет успех.

Когда-то Юлий Ким сказал, что Юра очень высоко вознес планку детского писателя. Это абсолютно правильно. Мне кажется, что ее и сейчас, эту планку, никто не может преодолеть. Пускай они на меня не обижаются, я говорю про собственные ощущения, но думаю, что даже лучшие ученики Коваля, такие как Марина Москвина, например, со мной с удовольствием согласятся. Интересно, что Марине в очень большой степени передалась доброжелательность Коваля. Юра был очень доброжелателен ко всему талантливому. И в этом смысле Марина — типичное ковалевское продолжение.

Мы обычно мало ценим того, кто находится рядом с нами. Мы, например, проводили много времени с Ковалем. Может быть, мы иногда мало его хвалили, таких людей надо чаще хвалить. Для творческого человека это просто необходимо. И вы не прогадаете — от этого у него только появится больше хороших произведений. И сейчас, вспоминая, понимаешь, что он был явно «замолченным» писателем. О нем любили почему-то молчать, в то время как нужно было говорить, и говорить с гордостью.

Однажды, сидя в избе, я услыхал какой-то шум на веранде. Вышел посмотреть, а там мечется от меня к окну большая желтая птица, присмотрелся — иволга! Накануне мы застекляли новую веранду, одно стеклышко разбилось и один проем окна остался без стекла. Туда и залетела красавица-иволга.

Смотрю я на нее, любуюсь, а она все мечется из угла в угол, все ищет выход. Открыл я дверь настежь — лети, бедолага, хватит мучиться!..

А она забилась в угол, отдыхает, в себя приходит.

Смотрю в окошко, идет к нам Евдокия Павловна, что-то в передник завернула и бережно несет, значит, испекла что-то вкусное, хочет меня угостить.

Заходит она на веранду, а иволга ей навстречу шарахнулась и вылетела вон.

Ахнула Евдокия Павловна, от неожиданности чуть пирог не выронила.

—Александрыч, а ведь это нехорошо, когда птица в дом залетает. Это кто-то у тебя помер...

—Типун вам на язык, Евдокия Павловна, скажете тоже... Поговорили мы о том о сем, она домой пошла. Я взял удочки и побежал на озеро. Часа два я на озере пробыл, смотрю, бежит Миша, зять Коли Устинова:

—Дядя Витя, я за вами приехал! Скорей в Москву надо! Коваль умер, давайте скорей собирайтесь, Николай Александрович вас уже ждет!

Красивая ты птица, иволга, а сколько горя принесла!

Октябрь 2007 года

Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Михаил Левитин

От нашей бумаги вашей бумаге

Фрагменты

К прозе Коваля в своем театре я пришел достаточно случайно. Передо мной стояла одна задача: найти свою веселую книгу. Где ее искать? Все веселье Хармса и веселье Введенского, то есть обэриутское веселье 20-х годов, я перебрал... И я искал такое свое веселье, дающее возможность для построения театра. В тот момент Юлий Ким принес мне «Суера». «Твой навеки, Юлик», — написал он, и это обязывало меня прочесть роман полностью...

В жизни Юру я знал немного и, вероятно, не мог бы с ним подружиться. У меня было ощущение, что он компанейский человек, но новых людей, или лысых и усатых, как он говорил, принимает тяжело. Возможно, был момент ревности, как я понимаю сейчас, к его старому другу Яше Акиму, полюбившему меня в тот период последних лет жизни Юры. Тут было столкновение: мы кЯше относились, вероятно, как к прекрасной незнакомке, и кому отдаст предпочтение эта незнакомка, не было понятно...

У меня с Юрой связано одно «бумажное» воспоминание. Может быть, это не случайно, а может быть, все это чепуха случайная, но в Малеевке Юра однажды вбежал ко мне в комнату с просьбой дать ему бумаги. Он слышал, что я щелкаю на машинке. А я смотрю и ничего не понимаю: какой-то обрюзгший человек вбегает в комнату, требует бумаги и говорит: «Я дописываю, дописываю, дописываю, дописываю книгу любимую, любимую. Лучшая, главная, главная-главная-главная. Дописываю-дописываю-дописываю». Что-то он такое белекает, я даю ему бумаги довольно много, и он пишет последние главы «Суера-Выера» ... на моей бумаге. И потом дарит мне другую свою книжку с надписью:

Михаилу Левитину!
Ваша бумага —
Моя бумага,
Моя бумага — наша бумага.
Итак, примите немного бумаги
В ответ на вашу бумагу моей вам.

Юрий Коваль
1993 год, Малеевка

И еще один момент я запомнил из того интересного ма-леевского периода, как человек, который испытывает чувство позднего отцовства сейчас, когда родилась маленькая девочка. Мое чувство отцовства такое упоительное и бескомпромиссно жестокое по отношению ко всем, кто на него посягает. И я теперь прекрасно понимаю, что испытывал тогда Юра. У нас есть там такая поляна — детская площадка, очень мало людей там бывает, какие-то другие места привлекают писателей. И там стоял грустный-грустный малыш, Юрин сын Алёша. Я его заметил, он как инок был, невероятно русский мальчик И такой печальный! Это был ребенок даже унылый. И таким он был всегда: был ли он с мамой, даже на Наташу он бросал отсвет своей печали, и мне казалось, она невеселая женщина. Я только сейчас понял, какая она веселая! Тогда я думал: ну не могла веселая женщина родить такого печального ребенка...

И однажды я увидел, как к нему пошел Юра. Он пошел, такой громадный, к этой точечке в траве, и, по-моему, он встал на колено, да, в траву, и протянул к нему ладонь. И тот засверкал! Преобразился и засверкал! И бросился к нему и сел на эту ладонь. Вот это я забыть просто не могу... Это для меня самый трогательный на свете, раздирающий мне сердце образ — мужчина и сын. Смятенный образ неустроенного мира, образ потери, жертвы, романтики, тревоги — ну всего на свете. Вот это я испытал, глядя на Коваля и его мальчика.

Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина
Опубликовано в журнале « Театр», № 12,2005 год

Андрей Битов

Братство-сестринство

В первый раз я услышал имя Коваля от моего хорошего друга, к сожалению, до сих пор недостаточно известного в Москве ленинградского поэта и прозаика Сергея Вольфа, к слуху и вкусу которого я очень прислушивался. Когда он чем-то восхищался, это всегда бывало правильно. Он с восхищением цитировал целыми кусками на память рассказ «Чистый Дор»... Может, еще от кого-то слышал, что хороший человек, но не более того. Встретились мы впервые в Переделкине, и я запамятовал бы дату, если бы при последней нашей встрече он, надписывая мне книжку, не написал: «Другу по канаве 1978 года».

78-й был знаменательный год для меня, потому что «Пушкинский Дом» вышел в Америке и я попал уже в зону запрета. Но канаву я не очень помнил, а он запомнил, значит, мы шли по Переделкину, падали, может быть...

Есть люди, которые сами выбирают себе друзей. Юра был всеобщим любимцем, в Переделкине его обожали все вахтерши, сестры, официанты. Он умел быть обаятельным и любимым, но в то же время друзей он выбирал сам и по-своему. А для меня эта вот рекомендация Вольфа была уже чистым мостом, мы очень быстро сблизились и сошлись, хотя сначала я еще не был его читателем...

Именно тогда он сочинял «Самую легкую лодку в мире». И поскольку он ее сочинял, на нем был такой хемингуёвый свитер и трубка капитанская. В общем, когда он вставал из-за стола, он становился капитаном той лодки, и в этой легкой лодке уже плыл. Правда, это я понял уже позже. Трудно через столько лет не переставлять местами более позднее отношение к более ранним впечатлениям.

Он меня научил, кстати, и с тех пор я всегда это повторял, пока живал в Переделкине, жить в деревянном дому, а не в этом сталинском особняке. И я всегда искал потом деревянную комнату. Жил он на втором этаже в одном из этих деревянных коттеджей. Он был джентльмен и аккуратист, у него все лежало очень правильно на столе, он вообще любил аксессуары, что есть такое мальчиковое свидетельство — еще одно подтверждение тому, что он именно мог быть детским писателем. Потому что надо любить игрушки, чтобы мочь это делать. Это лишь одно из условий, конечно. И очень любил русскую речь, удивительный был слухач и поклонник русской речи. Это видно и по его рассказам о Шергине, потому что он всегда говорил про кого-то и, чтобы он сказал про себя, надо было его расспрашивать. Но если его расспросить, то мог и прочитать какую-то страницу из свеженаписанного. Прочитав, прислушивался с опаской, с боязнью какой-то — так или не так. Но это бывало так.

Подружились, значит. Кроме общей любви к литературе и сходства вкусов, еще выпить любили. Это тоже нас роднило. Хотя он, по-моему, заставлял себя работать каждый день, дело шло всегда у него медленно, добросовестно, туго, времени свободного оставалось достаточно. А я вообще либо пишу, либо не пишу, так что я чаще бывал свободен. И мы, как-то не договариваясь вовсе, придумали такую схему — сейчас уже об этом можно рассказать. Там же проживала Белла Ахмадулина на своей дачке, тогда она еще там проживала. Зима, я помню, и хорошая была зима, такая зимняя, русская. В общем, мы, как рыцари, совершенно бескорыстно решили влюбиться в Беллу, я Беллу знал давно, а он увидел ее впервые, а может быть, я даже их и познакомил, хотя, может быть, он ее и раньше знал... Ну конечно, все знали Беллу. В результате мы рыцарствовали у Беллы, то есть выпивали втроем. Мессерер присоединялся позднее, потому что он был всегда занят конкретной работой — ездил в город, а мы были праздные творцы. Это блуждание, его трудно описать, и что было говорено — тоже трудно описывать, но легкость какая-то и то, что знакомство было раньше чтения, ужасно мне нравилось, то есть все сошлось.

Позже я прочитал «Недопёска» и «Куролесова». «Куролесов», кстати, — пионерское сочинение, не в смысле ругани, а в смысле первенства. Это первый детский настоящий детектив в русской литературе советского периода. Среди маститых, проживавших тогда в Доме творчества Переделкино, был Арсений Тарковский. Когда мне что-то нравилось, я приносил это Арсению Александровичу. И вскоре он Коваля очень полюбил, именно нежно любил, да и Коваль его боготворил. И все это было замешано на чистом слове, и в связи с этим на дружбе, на пьянке, и была какая-то чистота этих взаимоотношений.

Вообще с определенного возраста, а мне уже было за сорок, друзья обретаются реже, остаются в обретенном наборе, так что впервые у меня было чувство обретенного друга, которого еще можно было прибавить к замечательному списку, который я внутри себя по биографии имел. Я чувствовал, что в будущем этот список вряд ли увеличится, и испытывал ощущение последнего друга в том самом сердечном смысле. Мне никогда не нужен был коллектив или какая-то группа, нужен был всегда один, а потом оказалось, что все-таки этих друзей пять-шесть и, по-моему, все были такие как он. Вот это наше тройное братство-сестринство в Переделкине, оно было очень светлым, хотя я в этот момент был запрещен. Сейчас часто спрашивают, как вы жили, как вы страдали, и вообще принято хвастаться запрещенностью. И я говорю: «Да лучше всех». Потому что были настоящие друзья, настоящие любови, настоящие бутылки, и свобода передвижения по СССР не была ограничена: империя была доступна, и как странники мы, конечно, тоже сошлись. Хотя мы странствовали в разных направлениях: он хорошо знал Север, погружался по-настоящему в исконно русское слово, а я там только служил в стройбате.

Воспоминания мои получаются скудны деталями, потому что слишком много было единения. Роднило нас и чувство свободы, свободные были люди, хотя дела по советским меркам у Юры шли неплохо: детские книжки издавались и переводились, у него тогда даже была немецкая невеста, я помню, милая очень женщина, а у меня, впрочем, в ту пору была югославская невеста, тоже прекрасная женщина. Но у нас так и не сложился такой путь на Запад — жена как средство передвижения. Это нам не было по совести, в общем, не сложилось. Замечательное было время, замечательный был возраст, замечательный был снег, замечательный был смех, замечательное было понимание. Потом как-то жизнь развела, потому что как только меня выпустили на Запад, так меня здесь и видели: я стал после пятидесяти восполнять западный опыт...

Правда один раз он меня зазвал нарисовать портрет, и даже, по-моему, какой-то нарисовал Я пошел ради дружбы, потому что в принципе я почему-то это не могу перенести — сидеть и позировать. А ему я позировал Так что единственный мой портрет, который был писан, — был евонный. Ион его где-то выставлял. Тогда я посетил его мастерскую, видел дверцу шкафа, расписанную Шергиным.

Я думаю, что он — один из самых чистых служителей русского слова, которые тогда жили, поскольку его проза, более абсурдная и абстрактная, тогда еще не была известна, и он был закрыт детской тематикой. Но времена поменялись, советская власть была хороша тем, что плохое от хорошего было очень легко отличить. А тут все бросились в этот пролом гласности, и сразу стали сколачиваться бригады. Эти бригады очень активно захватывали площади, как сказано где-то у Стендаля: таланты, заслуги, честь, подвиги — все пустое, важно принадлежать к какой-нибудь клике. Он не принадлежал к клике, и друзья его тоже не принадлежали ни к каким кликам. Значит, надо было выступить во взрослой литературе ... Но мне, например, он ее не показал; она для меня стала новостью уже после его смерти...

Эта гласность вообще дала много для публикации, но одновременно и для засорения литературного пространства. Ясность советского-несоветского-антисоветского пропала. А Юра был несоветский писатель. Он не был антисоветским, но и советским он не был ни в чем. И этим досталось труднее всего, потому что, опять же, ты ни с той, ни с другой, ни с третьей стороной. Он был человек благородный и поэтому пользоваться методиками, пиаровскими, националистическими, групповыми совершено не был способен. Что он любил, то он любил и этому не изменял. «Другу по канаве 1978 года» — значит, я и был друг

по канаве 78 года. С тех пор мы встречались редко, как-то мы, как и многие, растерялись за этот период, о чем я теперь могу только сожалеть.

Хорошо, что он себе избрал детскую литературу и у него все получилось. Я вспоминаю одну историю. Как-то кто-то из американских крупных писателей, настоящих, но не имеющих широкого тиража, мне рассказывал, что Роальд Даль, классик детской литературы, многотиражной, востребованной, и в то же время взрослый прозаик с великолепным стилем, ему сказал: «Слушайте, с вашим талантом пишите детские книги и заработаете себе на хлеб». Тот заскромничал и говорит: «Да нет, я не умею, это какое-то особое призвание. Я не знаю, как подступиться». Тогда Роальд Даль сказал: «Знаете, может быть, вы и правы, ведь эти дети — такие сволочи, если ты всю душу им не вывернешь, они читать не будут».

Думаю, он очень много души «выворачивал» в этих как бы простых текстах. Юрий Коваль — чистая литература, прозаик на всем протяжении. В слово «прозаик» я вкладываю особый смысл. Это человек, чувствующий слово не меньше, чем поэт, но в прозе. Я вообще считаю, что русская литература непрофессиональна по традиции. Она любительская. Быть любителем, высоким любителем, так, чтобы выдавать образцы, а не продукцию, — вот это и есть традиция русской литературы. Поэтому, хотя он и был детским писателем, он был прозаиком прежде всего, и для него слово больше всего и значило. Книги у Юры все разные; менять, даже изобретать жанр в каждой новой книге я считаю правильным. Я исповедую золотой век русской литературы — они стрелялись и не успевали повторяться. Никакого производства. Отсутствие производства — это, по-моему, признак, а теперь уже можно сказать — призрак русской литературы. Сейчас, когда появился рынок, появились и профессия, и производство. Сакрального смысла русское слово уже не несет или может потерять и перестать нести, а Коваль в этом смысле был служителем русской речи...

В 94-м году у меня заподозрили быстрорастущую опухоль мозга, и, по общему мнению, мне жить оставалось две недели. К счастью, это оказался абсцесс на фоне какой-то большой простуды. Я как раз только успел закончить основной труд своей жизни — «Империю в четырех измерениях». Короче говоря, мне промыли мозги в буквальном смысле этого слова и все обернулось счастьем. Началась у меня вторая жизнь: я уехал на реабилитацию: попал в Америку, в Израиль, в Италию. А в России в это время все стали помирать, и у меня сложилась сама собой такая книжка из мелких текстов — «Жизнь без нас». В основном она состоит из таких непосредственных некрологов. Глава называется «Штурм».

«10 февраля. День смерти Александра Сергеевича. Теперь это вот как происходит — возвращаюсь я, скажем, из Нью-Йорка под самый Новый год. Давненько меня не было, не в курсе. Звоню объявиться, поздравить с наступающим и никакого „здрастьте": „Ты знаешь, что Юра умер?" — „Какой Юра?" Перебираешь в уме ближайших Юр. „Коваль". А вот этого как раз не перебрал, этого как раз и не должно быть, в смысле не может быть. Этого не бывает, чтобы Юра Коваль. Не надо, чтобы Юра Коваль. Не хочу. Он же мне книжку только что подарил, надписал: „Соседу по канаве 1978 года. С намеком". Намек такой — давненько мы, братец, не того, не встречались, а надо бы, братец, и того, встретиться наконец. Наконец мы теперь и встречаемся — на похоронах. На них пожимаем руки тем, кто не умер. Давненько не виделись. Приблизительно с предыдущих похорон. Теперь зато видимся все чаще. За месяц еще троих не стало. И вот это-то как раз еще не все».

... И так далее. И это, по-моему, единственное, что я написал про Юру, прилетев из Нью-Йорка, в смысле самой неожиданной смерти.

Вообще такое ощущение, что кто-то кого-то замещает и поэтому кто-то кому-то должен. Это я всегда помню. Юра был из этих благодарных людей, который тоже помнил, кому он что должен. Не в смысле поллитры, конечно.

Август 2007 года

Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Наташа Коваль

Монолог о счастье

Во-первых, я хочу рассказать о счастье. Юра был счастливый человек и веселый в основном. Хотя он часто бывал печален. Но о печали я совершенно не хочу рассказывать. Хочу рассказать о счастье.

Было мне 19 лет. Тут надо сказать, что я росла на русской классике — в основном на Федоре Михайловиче; Федора Михайловича я через себя сильно пропустила. Очень любила стихи Блока, годов пятого-седьмого. В результате этого всего моим героем был герой демонический. И самое интересное, что мне еще удавалось находить таких демонических героев. С этим я и жила...

Вот однажды, в совершенно неясной компании, непонятно каким способом и образом я оказалась в мастерской Коваля и Белова в Серебряническом переулке (но это я уж потом узнала) — оказалась непонятно где, помню только, что это был изумительный московский старый двор, сумерки и поздняя осень... Мы постучали в какую-то дверь, дверь широко распахнулась, впуская нас, и меня поразило лицо с невероятными глазищами... В эти свои 19 лет я не могла предположить, что дверь мне тогда открыла судьба.

Там началось наше «сидение»: мы пели-пили, что-то происходило, а я не могла оторвать от него глаз и понимала, что абсолютно влюбляюсь. Понимала, что вот он — мой демонический герой. То есть я тогда Коваля восприняла сквозь эту свою призму, и он почему-то ей совершенно просоответствовал, вот какой курьез. Была уверена, что наконец я его нашла, и так прошел вечер, а потом пришлось уйти. Меня проводили, посадили на такси, я уехала и, проснувшись утром, поняла, что абсолютно влюблена, непонятно в кого, непонятно где встреченного. За столом следующим вечером я услышала, кто это. И это только добавило огня. Но я совершенно не понимала, где я была и каким образом можно было это все продолжить.

Я стала искать его книги — пол-Москвы обошла, сбив ноги, не найдя совершенно ничего, пришла домой, открыла почтовый ящики увидела там журнал «Юный натуралист», который я в жизни не выписывала. Ну просто ошиблись — не в тот ящик положили. Открыла его, а там две страницы блестящих Юриных рассказов.

Потом я долго ходила по старой Москве одна и бесконечно искала этот двор и дом. Но поскольку я искала в местах, которые были довольно далеко от дела, естественно, ничего не находила. Времени прошло довольно много, а место так и не находилось. Помню, я однажды шла от Солянки в Библиотеку иностранной литературы, повернула голову налево и вдруг остро увидела этот переулок с будкой в углу. Я мистически туда пошла и поняла, что вот оно — нашла. Но никаких героев, никого там не было, по-моему, они оттуда уже уехали к тому времени.

В таких вот бесконечно ностальгических поисках прошло некоторое количество лет... Мне было 23 года, я заканчивала институт и каким-то образом все же попала на сборища в их мастерской уже на Серебрянической набережной.

Когда я его видела, со мной начинались совершенно немыслимые вещи, а он все время уходил. Он умел как-то тихо исчезнуть, даже когда все плотно сидели... И так тоже было долго, и столько у меня переживаний было по этому поводу, пока однажды...

Я помню, это был майский день, и на этой же Серебрянической набережной опять пили-пели. Мы как-то встретились с ним глазами и уже, я помню, не могли оторваться. У всех на глазах, откровенно. В тот вечер он мне подарил книжечку «Белозубка». Там было написано: «Наташе-певице в память от любителя мышей» (я тогда пела русские романсы, которые почему-то всех развлекали). Был вечер, мы вышли из мастерской и пошли по Серебряническому переулку. Перед церковью, чудесной синенькой, свернули, зашли в развалющие церковные врата. Он поддерживал меня под руку, и в этот момент (эту деталь я

помню — сколько лет прошло) рядом внезапно газанул какой-то автомобиль. Его первая реакция, поскольку он держал меня, была — схватить крепче и уберечь. Я это мгновенно почувствовала и еще подумала тогда: как странно, найденный мной наконец-то герой вдруг уберегает, что демоническим героям не присуще. Им же присуще что? Раз-ру-шать. А тут — мгновенный жест и яростное осознание. И я потом вот это «уберечь!» имела всю жизнь, которую прожила с Юрой.

Потом мы пошли и, помню, совершенно сумасшедше посидели на лавочке на Яузском бульваре, после чего он уехал, а я пошла себе бульварами домой с таким чеховским текстом в душе: «Я — чайка» ...

Мы стали встречаться. Я помню, у меня было ощущение: странно, демонизма-то никакого нет. И дальше ему удалось
совершенно не насильно, абсолютно естественно выбить из меня всякий демонизм, вернуть меня к каким-то моим же внутренним истокам, совпадающим во многом с его, и сделать мою жизнь, в которой никакому демонизму места не осталось, легкой, веселой, прекрасной, человеческой и чудесной. Без каких бы то ни было усилий.

Он тогда писал «Лодку», не мог ее закончить, не мог нарисовать Клару Курбе. В Юриных «Монохрониках» есть вот такой кусочек:

> *«Полёт и любовь — необходимость для сердца. Наталья с этого момента сопутствовала мне, и многое окрасила она. Я понадобился Наталье по непонятным причинам и не видел никакого резона отказываться».*

И тут же такая вставочка: «Возможно ли живому человеку отказаться от куликов?» Возможно ли живому человеку отказаться? Ну невозможно. Дальше мой портрет, и он пишет:

> *«Рисунок ранней любви. Конечно, никогда в жизни не нарисовать бы мне Клару Курбе. Но в самый последний момент, когда я оставался без нужного мне портрета, я попросил Наташу попозировать мне. Ни в характере, ни в чертах лица Натальи не видел я ничего общего с Кларой. Взялся рисовать с отчаянья, и вдруг совершенно чудовищное попадание — осталось что-то и от Натальи, а нарисовал я чистейшую Клару Курбе».*

В июне я закончила институт — у нас начался бурный роман. А в августе *я* поехала на Рижское взморье и получила вот это письмо.

> *«Ну вот, Наталья, — редчайший случай в жизни — пишу тебе письмо. Целую сразу — истосковался, ощущение — не видел страшно давно. И вправду — давно — вторник и среду. Сейчас среда, поздний вечер, 12 ночи, проводил маму в Ленинград, жру на кухне картошку, пью вино «Раздан» (сверхсухое).*
>
> *Кратчайший отчет:*
> *В понедельник смотрел кино Быкова. Кино мощное. Всё-таки звонил тебе еще раз в последний миг перед отъездом — никто не подошел. Куда-то черт тебя унес. Я сильно не огорчился, и с того момента ты всё время неподалеку. Во вторник с 10 утра и сегодня с 10-ти утра — запись на радио. Измучился, как чтец-декламатор, но вот сегодня всё закончили, и актеры вдруг опечалились: неужели всё?Как это может быть? В душе мы все обнялись и расстались как будто ненадолго, а на самом деле — навеки. Мне очень понравилась актриса Татьяна Аксюта, симпатичнейшая, я ей подарил книжку, и странное дело: в симпатии моей, в моих шутках и комплиментах за спиной моей стояла ты — мне стало лучше жить с тех пор, как ты появилась. Я и с дамами более галантен.*

* * *

Впрочем — наплевать. Бог с ними, с дамами. Как только омрачение находит на меня — вспоминаю божественную Наталью Александровну — и сразу полегче. Все-таки огорчаюсь, что разрешил тебе уехать пораньше, ощущается нехватка тебя. Думаю-, пускай будет лучше нехватка, чем переизобилие. Но если за два дня такая нехватка, то к чему же мы придем в начале августа'!
И думаю я, Натали, надо бы удержать это, сохранить подольше, подольше.

* * *

Наташа! Тебе не нравится, что я говорю: Натали? Как мне тебя назвать и не знаю. Я очень люблю твое имя. Мне кажется, что это имя связано со мной.

* * *

Уборы показала ты мне. Это был хороший день. Счастливый. И лошадки-детки, и твой пейзаж, в этот день я понял, что тебя можно любить.

* * *

Сейчас я все время думаю, что зря отпустил тебя. Надо было бы не расставаться ни на секунду, а все-таки старая мудрая дядя, может, и вправду — мудра!? Всего две недели не увидимся — ерунда же, пустяк. Но страшно мне, что уезжаю без тебя.

Надеюсь — обойдется.

Люблю тебя и мучаюсь глупостью своей.

* * *

В Москве я, конечно, помирал. А всё-таки ты была рядом. Со 2-го числа месяца июня во мне нечто изменилось. Не понимаю — что? Кажется, я помолодел, перестал оглядываться, что-то взвешивать, пустился во все тяжкие, бросил чепчик за мельницу. В сущности, мне на всё наплевать, если есть ты. Целую тебя, Лягу сейчас спать,

А завтра еще допишу

Юра

Четверг, после бани
Все у меня валится из рук, переворачивал дважды чай, наконец перевернул акварельную банку на рисунки. Злой как собака, я придумал формулировку, что со мной происходит: Я обезнаташел.

Суббота, утро
Последние дни в Москве дались мне тяжело. Твой звонок подчеркнул пустоту вокруг. Я и не думал, что буду так тосковать.

Радует одно: сделал 2 большие дела. Сдал рисунки и закончил запись на радио. Это работы оригинальные, интересные, они меня веселят.

Этот странный „Портрет Клары" всем в редакции очень понравился, а мне забавно, что в нем проглядываешь ты.
Сегодня я уезжаю, чуть передохну и очень скоро увижу тебя.
Увидеть тебя — главная моя идея, хорошо, что это есть впереди.
Прости, Натали моя, что пишу торопливо. Сейчас надо собираться, вот-вот появится за мной Лева. Вспоминаю тебя, вспоминаю.
Целую тебя, лошадка-детка, немного осталось, потерпи, скоро увидимся.
Потерпи, потерпи, и меня успокой, чтоб я поскорей
тебя дождался. Твой Юра».

Он в это же время поехал на Цыпину гору в Ферапонтове И мы договорились, что уже в сентябре я приеду туда после Риги, а он будет меня ждать. И вместо того, чтобы начать работать, я вознамерилась поехать в Ферапонтово. Был в этой истории смешной момент: он меня ждал и я готовилась, но готовилась очень любопытно. Мне уже было совсем не 19, но с этим демоническим героем в голове я абсолютно не умела готовить. Человек я была сугубо городской. И вдруг мне предстояло ехать в какие-то охотничьи угодья, как мне представлялось, мы там будем вдвоем, и нужно было произвести какое-то впечатление. Думаю, боже мой, что же я буду делать? Я взяла поваренную сталинскую «Книгу о вкусной и здоровой пище» и выписала в блокнотик, который до сих пор стоит у меня где-то в Плуткове, массу рецептов, типа «рябчики в винном соусе бешамель». Там были дикие изыски, какие-то пудинги, какая-то дичь убиенная и запеченная так и сяк. (Забегая вперед, скажу, когда я уже была там, Юра пришел на гору, поднявшись из Ферапонтова, грохнул на пол рюкзак, а в рюкзаке была трехлитровая банка молока и мешок картошки; и я сижу вот с этой cooking-book.)

Он меня ждал на Цыпиной горе и послал мне второе маленькое письмо, полное ожиданиями телеграмму.

«Натали, детка! Мне, конечно, хочется, чтоб ты приехала поскорее. Получил оба твоих письма. Полное счастье получать их. Сам же я свинья и ленивая канарейка — не пишу тебе писем, а жду тебя сильно. Готов ждать и до 1-го, но лучше бы пораньше. Позвонить маме сумеем.

Поймал 7 щук и грохнул буток; пока это безобразие прекращаю, надо что-то оставить в окрестных лесах и озерах до твоего приезда.

Всю мою добычу друзья мои и спутники „сождрали" (это по-вологодски) мигом. Написал новую песню к дню рождения сына дяди Мити — Вити. Потом из нее может что-то получиться, а пока что — черновик, пропетый с успехом. Сейчас сижу на остановке„Белоусово", ожидаю друзей, которые вот-вот съедут с горы. Когда они приедут — дунем в Кириллов. Там у меня дела — позвонить тебе, послать тебе телеграмму, отослать тебе это письмо. Есть и еще дела, о которых расскажу при встрече.

Привези чаю, он у меня кончается. Привези еще чего хочешь, но сильно не нагружайся, жалею твои мощные плечи.

Машина тарахтит, выезжает из лесу моя компания. Вот подъехала. На почте закончу письмо. Пока — целую.

Натали, черт побери, дозвониться тебе не удалось. Жалко, я хочу, чтоб ты приехала раньше, чем дойдет это письмо. Целую тебя, Юра».

«Телеграмма в Москву из Кириллова

Дегтярь Наталье Александровне

Приезжай все-таки поскорее в конце августа в понедельник утром жди звонка получил два письма одно послал но ты его не жди а приезжай».

И дальше мы были вместе, действительно, не разлучаясь, и получается, что мы с ним были весьма сильно похожи. Не говоря о том, что мы — два Водолея, а люди, которые знают, что такое Водолей, поймут, что я имею в виду... Более того, у каждого из нас необходимость ощущения внутренней свободы, воли и независимости была чуть ли не определяющей чертой характера. Это было у меня, и очень сильно было у Юры. И все годы, которые я с ним прожила, он мне подарил возможность этого чувства в душе. То есть вся жизнь была вот эта свобода плюс, по Шергину, «веселье сердечное». Все, что я сейчас вспоминаю, у меня в душе живет как годы веселья сердечного, нескончаемого совершенно. Там, конечно, были и минуты печали, но я не хочу про это сейчас говорить.

Бесконечно можно говорить про Юрину прозу, живопись, про песни. Много уже написано, мне же хочется рассказать о моментах, о которых мало кто знает и которые Юру очень характеризуют, и о том, что ни с одним другим человеком не было возможно, причем я не имею в виду мою личную жизнь. Просто такого качества личности я больше не знаю и не могу себе представить.

Мы часто живали в Домах творчества, которые тогда все-таки были и были хорошие. И мы там жили, потому что он все время хотел вырваться из Москвы, убежать отсюда, и брал меня. Кстати, потом мы еще и поженились. Он мне сказал: «Я на тебе женился просто потому, что мне нужно, чтобы ты всё время была рядом». Вот ему надо, чтобы эти «кулички» все время были рядом. Поэтому он в Домах творчества жил и работал, ая жила рядом, наслаждаясь своей свободой и прочее. Ему было необходимо, чтоб я выслушивала, комментировала, давала советы. Это его невероятно поддерживало. Так мы жили, в памяти остались прекрасные моменты.

Я помню Переделкино начала 80-х годов — нас поселили в коттедже, на террасе в стиле 30-х годов. Был октябрь невероятной красоты, рядом были какие-то вросшие скамейки, засыпанные листвой. Приезжали западногерманские люди, наслаждались общением с Юрой. А мы с ним просто ходили, собирали свинушки на территории Дома творчества и на какой-то плитке, на этой самой террасе, не отваривая, без всякой дезинфекции, готовили эти свинушки и оба с наслаждением их ели...

Потом, я помню, мы приезжали зимой в Малеевку. Только приехали (зима, мороз) — время обеда. Все эти «писателя », как он их называл, чинно и пристойно идут обедать в столовую. Мы же с Юрой, вместо того чтобы чинно идти вместе со всеми, почему-то бежали в ближайший лесок, брали с собой сосиски, купленные в Москве. Он разжигал там очень умело костер, и мы, пропуская литфондовский роскошный обед, наслаждались в этом морозном лесу сосисками на палочках.

В Дубултах Дом творчества работал, пока его не реквизировали. Мы там тоже жили, в основном зимой; там было странное замерзшее у берега море. А у нас дни рождения зимние — в феврале. Огромное счастье было получить от него зимой в Дубултах маленький горшочек с нежнейшим крокусом. Они там продавались на улицах, а в Прибалтике зимой особый запах, цвет, вкус всего. Опять же он мне дарил эти ощущения, я без него даже и не видела бы ничего этого. Весь наш номер в Доме творчества был в каких-то крокусах и дивных азалиях. И вот в дни рождения — вдвоем, без никого, сидеть в холодных дюнах на чем-то развалившемся, иметь газету, на газете иметь роскошную прибалтийскую соленую рыбу, еще теплую, объедаться этой рыбой, придумывать острова к «Суеру-Выеру» и получать полнейший кайф.

Пустынное море, совершенно никого — мы одни. Что может быть лучше?!

В Ялту мы приезжали или поздней зимой, или ранней весной, и там было вообще изумительно, потому что там бирюзовое море, а вокруг всё цветущее розово-белое. Там в пейзаже был какой-то японский изыск Ион научил меня восхищаться этим всем, научил такому японскому восхищающемуся, фиксированному взгляду на мир. Между прочим, не зря же его японцы так сильно ценили и ценят; последние годы Юриной жизни они бесконечно к нему тянулись, что-то все время у него просили — и живопись, и рассказы, и переводы, и переиздавали Маврину, которую у нас переиздать вообще невозможно — «не рыночно» ... (В 2012 году издательство « Вебов и Книгин » переиздало все шесть книг Татьяны Мавриной и Юрий Коваля.)

Что еще могло бы быть только с Юрой. Плутково. Река Нерль, ночь конца сентября, и мы ночью посредине этой реки на старой лодочке, весла брошены. За рекой — лес, и там лосиный гон. То есть там трубят в ночи лоси. Никого нет, ни души вообще — холодно. Я в лодке, на мне кожаные лайковые перчатки. Помню, у нас на дне лодки стояли какие-то соленые огурчики и я вилкой, в лайковой кожаной перчатке, выпив рюмку, закусываю огурчиком под лосиный гон. Это было возможно только с ним.

Мы жили в Плуткове на Октябрьские праздники. Воля такая, просторы великолепные, и когда уже ничего не произрастало, мы с ним умудрялись в полях находить гигантские подосиновики, красавцы, подсушенные слегка. Он их называл «одинокими гигантами», и мы совершенно в полном счастье мотались по этим полям, причем он шел впереди в сапогах и ветровке, а я спешила за ним... Счастье и веселье сердечное.

Прошло 13 лет. Это была совершенно, абсолютно иная жизнь. Иметь ее опять невозможно. Можно лишь жить, держа это все в душе, в голове.

Когда мы уже поженились, он вел «Монохроники». И у него там была единственная запись: «В этот день я сделался семьянин», а потом: «я поехал в мастерскую... световой день уходил... я хотел написать... мне нужно было быстрее ... Белов сделал то-то... ». Ничего больше — никаких комментариев... А семьянин он был потрясающий, и речь идет не о быте, а о человеке, который рядом с тобой. Вот как руку-то он тогда в церковных вратах подхватил мою, так и держал, не отпуская. Когда родился Алёшка, это «уберечь!» немедленно распространилось еще и на него. Он говорил: «Ковали — прекрасные отцы». Сколько я историй слышала о не очень хороших папах, так вот он-то был совершенно замечательным отцом до самой последней минуты... А в «Монохрониках» он такой вольный художник был: «Я сделался семьянин», точка, всё, без комментариев.

И об энергетике. У меня с ранней юности энергии было очень мало. А Юра, он же блистал, блистал во всех компаниях — здесь, там, и был на людях самый первый, самый яркий. А потом мы с ним уезжали далеко, и до меня он тоже убегал, скрывался. И я понимаю, почему мы так уединенно живали — потому что у него в какой-то момент возникало четкое желание абсолютно плотно закрыть за собой дверь.

Немногие чувствовали его уязвимость и знали, сколько он отдавал сил, чтобы потом восстановиться. И это невероятно важно. У меня к этому такая же склонность, мы совпадали. Более того, сейчас я то же самое наблюдаю у Алёши, который наблистается где-то, а потом плотно закрывает за собой дверь. Вот такая наследственная штука.

И Юра очень отстаивал это свое право. Потому что ЦДЛы, мастерские, близкие друзья, желание иметь его всегда — время от времени вызывало у него абсолютно сопротивление, причем иногда агрессивное сопротивление. Вот после чего мы и запирали за собой дверь. Я и до сих пор продолжаю это делать по доброй памяти.

Октябрь 2007 года

Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина

Ю. И. Коваль: краткая библиография

Коваль Ю., Козлов Б., Мазнин И. Что я знаю / Рис. И. Рублева. — М.: Малыш, 1964.
Коваль Ю., Мезинов Л. Сказка о том, как строился дом / Рис. Ю. Зальцмана. — М.: Малыш, 1966.
Коваль Ю., Мезинов Л. Сказка про Чайник / Худож. Н. Строганова — М..-Малыш, 1966.
Коваль Ю., Мезинов Л. Красная борода / Худож. В. Белов. — М.: Малыш, 1967.
Станция «Лось» / Рис. Ю.Молоканова. — М.: Малыш, 1967. Алый / Рис. В.Лосина. — М: Дет.лит., 1968,1982.
Особое задание / Рис. В. Трубковича. — М.: Дет. лит., 1969,1970.
Путешествие на границу / Рис. В. Лосина. — М: Малыш, 1969.
Слоны на Луне / Рис. Г. Алимова и В. Стацинского. — М.: Малыш, 1969.
Чистый Дор / Рис. П. Вагина. — М.: Дет. лит., 1970.
Приключения Васи Куролесова / Рис. А Дурасова. — М.: Дет. лит, 1971,1973.
Листобой / Худож. П. Багин. — М.: Дет. лит, 1972.
Весеннее небо / Худож. Н. Устинов. — М.: Дет.лит, 1974.
Кепка с карасями / Рис. Н. Устинова — М.: Дет. лит, 1974,1985.
Избушка на Вишере / Рис. и текст Ю. Коваля; Фотогр. В. Ускова. — М: Дет.лит, 1975,1980.
Недопесок / Худож. Г. Калиновский, — М.: Дет. лит, 1975,1979,2011.
Стожок / Худож П. Багин. — М.: Дет. лит, 1975.
Алый / Худож Н. Устинов. — М.: Дет. лит, 1976.
Приключения Васи Куролесова; Пять похищенных монахов / Худож Г. Калиновский. —М.: Дет.лит, 1977.
Маврина Т., Коваль Ю. Стеклянный пруд / Худож. Т. Маврина. — М.: Дет.лит, 1978.
Тигренок на подсолнухе / Худож С. Остров. — М.: Дет. лит, 1978.
Картофельная собака / Худож П. Багин. — М.: Дет. лит, 1979.
Маврина Т., Коваль Ю. Заячьи тропы / Худож Т. Маврина — М.: Дет.лит, 1980.
Чистый Дор / Худож. Г. Макавеева. — М: Дет. лит, 1981.
Белозубка / Худож. М. Митурич. — М.: Малыш, 1982.
Маврина Т., Коваль Ю. Журавли / Худож. Т. Маврина. — М.: Дет. лит, 1983.
Самая легкая лодка в мире / Рис. авт. — М.: Молодая гвардия, 1984.
Тигренок на подсолнухе / Авт. текста Ю. Коваль, А Носырев; Худож. В. Кудрявцева. — М.: Всесоюз. бюро проп. киноискусства, 1984.
Маврина Т., Коваль Ю. Снег / Рис. Т. Мавриной. — М: Дет. лит, 1985.
Маврина Т., Коваль Ю. Бабочки / Рис. Т. Мавриной. — М.: Дет. лит, 1987.
Полынные сказки / Рис. Н. Устинова — М.: Дет. лит, 1987,1988.
Поздним вечером ранней весной / Худож. Г. Юдин. — М.: Дет. лит, 1988.
Березовый пирожок / Худож. П. Багин. — М.: Малыш, 1989.
Маврина Т., Коваль Ю. Жеребенок / Рис. Т. Мавриной. — М.: Дет.лит, 1989.
Когда-то я скотину пас — М.: Правда, 1990. — (Б-ка « Огонек»).
Пять похищенных монахов / Худож. Г. Ка\иновский. — Ставрополь: Кн. изд-во, 1990.
Шамайка / Худож. Р. Варшамов. — М.: Дет. лит, 1990, 1992.
Воробьиное озеро / Рис. Г. Макавеевой. — М.: Малыш, 1991.
Капитан Клюквин / Рис. В. Толкова. — М.: Дет. лит, 1991, Сказки / (на рус. и англ. яз.) Худож Н. Устинов. — М.: Рекл.-изд. дом « Имидж», 1991.
Чистый Дор / Худож М. Ким. — М.: Дет. лит, 1991.
Приключения Васи Куролесова; Промах гражданина Лошакова; Пять похищенных монахов / Худож К Терещенко. — Ижевск: Странник, 1992.

Опасайтесь лысых и усатых / Рис. авт. — М.: Книжная палата, 1993.
Недопёсок / Худож Д. Трубин. — М.: Малыш, 1994.
Приключения Васи Куролесова / Худож. В. Чижиков. — М: Самовар, 1995,1997,1998 - 2001,2004 - 2007,2009 - 2011.
Сказка про Зеленую Лошадь / Худож Л. Казбеков, Н. Николаева. — М.: Малыш: Прибой, 1996.
Сосед и соседка купили бульдога / Худож Н. Кочеткова. — М.: РОСМЭН-ЛИГА, 1997; М.: РОСМЭН,2000.
Суер-Выер / (пергамент) В оформл. использован рис. авт. — М.:Вагриус, 1998,2001.
Юрий Коваль / (каталог живописи, графики, скульптуры и эмалей) — М.: Самовар, 1998.
АУА / (монохроники) Рис. авт, А. Тарковского, В. Лемпорта и Н. Силиса. — М.: Подкова, 1999.
Куролесов и Матрос подключаются / Худож В. Чижиков. — М.: Самовар, 2000,2009.
Листобой / (избранное) Рис. авт. — М.: Подкова: Деконт+, 2000.
Избранное / Рис. и картины авт. — М.; Астрель: АСТ, 2006.
Круглый год / (по одноим. мультсериалу по рассказам Юрия Коваля) Худож. А Жакулина, В. Федорова и др. — М.: Мир Детства Медиа, 2012.

Переводы

Межелайтис Э. Идет по свету солнце / (пер. с литов.)
Худож Г. Макавеева. — М.: Малыш, 1978.
Вангели С. Чубо из села Туртурика / (пер. с молд,)
Худож Б. Диодоров. — М.: Дет. лит, 1984.
Зиедонис И. Вересковый край / (пер. с латыш.) Рис. А Аземши. —
М.: Малыш, 1987.
Зиедонис И. Сказки / (пер. с латыш.) Худож С. Коваленков. —
М: Дет. лит, 1987.
Вангели С. Панталония — страна чудаков / (пер. с молд)
Худож Ю.Леу. — Кишинев : Нурепоп, 1990.
Сано Иоко. Сказка про кота, который жил миллион раз /
(пер. с япон.) Рис. авт. — СПб.: ДЕТГИЗ,2011.

Составитель: *В. Г. Семенова,* дополнения: С *Ю. Андреев.*

В следующем издании мы исправим замеченные вами неточности и опечатки.

А для работы над полным собранием сочинений Юрия Коваля — собираем его письма, редкие фотографии, автографы, аудиозаписи, воспоминания, фотографии картин и рисунков из частных коллекций. Пишите нам на koval.kniga@gmail.ru или в сообщество Suer_vyer_ Живого журнала.

Ковалиная книга

вспоминая Юрия Коваля
Литературно-художественное издание

Составитель — Ирина Скуридина

Редакторы — Ирина Скуридина, Светлана Стогова

Корректоры — Елена Климова, Евгения Шарипова, Ольга Параничева

Дизайн и вёрстка — Чеслав

Подписано в печать 3.01.2013 Формат 117 х 180.

Бумага писчая 70 г/м^2. Гарнитура Arno Pro.

Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

ООО «Гиперион-Бук» Россия, Москва, Хохловский переулок, д. 7-9, стр. 3.
www.hiperionbook.ru

ISBN 978-9984-816-46-3

Отпечатано в ООО «Издательство "Шико"»

Украина, г. Луганск,

91011, ул/ Челюскинцев, д. 6, кв. 15

Тел.: +38(0642)718-140,718-141

E-mail: shiko_12@mail.ru

«Ковалиную книгу» хочется читать с начала и до конца и по кругу, глазами и вслух, своим и чужим детям, взрослым, друзьям и полузнакомым, гражданам в метро, троллейбусе или, страшно сказать, на службе. Воспоминатели не просто рассказывают о себе в той же мере, что и о Ковале… но и создают образ эпохи, которая для них не просто не кончилась — не пройдет, по-видимому, никогда. Это не рассказы о прошедшем; это свидетельство настоящего и о настоящем — во всех смыслах, в которых нам угодно эти слова понимать.
Вера Калмыкова

Друзья Юры Коваля, замечательного детского писателя, в конце концов создали книгу благодарности этому писателю. Это был просто великий детский писатель, удивительный человек, удивительного тепла. И вот друзья, поклонники и ученики написали книгу с хорошим названием — «Ковалиная книга». Пусть таких книг будет больше.
Виктор Ерофеев

«Ковалиная книга» — уникальный подарок для тех, кто писателя лично не знал. О нем вспоминают разные люди и по-разному, это создает волшебный стереоскопический эффект. У меня полное впечатление, будто я тоже был знаком с Юрием Иосифовичем… Мощное излучение добра льется на тебя со страниц прозы Юрия Коваля, со страниц «Ковалиной книги». И делает тебя тоже немножечко… ну если и не святым, то просто добрее. А ведь это, если вдуматься, очень много.
Петр Владимирский

Многогранность его личности объясняет, почему настолько разным он выглядит в воспоминаниях друзей, коллег, современников. Хотя на самом деле получившаяся книга — не воспоминания о писателе Ковале. Это воспоминания об эпохе, о становлении творческой личности и ее взгляде на мироздание. И о том, почему серьезный писатель уходит в детскую литературу…
Александр Яковлев

9 789984 816463 >